
**НОВЫЙ
ЖУРНАЛ**

II

НЬЮ-Йорк

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

THE NEW REVIEW
RUSSIAN QUARTERLY

II

НЬЮ - ЙОРК
1942

Copyright 1942 by The New Review
(«Новый Журнал»)
All Rights reserved.

Printed by
GRENICH PRINTING CORP.
151 W. 25th St., N. Y. C.



О Г Л А В Л Е Н І Е

И. А. Бунин. — Натали.	5
А. Л. Толстая. — Предразсвѣтный туман.	38
М. А. Осоргин. — Времена.	59
Н. Ф. Федорова. — Семья.	74
М. О. Цетлин. — Юный Мусоргскій.	93
О. П. Христіанович. — Там.	119
М. А. Алданов. — Командировка Тамирина.	126
В. В. Набоков-Сирин. — Русалка.	181
СТИХИ — М. К. Желѣзна, Леонида Опалова, Софїи Прегель, Киры Славиной, Марїи Толстой.	185
РОССІЯ И ВОЙНА:	
Н. С. Тимашев. — Сила и слабость Россїи.	192
М. В. Вишняк. — Правда анти-большевизма	206

ВНѢШНЯЯ ПОЛИТИКА:

- Б. И. Николаевскій.** — Смѣшеніе фельдмаршала фон-Браухича. 224
- М. Е. Вейнбаум.** — Японія и Соединенные Штаты. 250
- А. В. Гальперин.** — Мір послѣ войны. 263

ВОПРОСЫ ДНЯ:

- В. М. Чернов.** — Русскій и нѣмецкій антисемитизм. 272
- Ю. П. Денике.** — Можно ли спасти Европу? 283

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

- М. А. Чехов.** — Мысли об искусствѣ актера. 299
- В. А. Ледницкій.** — «Польская поэма» Блока. 309
- В. А. Александрова.** — Проблема свободы в совѣтской литературѣ. 325

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ:

- И. Н. Альтшуллер.** — Воспоминанія о Толстом. 339
- Е. А. Извольская.** — Послѣ катастрофы. 360
- М. А.** — **Д. С. Мережковскій.** 368
- Г. Д. Гурвич.** — Памяти А. М. Кулишера. 374

- РЕЦЕНЗИИ И ЗАМѢТКИ **М. А. Толстой, М. М. Карповича, Н., С. М. Соловейчика, А., В. И. Коварской, М. В. Вишняка.** 376

Обложка работы худ. **А. Н. Прегель.**

НАТАЛИ

В то лѣто я впервые надѣл студенческой картуз и был счастлив тѣм особым счастьем начала молодой свободной жизни, что бывает только в эту пору. Я вырос в строгой дворянской семьѣ, в деревнѣ, и юношей, горячо мечтая о любви, был еще чист душой и тѣлом, краснѣл при вольных разговорах гимназических товарищей, и они морщились: «Шел бы ты, Мещерскій, в монахи!» В то лѣто я уже не краснѣл бы. Приѣхав домой на каникулы, я рѣшил, что настало и для меня время быть как всѣ, нарушить свою чистоту, искать любви без романтики и, в силу этого рѣшенія да и желанія показать свой голубой околыш, стал ѣздить в поисках любовных встрѣч по сосѣдним имѣніям, по родным и знакомым. Так попал я в имѣніе моего дяди по матери, отставного и давно овдовѣвшего улана Черкасова, отца единственной дочери, а моей двоюродной сестры Сони...

Я приѣхал поздно, и в домѣ встрѣтила меня только Соня. Когда я выскочил из тарантаса и вбѣжал в темную прихожую, она вышла туда в ночном фланелевом халатикѣ, высоко держа в лѣвой рукѣ свѣчу, подставила мнѣ для поцѣлуя щеку и сказала, качая головой, со своей обычной насмѣшливостью:

— Ах, вѣчно и всюду опаздывающій молодой человек!

— Ну, уж на этот раз никак не по своей винѣ, — отвѣтил я. — Опоздал не молодой человек, а поѣзд.

— Тише, всѣ спят. Цѣлый вечер умирали от нетерпѣнія, ожиданія и наконец махнули на тебя рукой. Папа ушел спать разсерженный, обругав тебя вертопрахом, а Ефрема, оставшагося на станціи, очевидно, до утренняго поѣзда, старым дураком, Натали ушла обиженная, прислуга тоже разошлась,

одна я оказалась терпѣлива и вѣрна тебѣ... Ну, раздѣвайся и пойдем ужинать.

Я отвѣтил, любуясь ея синими глазами и поднятой, открытой до плеча рукой:

— Спасибо, милый друг. Убѣдиться в твоей вѣрности мнѣ теперь особенно пріятно — ты стала совершенной красавицей и я имѣю на тебя самые серьезные виды. Какая рука, шея и как соблазнителен этот мягкій халатик, под которым, вѣрно, ничего нѣт!

Она засмѣялась:

— Почти ничего. Но и ты стал хоть куда и очень возмужал. Живой взгляд и пошлые черные усики... Только что это с тобой? Ты за эти два года, что я не видала тебя, превратился из вѣчно вспыхивающаго от застѣнчивости мальчишки в очень интереснаго нахала. И это сулило бы нам много любовных утѣх, как говорили наши бабушки, если бы не Натали, в которую ты завтра же утром влюбишься до гроба.

— Да кто это Натали? — спросил я, входя за ней в освѣщенную яркой висячей лампой столовую с открытыми в черноту теплой и тихой лѣтней ночи окнами.

— Это Наташа Станкевич, моя подруга по гимназiи, пріѣхавшая погостить у меня. И вот это уж дѣйствительно красавица, не то что я. Представь себѣ: прелестная головка, так называемые «золотые» волосы и черные глаза. И даже не глаза, а черныя солнца, выражаясь по персидски. Рѣсницы, конечно, огромныя и тоже черныя и удивительный золотистый цвѣт лица, плечей и всего прочаго.

— Чего прочаго? — спросил я, все больше восхищаясь тоном нашего разговора.

— А вот мы завтра утром пойдем с ней купаться — совѣтую тебѣ залѣзть в кусты, тогда увидишь, чего. И сложена как молоденькая нимфа.

— Что ж ты, во вред нашему роману, так расхваливаешь ее?

— Умные люди всегда так дѣлают, забѣгают вперед...

На столѣ в столовой были холодныя котлеты, кусок сыра и бутылка краснаго крымскаго вина.

— Не прогнѣвайся, больше ничего нѣтъ, — сказала она, садясь и наливая вина мнѣ и себѣ. — И водки нѣтъ. Ну, дай Бог, чокнемся хоть вином.

— А что именно дай Бог?

— Найти мнѣ поскорѣй такого жениха, что пошел бы к нам «во двор». Вѣдь мнѣ уж двадцать первый год, а выйти куда нибудь замуж на-сторону я никак не могу: с кѣм же останется папа?

— Ну, дай Бог!

И мы чокнулись и, медленно выпив весь бокал, она опять со странной усмѣшкой стала глядѣть на меня, на то, как я работаю вилкой, стала как бы про себя говорить:

— Да, ты ничего себѣ, похож на грузина и довольно красив, прежде был уж очень тощ и зелен лицом. Вообще очень измѣнился, стал легкій, приятный. Только вот глаза бѣгают.

— Это потому, что ты меня смущаешь своими прелестями. Ты вѣдь тоже не совсѣм такая была прежде...

И я весело осмотрѣл ее. Она сидѣла с другой стороны стола, вся взобравшись на стул, поджав под себя ногу, положив полное колѣно на колѣно, немного боком ко мнѣ, под лампой блестѣл ровный загар ея руки, сіяли синелиловые усмѣхающіеся глаза и красновато отливали каштаном густые и мягкіе волосы, заплетенные на ночь в большую косу; ворот распахнушагося халатика открывал круглую загорѣлую шею и начало полнѣющей груди, на которой тоже лежал треугольник загара; на лѣвой щекѣ у нея была родинка с красивым завитком черных волос.

— Ну, а что папа?

Она, продолжая глядѣть все с той же усмѣшкой, вынула из кармана маленькій серебряный портсигар и серебряную коробочку со спичками и закурила с нѣкоторой даже излишней ловкостью, поправляя под собой поджатое бедро:

— Папа, слава Богу, молодцом. По-прежнему прям,

тверд, постукивает костылем, взбивает сѣдой кок, тайком подкрашивает чѣм-то бурым усы и баки, молодецки посматривает на Христю... Только еще больше прежняго и еще настойчивѣе трясет, качает головой. Похоже, что никогда ни с чѣм не соглашается, — сказала она и засмѣялась. — Хочешь папиросу?

Я закурил, хотя еще не курил тогда, она опять налила мнѣ и себѣ и посмотрѣла в темноту за открытыми окнами:

— Да, пока все слава Богу. И прекрасное лѣто, — ночь-то какая, а? Только соловьи уж замолчали. И я правда очень тебѣ рада. Послала за тобой еще в шесть часов, боялась, как бы не опоздал выжившій из ума Ефрем к поѣзду. Ждала тебя нетерпѣливѣе всѣх. А потом даже довольна была, что всѣ разошлись и что ты опаздываешь, что мы, если ты прїѣдешь, посидим наединѣ. Я почему-то так и думала, что ты очень измѣнился, с такими, как ты, всегда бывает так. И знаешь, это такое удовольствіе — сидѣть одной во всем домѣ в лѣтнюю ночь, когда ждешь кого-нибудь с поѣзда, и наконец услышать, что ѣдут, погромычивают бубенчиками, подкатывают к крыльцу...

Я крѣпко взял через стол ея руку и подержал в своей, уже чувствуя мучительную тягу ко всему ея тѣлу. Она с веселым спокойствіем пускала из губ колечки дыма. Я бросил руку и будто шутя сказал:

— Вот ты говоришь — Натали... Никакая Натали с тобой не сравнится... Кстати, кто она, откуда?

— Наша воронежская, из прекрасной семьи, очень богатой когда-то, теперь же просто нищей. В домѣ говорят по англійски и по французски, а ѣсть нечего... Очень трогательная дѣвочка, стройненькая, еще хрупкая. Умница, только очень скрытная, не сразу разберешь, умна или глупа... Эти Станкевичи недалекіе сосѣди твоего милѣйшаго кузена Алексѣя Мещерскаго, и Натали говорит, что он что-то частенько стал заѣзжать к ним и жаловаться на свою холостую жизнь. Но он ей не нравится. А потом — богат, подумают, что вышла из-за денег, пожертвовала собой для родителей.

— Так, — сказал я. — Но вернемся к дѣлу. Натали, Натали, а как же наш-то с тобой роман?

— Натали нашему роману все-таки не помѣшает, — отвѣтила она. — Ты будешь сходить с ума от любви к ней, а цѣловаться будешь со мной. Будешь плакать у меня на груди от ея жестокости, а я буду тебя утѣшать.

— Но вѣдь ты же знаешь, что я давным-давно влюблен в тебя.

— Да, но вѣдь это была обычная влюбленность в кузину и притом уж слишком подколотная, ты тогда только смѣшон и скучен был. Но Бог с тобой, прощаю тебѣ твою прежнюю глупость и готова начать наш роман завтра-же, несмотря на Натали. А пока идем спать, мнѣ завтра рано вставать по хозяйству...

И она встала, запахивая халатик, взяла в прихожей почти догорѣвшую свѣчу и повела меня в мою комнату. И на порогѣ этой комнаты, радуясь и дивясь тому, чему я в душѣ дивился и радовался весь ужин, — такой счастливой удачѣ своих любовных надежд, которая вдруг выпала на мою долю у Черкасовых, я долго и жадно цѣловал и прижимал ее к притолкѣ, а она сумрачно закрывала глаза, все ниже опуская капающую свѣчу. Уходя от меня с пурпурным лицом, она погрозила мнѣ пальцем и тихо сказала:

— Только смотри теперь: завтра, при всѣх, не смѣть пожирать меня «страстными взорами»! Избавь Бог, если замѣтит что-нибудь папа. Он меня боится ужасно, а я его еще больше. Да и не хочу, чтобы Натали замѣтила что-нибудь. Я вѣдь **очень** стыдлива кое в чем, не суди пожалуйста по тому, как я веду себя с тобой. А не исполнишь моего приказанія, сразу станешь противен мнѣ...

Я раздѣлся и упал в постель с головокруженіем, но уснул сладко и мгновенно, разбитый счастьем и усталостью, совсѣм не подозрѣвая, какое великое несчастье ждет меня впереди, что шутки Сони окажутся не шутками.

Впоследствіи я не раз вспоминал как нѣкое зловѣщее предзнаменованіе, что, когда я вошел в свою комнату и чиркнул спичкой, чтобы зажечь свѣчу, на меня мягко метнулась крупная летучая мышь. Она метнулась к моему лицу так близко, что

я даже при свѣтѣ спички ясно увиделъ ея мерзкую темную бархатистость и ушастую, курносую, похожую на смерть, хищную мордочку, потомъ с гадким трепетаніемъ нырнула в черноту открытого окна. Но тогда я тотчасъ забылъ о ней.

II

В первый разъ я видѣлъ Натали на другой день утромъ только мелькомъ: она вдругъ вскочила из прихожей в столовую, глянула, — была еще не причесана и в одной легкой распашенкѣ из чего-то оранжеваго, — и, сверкнувъ этимъ оранжевымъ, золотистой яркостью волосъ и черными глазами, быстро исчезла. Я былъ в ту минуту в столовой одинъ, только что кончилъ пить кофе и, вставъ из-за стола, случайно обернулся...

Я проснулся в то утро довольно рано, в еще полной тишинѣ всего дома. В домѣ было столько комнатъ, что я иногда путался в нихъ. Я проснулся в какой-то дальней комнатѣ, окнами в тѣневую часть сада, крѣпко выспавшись, с удовольствіемъ вымылся, одѣлся во все чистое, — особенно пріятно было надѣть новую косоворотку краснаго шелка, — покрасивше причесалъ свои черные мокрые волосы, подстриженные вчера в Воронежѣ, вышелъ в корридоръ, повернулъ в другой и оказался передъ дверью в кабинетъ и вмѣстѣ спальню улана. Зная, что онъ встаетъ лѣтомъ часовъ в пять, постучался. Никто не отвѣтилъ, и я отворилъ дверь, заглянулъ и с удовольствіемъ убѣдился в неизмѣнности этой старой просторной комнаты с тройнымъ итальянскимъ окномъ под столѣтній серебристый тополь: налѣво вся стѣна в дубовыхъ книжныхъ шкапахъ, между ними в одномъ мѣстѣ высѣяты часы краснаго дерева с мѣднымъ диском неподвижнаго маятника, в другомъ стоитъ цѣлая куча трубокъ с бисерными чубуками, а надъ ними виситъ огромный барометръ, в третьемъ вдвинуто бюро дѣдовскихъ временъ с порыжѣвшимъ зеленымъ сукномъ откинутой доски орѣховаго дерева, а на сукнѣ клещи, молотки, гвозди, мѣдная подозрительная труба; на стѣнѣ возлѣ двери, надъ стопудовымъ деревяннымъ диваномъ, цѣлая галерея вышвѣтшихъ портре-

тов в овальных рамках; под окном письменный стол и глубокое кресло — то и другое тоже огромных размѣров и дѣдовской старины; правѣе, над широчайшей дубовой кроватью, картина во всю стѣну: почернѣвшій лаковый фон, на нем еле видные клубы смугло-дымчатых облаков и зеленовато-голубых поэтических деревьев, а на переднем планѣ блещет точно окаменѣвшим яичным бѣлком голая дородная красавица чуть не в натуральную величину, стоящая в полуоборог к зрителю гордым лицом и всѣми выпуклостями полновѣсной спины, крутого зада и тыла могучих ног, соблазнительно прикрывая удлинненными разставленными пальцами одной руки сосок груди, а другой низ живота в жирных складках. Оглянув все это, я услышал сзади себя сильный голос улана, с костылем подходившаго ко мнѣ из прихожей:

— Нѣтъ, братец, меня в эту пору в спальнѣ не найдешь. Это вѣдь вы валяетесь по кроватям до трех дубов.

Я поцѣловал его широкую сухую руку и спросил:

— Каких дубов, дядя?

— Так мужики говорят, — отвѣтил он, мотая сѣдым коком и оглядывая меня желтыми глазами, зоркими и умными. — Солнце на три дуба поднялось, а ты все еще мордой в подушкѣ, говорят мужики. Ну, пойдем пить кофе...

«Чудесный старик, чудесный дом», думал я, входя за ним в столовую, в открытыя окна которой глядѣла зелень утренняго сада и все лѣтнее благополучіе деревенской усадьбы. Служила старая нянька, маленькая и горбатая, улан пил из толстаго стакана в серебряном подстаканникѣ крѣпкій чай со сливками, я, глядя, как он пьет, придерживая в стаканѣ широким пальцем тонкое и длинное витое стебло круглой золотой старинной ложечки, ѣл ломоть за ломтем черный хлѣб с маслом и все подливал себѣ из горячаго серебрянаго кофейника; улан, интересуясь только собой, ни о чем не спросив меня, рассказывал о сосѣдях помѣщиках, на всѣ лады браня и высмѣивая их, я притворялся, что слушаю, глядѣл на его усы, баки, на крупные волосы на концѣ носа, а сам так ждал Натали и Сою, что не сидѣлось на мѣстѣ: что это за

Натали и как это мы встрѣтимся с Соней послѣ вчерашняго? Чувствовал к ней восторг, благодарность, порочно думал о спальнях ея и Натали, обо всем том, что дѣлается в утреннем безпорядкѣ женской спальни... Может, Соня сказала Натали что-нибудь о нашей начавшейся вчера любви? Если так, то я чувствую нѣчто вродѣ любви и к Натали, и не потому, что она будто бы красавица, а потому, что она уже стала нашей с Соней тайной соучастницей, — отчего же нельзя любить двух? Вот онѣ сейчас войдут во всей своей утренней свѣжести, увидят меня, мою грузинскую красоту и красную косоворотку, заговорят, засмѣются, сядут за стол, красиво наливая из этого горячаго кофейника — молодой утренній аппетит, молодое утреннее возбужденіе, блеск выпавшихся глаз, легкой налет пудры на как будто еще болѣе помолодѣвших послѣ сна щеках и этот смѣх за каждым словом, не совсѣм естественный и тѣм болѣе очаровательный... А перед завтраком онѣ пойдут по саду к рѣкѣ, будут раздѣваться в купальнѣ, освѣщаемыя по голому тѣлу сверху синевой неба, а снизу отблеском прозрачной воды... Воображеніе всегда было живо у меня, я мысленно видѣл, как Соня и Натали станут, держась за перила лѣсенки в купальнѣ, неловко сходить по ея ступенькам, погруженным в воду, мокрым, холодным, скользким от противнаго зеленого бархата слизи, выросшей на них, как Соня, откинув назад свою густоволосую голову, рѣшительно упадет вдруг на воду поднятыми грудями — и, вся странно видная в водѣ голубовато-мѣловым тѣлом, косо разведет в разныя стороны углы рук и ног совсѣм как лягушка...

— Ну, до обѣда, ты вѣдь помнишь: обѣд в двѣнадцать, — отрицательно качая головой, сказал улан и встал со своим пробритым подбородком, в бурых усах, соединенных с такими же баками, высокій, старчески твердый, в просторном чесучевом костюмѣ и тупоносых башмаках, с костью в широкой рукѣ, покрытой гречкою, потрепал меня по плечу и скорым шагом ушел. И вот тут-то, когда я тоже встал, чтобы выйти через сосѣдную комнату на балкон, она и вскочила,

мелькнула и скрылась, сразу поразив меня радостным восхищеніем. Я вышел на балкон изумленный: в самом дѣлѣ красавица! — и долго стояла там, как бы собираясь с мыслями. Я так ждал их в столовую, но, когда наконец услышал их в столовой с балкона, вдруг сбѣжал в сад, — охватил какой-то страх не то перед обѣими, с одной из которых я имѣлъ уже плѣнительную тайну, не то больше всего перед Натали, перед тѣм мгновенным, чѣм она ослѣпила меня в своей быстротѣ. Я походил по саду, лежавшему, как и вся усадьба, в рѣчной низменности, наконец преодолѣлъ себя, вошел с напускной простотой и встрѣтил веселую смѣлость Сони и милую шутку Натали, которая с улыбкой вскинула на меня из черных рѣсниц сіяющую черноту своих глаз, особенно поразительную при свѣтѣ ея волос:

— Мы уже видѣлись!

Потом мы стояли на балконѣ, облокотясь на каменную баллюстраду, с лѣтним удовольствіем чувствуя, как горячо печет нам раскрытыя головы, и Натали стояла возлѣ меня, а Соня, обнявъ ее и будто разсѣянно глядя куда-то, с усмѣшкой напѣвала: «Средь шумнаго бала случайно...» Потом выпрямилась:

— Ну, купаться! В первую очередь мы, потом пойдешь ты...

Натали побѣжала за простынями, а она задержалась и шепнула мнѣ:

— Изволь с нынѣшняго дня притворяться, что ты влюбился в Натали. И берегись, если окажется, что тебѣ притворяться не надо.

И я чуть не отвѣтил с веселой дерзостью, что да, уже не надо, и вмѣстѣ с тѣм поспѣшно и горячо пробормотал:

— Хорошо, хорошо. Но только, ради Бога, зайди ко мнѣ перед уходом хоть на секунду.

Она отвѣтила, качнув головой:

— Нѣтъ, я ошиблась, — ты глуп. Приду послѣ обѣда.

Когда онѣ вернулись, пошел в купальню я — сперва по длинной березовой аллеѣ, потом среди разных старых деревь-

ев прибрежья, гдѣ тепло пахло рѣчной водой и орали на вершинах грачи, шел и опять думал с двумя совершенно противоположными чувствами о Натали и о Сонѣ, о том, что я буду купаться в той-же водѣ, в которой только что купались онѣ...

Послѣ обѣда среди всего того счастливаго, безцѣльнаго, привольнаго и спокойнаго, что глядѣло из сада в открытыя окна, — небо, зелень, солнце, — послѣ долгаго обѣда с окрошкой, жареными цыплятами и малиной со сливками, за которым я тайнѣ замирал от присутствія Натали и от ожиданія того часа, когда затихнет весь дом на послѣобѣденное время, и Соня (вышедшая к обѣду с темнокрасной бархатистой розой в волосах) тайком приѣжит ко мнѣ, чтобы продолжить вчерашнее уже не на-спѣх и не как нибудь, я тотчас ушел в свою комнату и притворил сквозные ставни, стал ждать ее, лежа на турецком диванѣ, слушаю жаркую тишину усадьбы и уже томное пѣніе птиц в саду, из котораго шел в ставни сладкій от цвѣтов и трав воздух, и безвыходно думал: как же мнѣ теперь жить в этой двойственности — в тайных свиданіях с Соней и рядом с Натали, одна мысль о которой уже охватывает меня таким чистым любовным восторгом, страстной мечтой глядѣть на нее только с тѣм радостным обожаніем, с которым я давеча глядѣл на ея тонкій склоненный стан, на острые дѣвичьи локти, которыми она, полустоя, опиралась на нагрѣтый солнцем старый камень баллюстрады? Соня, облокотясь рядом с ней и обняв ее за плечо, была в своем батистовом пеньюарѣ с оборками похожа на только что вышедшую замуж молодую женщину, а она, в холстинковой юбочкѣ и вышитой малороссійской сорочкѣ, под которыми угадывалось все юное совершенство ея сложенія, казалась чуть не подростком. В томто и была высшая радость, что я даже помыслить не смѣл о возможности поцѣловать ее с тѣми же чувствами, с какими цѣловал вчера Соню. В легком и широком рукавѣ сорочки, вышитой по плечам красным и синим, была видна ея тонкая рука, к сухо-золотистой кожѣ которой прилегали рыжеватые волоски, — я глядѣл и думал: что испытал бы я, если бы по-смѣл коснуться их губами! И, чувствуя мой взгляд, она вски-

нула на меня блестящую черноту глаз и всю свою яркую головку, обвитую плетью довольно крупной косы. Я отошел и поспѣшно опустил глаза, увидав ее ноги сквозь просвѣчивающей на солнцѣ подол юбки и тонкія, крѣпкія, породистыя шиколки в сѣром прозрачном шелкѣ.

Соня, с розой в волосах, быстро отворила и затворила дверь, тихо воскликнула: «Как, ты спал!» Я вскочил — что ты, что ты, мог ли я спать! — и схватил ее руки. «Запри дверь на ключ...» Я кинулся к двери, она сѣла на диван, закрывая глаза, — «ну, иди ко мнѣ» — и мы сразу потеряли всякій стыд и рассудок. Мы не проронили почти ни слова за эти минуты, и она, во всей прелести своего жаркаго тѣла, позволяла цѣловать себя всюду — только цѣловать — и все сумрачнѣй закрывала глаза, все больше разгоралась лицом. И опять, уходя и поправляя волосы, шепотом пригрозила:

— А что до Натали, то повторяю: берегись перейти за притворство. Характер у меня вовсе не такой милый, как можно думать!

Роза валялась на полу. Я спрятал ее в стол, и к вечеру ее темнокрасный бархат стал вялым и лиловым.

III

Жизнь моя пошла внѣшне обыденно, но внутренно я не знал ни минуты покоя, все больше и больше привязываясь к Сонѣ, к сладкой привычкѣ изнурительно-страстных свиданій, с ней по ночам, — она теперь приходила ко мнѣ только поздно вечером, когда весь дом засыпал, — и все мучительнѣе и восторженнѣе слѣдя тайком за Натали, за каждым ея движеніем. Все шло обычным лѣтним порядком: встрѣчи утром, купанье перед обѣдом и обѣд, потом отдых по своим комнатам, потом сад, — онѣ что-нибудь вышивали, сидя в березовой аллеѣ и заставляя меня читать вслух Гончарова, или варили варенье на тѣнистой полянѣ под дубами, недалеко

от дома, вправо от балкона; в пятом часу чай на другой полянѣ, влѣво, вечером прогулки или крокет на широком дворѣ перед домом, — я с Натали против Сони или она с Натали против меня, — в сумерки ужин в столовой... Послѣ ужина улан уходил спать, а мы еще долго сидѣли в темнотѣ на балконѣ, мы с Соней шутя и куря, а Натали молча. Наконец Соня говорила: «Ну, спать!» — и, простясь с ними, я шел к себѣ, с холодѣющими руками ждал того завѣтного часа, когда весь дом станет темен и так тих, что слышно, как непрерывно тикающей ниточкой бѣгут карманные часы у моего изголовья под нагорѣвшей свѣчей, и все дивился, ужасался: за что так наказал меня Бог, за что дал сразу двѣ любви, такія разныя и такія страстныя, такую мучительную красоту обожанія Натали и такое тѣлесное упоеніе Соней — да и не только тѣлесное: она уже влюблялась в меня, все больше влюблялся в нее и я, чувствовал, что вот-вот мы не выдержим нашей неполной близости, что она вдруг даст мнѣ все и что я совсѣм сойду тогда с ума от ожиданія наших ночных встрѣч и от ощущенія их потом весь день, и все это рядом с Натали! Соня уже ревновала, грозно вспыхивала иногда, а вмѣстѣ с тѣм наединѣ говорила мнѣ:

— Боюсь, что мы с тобой за столом и при Натали не достаточно просты. Папа, мнѣ кажется, начинает что-то замѣчать, Натали тоже, а нянька, конечно, уже увѣрена в нашем романѣ и небось наушничает папѣ. Сиди побольше в саду с Натали вдвоем, читай ей этот несносный «Обрыв», уводи ее иногда гулять по вечерам... Это ужасно, я вѣдь замѣчаю, как идиотски ты пялишь на нее глаза, временами чувствую к тебѣ ненависть, готова, как какая-нибудь Одарка, вцѣпиться при всѣх тебѣ в волосы, да что же мнѣ дѣлать?

Ужаснѣе всего было то, что, как мнѣ казалось, начала не то страдать, не то негодовать, чувствовать, что что-то есть между мной и Соней тайное, Натали. Она, и без того молчаливая, становилась все молчаливѣе, играла в крокет или вышивала излишне пристально. Мы как будто привыкли друг к другу, сблизились, но вот я как-то пошутил, сидя с

ней вдвоем в гостиной, гдѣ она перелистывала ноты, полулежа на диванѣ:

— А я слышал, Натали, что, может быть, мы с вами породнимся.

Она рѣзко глянула на меня:

— Как это?

— Мой кузэн, Алексѣй Николаевич Мещерскій...

Она не дала мнѣ договорить:

— Ах, вот что! Ваш кузэн, этот упитанный, весь заросшій черными блестящими волосами, картавящій великан с красным сочным ртом... И кто дал вам право на подобные разговоры со мной?

Я испугался:

— Натали, Натали, за что вы так строги ко мнѣ! Даже пошутить нельзя! Ну, простите меня, — сказал я, беря ея руку.

Она не отняла руки и сказала:

— Я до сих пор не понимаю вас... не знаю вас... Но довольно об этом...

Чтобы не видать ея томительно влекущих теннисных бѣлых башмачков, вкось подобранных на диванѣ, я встал и вышел на балкон. Заходила из-за сада туча, тускнѣл воздух, все шире и ближе шел по саду мягкій лѣтній шум, сладко дуло полевым дождевым вѣтром, и меня вдруг так сладко, молодо и вольно охватило какое-то безпричинное, на все согласное счастье, что я крикнул:

— Натали, на минутку!

Она подошла к порогу:

— Что?

— Вздохните — какой вѣтер! Какой радостью могло-бы быть все!

Она помолчала:

— Да.

— Натали, как вы неласковы со мной! Вы что-то имѣете против меня?

Она взглянула на меня гордо и строго:

— Что и почему я могу имѣть против вас?

Вечером, лежа в темнотѣ в плетеных креслах на балконтѣ, мы всѣ трое молчали, — звѣзды только кое-гдѣ мелькали в темных облаках, слабо тянуло со стороны рѣки вялым вѣтром, там дремотно журчали лягушки.

— К дождю, спать хочется, — сказала Соня, подавляя зѣвок. — Нянька сказала, родился молодой мѣсяц и теперь с недѣлю будет «обмываться». — И помолчав, добавила: — Натали, что вы думаете о первой любви?

Натали твердо откликнулась из темноты:

— Я о любви еще почти ничего не знаю, в одном убѣждена: в различіи первой любви юноши и дѣвушки.

Соня подумала:

— Ну, и дѣвушки бывают разными...

И рѣшительно встала:

— Нѣтъ, спать, спать!

Из желанія, чтобы Соня поскорѣе пришла ко мнѣ, я поспѣшил сказать:

— Да, ляжем пораньше, очень, правда, клонит ко сну, и лягушки эти, конечно, к дождю... Пойду и я...

— А я еще подремлю тут, мнѣ ночь нравится, сказала Натали.

Я прошептал, слушая удаляющіеся шаги Сони:

— Что-то нехорошо говорили мы нынче с вами. Будьте со мной добрѣе!

Она отвѣтила:

— Да, да, мы нехорошо говорили. Да, надо быть проще и добрѣе...

На другой день мы встрѣтились как будто спокойно. Ночью шел тихій дождь, но утром погода разгулялась, послѣ обѣда опять стало сухо и жарко. Перед чаем в пятом часу, когда Соня дѣлала какіе-то хозяйственные подсчеты в кабинетѣ улана, мы сидѣли в березовой аллеѣ и пытались продолжать чтеніе вслух «Обрыва». Она, наклонясь, что-то шила, мелькая правой рукой, я читал и от времени до времени с сладкой тоской взглядывал на ея лѣвую руку, видную в ру-

кавѣ, на рыжеватые волосы, прилежавшіе к ней выше кисти и на такіе-же там, гдѣ ея шея переходила в плечо, и читал все оживленнѣе, не понимая ни слова. Наконец сказал:

— Ну, теперь почитайте вы...

Она разогнулась, под тонкой сорочкой обозначились точки ея груди, отложила шитье и, опять наклонясь, низко опутив свою странную и чудесную голову и показывая мнѣ затылок и начало плеча, положила книгу на колѣни, стала читать скорым и невѣрным голосом. Я глядѣл на ея поджатые руки, на колѣни под книгой, думал: «Она показалась мнѣ подростком оттого, что ходит в этих мягких тенисных башмачках», и изнемогал от неистовой любви к звуку ея голоса. В разных мѣстах предвечерняго сада вскрикивали налету иволги, против нас высоко висѣл, прижавшись к стволу сосны, одиноко росшей в аллеѣ среди берез, красновато-сѣрый дятел...

— Натали, какой удивительный цвѣт волос у вас! А коса немного темнѣе, цвѣта спѣлой кукурузы...

Она продолжала читать.

— Натали, дятел, посмотрите!

Она взглянула вверх:

— Да, да, я его уже видѣла, и нынче видѣла, и вчера видѣла... Не мѣшайте читать.

Я помолчал, потом снова:

— Посмотрите, как это похоже на засохших сѣрых червячков.

— Что, гдѣ?

Я указал ей на скамью между нами, на засохшій птичій известковый помет:

— Правда?

И взял и сжал ея руку, бормоча и смѣясь от счастья:

— Натали, Натали!

Она тихо и долго поглядѣла на меня, потом недоумѣнно выговорила:

— Но вы же любите Соню!

Я покраснѣл, как пойманный мошенник, но с такой горя-

чей поспѣшностью отрекся от Сони, что она даже слегка раскрыла губы:

— Это неправда?

— Неправда, неправда! Я ее очень люблю, но как сестру, вѣдь мы знаем друг друга с дѣтства!

IV

На другой день она не вышла ни утром ни к обѣду — «Соня, что с Натали?» — спросил улан, и Соня отвѣтила, нехорошо засмѣявшись:

— Лежит все утро в распашенкѣ, нечесанная, по лицу видно, что ревѣла, принесли ей кофе — не допила... Что такое? «Голова болит.» — Уж не влюбилась-ли!

— Очень просто, — сказал улан бодро, с одобрительным намеком взглянув на меня, но отрицая головой.

Вышла она она только к вечернему чаю, но вошла на балкон легко и живо, улыбнулась мнѣ привѣтливо и как будто чуть виновато, удивив меня этой живостью, улыбкой и нѣкоторой новой нарядностью: волосы убраны туго, спереди немного подвиты, волнисто тронуты щипцами, платье другое, из чего-то почти прозрачнаго зеленаго, шѣльное, очень простое и очень ловкое, особенно в перехватѣ на талии, туфельки черные, на высоких каблучках, — я внутренно ахнул от новаго восторга. Я, сидя на балконѣ, просматривал «Историческій Вѣстник», нѣсколько книг котораго дал мнѣ улан, когда она вдруг вошла с этой живостью и нѣсколько смущенной привѣтливостью:

— Добрый вечер. Идем чай пить. Сегодня за самоваром я. Соня нездорова.

— Как? То вы, то она?

— У меня просто слегка болѣла голова с утра. Стыдно сказать, только сейчас привела себя в порядок...

— До чего удивительно это зеленое при ваших глазах и волосах! — сказал я. И вдруг спросил, краснѣя:

— Вы вчера мнѣ повѣрили?

Она тоже покраснѣла — тонко и ало — и отвернулась:

— Не сразу, не совсѣм. Потом вдруг сообразила, что не мнѣ дѣло до ваших с Соней чувств? Вѣдь тут мнѣ было не-пріятно только то, что она сестра вам... Но идем...

К ужину вышла и Соня и улучила минуту сказать мнѣ:

— Я заболѣла. У меня это проходит всегда очень тяжело, дней пять лежу. Нынче еще могла выйти, а завтра нѣтъ. Веди себя умно без меня. Я тебя страшно люблю и ужасно ревную.

— Неужто даже не заглянешь нынче ко мнѣ?

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ...

Это было и счастье и несчастье: пять дней полной свободы с Натали и пять дней не видать по ночам у себя Сони!

С недѣлю правила домом, всѣм распоряжалась, ходила в бѣлом передничкѣ через двор в поварскую Натали — я никогда еще не видал ее такой дѣловитой, видно было, что роль замѣстительницы Сони и заботливой хозяйки доставляет ей истинное удовольствіе и что она как будто отдыхает от тайной внимательности к тому, как мы с Соней говорим, переглядываемся. Всѣ эти дни, пережив за обѣдом сперва тревогу, все-ли хорошо, а потом довольство, что все хорошо и старик повар и Христя, хохлушка горничная, приносили и подавали во время, не раздражая улана, она послѣ обѣда уходила к Сонѣ, куда меня не пускали, и оставалась у ней до вечерняго чая, а послѣ ужина весь вечер. Оставаться со мной наединѣ она, очевидно, избѣгала и я недоумѣвал, скупал и страдал в одиночествѣ. Почему стала ласкова, а избѣгает? Боится Сони или себя, своего чувства ко мнѣ? И страстно хотѣлось вѣрить, что себя, и я упивался все крѣпнущей мечтой: не на вѣк-же я связан с Соней, не вѣк-же мнѣ — да и Натали — гостить тут, через недѣлю-другую я все равно должен буду ѣхать — и тогда конец моим мученіям... найду предлог поѣхать познакомиться со Станкевичами, как только Натали вернется домой... Уѣхать от Сони да еще с

обманом, с этой тайной мечтой о Натали, с надеждой на ея любовь и руку, будет, конечно, очень больно, — развѣ с одной только страстью цѣлую я Соню, развѣ я не люблю и ее? — но что-же дѣлать, этого, рано или поздно, все равно не избѣжишь... И непрестанно думая так, в непрестанном душевном волненіи, в ожиданіи чего-то, я старался вести себя с Натали как можно сдержаннѣе, милѣе, расположить ее к себѣ выказываніем своих наилучших качеств — и терпѣть, терпѣть до поры до времени. Я страдал, скучал, — как нарочно дня три шел дождь, мѣрно бѣжал, стучал тысячами лапок по крышѣ, в домѣ было сумрачно, на потолокъ и на лампѣ в столовой спали мухи, — но крѣпился, по часам сидѣлъ иногда в кабинетѣ улана, слушая его всякіе рассказы...

Соня начала выходить сперва в халатикѣ, на час, на два, с томной улыбкой к своей слабости, ложилась на балконѣ в кресло и, к моему ужасу, говорила со мной капризно и не в мѣру нѣжно, не стѣсняясь присутствіем Натали:

— Посиди возлѣ меня, Витик, мнѣ больно, мнѣ грустно, расскажи что-нибудь смѣшное... Мѣсяц-то и правда обмывался, да уж обмылся, кажется; опять распогодилось и как сладко пахнет цвѣтами...

Я, втайнѣ раздражаясь, отвѣчал:

— Раз цвѣты сильно пахнут, будет опять обмываться.

Она била меня по рукѣ:

— Не смѣй возражать больной!

Наконец стала выходить и к обѣду и к вечернему чаю, только еще блѣдная и приказывая подавать себѣ кресло. Но к ужину и на балкон послѣ ужина еще не выходила. И раз Натали сказала мнѣ послѣ вечерняго чая, когда она ушла к себѣ и Христа понесла со стола самовар в поварскую:

— Соня сердится, что я все сижу возлѣ нея, что вы все один и один. Она еще не совѣм поправилась, а вы без нея скучаете.

— Я скучаю только без вас, — отвѣтил я. — Когда вас нѣтъ...

Она изменилась в лицѣ, но справилась, с усиленіем улыбнулась:

— Но мы же условились не ссориться больше... Послушайте лучше вот что: вы засидѣлись дома, пойдите погуляйте до ужина, а потом я посижу с вами в саду, предсказанія насчет мѣсяца, слава Богу, не сбылись, ночь будет прекрасная...

— Сонѣ меня жаль, а вам? Нисколько?

— Страшно жаль, — отвѣтила она и неловко засмѣялась, ставя на поднос чайную посуду. — Но, слава Богу, Соня уже здорова, скоро не будете скучать...

При словах «а вечером я посижу с вами» сердце у меня сжалось сладко и таинственно, но я тотчас подумал: да нѣтъ! это просто только ласковое слово! Я пошел к себѣ и долго лежал, глядя на потолок. Наконец встал, взял в прихожей картуз и чью-то палку и безсознательно вышел из усадьбы на широкій шлях, пролегавшій между усадьбой и хохлацкой деревней, немного выше ея, на степном голом взгорьи. Шлях вел в пустыя, вечернія поля. Всюду было холмисто, но просторно, далеко видно. Слева от меня лежала рѣчная низменность, за ней слегка поднимались к горизонту тоже пустыя поля, там только что сѣло солнце, горѣл закат. Справа краснѣл против него правильный ряд бѣлых одинаковых хат точно вымершей деревни, и я с тоской смотрѣл то на закат, то на них. Когда повернул назад, навстрѣчу тянуло то теплым, то почти горячим вѣтром и уже свѣтил в небѣ молодой мѣсяц, блестѣла половина его, не сулившая ничего добраго: как прозрачная паутина, видна была и другая половина, а все вмѣстѣ напоминало жолудь.

За ужином — ужинали на этот раз тоже в саду, в домѣ было жарко, — я сказал улану:

— Дядя, что вы думаете о погодѣ? Миѣ кажется, завтра будет дождь.

— Почему, мой друг?

— Я только что ходил в поле, с грустью думал, что скоро покину вас...

— Это почему?

Натали тоже вскинула на меня глаза:

— Вы собираетесь уѣзжать?

Я притворно засмѣялся:

— Не могу-же я...

Улан особенно энергично закачал головой, на этот раз кстати:

— Вздор, вздор! Папа и мама могут еще потерпѣть разлуку с тобой. Раньше двух недѣль я тебя не отпущу. Да вот и она не отпустит.

— Я не имѣю никаких прав на Виталія Петровича, — сказала Натали.

Я жалобно воскликнул:

— Дядя, запретите Натали называть меня так!

Улан хлопнул ладонью по столу:

— Запрещаю. И довольно болтать о твоём от'ѣздѣ. Вот насчет дождя ты прав, вполне возможно, что погода опять испортится.

— В полѣ было уж слишком чисто, ясно, — сказал я. — И мѣсяц очень чист и похож на жолудь и дуло с юга. И вот видите, уже находят облака...

Улан повернулся, посмотрѣл в сад, гдѣ то мерк, то разгорался лунный свѣтъ:

— Из тебя, Виталій, выйдет отличный Брюс...

Когда он ушел, я еще посидѣл за столом, глядя, как Натали молча помогает Христѣ, уносившей посуду в поварскую. Потом, глупо ухмыляясь, стал декламировать:

А вчера у окна ввечеру
Долго, долго сидѣла она
И слѣдила по тучам игру,
Что, скользя, затѣвала луна...

— Да вы поэт! — с неприязненной усмѣшкой сказала Натали и пошла по свѣтлому двору в поварскую.

В десятом часу она вышла на балкон, гдѣ я сидѣл, ожидая ее, в уныніи думая: да, все это вздор, если у нея и есть

какія-то чувства ко мнѣ, то совѣм не серьезныя, перемѣнчивыя, мимолетныя... Молодой мѣсяц играл все выше и ярче в горах все больше скопившихся облаков, дымчато-бѣлых, величаво загромождавших небо, и когда выходил из за них своей бѣлой половинкой, похожей на человѣческое лицо в профиль, яркое и мертвенно-блѣдное, все озарялось, заливалось фосфорическим свѣтом. Вдруг я оглянулся, почувствовал что-то: Натали стояла на порогѣ, заложив руки за спину, молча глядя на меня. Я встал, она безразлично спросила:

Вы еще не спите?

— Но вы же мнѣ сказали...

— Простите, я очень устала нынче. Пройдемтесь по аллеѣ и я пойду спать.

Я пошел за ней, она приостановилась на ступенькѣ балкона, глядя на вершины сада, из-за которых уже клубами туч поднимались облака, подергиваясь, сверкая беззвучными молніями. Потом вошла под длинный прозрачный навѣс березовой аллеи, в пятна свѣта и тѣни. Равняясь с ней, я сказал, чтобы сказать что-нибудь:

— Как волшеббно блестят вдали березы. Нѣтъ ничего страннѣе и прекраснѣе внутренней лѣса в лунную ночь и этого бѣлаго шелкового блеска березовых стволов в его глубинѣ...

Она остановилась, в упор мнѣ чернѣя в сумракѣ глазами:

— Вы правда уѣзжаете?

— Да, пора.

— Но почему так сразу и скоро? Я не скрываюсь: вы меня давеча поразили, сказав, что уѣзжаете.

— Натали, можно мнѣ приѣхать представиться вашим, когда вы вернетесь домой?

Она промолчала. Я взял ея руки, поцѣловал, весь замирая, правую.

— Натали...

— Да, да, я вас люблю — сказала она, поспѣшно и невыразительно.

Я взял ее за талию, она отклонила голову, я коснулся ее рта. Она не отвѣтила ни малѣйшим движеніем губ, я уронил руки, и она пошла назад, к дому. Я лунатически пошел за ней.

— Уѣзжайте завтра-же, — сказала она на ходу, не оборачиваясь. — Я вернусь домой через нѣсколько дней.

V

Войдя к себѣ, я, не зажигая свѣчи, сѣл на диван и застыл, оцѣпенѣл в том страшном и дивном, что так внезапно и неожиданно совершилось в моей жизни. Я сидѣл, потеряв всякое представленіе о мѣстѣ и времени. Комната и сад уже потонули в темнотѣ от туч, в саду, за открытыми окнами, все шумѣло, трепетало, и меня все чаще и ярче озаряло быстрым и в ту-же секунду исчезающим зелено-голубым пламенем. Быстрота и сила этого безгромаго свѣта все увеличивались, потом комната озарилась вдруг до неправдоподобной видимости, на меня понесло свѣжим вѣтром и таким шумом сада, точно его охватил ужас: вот оно, загорается земля и небо! Я вскочил, с трудом закрыл одно за другим окна, преодолевая трепавшій меня вѣтер, и на цыпочках побѣжал по темным коридорам в столовую: мнѣ, казалось бы, было в тот час не до раскрытых окон в столовой и гостиной, гдѣ буря могла перебить стекла, но я все-таки побѣжал и даже с большой озабоченностью. Всѣ окна в столовой и гостиной оказались закрыты — я увидел это в том зелено-голубом озареніи, в цвѣтѣ, яркости и силѣ котораго было по-истинѣ что-то неземное, сразу раскрывавшее всюду, точно быстрые глаза, и дѣлавшее огромными и видимыми до послѣдняго переплета всѣ оконныя рамы, а затѣм тотчас же все затоплявшее густым мраком, на секунду оставляя в ослѣпшем зрѣніи слѣд чего-то жестяного, потом краснаго. Когда же ошупью поспѣшил назад, — непонятно, почему я не зажег свѣчу и не побѣжал в столовую с ней, — вѣрно, в согласіи с тѣм таинственным, что

творилось вокруг дома, — когда быстро, точно боясь, не случилось ли чего там без меня, вошел в свою комнату, из темноты послышался сердитый шопот:

— Гдѣ ты был? Мнѣ страшно, зажги скорѣй огонь...

Я чиркнул спичкой и увидѣл сидѣвшую на диванѣ Соню в одной ночной рубашкѣ, в туфлях на босу ногу.

— Или нѣтъ, нѣтъ, не надо, — поспѣшно сказала она, — иди скорѣе ко мнѣ, обними меня, я боюсь...

Я покорно сѣлъ и обнял ее за холодныя плечи. Она зашептала:

— Ну поцѣлуй же меня, поцѣлуй, я цѣлую недѣлю не была с тобой!

И с силой откинула меня и себя на подушки дивана:

— Возьми, возьми меня совсѣм! Я больше не могу!

И в ту же минуту на порогѣ растворенной двери появилась Натали в своей распашенкѣ, со свѣчей в рукѣ. Она сразу увидала нас, но все-таки бессознательно крикнула тѣ приготовленныя слова, с которыми выбѣжала из своей спальни:

— Соня, гдѣ ты? Я страшно боюсь...

И тотчас же исчезла. Соня кинулась вслѣд за ней.

VI

Через год она вышла за Мещерскаго. Вѣнчали ее в его Благодатном при пустой церкви — и мы и прочіе родные и знакомые с его и с ея стороны получили только извѣщенія о свадьбѣ. И обычных послѣ свадьбы визитов молодые не дѣлали, тотчас уѣхали в Крым.

В январѣ слѣдующаго года, в Татьянин день, был бал воронежских студентов в Благородном Собраніи в Воронежѣ. Я проводил святки дома, нарочно остался в деревнѣ до бала и пріѣхал в тот вечер в город. Поѣзд пришел весь бѣлый, дымящійся снѣгом от вьюги, по дорогѣ со станціи и в городѣ, пока извозищы санки несли меня в Дворянскую гостиницу, едва видны были мелькавшіе сквозь вьюгу огни фонарей, но послѣ деревни эта городская вьюга и городскіе сгни возбуж-

дали, сулили близкое удовольствіе войти в теплый, слишком даже теплый номер старой губернской гостиницы, спросить самовар и начать переодѣваться, готовиться к долгой бальной ночи и студенческому пьянству до разсвѣта. За то время, что прошло с той страшной ночи у Черкасовых, а потом с ея замужества, я постепенно оправился, — во всяком случаѣ привык к тому состоянію душевно-больного человѣка, которым втайнѣ был, и внѣшне жил как всѣ.

Когда я пріѣхал, бал только начался, но уже полны были все прибывающим народом парадныя лѣстницы и площадка на ней, а из главной залы, с ея хор, все покрывала, заглушала полковая музыка, звучно гремя печально-торжествующими тактами вальса. Еще свѣжій с мороза, в новеньком мундирѣ и от этого не в мѣру изысканно, с излишней вѣжливостью пробираясь в толпѣ по красному ковру лѣстницы, я поднялся на площадку, вошел в особенно густую и уже горячую толпу, стѣснившуюся перед дверями залы, и зачѣм-то стал пробираться дальше с такой настойчивостью, что меня приняли, вѣрно, за распорядителя, имѣющаго в залѣ неотложное дѣло, и всячески стали помогать мнѣ. И я наконец пробрался, остановился на порогѣ, слушая разливы и раскаты оркестра над самой моей головой, глядя на сверкающую зыбь люстр и на десятки пар, разнообразно мелькавших под ними в вальсѣ, — и вдруг подался назад: из всей этой кружившейся толпы внезапно выдѣлилась для меня одна пара, быстрыми и ловкими глиссадами летѣвшая среди всѣх прочих все ближе ко мнѣ. Я отшатнулся, глядя, как он, нѣсколько сутулый в вальсированіи, велик, дороден, весь черен блестящими черными волосами и фраком и легок той легкостью, которой удивляют в танцах нѣкоторые грузные люди, и как высока она в бальной высокой прическѣ, в бальном бѣлом платьѣ и стройных золотых туфельках, кружившаяся нѣсколько откинувшись, опустив глаза, положив на его плечо руку в бѣлой перчаткѣ до локтя таким изгибом, который дѣлал руку похожей на шею лебедя. На мгновеніе черныя рѣсницы ея взмахнулись прямо на меня, чернота глаз сверкнула совѣм

близко, но тут он, ловко скользнув на лакированных носках, круто повернул ее, губы ея приоткрылись вздохом на поворотъ, — тѣ губы, которыхъ я когда-то лишь коснулся, — серебристо мелькнул подол платья, и они, удаляясь, пошли плавными глиссадами обратно. Я опять протиснулся в толпу на площадкѣ, выбрался из нея, постоял... В двери залы наискось против меня, еще совсѣм пустой и прохладной, видны были стоявшія в праздном ожиданіи за буфетом с шампанским двѣ курсистки в малороссійских нарядах, — хорошенькая блондинка и сухая, темноликая красавица казачка, чуть не вдвое выше ея ростом. Я вошел, с поклоном протянул сторублевую бумажку. Онѣ, столкнувшись головами и засмѣявшись, вытащили под стойкой из ведра со льдом тяжелую бутылку и нерѣшительно переглянулись — откупоренных бутылок еще не было. Я зашел за стойку и через минуту молодецки хлопнул пробкой. Потом весело предложил им по бокалу — *Gaudeamus igitur!* — остальное допил бокал за бокалом один. Онѣ смотрѣли на меня сперва с удивленіем, потом с жалостью:

— Ой, но вы и так страшно блѣдный!

Я допил и тотчас уѣхал. В гостиницѣ спросил в номер бутылку кавказскаго коньяку и стал пить чайными чашками, в надеждѣ, что у меня разорвется сердце.

И прошло еще полтора года. И однажды в концѣ мая, когда я опять приѣхал из Москвы домой, нарочный со станціи привез телеграмму из Благодатнаго: «Сегодня утром Алексѣй Николаевич скоропостижно скончался от разрыва сердца». Отец перекрестился и сказал:

— Царство Небесное. Какой ужас. Прости меня Боже, никогда не любил я его, но все-таки это ужасно. Вѣдь ему еще и сорока не было. И ее ужасно жаль — вдова в такіе годы, с ребенком на руках... Никогда ее не видал, — он был так мил, что даже ни разу не привез ее ко мнѣ, — но, говорят, очаровательна. Как же теперь быть? Ни я ни мама ѣхать при нашей старости за полтораста верст, конечно, не можем, надо ѣхать тебѣ...

Отказаться было нельзя, — в силу чего я мог отказаться? Да и не мог бы отказаться в том полубезуміи, в которое опять вдруг повергла меня эта удивительная вѣсть. Я одно знал: я ее увижу! Предлог для встрѣчи был страшный, но законный.

Мы послали отвѣтнуѣ телеграмму, и на второй день, майской вечерней зарею, лошади из Благодатнаго в полчаса доставили меня со станціи в усадьбу. Вѣзжая в нее по взгорью вдоль заливных лугов, я еще издали увидал, что по западной стѣнѣ дома, обращенной к еще свѣтлому закату за лугами, всѣ окна закрыты ставнями, и содрогнулся от того, что рѣшился поѣхать, — за ними лежал он и была она! Во дворѣ, густо заросшем молодой кудрявой травой, погромыхивали бубенчиками возлѣ каретнаго сарая чьи-то двѣ тройки, но не было ни души, кромѣ кучеров на козлах, — и пріѣзжіе и дворня уже стояли в домѣ на панихидѣ. Всюду была тишина деревенской майской зари, весенняя чистота, свѣжесть и новизна всего — полевого и рѣчного воздуха, этой молодой густой травы во дворѣ, густого цвѣтущаго сада, надвинувшагося на дом сзади и с южной стороны, а на низком парадном крыльцѣ, у настежь раскрытых в сѣни дверей, стоймя прислонена была к стѣнѣ большая желтая глазетовая крышка гроба. В тонком холодкѣ вечерняго воздуха сильно пахло сладким ивѣтом груш, молочно бѣлѣвших своей бѣлой густотой в юго-восточной части сада на ровном и от этой млечности матовом небосклонѣ, гдѣ горѣл один розовый Юпитер. И молодость, красота всего этого, и мысль о ея красотѣ и молодости, и о том, что она любила меня когда-то, вдруг так разорвали мнѣ сердце скорбью, счастьем и потребностью любви, что, выскочив у крыльца из коляски, я почувствовал себя точно перед пропастью — как вступить в этот дом, вновь увидеть ее лицом к лицу послѣ трех лѣт разлуки и уже вдовой, матерью! И все же я вошел в сумрак и ладан этой страшной залы, испещренной желтыми свѣчными огоньками, в черноту стоявших с этими огоньками перед гробом, наискось возвышавшимся своим возглавіем в передній угол, оза-

ренный сверху большой красной лампадой перед золотыми ризами икон, а внизу серебряным, текучим блеском трех высоких церковных свѣчей, — вошел под возгласы и пѣніе священнослужителей, с каждением и поклонами обходивших гроб, и тотчас опустил голову, чтобы не видѣть желтой парчи на гробѣ и лица покойника, пуше же всего боясь увидѣть ее. Кто-то подал мнѣ зажженную свѣчу, я взял и стал держать ее, чувствуя, как она, дрожа, грѣет и освѣщает мнѣ лицо, стянутое блѣдностью, и с тупой покорностью слушая эти возгласы и бряцаніе кадила, исподлобья видя плывущій к потолку торжественно и приторно пахнущій дым, и вдруг, подняв лицо, все-таки увидал ее, — впереди всѣх, в траурѣ, со свѣчей в рукѣ, озарявшей ее щеку и золотистость волос, — и уже, как от иконы, не мог оторвать от нея глаз. Когда все смолкло, запахло потушенными свѣчами и всѣ осторожно задвигались и пошли цѣловать ея руку, я ждал, чтобы подойти послѣдним. И, подойдя, с ужасом восторга взглянул на иноческую стройность ея черного платья, дѣлавшаго ее особенно непорочной, на чистую, молодую красоту лица, рѣсниц и глаз, тотчас же при видѣ меня опустившихся, низко, низко поклонился, цѣлуя ея руку, сказал едва слышным голосом все, что должен был сказать, слѣдуя приличію и родству, и попросил разрѣшенія тотчас же уйти и ночевать в павильонѣ в саду, в той старинной ротондѣ, в которой я ночевал еще гимназистом, пріѣзжая в Благодатное, — там была спальня Мещерскаго на жаркія лѣтнія ночи. Она отвѣтила, не поднимая глаз:

— Я сейчас распоряжусь, чтобы вас проводили туда и подали вам ужин.

Утром, послѣ отпѣванія и погребенія, я немедленно уѣхал.

Прощаясь, мы опять обмѣнялись только нѣсколькими словами и опять не глядѣли друг другу в глаза.

VII

Я кончил курс, потерял вскорѣ послѣ того почти одновременно отца и мать, поселился в деревнѣ, хозяйствовал, сошелся с крестьянской сиротой Гашей, выросшей у нас в домѣ и служившей в комнатах моей матери... Теперь она, вмѣстѣ с Иваном Лукичем, нашим бывшим дворовым, сѣдым до зелени стариком с большими лопатками, служила мнѣ. Вид она имѣла еще полудѣтскій — маленькая, худенькая, черноволосяя, с ничего не выражающими глазами цвѣта сажи, загадочно-молчаливая, будто ко всему безучастная и настолько вся темная тонкой кожей, что отец говорил: «Вот, вѣрно такая была Агарь». Мила она была безконечно, я любил носить ее на руках, цѣлуя; я думал: «вот и все, что осталось мнѣ в жизни!» и она, казалось, понимала, что я думаю. Когда она родила, — маленькаго, черненькаго мальчика, — и перестала служить, поселилась в моей прежней дѣтской, я хотѣл повѣнчаться с нею. Она отвѣтила:

— Нѣтъ, мнѣ этого не нужно, мнѣ только стыдно будет перед всѣми, какая-же я барыня! А вам зачѣм? Вы меня тогда еще скорѣй разлюбите. Вам надо поѣхать в Москву, а то вы совсѣм соскучитесь со мной. А я теперь скучать не буду, — сказала она, глядя на ребенка, который на руках у нея сосал грудь. — Поѣзжайте, поживите в свое удовольствіе, только одно помните: если влюбитесь в кого как слѣдует и женитесь задумаете, ни минутки не помедлю, утоплюсь вот вмѣстѣ с ним.

Я посмотрѣлъ на нее — ей не вѣрить было невозможно. И поник головой: да, а мнѣ вѣдь всего двадцать шесть лѣтъ... Влюбиться, жениться — этого я и представить себѣ не мог, но слова Гаши еще раз напомнили мнѣ о моей конченной жизни.

Ранней весной я уѣхал в Париж и провел там мѣсяца четыре. Возвращаясь в концѣ іюня через Москву домой, думал так: проживу осень в деревнѣ, а на зиму опять куда-нибудь

уѣду. По дорогѣ из Москвы в Тулу спокойно грустил: вот и опять я дома, а зачѣм? Вспомнил Натали — и развел руками: да, да, та любовь «до гроба», которую насмѣшливо предрекала мнѣ Соня, существует; только я уж привык к ней, вродѣ того как привыкает кто-нибудь с годами к тому, что у него отрѣзали, напримѣр, руку... И, сидя на вокзалѣ в Тулѣ в ожиданіи пересадки, послал телеграмму: «Ѣду из Москвы мимо вас, буду на вашей станціи в девять вечера, позвольте заѣхать, узнать, как вы поживаете.»

Она встрѣтила меня на крыльцѣ, — сзади нея свѣтила лампой горничная, — и с полуулыбкой протянула мнѣ обѣ руки:

— Я страшно рада!

— Как это ни странно, вы еще немного выросли, — сказал я, цѣлуя и чувствуя их уже с мученіем. И взглянул на нее на всю при свѣтѣ лампы, которую приподняла горничная и вокруг стекла которой, в мягком послѣ небольшого дождя воздухѣ, кружились мелкія розовыя бабочки: черные глаза смотрѣли теперь тверже, увѣреннѣе, вся она была уже в полном расцвѣтѣ молодой женской красоты, стройная, скромно нарядная — в платьѣ из зеленой чесучи и с таким же поясом.

— Да, я все еще расту, — отвѣтила она, грустно усмѣхаясь.

В залѣ по-прежнему висѣла в переднем углу большая красная лампада перед старыми золотыми иконами, только не зажженная. Я поспѣшил отвести глаза от этого угла и прошел за ней в столовую. Там на блестящей скатерти стоял чайник на спиртовкѣ, блестяла тонкая чайная посуда. Горничная принесла холодную телятину, пикули, высокій графинчик с водкой, бутылку лафиту. Она взялась за чайник:

— Я не ужинаю, выпью только чаю, но вы сперва покушайте... Вы сейчас из Москвы? Почему? Что ж там дѣлать лѣтом?

— Возвращаюсь из Парижа.

— Вот как! И долго там пробыли? Ах, еслиб я могла

поѣхать куда-нибудь! Но вѣдь моей дѣвочкѣ всего четвертый год... Вы, говорят, усердно хозяйствуете?

Я выпил рюмку водки, не закусывая, и попросил позволенія курить.

— Ах, пожалуйста!

Я закурил и сказал:

— Натали, не нужно вам быть со мной свѣтски любезной, не обращайтесь на меня особеннаго вниманія, я заѣхал только взглянуть на вас и опять скрыться. И не чувствуйте неловкости — вѣдь все, что было, былѣем поросло и прошло без возврата. Вы не можете не видѣть, что я опять ослѣплен вами, но теперь вас никак не может стѣснять мое восхищеніе — оно теперь безкорыстно и спокойно...

Она склонила голову и рѣсницы, — к дивной противоположности того и другого никогда нельзя было привыкнуть, — и лицо ея стало медленно розовѣть.

— Это совершенно точно, — сказал я, блѣднѣя, но крѣпнущим голосом, сам себя увѣряя, что говорю правду. — Вѣдь все-таки все на свѣтѣ проходит. Что же до моей страшной вины перед вами, то я увѣрен, что она уже давным-давно стала для вас безразлична и гораздо болѣе понятна, простибельна, чѣм прежде: вина моя была все-таки не совсѣм вольная и даже и в ту пору заслуживала снисхожденія по моей крайней молодости и по тому удивительному стеченію обстоятельств, в которое я попал. И потом, я уже достаточно наказан за эту вину — всей своей гибелью.

— Гибелью?

— А развѣ не так? Вы и до сих пор не понимаете, не знаете меня, как сказали когда-то?

Она не отвѣтила, помолчала.

— Я видѣла вас на балу в Воронежѣ... Как еще молода была я тогда и как удивительно несчастна! — Хотя развѣ бывает несчастная любовь? — сказала она, поднимая лицо и спрашивая всѣм черным раскрытіем глаз и рѣсниц. — Развѣ самая скорбная в мірѣ музыка не дает счастья? — Но раз-

скадите мнѣ о себѣ, неужели вы навсегда поселились в деревнѣ?

Я с усилием спросил:

— Значит, вы тогда меня еще любили?

— Да.

Я замолчал, чувствуя, что лицо у меня теперь уже горит огнем.

— Это правда, что я слышала... что у вас есть любовь, ребенок?

— Это не любовь, — сказал я. — Страшная жалость, нѣжность, но и только.

— Расскажите мнѣ все.

И я рассказал все — вплоть до того, что сказала Гаша, посовѣтовавши мнѣ «поѣхать, пожить в свое удовольствіе». И кончил так:

— Теперь вы видите, что я всячески погиб...

— Полноте! — сказала она, думая что-то свое. — У вас еще вся жизнь впереди. Но брак для вас, конечно, невозможен. Она, конечно, из таких, что и ребенка не пожалѣет, не то что себя.

— Не в бракѣ дѣло, — сказал я. — Бог мой! Мнѣ, жениться!

Она в раздумьи посмотрѣла на меня:

— Да, да. И как странно. Ваше предсказаніе сбылось — мы породнились. Вы чувствуете, что вѣдь вы мнѣ двоюродный брат теперь?

Мнѣ как-то никогда не приходило это в голову с полной ясностью, я впервые вдруг почувствовал это и взглянул на нее с еще болѣе острой, осложнившейся страстью. Она положила руку на руку мнѣ:

— Но вы ужасно устали с дороги, даже не притронулись ни к чему. На вас лица нѣт, довольно разговоров на сегодня, идите, постель для вас в павильонѣ приготовлена...

Я покорно поцѣловал ей руку, она позвала горничную, и та с лампой, хотя было довольно свѣтло от мѣсяца, низко стоявшаго за садом, провела меня сперва главной, потом

боковой аллеей на просторную поляну, в эту старинную ротонду с деревянными колоннами. И я сѣл у раскрытаго окна, в кресло возлѣ постели, стал курить думая: напрасно совершил я этот глупый, внезапный поступок, напрасно заѣхал, понадѣялся на свое спокойствіе, на свои силы... Ночь была необыкновенно тиха, было уже поздно. Должно быть, прошел еще небольшой дождь — еще теплѣе, мягче стал воздух. И в прелестном соответствии с этим неподвижным теплом и тишиной протяжно и осторожно пѣли вдали, в разных мѣстах села, первые пѣтухи. Свѣтлый круг мѣсяца, стоявшаго против павильона за садом, как будто замер на одном мѣстѣ, как будто выжидательно глядѣл, блестѣл среди дальних деревьев и ближних раскидистых яблонь, мѣшая свой свѣт с их тѣнями. Там, гдѣ свѣт проливался, было ярко, стеклянно, в тѣни-же пестро и таинственно. И она, в чем-то длинном, темном, шелковисто блестѣвшем, подошла к окну, тоже так таинственно, неслышно...

Потом мѣсяц сіял уже над садом и смотрѣл прямо в ротонду, и мы поочередно говорили — она, лежа на постели, я, стоя на колѣнях возлѣ и держа ее руку:

— В ту страшную ночь с молніями я любил уже только тебя одну, никакой другой страсти, кромѣ самой восторженной и чистой к тебѣ, во мнѣ не было.

— Да, я со временем все поняла. И все-таки, когда вдруг вспоминала эти молніи, тотчас воспоминанія о том, что за час перед тѣм было в аллеѣ...

— Нигдѣ в мірѣ нѣт тебѣ подобной. Когда я давеча смотрѣл на эту зеленую чесучу и на твои колѣни под нею, я чувствовал, что готов умереть за одно прикосновеніе к ней губами, только к ней. И вот я только что касался ими того самаго сокровеннаго твоего, о чем прежде даже думать не мог без сердечной дурноты.

— Все это теперь твое навѣки. Ты никогда, никогда не забывал меня всѣ эти годы?

— Забывал только так, как забываешь, что живешь, дышешь. И ты правду сказала: нѣт несчастной любви. Ах, **эта**

твоя оранжевая распашенка и вся ты, еще почти дѣвочка, мелькнувшая мнѣ в то утро, первое утро моей любви к тебѣ! Потом твоя рука в рукавѣ малороссійской сорочки. Потом наклон твоей головы, когда ты читала «Обрыв» и я бормотал: «Натали, Натали!»

— Да, да.

— А потом ты на беду — такая высокая и такая страшная в своей уже женской красотѣ, — как хотѣл я умереть в ту ночь в восторгѣ своей любви и гибели! Потом ты со свѣчей в рукѣ, твой траур и твоя непорочность в нем. Мнѣ казалось, что святой стала та свѣча у твоего лица.

— И вот ты опять со мной и уже навсегда. Но даже видѣться мы будем рѣдко — развѣ могу я, твоя тайная жена, стать твоей явной для всѣх любовницей?

В декабрѣ она умерла на Женевском озерѣ в преждевременных родах.

Ив. Бунин.

4.IV.41.

ПРЕДРАЗСВѢТНЫЙ ТУМАН

V

— Что это? — Дмитрій Михайлович вытянул из комода прозрачно-розовую паутину, перепутанную с неприятно цѣпляющимися к ногтям чулками, лентами, кружевами. — Чорт знает что такое! Гдѣ мои рубашки?

— А я почему знаю? — И Зина продолжала привычными движеніями пальцев с ярко красными ногтями раскручивать волосы, прихваченные желѣзками.

— Это же мой ящик... Сколько раз я просил тебя держать свои вещи отдѣльно.

— Не кричи пожалуйста. А если хочешь, чтобы твои вещи были в порядкѣ, найми себѣ лакея. Ты забываешь, что я должна рѣшительно все сама дѣлать. Подумаешь, какой барин... Сю минуту, Ваше Сіятельство, подам вам чистую рубашку от прачечника!

— Никто тебя не просит, но беспорядок этот твой я просто не выношу. Все разбросано, мои вещи перемѣшаны с твоими, неужели так трудно все класть на мѣсто?

— Представь себѣ, что очень трудно. Я не могу цѣлый день прибираться. У меня есть своя жизнь, свои духовныя потребности... — Зина в разговорѣ проглатывала нѣкоторыя гласныя, — «п'требности». — я и так сама себѣ стираю, г'товлю, г'скаю с б'зара продукты.

— Зина, помолчи, если можешь.

— А кто начал, князь? — Она сердито отшвырнула послѣднюю желѣзку на комод, гдѣ на подозрительной чистоты, вышитой крестиками скатерти валялись шпильки, куски окрашенной красным ваты, липстик, раскрытая коробка пуд-

ры с засаленной пуховкой, бѣлый, с полосами сѣрого сала между зубьями, гребень.

— Подай ему рубашки, приготовь токсидо, носовой платок, сам ничего не можешь найти...

— Да я только просил тебя о том, чтобы ты не лѣзла в мой ящик...

Но она его не слушала: — Нищенское существованіе, экономлю каждую копейку, работаю как послѣдняя горничная или кухарка. У других мужья хоть зарабатывают прилично, а ты...

Дмитрій Михайлович прорвал желтую бумагу с чистым, принесенным от прачечника бѣльем, достал рубашку и вышел в другую комнату. Надо было еще кое о чем подумать перед лекціей, сосредоточиться.

«Всегда забываю сказать о том, что было сдѣлано для Народного образованія в дореволюціонное время, реформы гр. Игнатъева и Временнаго правительства. Американцы совершенно убѣждены, что в Россіи было 85% безграмотных... Как об'яснить американцам, что такое земство?»

— ...если бы я только знала, что мы будем влачить это жалкое существованіе...

— Замолчи, Зина, бесплатныя земскія больницы...

Запонка не попадала в заклеившуюся крахмалом петлю.

— И подумать только, как я могла бы ш'карно зарабатывать, если бы я не бросила пѣнія...

— Подожди, дай сосредоточиться...

— Сотни раз выступал и все то же самое! Тебѣ нравится мое платье? В первый раз его одѣваю сегодня.

— Надѣваю, а не одѣваю.

— Отстань, правда ш'карное? И только 19,95 на распродажѣ, недорого, правда?

— Споры бант.

— Это еще что? Р'скошный цвѣт, и так оживляет черное.

— Сними, говорю, mauvais genre, и перчатки грязныя.

— Вэл, можешь купить мнѣ новыя, а бант мнѣ очень к лицу.

Зина выкинула вперед ногу в серебряном, с острым носком, башмакъ, подхватила спереди длинное, черное атласное платье, выгнула шею, закинула назад голову, улыбнулась, полураскрыв губы, тронула их еще раз липстиком, облизнула пальцы, провела по бровям, чуть подбила снизу вверх пушистые волосы.

— Ты готов? Подай мнѣ шубу.

— Сама возьми, я вызову такси.

Время, когда князь Ртищев получал по 200, 300 долларов за лекцію — прошло. Теперь он получал по 50, иногда даже по 35 долларов за выступленіе. Турнэ раньше давали ему около 10 тысяч в год, теперь он едва едва зарабатывал 1500 дол. С каждым годом его приглашали все рѣже и рѣже, и то только благодаря его превосходному англійскому языку, остроумію и большому знанію всего происходящаго в Россіи. Дмитрій Михайлович работал много, старался доставать откуда мог матеріалы, добросовѣстно слѣдил за совѣтскими газетами и журналами.

Зина не интересовалась содержаніем лекцій, она давно знала наизусть все то, о чем он говорил. Она ѣздила с Дмитріем Михайловичем, потому что ей нравилось играть роль, быть центром вниманія. Американскія дамы стремились с ней познакомиться, to be introduced to the princess, приглашали ее на five o'clock tea, иногда дарили ей цвѣты. Зина прекрасно усвоила свою роль, привѣтливо улыбалась и всегда старалась сказать что-нибудь пріятное. «Your dress looks so lovely, so becoming.» Слова эти: «lovely, marvelous, wonderful fine», выговаривались по разному, смотря по обстоятельствам, собеседнику, предмету разговора. Иногда они растягивались, Зина сладострастно прикрывала глаза и тянула: «perfectly looove-ly, fiine!». Иногда надо было пускать в ход стаккато, выражающее нѣкоторую долю удивленія: «wond' der' ful?»

Дмитрій Михайлович давно перестал стѣсняться на эстрадѣ. Говорил он легко, свободно, пересыпая рѣчь шутками и анекдотами. Он держал их всегда в запасѣ. Как только замѣчал недоумѣніе на лицах, один, другой зѣвок, надо было

пускать в ход что нибудь смѣшное. Волноваться нельзя было. В тѣ дни, когда тема о Россіи его слишком волновала, он горячился, повышал голос и начинал говорить из головы, отступая от конспекта, и давая волю чувству, ему потом всегда бывало стыдно, точно он по дешевкѣ продавал самое свое дорогое, и публика была недовольна: «He was too emotional».

Вытирая лицо платком, он расхаживал по эстрадѣ, ожидая вопросов. Он привык к ним, они были всегда одни и тѣ же: «Какое правительство вы хотѣли бы в Россіи? Ожидаете ли вы паденія Совѣтской власти? Вся-ли семья Государя была убита или Великая Княжна Анастасія уцѣлѣла? Правда-ли, что большевики отнимают дѣтей у родителей?»

Сегодня было все, как всегда. Когда он сошел в публику, его окружили дамы, жали ему руку и продолжали засыпать вопросами: «Как надо выговаривать Ста'лин или Стали'н»? «Неужели крестьянам сейчас дѣйствительно живется хуже, чѣм при царѣ»? Высокая с выпяченными вперед желтыми зубами и сѣдой с мелкими крутыми завитками головой старуха, давно уже ожидавшая своей очереди, протиснулась вперед:

— «Князь, князь, мнѣ так хочется узнать, какой это был генерал при Peter the Great, постойте, let me see, я очень интересуюсь, потому что он был негр, а я, знаете, не считаю негров низшей расой, генерал, кажется, очень знаменитый, впрочем постойте, может быть и не генерал совсѣм, я все спутала, это его предок был при Peter the Great... Плоткин, Плоткин?»

— Может быть вы говорите про нашего знаменитаго поэта Пушкина?»

— Ах, как глупо с моей стороны, конечно, Пушкин, я дѣйствительно все перепутала... моя портниха Плоткин, эти русскія имена, такія трудныя... О, благодарю вас князь... Пушкин, Пушкин, — бормотала она, уступая мѣсто другим, — постараюсь не забыть, Пушкин, Пушкин, знаменитый русскій поэт.

— Князь, князь, — слишком громко кричала Зина, держа

за руку улыбающуюся, средних лѣтъ даму, с тобою хочет познакомиться Миссис...

— Очень рад.

Вернулись они домой к десяти. Перед тѣм, как снять платье Зина снова посмотрѣла на себя в зеркало и почему-то напудрила нос.

— Ну что, общала она тебѣ лекцію?

— Кто?

— Та дама, с которой я тебя познакомила. Неужели я напрасно была с ней так любезна?

— Может быть. Зинка, вскипяти воду и достань что-нибудь поѣсть. Жрать хочу, как собака.

VI

Дмитрій Михайлович проснулся поздно. Зины не было, ушла гулять. Он прошел в кухню, гдѣ со вчерашняго дня стояла невымытая посуда, налил себѣ стакан слабаго, холоднаго чая и прошел к себѣ в комнату.

Писал он, отдувая губы, с выраженіем обиженнаго ребенка, так мало шедшим к его большому, могучему тѣлу, бородкѣ с небольшою просѣдью. Острыя, колючія буквы кривились в концах линеек, почерк был похож на женскій, недаром графолог сказал ему как-то, что в характерѣ у него много уступчивости и мягкости.

«Милый друг Анна», — это было давно присвоенное им обращеніе, «не писал тебѣ и не посылал денег в послѣднее время. Стало гораздо труднѣе зарабатывать. Лекцій не так много и оплачиваются онѣ гораздо хуже. Посылаю сколько могу. Почему никто из вас мнѣ никогда не пишет? Мнѣ очень хочется знать, как ученіе Вѣрочки? Как твое здоровье? Что пишет Гриша? От него я тоже давным давно не получаю писем и мнѣ это очень больно. Я постоянно думаю о вас и хотѣлось бы знать все, что вы дѣлаете и как себя чувствуете. Хорошо было бы уговорить Гришу пріѣхать в Америку, он, с его

способностями, мог бы пожалуй лучше устроиться в Америкѣ, чѣм в Югославіи, а главное был бы ближе ко всѣм нам. Думаю, что ему ничего не стоит вспомнить англійскій язык, он вѣдь прекрасно знал его в дѣтствѣ. Попроси хоть Вѣрочку мнѣ написать, если тебѣ самой некогда или не хочется.»

— Кому?

Он начал писать Аннѣ именно потому, что Зины не было дома, теперь он почувствовал себя пойманным.

— Оставь пожалуйста.

Но она уже увидала подписанный им чек на 75 долларов.

— Ты совершенно с'ума сошел!

Склонившись над его плечом и облавая его запахом пудры и колд крэма, она читала.

— Не смѣй! — И широкой, волосатой, с чистыми, кругло обрѣзанными ногтями рукой, он прикрыл письмо.

— Недурно, князь, очень недурно! А чѣм мы будем платить за квартиру? А проценты за фарму? Десятаго за страховку?

— Зина, ты же знаешь, что я должен это сдѣлать. Я так давно ничего не посылал, я же обязан... Пока Вѣрочка учится...

— Должен? Почему? Твоя бывшая жена работает, неужели она не может содержать свою дочь?...

— И мою дочь, Зина...

— Ах, брось эти сантиментальности. Мы и так живем на гроши. А страховка? Неужели даже этого ты не можешь для меня сдѣлать? Вѣдь ты же знаешь, что это так мало, что это не даст мнѣ средств к существованію даже на нѣсколько лѣт, но хоть долги выплатить, и то...

— Довольно, Зина, я должен им помочь, и пожалуйста оставь меня в покоѣ.

— А ты меня оставляешь в покоѣ? Что ты дѣлаешь? Какую ты создаешь жизнь для своей жены, которая пожертвовала для тебя всѣм, голосом, карьерой, отдала тебѣ свою молодость!

— Уйди, Зина! Слышишь, уйди, я ничего этого не хочу слышать!

— Ах, теперь уйди. Нѣтъ, князь, я не уйду, ты должен меня выслушать. И вы не думайте пожалуйста, что я позволю вам издѣваться надо мной! Посмотрите в чем я хожу! В тряпках! Мнѣ стыдно перед порядочными людьми. Как кухарка, как нищая! По двадцать раз я появлялась в тѣх же старых, перефасоненных платьях! Вы мнѣ обѣщали, что вы будете аккуратно выплачивать за страховую премію, чтобы мнѣ не пришлось голодать хотя бы послѣ... послѣ...

Он взглянул на нее: «Неужели?» — в тысячный раз подумал он глядя на ея рыже-зеленые откровенно злобные глаза, на прорѣзавшія лоб глубокія складки. Ея лицо дышало такой бѣшеной ненавистью, что ему стало за нее страшно.

— Ты только этого и хочешь, чтобы я осталась нищей, чтобы пропало все! Семьдесят пять долларов, с нашими ограниченными средствами... такая сумма! И кому же? Кто они тебѣ теперь? Да они плюют на тебя, никогда не пишут... Им только твои деньги и нужны...

— Молчать! — крикнул совершенно неожиданно для себя Дмитрій Михайлович, и лицо его побагровѣло. — Уйди!

— Ах, теперь уходи? Вы грубое животное, князь! Не беспокойтесь, уйду. Можете отправляться к своим...

— Вон!

— Уйду, уйду, не беспокойтесь. Спасибо вам, князь. Отдай, отдай все. Переведи страховку на ея имя. Бери все, хочешь? На! Вот тебѣ! Бери! — Она сорвала с себя золотые часы, бросила их перед ним на стол, стащила с пальца брилѣантовое кольцо. — Ничего от тебя не нужно, ничего! — кричала она в неистовствѣ. — А они знать тебя не хотят! Ни одного письма, ни слова благодарности, ничего...

Она зарыдала и хлопнув дверь, выбѣжала из комнаты.

— Уф!

Толстое, зеленое, с перламутром перо безпомощно лежало на столѣ. Он подобрал его и стал рисовать профили на промокательной бумагѣ. Он умѣл их рисовать только слѣва,

справа никогда не выходили. Первый удался — забавный с вздернутым носиком. Мягкими, довольно толстыми губами Дмитрий Михайлович захватил кусок бороды и зажевал. Это он дѣлал всегда, когда бывал разстроен.

«Правда, никогда не пишут, как будто меня и не существует. Посылаю деньги... хоть бы из вѣжливости поблагодарили. А Зина?... Ух как скверно, непорядочно как!» Он подправил ухо у профиля с вздернутым носиком и стал рисовать женское лицо en face, сдѣлал двѣ поперечныя складки над носом, спустил губы. Похоже? Нѣтъ, но что-то он уловил жутко-злое в ея лицѣ, что его всегда так пугало. ●н взглянул на ея портрет масляными красками во весь рост. Лицо сіяло, улыбалось немножко лукаво, искрились радостью и любовью зеленые глаза. Он вздохнул, разорвал чек на семьдесят пять долларов, зацѣпил ногой и выдвинул корзину для бумаг из под стола, швырнул в нее клочки бумаги и на корешкѣ изорваннаго чека с надписью «личный», которую всегда дѣлал, когда выписывал чеки Аннѣ, написал «испорчен». Подумал и опять на чистом корешкѣ написал: «личный». Зеленое перо на минуту задержалось. «Сколько же?» И вывел пятьдесят, но в перѣ не оказалось чернил и цифра не выписалась. Он набрал чернил и сверх блѣдных цифр 5 и 0 жирно написал 25 и на самом чекѣ без поправок уже без задержки написал: 25.

«Милый друг,» писал он в новом письмѣ: «Давно не писал и не посылал вам денег. От вас не было никаких извѣстій. Неужели дѣти не могли бы мнѣ написать нѣсколько слов? Если тебѣ трудно, попроси Вѣрочку извѣстить меня о полученіи денег.

Крепко жму твою руку, цѣлую Вѣрочку. Если будете писать Гришѣ, скажите ему, что я прошу его сейчас же сообщить мнѣ, что он рѣшил с Америкой. Хочет ли он переѣхать сюда? Я думаю, было бы лучше, если бы вы были всѣ вмѣстѣ.

Ваш Дмитрий Ртищев.»

Ночью он уѣхал в Питтсбург, оттуда в Чикаго.

VII

Нервы были возбуждены, спать не хотѣлось. Так всегда бывало послѣ лекцій. Хотѣлось говорить, спорить. Но говорить не с кѣм было. Хотѣлось ѣсть, но при одной мысли о ресторанах, пареном мясѣ или жареной в салѣ рыбѣ с молочно-мучными, пахнущими тряпками соусами — его затошнило. «Пирогоа бы с капустой или простокваши».

Длинным корридором он прошел к себѣ в номер, отпер, с облегченіем снял крахмальную рубашку, токсидо. Почитать или написать письма? Ничего не хотѣлось. Он с тоской осмотрѣл комнату: кровать с двумя рядом подушками, он никогда не мог понять, почему подушки рядом, и с досадой нагромождал их одну на другую. А то вот еще эти подоткнутыя простыни и одѣяла. Каждую ночь, ложась спать, он лохматыми жилистыми, сильными ногами брыкался до тѣх пор, пока не выпрастывался из этого постельнаго плѣна. Комод, покрытый стеклом, с прозрачной, цвѣточками бѣленькой бумажкой внутри; чистый, блестящій и такой же бездушно-дешевый письменный стол тоже под стеклом. «Ванну принять?» Но он ненавидѣл эти мелкія ванны, покрывающія только часть тѣла. «Фу, чорт! Что же дѣлать? Спать?» И стал раздѣваться.

Точно в отвѣтъ на его мысли комната вдруг встрепенулась, ожила — зазвенѣл телефон.

— Хэлло!

Дмитрій Михайлович только успѣл подумать, что это не американское «хэлло», как надломленный, ласковый голос спросил: «Князь, Дмитрій Михайлович, ты?»

— Я! Неужели профессор Павел Семенович? Как я рад! Гдѣ? Придешь?... Через десять минут? Чудесно... я сейчас спущусь.

Дмитрій Михайлович торопливо снял с вѣшалки свой любимый, темно-синій костюм и стал одѣваться. Павла Семеновича Калмыкова он не то что любил, а любил проводить с ним время. Пожалуй сегодня он никому не обрадовался бы

так как ему. Геніальный человекъ с широким кругозором, тонкій, талантливый, чудака большой. Дмитрій Михайлович сунул бумажник во внутренній карман, папиросы, спички в боковой, похлопал себя по карманам, вспоминая не забыл ли чего, осмотрѣл комнату, выключил свѣтъ, запер за собой дверь и быстрыми, мелкими шагами, сутулясь и немного склоняясь вперед, пошел по коридору.

Еще издали Дмитрій Михайлович увидал Калмыкова. Он сидѣлъ с папиросой в рукѣ в мягком креслѣ, полузакрывшись газетой и читал. Только когда Дмитрій Михайлович подошел совѣм близко и окликнул его, профессор встрепенулся, засуетился и уронил газету на пол. Он хотѣлъ обнять Дмитрія Михайловича, но сейчас же раздумал, сконфузился, быстро нагнулся и чуть не стукнулся головой о подбородок Дмитрія Михайловича, который тоже нагнулся, чтобы поднять газету.

— Ужасно рад, ужасно рад, видѣл в газетах, что ты читаешь. Хотѣлъ пойти, но не мог, только что освободился. Ну пойдём... — И засуетившись опять, торопясь и оглядываясь по сторонам, профессор направился к выходу.

— А ты надолго здѣсь?

— Не знаю еще, дѣло одно заканчиваю, изобрѣтеніе продаю, вот и застрял. Устал я очень, да и стар стал...

И он быстро, вопросительно взглянул на Дмитрія Михайловича. Но Дмитрій Михайлович не спорил. Дѣйствительно, вид у профессора был плохой. Лицо сѣрое, темное, глубокія складки на лбу и около подбородка.

— Ну, повоюем еще, Павел Семеныч! — А про себя подумал: «Здорово постарѣлъ». Но живость движеній худого, подвижного тѣла и глубоко сидящих сѣрых, небольших глаз была та же и по прежнему лихо свисал длинный зачес над широким, значительным лбом.

— Говорят, хорошо зарабатываешь?

Калмыков махнул рукой: — Половина того, что было прежде. Ну поѣдем.

Было около одиннадцати часов, моросил мелкій, холодный дождь. Яркіе фонари у под'ѣзда освѣщали мокрый, бле-

стящий асфальт тротуара и улицы. Торопясь, люди проходили мимо отеля под зонтиками, то и дѣло, мягко шурша по темному асфальту вдвигались и выдвигались автомобили. Негры в коричневых куртках с золотыми пуговицами поспѣшно вносили и выносили чемоданы.

— Такси! — сильно задерживаясь на первом слогѣ рывкнул негр, замѣтив профессора и князя, направляющихся к выходу.

— Куда? — спросил профессор, разсѣянно глядя по сторонам и не замѣчая негра, замершаго с распахнутой дверцей у автомобиля. — В русскій ресторан хочешь? Кормят неважно, но мы достанем там водку и коньяк. — И сказав шоферу на очень плохом англійском языкѣ куда ѣхать, профессор с облегченіем откинулся на спинку автомобиля.

— Неужели водку достанем?

— Я думаю. Они меня там знают. Ничего глупѣ этого «прохибишон» я не знаю. В Америкѣ теперь пьют в десять раз больше, чѣм раньше, особенно молодые, они из задора пьют. Трудно достать? А мы вот достали и пьем, вроде спорта.

— Ну а ты мнѣ ничего не сказал, как семья? Елена Евгеньевна? Сыновья?

— Я больше не живу с ними... Ребята приходят ко мнѣ... Но я убѣдился, что для моего спокойствія, для моих работ, мнѣ лучше жить одному. Да и им лучше, я их стѣсняю... Профессор нахмурился. — Ну, а ты все большевиков громишь? А я, знаешь, не могу слушать про Россію и говорить мнѣ об этом не хочется, особенно с американцами. Они понять нас не могут, как мы не можем понять индусов, китайцев, японцев. Я пробовал раньше с ними говорить, это все равно как если бы я стал об'яснять теорію относительности негру в гостинницѣ. Меня это раздражает, хотя я и признаю, что иначе быть не может. Как бы это об'яснить? С одной стороны мы в представленіи американца или европейца — дикари, с другой стороны, мы слишком... гениальны! Ты меня пони-
маешь?

— Не совсѣм. Конечно, у них совершенно превратное понятіе о том, что такое прежняя царская Россія и о том, что происходит теперь...

— Нѣтъ, совсѣм не то, я говорю о русской психологіи, о русском нутрѣ. Нутра они нашего, как мужики говорят, не могут понять, контрастов, противорѣчій, величайшего паденія, бездн...

Таки остановился и князь полѣз за бумажником.

— Нѣтъ, нѣтъ, — профессор мягко остановил Дмитрія Михайловича за рукав и не глядя на таксометр, сунул бумажку в руку шоферу. — Сегодня моя партія. Он так же, как большинство русских в Америкѣ русифицировал американскія слова: партія вмѣсто вечеринки, блок — вмѣсто квартала; магазин — вмѣсто журнала.

— Да, о чем это мы говорили? Впрочем, давай раньше закажем ужин. — Осетрина есть? — обратился он к вайтеру в русской желтой шелковой рубашкѣ, подпоясанной синим шнурком и штанах на выпуск. — Это хорошо и непремѣнно с хрѣном, мнѣ ваших этих американских майонезов не надо. Водка есть?

— Для вас, Павел Степанович...

— Прекрасно. Закуску? Давай. Кулебяка с мясом и бульон, осетрина с хрѣном и картофелем, кофе и камамбер, если есть хорошей. Князь, салат хочешь? Нѣтъ? И мнѣ не надо, огурчиков соленых лучше... Да о чем это мы? Бездны, паденія, под'емы. Поди ка ты объясни... Русская революція, ты думаешь они ее понимают?

— А ты понимаешь? Вѣдь революція нечаянно произошла. Никто ее не хотѣл, кроме небольшой кучки большевиков. Меньше всего мужики. Развѣ мало было случаев, когда мужики громили помѣщиков, выгоняли их, грабили жгли... И вот живут помѣщики в уѣздном городѣ в каморкѣ, голодают... И тѣ же мужики, которые вчера громили, завтра везут хлѣб, сало яйца этим помѣщикам, жалѣют, кормят их. А солдаты? Ординарец был у меня в отрядѣ — Болотов. Это было в 15-ом году. Шел артиллерійскій бой. Нѣмцы дорогу

по равнинѣ обстрѣливали, наши отвѣчали. Вдруг вижу по этой самой дорогѣ солдат скачет во весь опор, к сѣдлу пригнулся, лѣвой рукой поводьями работает, правую на вытяжкѣ держит, точно везет что-то. А за ним, перед ним фонтаны земли взрываются от снарядов. Можешь себѣ представить — проскочил. Смотрю — Васька Болотов. «Что это ты», говорю, «сукин сын, взбѣсился? Вѣдь тебя, как куропатку, могли подстрѣлить». А он: «Никак нѣтъ», говорит, «ваше благородіе, а так, что вы три дня без горячей пищи здѣсь сражаетесь, так я вам горячих шей привез». И чувствую, как в носу у меня защипало и слезы стараюсь обратно загнать, чтобы он не видѣл. А через нѣсколько мѣсяцев тот же Васька орал в комитетѣ о том, что я враг народа, буржуй, и что меня арестовать надо.

— Да, логики тут нѣтъ и быть не может. Ну мужики, неграмотные, стихійные люди, а ты возьми цвѣт русской культуры: Чайковскій, Достоевскій; знаешь, что один американец про героев Достоевскаго мнѣ сказал: «Очень», говорит, «интересно, только таких людей не бывает, т. е. бывают, но у нас их сажают в сумасшедшій дом, они всѣ сразу». А вот Чайковскаго они поняли.

— Не думаю. Развѣ они могут понять... — человек летит в эту самую бездну, грѣшит, опускается на дно, вот вот погибнет... И опустившись, стукнувшись об это дно начинает вдруг мучиться, каяться и возноситься до таких вершин, что жутко дѣлается, дух захватывает. А завтра с этой самой высоты опять летит в бездну и часто через грѣх, через собственный позор познает творчество.

— Да... Возносились, мечтали, а революцію проворонили.

— Так и должно было быть. В то время, как мы философствовали, разсуждали, пили, развратничали, спасали души, писали ученые работы, увлекались Марксом, Энгельсом и Каутским, раздували патріотическія чувства, просвѣщали крестьян, насаждали кооперацію, одним словом, дѣлали все то, что нам полагалось — Россію упустили. Ты в шахматы игра-

ешь? Продвигали пѣшки, а в это время противник сдѣлал тебѣ мат. С американцами этого не будет!

— Нне знаю... Иногда страшно. У них опасность другая. Они честны, честнѣ нас и лучше, может быть они и не возносятся до наших высот творчества, но они и не летают в бездну. Поди-ка ты объясни американцу, что Троцкій, Ленин, Сталин вовсе и не думали и не думают о благѣ народа — не вѣрят. И повѣрять не могут. Также, как повѣрять не могут, что стосемидесятимиллионный народ будет терпѣть иго впродолжение стольких лѣт и не может организоваться, чтобы его свергнуть. Не свергает? Не организовывается? Значит доволен. Пропаганда же здѣсь в Америкѣ ведется тонкая и ловкая. Все это рабочее движеніе, чуть ли не поощряемое правительством, забастовки, вѣдь это вѣрный путь к коммунизму. В Россіи революція подготавливалась забастовками, помнишь? И это тѣм болѣе опасно, что коммунисты еще не обнаруживают себя в этой странѣ, им это не выгодно.

— Нѣт, князь, здѣсь революція не страшна, рабочіе слишком хорошо живут.

— Не знаю, — опять повторил Дмитрій Михайлович. — Ты возьми, с одной стороны платные агенты большевиков, на всѣх перекрестках рассказывающих о раѣ в Россіи, с другой стороны безработица, колоссальные капиталы, и что особенно нелѣпо, эти модныя дамы с шоферами, в брилльантах, увлекающіяся famous expregiment. Не понимают, что случись нѣчто подобное, что было у нас, в Россіи, их же первых заставят улицы чистить и отберут их Пакары, Бьюики, брилльанты и шоферов, да и в тюрьмы засадят.

— Ты что же водку не пьешь? Прекрасная селедка. Гдѣ они достают такую? Не хуже нашей Громовской, помнишь в Охотном ряду? А вот кулебяка неважная. Помнишь у Тѣстова, какіе растегаи давали?

— Нѣт, в Прагѣ лучше были. А помнишь, как к Яру ѣздили? Нѣт, в Стрѣльнѣ лучше было, там Ганка Мархоленкова пѣла. Помнишь, как Мишка Труфанов безобразничал, напился...

Дмитрій Михайлович помнил другое, как Калмыкова ладки вынесли на руках пьянаго.

— А Мишка гдѣ?

— Не знаю, говорили, что перекарасился, мерзавец, с большевиками работает. А вѣдь какой буржуй типичный! Другого такого и не сыщешь. Я думаю, теперь с большевиками много таких редисок работает, самая сволочь. Вѣдь он и тогда не совсѣм чистыя дѣла брал. Но говорить мастер был. Я помню один раз сидим мы с ним в Прагѣ, народа пропасть. Постучал я ножиком о стакан, никто не подходит, половые всѣ бѣгают, высунувши язык. «О ты, что в горести напрасной, на Бога ропшешь», да как рявкну во все горло: «человѣк!». Половой сразу подскочил. Принеси мнѣ, говорю, то, чѣм этот господин деньги зарабатывает. Посмотрѣл на меня половой — Андрей такой был, он меня знал, конечно: «Слушаю-с», говорит. Через нѣкоторое время приносит судок, открываю. «Ах, ты, говорю, дурак, дурак, развѣ адвокаты мозгами деньги зарабатывают?» «Виноват, говорит, ваше сіятельство, не могу знать». «Ну подумай, чѣм адвокаты деньги зарабатывают?» Осклабился Андрюша во весь рот: «Так точно, понял, ваше сіятельство, с чѣм, говорит, прикажете, с горошком или с пюре картофельным?» И приташил мнѣ язык.

Профессор мало ѣл. Ковырял ѣду вилкой, отставлял и требовал другое. Сначала пили водку, позднѣе перешли на коньяк. На сценѣ играл хор балалаечников. Подпрыгивая, отбивая такт носками сапог, молодые люди в русских рубашках доводили до послѣдняго престо «Свѣтит мѣсяц, свѣтит солнце» и вытирали вспотѣвшія лица, отдыхали и залихватый тенор, мягко выговаривая слова, пѣл «По улицѣ пыль подымая..» Дмитрій Михайлович чувствовал пріятное возбужденіе. Пьян он не был, но ему было весело и легко.

— Неужели в Россію никогда не вернемся, Павел Семенович?

— Нѣтъ... Не думаю. Я навѣрное не вернусь. А вѣдь у меня мать в Москвѣ.

— Вот как. Я и не зналъ... Переписываешься?

— Нѣтъ, посылки посылаю. — Он поманил распорядителя к себѣ.

— Попросите его спѣть: «Вот мчится тройка удалая», люблю я эту пѣсню...

— А у меня сын в Югославіи, кончает агрономическій. А жену мою первую ты вѣдь знал в Москвѣ?

— Как же, как же, я же бывал у вас в домѣ, на Поварской.

— Чудесная она женщина, виноват я перед ней... Знаешь, Павел Семенович, не знаю, как ты, а мнѣ дочь всегда была ближе чѣм сын. Она у меня замѣчательная... Наивная, цѣльная, точно не во время родилась, не во время живет на этом свѣтѣ. Она некрасива, т. е. по американски некрасивая, широка, здорова слишком, но глаза у нея... Как бы это тебѣ сказать? Глаза у нея тоже не современные. Наивно-удивленные. Так и родилась с ними, точно удивилась, и так и продолжает удивляться... Если бы не Мишка Труфанов, может быть я и сейчас с ними жил бы...

— Ты в Москвѣ познакомился с Зинаидой Викентьевной?

— В Москвѣ. Хочешь расскажу? Не скучно тебѣ будет?

VIII

«Какая на сердцѣ кручинина
«Какая на сердцѣ печаль».

Профессор подтянул стул, поглубже усѣлся и аккуратно разрѣзал огурец на четыре продольныя части. Дмитрій Михайлович видѣл, что Калмыков начал уже пьянѣть, да и сам он, если и не был пьян, испытывал пріятное возбужденіе от водки, коньяка, музыки и ему неудержимо хотѣлось говорить.

— Очень прошу, — сказал профессор и прикрыв глаза, закачался в такт пѣсни.

— Вот когда я дошел до своей бездны... Я даже не знаю

почему... Может быть мы вообще не знаем, почему мы дѣлаем гадости. А тогда война нас всѣх распоясала. Патриотизм, любовь к родинѣ, то, что мы считали жертвами с своей стороны. Жертвы... Каким пустяком оказались эти жертвы Родинѣ по сравненію с тѣм мученичеством, которое пришлось русским людям вынести послѣ революціи. А тогда мы считали, что терпим лишенія, если приходилось жить в блиндажах, мѣнять бѣлье не каждый день. Я работал уполномоченным Городского Союза. Мотался между Минском и Москвой. Пил. Женѣ измѣнял. Жил с одной дѣвушкой — машинисточка была, славненькая такая, наивная, и любила меня. Послѣ «лишеній» фронта наворачивал. И опять, как это случилось — не знаю. Пьянствовал я тогда сильно с Мишкой, он, мерзавец, конечно, в тылу сидѣл, деньги зарабатывал. Ну обѣдали мы с Мишкой раз в Эрмитажѣ, он мнѣ и говорит: «Тебѣ сегодня дѣлать нечего? Поѣдем к моей Сонькѣ, пріятно проведем вечер. С ней подруга живет, прелесть, умница, хорошенькая, а как поет... Я такого голоса в жизни своей не слышал». Вышли мы, вѣтер сильный, сухой снѣг, крутится, собирается воронками, несется, растягиваясь неровными полосами по тротуарам, колет лицо. Ну нам нипочем. Дохи мѣховыя, тепло, лица вином разгорячены, даже пріятно. Василий — лихач, с которым я всегда ѣздил, — ждал меня у под'ѣзда. Увидав нас, он торопливо метелочкой смахнул снѣг с саней, снял с жеребца попону с тяжелыми кистями, а жеребец у него был замѣчательный, сѣрый в яблоках, Добрынинского завода, рѣзвый очень. Помнишь, Павел Семенович, московских лихачей? Я их страшно любил. Сколько было красоты и лихости в их неповоротливых фигурах, с ватой набитыми задами, в мѣховых с четырехугольными верхами шапках, а ѣздили как!

— В автомобилѣ и теплѣе и спокойнѣе.

— Брось! Пол жизни, кажется, отдал бы, чтобы по Арбату или Никитской на лихачѣ прокатить...

— Ну рассказывай.

— Поѣхали. Мишка шею в плечи втянул, воротник поднял, рожа красная, мнѣ всегда казалось, что он фигурой на

моржа похож, а смѣг прямо в лицо как крапивой стегают, и всю дорогу он мнѣ про Сонькину подругу рассказывал. Кабы не Сонька, сам стал бы за ней ухаживать. Ну, пріѣзжаем. Встрѣчает нас Сонька эта самая: смуглая, глаза как сливы венгерскія, тонкая, гибкая, знаешь женщины, бывают такія, безкостныя, как змѣи...

— Очень даже, — профессор икнул, — excuse me. Ну с?

— Зина? В Зину я сразу влюбился. И знаешь, что меня, Павел Семенович, погубило тогда? Глаза ея. Пѣніе уж потом, а здѣсь в первую минуту — глаза. Как протянет она этот свой взгляд, понимаешь: ли ты, именно протянет, потом долго чувствуешь его.

— Прелестные у нее глаза, в высшей степени привлекательная женщина и теперь... Вина еще хочешь?

— Налей. — Дмитрій Михайлович чувствовал, что возбужденіе его растет. — Разговорились мы с ней. Не то, что Пушкина, Лермонтова, Тютчева знает, но и Фета и Голенищева-Кутузова. Стали мы с ней поочереды стихи вспоминать, потом на музыку перешли. Захлебываясь от восторга говорит о Чайковском, Глинкѣ, Мусоргском. Послѣ ужина Мишка и Сонька ушли, а мы усѣлись на диван. Свѣт она погасила, осталась одна маленькая лампочка с синим абажуром, ногу под себя подобрала, свернулась в уголкѣ, и глаза у нее как у кошки зеленым огнем свѣтятся. Ну, и вот с этого самого вечера я стал себя спрашивать: кто она? Почему она с этой Сонькой в одной квартирѣ живет? («Ох, не надо говорить», подумал он, но остановиться уже не мог) Сонька, Мишка Труфанов и она. Я ее спросил в этот же вечер, давно ли она на этой квартирѣ живет? Она сразу поняла. «Вы хотите спросить, почему я с Соней живу? Жалко мнѣ ее, потому и живу с ней... А впрочем, это не ваше дѣло!»

— Присил я ее спѣть. «Не сейчас...» «Когда же?» «А вот, когда лучше узнаю вас». Так и не стала пѣть в тот вечер. Но я и так с'ума сошел. Знаешь, Павел Семеныч, как женщины иногда вздрагивают? Выдержать невозможно... Вот Зина... Куталась в свою бархатную куртушку, свертывалась

вся и вздрагивала. Влюбился я как дурак. Ничего дѣлать не мог, ни о чем думать.

На слѣдующій день я опять пошел к ней, и она пѣла мнѣ. Ах, как она пѣла! Музыканты, конечно, сказали бы, что ея пѣніе дилеттантское, недостаток школы, что исполненіе недостаточно строгое, классическое, голос не в струнѣ и разныя там глупости... Я в этом ничего не понимаю. Мнѣ всегда казалось, что был бы у меня такой голос, я бы мір перевернул! И тут только я понял, почему она в первый вечер отказалась пѣть. Голос у нея жуткій, неприкрытый ничѣм, голый... как глаза... Я никогда не думал, что такая обнаженность может быть в голосѣ. Как она пѣла «Ночь» Рубинштейна, а Чайковскаго «Нѣтъ, только тот, кто знал». И всѣ эти вещи она по своему исполняла. Вдруг такое пускала пьянисимо, что дух захватывало. Но особенно хороши у нея низкія ноты... Я с ума сошел, пропал... Тебѣ не скучно?

— Ну что ты? Конечно, нѣтъ! Подожди минутку! Кофе дайте, крѣпкаго чернаго кофе, — приказал он подошедшему вайтеру. — Ну...

— Ну и стал я к ней ѣздить каждый день, возил ее ужинать, в театр, у нея цѣлые вечера проводил, службу забросил. Тянуло меня к ней так, что я и дня не мог без нея прожить, возил ей ноты, разучивал для нея аккомпанименты. Ощущеніе было такое, точно она обволакивала меня своим существом всегда, постоянно, даже когда я и не был с ней. Навожденіе какое то. И ты думаешь, она так сразу отдалась мнѣ? Цѣловать позволяла, но в первый же раз, как я попытался взять ее, она исцарапала, искусала меня и вдруг, когда я отпустил ее, стала истерически рыдать: «За кого ты меня принимаешь!» Мѣсяца два она меня мучила. Я уѣзжал на фронт на нѣсколько дней, но долго выдержать не мог, приѣзжал в Москву под первым попавшимся предлогом. Февральскую революцію я проглядѣл, мнѣ не до того было. Я был как одержимый. Раза три ѣздил к машинисточкѣ своей, ничего не помогало. С женой почти не видѣлся, слишком уважал я ее и слишком мы друг друга хорошо знали, она сразу все

поняла бы. Запутался я с этими тремя женщинами так, что и распутать было невозможно, гдѣ-то разрѣзать надо было, да и денежные дѣла пошатнулись. Тут предложили мнѣ ѣхать в Америку. Я рѣшил, что если Зина со мной поѣдет, я соглашусь...

— Подожди минуточку, — и Павел Семенович опять позвал вайтера. — Клюквенный кисель у вас есть?

«Фу, чорт, пьянѣет», — подумал Дмитрій Михайлович, — «да и я хорош».

— Сдѣлать можно.

— Сдѣлайте, настоящій клюквенный кисель, поняли? Русскій чтобы... Кислый, крѣпкій...

— Слушаю.

— Ну и что же?

— Ну и рѣшили ѣхать, и я обѣщал просить у Анны развод и жениться на Зинѣ. И знаешь... Ну я это только тебѣ говорю, Павел Семеныч, повѣнчались мы уже в Америкѣ, от Анны развода еще не было. Я написал Аннѣ отчаянное письмо.. И она тогда прислала развод, а то не хотѣла из за дѣтей. — Дмитрій Михайлович с жадностью выпил залпом чашку черного кофе. Голова кружилась.

— Я никогда не насыщался ею. Чѣм больше я ею обладал, тѣм сильнѣе росла моя страсть к ней. Я пил, но не пивался, я был сыт, но всегда оставалось ощущение голода, я узнавал ее, но никогда не знал до конца, не знаю и теперь.

— Ну это уж, прости меня, князь, ерунда.. — профессор захихикал. — Киселя хочешь? — Профессор икнул — excuse me!

— Киселя, нѣт, спасибо.

— Эй ты, — крикнул опять профессор, — нетвердо махая рукой. — К Киселю ложку деревянную, круглую подать, настоящую! И чтобы Тройку спѣли — люблю я эту пѣсню!

— Совсѣм пьян, — подумал Дмитрій Михайлович.

— Ну и что дальше? Дальше что? Чѣм кончилось? — спросил профессор.

— Я все рассказал тебѣ.

— Все? Не врешь? Ну выпьем за здоровье Зинаиды Викентьевны! Великолѣпная женщина! Женщина — кошка!

«А, чорт, и зачѣм я ему все это рассказывал?» Дмитрій Михайлович вдруг совсѣм протрезвѣл, почувствовал страшную усталость и стало еще противнѣе.

— Женщина — кошка, а ты, князь, мышка. Кошка — мышка. — Профессор опять икнул: — excuse me!

— Поѣдем домой, Павел Семенович, уж поздно.

— А? Домой? Сейчас! Человѣк! — крикнул он визгливым тенором: — Человѣк! Счет!

Дмитрій Михайлович полѣз в карман за кошельком.

— Но, но, но, — бормотал профессор, — это моя партія, моя партія, — и полѣз в карман брюк. Рука не попадала куда слѣдовало, наконец попала случайно, он вытянул пачку смятых зеленых бумажек, двѣ бумажки упали на пол, он хотѣл поднять и пошатнулся.

— Thank you very much, — сказал он вайтеру, подавшему ему деньги.

— Сколько здѣсь?

— Сорок долларов.

— All right, all right, слачи не надо, не требуется!

Александра Толстая.

(Продолженіе слѣдует)

ВРЕМЕНА

В своей зрѣлой жизни я умышленно пропускаю цѣлую большую область — чувств, обманчивых или значительных, не раз эту жизнь осложнявших. Она изжита и зачеркнута одним, поздним чувством, с которым я закрою глаза. В кольцах цѣпи осталось и останется только одно грошевое колечко с каплей красного сургуча, вмѣсто драгоценнаго камня; всему остальному — почтительный поклон; его я не потревожу напрасными строками.

Я прожил восемь лѣтъ в Вѣчном Городѣ, теперь ставшем городом современным; его вѣчность подчищена и подбрита, окружена рѣшеткой, занесена в регистр, украшена дощечкой с красиво вырисованной надписью. Раньше в нем слитно жили вѣка, и кузнец ковал желѣзо в театрѣ Марцелла и забивал гвоздь в вѣковой камень, не догадываясь о своем кошунствѣ; кошки плодились на форумѣ Траяна, прохожій шагал по землѣ, выросшей на остатках храма. Это было красиво и непрактично, как все красивое. Бойкіе молодые люди, над которыми пытались смѣяться, открыли поход против Рима, против вѣков, против академіи и луннаго свѣта — за солнце и мотор. Крикливые гуси спасли Рим древній и погубили его в современности. Однажды русскіе невинные экскурсанты, пріѣхав в Рим, вошли ночью в Колизей и запѣли хором «Вниз по матушкѣ, по Волгѣ»; так поступить могли только милые дикари. Сейчас на Капитоліи умѣстна фашистская «Джовинесца», гимн работы опереточнаго мастера, — и только Ватикан остается крѣпостью старой, слишком старой вѣры.

Я очень любил Италію и прилежно ее изучал, не музейную, а современную мнѣ, живую, Италію в трудѣ, в пѣснѣ, в нуждах и надеждах. Я написал о ея жизни двѣ книги и рассказывал о ней в сотнях статей, печатавшихся в Россіи. Го-

рода Италии были моими комнатами: Рим — рабочим кабинетом, Флоренция — библиотекой, Венеция — гостиницей, Неаполь — террасой, с которой открывался такой прекрасный вид. Мне были одинаково знакомы север и юг, ривьера и каштановые леса Тосканы, лики Джотто в Ассизах и фреска "Sposalizio" в Витербо. Я уходил писать в домик Цезаря на Форум, — еще были цветы в домике шесть дубков, — слушал орган во Фьезоле, тонул в бурный день при выходе из каприйского голубого грота, брал приступом с генуэзскими рабочими портовые угольные насыпи, негодовал с толпой в дни казни в Испании Франческо Ферреро, томился на процессе каморры, бродил по доверху наводненному вулканическим пеплом местечку Торре-дель-Греко, встал на шею змеи на праздник Сан-Доменико в Аbruццах, забывал все современное в стенах Лукки, отличал вино Фраскати от его орветских и каприйских соперников, дружил с одноглазым Пиппо, пивцом кабачков, просидел диван в кафе Араньо. При мне родились в римском музее Девочка из Анцио и Киренаикская Венера, которая, конечно, никогда Венерой не была. Когда мне дѣлалось тоскливо в Риме, я садился в вагон прямого поезда и ѣхал в один из знакомых или еще не знакомых городов, иногда выходя, чтобы переночевать в живописном местечке. Я только в первые годы нуждался и покупал на завтрак риззи, на обед тыквенное съема: дальше работа в крупных русских издательствах сделала мою жизнь легкой.

Я скоро оброс книгами и вещами, выселил из квартиры своих милых хозяев, оставив при себе Серафино. В Рим приѣзжало много русских, которые навѣщали старожилу, и связь с Россией была прочна — хотя заочна. Вернуться я не мог, — для этого потребовалась война, всколыхнувшая прежнее чувство и придавшая решимости. Я так привык к Риму и своей новой осязности, что даже в недолгих отлучках скучал по Палатину, по обрубкам Пасквино и Марфоріо, по звучной рѣчи и знакомому кабачку, где много лѣт кормил меня макаронами и горячим забавоне толстый падроне сор Анджело, и так свѣжа была вода лучшего акведука. Только лѣтом я

ненадолго измѣнял Риму для пляжа Средиземнаго моря, да иногда московская газета посылала меня прокатиться на Балканы или по Европѣ, готовившей войну. Тогда я обнимался с черногорцами, сочувствовал возставшим албанцам, слушал в Загребѣ жалобы хорватов на сербов и мадьярскій архитектурный стиль, осаждал с болгарами Адрианополь, или просто удивлялся Парижу, катался на лодкѣ по швейцарским озерам, сидѣл перед кружкой в мюнхенской пивной.

Вѣроятно я был счастлив, хотя считал себя изгнанником и страдальцем. Были и сложности в жизни человѣка, еще слишком молодого, чтобы дорожить одиночеством. Но когда, взявъ палку, хлѣба и козьего сыра, я уходил с морского побережья в горы, гдѣ так свободно дышать и в рѣдких домиках живут необычные, совсѣм не знающіе других міров люди, когда я, пройдя день, засыпал ночью в случайно найденном шалашѣ, --- мог ли я не быть счастливым, проснувшись под утро от горнаго холода и увидав туманы в ущельях! Я бормотал мало связныя слова или напѣвал пѣсню, уже не русскую, русскія забыты, и опять шагал все равно куда, чтобы скорѣе согрѣться. Для здоровых ног был одинаково легок и под'ем и спуск, а проводник мнѣ не был нужен: можно ли заплутаться в карликовой странѣ уроженцу тысячеверстных лѣсов? И вся западная Европа — не рѣзная ли табакерка, умѣщающаяся в карманѣ?

Затѣм опять — дом, моя уже не малая библіотека, знакомый труд и музыка отчетливой римской рѣчи, отличіям которой я учился подражать, чтобы быть настоящим *Romano di Roma*. Любезнѣе Данте мнѣ были сонеты Белли и Чезаре Паскьярелла.

Кабачек сора Анджело назывался *Roma Sparita* - Исчезнувшій Рим. Обширная, полутемная комната, в которой сидѣли только в ненастную погоду, и дворик, образованный высокими зданіями и превращенный в виноградник. В стѣны влѣплено нѣсколько античных барельефов, может быть найденных хозяином в Римском полѣ, а может быть купленных на одной из фабрик античных осколков, которые продавались

англичанам за подлинные. В углу фонтан чистѣйшей воды, в клѣткѣ рѣдкая птица — сорока, подобранная со сломанной ногой. В дни бѣдности, как и в дни благополучія, я был самым вѣрным кліентом Исчезнувшего Рима, своим человѣком; здѣсь столовался, сюда приводил заѣзжих гостей, — рѣдкій русскій писатель, побывавшій в тѣ годы в Римѣ, не знал кабачка сора Анджело. Зимой было тепло и уютно, лѣтом прохладно и уединенно. В послѣдніе годы моей итальянской жизни в кабачкѣ обѣдали в лѣтніе мѣсяцы русскіе народные учителя, пріѣзжавшіе группами по пятьдесят человѣк; обычно сталкивались здѣсь сразу двѣ группы, было весело, суетливо, нелѣпо, — кусок Россіи под виноградным навѣсом. Это были мои дѣти, их проѣхало через Рим и другіе города Италіи три тысячи; мои помощники читали им лекціи и показывали музеи, на мнѣ лежала работа организаторская, трудная и отрадная.

Был іюль четырнадцатаго года. В кабачкѣ сора Анджело я говорил встревоженным, ничего не понимавшим людям о том, что будет дальше. Люди будут перегрызать друг-другу горла, будет потоками литься кровь, валяться куски разорванных тѣл, перемешанных с осколками металла. Трупы будут сваливаться в братскія могилы, море будет выбрасывать мертвых на пляжи, как побитых бурей медуз. Будут разрушаться города и сметаться с лица земли села и деревни; бѣженцам, нищим, сиротам некуда будет скрыться от ужасов войны. Они слушали, как испуганныя дѣти. Я увез их в Венецію, гдѣ ждали еще другіе, о которых нужно было позаботиться. Еще нужно было вывезти сюда застрявших в Швейцаріи. Нужно было снять цѣликом два парохода на Одессу и уплатить вперед золотом, которое откуда-то достать. Двѣ недѣли кошмара и нечеловѣческой работы. Когда отошел второй пароход, с котораго мнѣ махали платками, я почувствовал себя одиноким, как никогда, — Россія была в войнѣ, скоро могла выступить и Италія, а я оставался за бортом событій, в чужой странѣ, еще болѣе отрѣзанный от родины.

Нейтральная Италія — центр европейской информации, посредник всѣх связей; я завалеч работой. Промелькнул год.

Неотвязная мысль — пуститься в путь кругом Европы и явиться к призыву в Россіи моего класса. Во мнѣ нѣтъ никакой воинственности, но десяти лѣтъ достаточно, чтобы соскучиться по родным мѣстам и рѣшиться на авантюру. Бросить налаженную осѣдлость, добрыя связи, независимое положеніе, привычную обстановку, уже не малую собранную библіотеку, — и с шѣтушаго юга поѣхать на сѣвер, через еще незнакомыя страны, затѣм на восток, в свою страну, на полную неизвѣстность, на арест, на ссылку куда-нибудь за Байкал, из Вѣчнаго Города прямо в вѣчные мерзлоты, — развѣ это не блестящая авантюра! Я был привычным путешественником, и путь казался мнѣ заслуживающим вниманія и интереса.

Мой поѣзд провожало нѣсколько римских друзей. Один из них, русскій эмигрантъ, но итальянскій адвокат, поднес мнѣ букетъ красныхъ роз (мы признавали только красный цвѣтъ!); от имени всѣхъ онъ сказалъ мнѣ напутственное слово и обнялъ на прощанье. Полтора годами позже, в дни революціи, я узналъ из захваченныхъ бумагъ полицейскаго сыска, что этотъ человекъ успѣлъ послать донесеніе о моемъ предстоящемъ пріѣздѣ в Россію; онъ былъ агентомъ тайной русской полиціи. Іудино лобзаніе! Но я не собирался скрываться, я ѣхалъ напроломъ; на родину, не выражая раскаянья, ѣхалъ блудный сынъ; онъ могъ тамъ на что-нибудь пригодиться — или ему могла пригодиться на что-нибудь его родина.

Могла же жизнь начаться снова! Мнѣ не было еще сорока лѣтъ.

Я ѣду съ легкой душой и легкимъ багажемъ; все, что можно, оставлено в Римѣ. У меня нѣтъ почти никакихъ документов, — но Европа, даже воюющая, еще не пріучилась считать человека приложеніемъ къ его бумагамъ. Вообще же я ищу приключеній, обогащающихъ жизнь. Будетъ о чемъ рассказывать, будетъ о чемъ писать.

Снова оглядываюсь, и снова вспоминаю, что было мало моментовъ в жизни, память о которыхъ я не освободилъ бы от лишняго груза, занеся ихъ на бѣлые листы бумаги. Не разъ писалъ о столицахъ воевавшей и нейтральной Европы в тѣ злопо-

лучные дни, о Римѣ, оставленном без большого сожалѣнія, о печальном в тѣ дни Парижѣ, полном траура, молчаливом, подавленном и истощенном войной, о бодром и почти веселом Лондонѣ, хотя и затемнявшем уже свои улицы ночью. Не страшен был переѣзд через Ламанш, не тронуты войной порты Southampton и другой, названія котораго я знать не мог, так как из Лондона мы ѣхали по неизвѣстному назначенію, в темном поѣздѣ с завѣшанными окнами, и из вагона вышли прямо на мостки парохода, отплывавшаго в норвежскій Берген. Опять водяной дом, вышедшій в море ночью, спасательные пояса, разговоры полушопотом, как будто мог нас услышать неприятель. Исполнилось мое давнее желаніе хоть проѣздом повидать Норвегію, страну лѣсов и горных озер, — она предстала перед нами в утренній ранній час, в полутуманѣ берегов и шхер, и путь через нее был щедрой оплатой за тревожную ночь; впрочем эту ночь я спал превосходно, отложив в сторону свой спасательный снаряд. Я не собирался тонуть, так как впереди было слишком много интереснаго, и поѣздка по Европѣ казалась пустяком. Осло звался тогда Христианіей, сѣрый скромный город, в котором я провел только сутки, но в Стокгольмѣ я задержался на цѣлый мѣсяц; я не настаивал на том, чтобы прямо с русской границы попасть в тюрьму, и рѣшил использовать думскія знакомства и вліятельность моей газеты, чтобы на крайній случай подготовить себѣ, если не свободный в'ѣзд в столицы, то продолженіе путешествія на свой счет, без провожатых и без этапов, до Туруханскаго края в Сибири, куда, как я узнал, предполагалось сослать меня на пять лѣт. В самый длинный день в году я был, наконец, в Хапарандѣ и Торнео, гдѣ солнце скрылось только на час и снова выплыло сонное и не отдохнувшее. При его свѣтѣ пожилой жандармскій офицер писал протокол, пока я старался подружиться с его охотничьей собакой; он объявил мнѣ, что получил телеграмму о моем пропускѣ до Петербурга. Это была большая и неожиданная удача, и когда поѣзд, из за меня задержанный на границѣ дольше обычного, тронулся в путь, я чувствовал себя именинником. Еще задержка в Б'блоостровѣ,

личный обыск в жандармской комнатѣ, и рукоплесканіе моихъ сосѣдей по вагону, когда я, руки в карманахъ, вернулся в вагонъ, а за мной нижній чин доставил и мои обысканные чемоданы. Несмотря на эти задержки, чувствовалось, что Россія уже не та, какой я ее оставил, и что в ее полицейской машинѣ нѣтъ прежней увѣренности.

Дымъ отечества пахнулъ мнѣ в лицо на необычайно грязныхъ улицахъ Петербурга, — я отвыкъ от Россіи и сразу примѣчалъ ея недостатки. Мнѣ былъ сладок и пріятен этотъ дымъ отечества. Неторопливо, едва подстегивая лошадь, везъ меня по улицамъ самый настоящій русскій извозчикъ. Онъ везъ меня в домъ знакомыхъ, гдѣ меня ждали не безъ волненія; но я не волновался, такъ какъ еще не понималъ ясно, что случилось и куда я попалъ послѣ долгой дороги, тянувшейся не то два мѣсяца, не то всѣ десять лѣтъ. В данную минуту я былъ свободенъ и могъ назвать извозчикъ любой адресъ; остальное меня не занимало. В Петербургѣ сейчасъ бѣлая ночь. Я не обязанъ больше думать и говорить по итальянски, и къ первому встрѣчному могу обратиться с вопросомъ на родномъ языкѣ. Все это похоже на сказку, но дворникъ, который мететъ улицу, в его рваной и штопаной полуформѣ, похожъ на русскаго мужика. Я ѣду на Васильевскій островъ. Если все это дѣйствительно такъ, то жизнь дѣлается очень занимательною. Петербургъ — холодный и непріятный чиновничій городъ, а вотъ Москву увидать хочется. Подхвативъ пишущую машинку, с которой я не разставался, и небольшой чемоданъ, предоставивъ остальное заботамъ извозчика, я поднялся на второй этажъ и позвонилъ.

Поставивъ в текстѣ черточку на серединѣ пути — nel mezzo del cammino — это какъ бы каменная тумба с отмѣткой разстоянія — я пью слабое и кисленькое французское вино, vin gris, которое предпочитаю тяжелымъ и пьянымъ. Городокъ спитъ, натрудившись за весенній день. Глубокая ночь. Кто то упомянулъ о Петербургѣ, если это мнѣ не послышалось. Но Петербурга в то время не было, былъ Петроградъ, какъ теперь Ленинградъ. Работа великаго мастера, подписанная

реставратором. Все это до удивительности не важно и не имѣет значенія. Спит французское тихое мѣстечко, в котором минувшей весной был артиллерійскій бой, разбившій снарядом памятник убитым в прошлую войну; можно поставить новый — разом за обѣ войны, и это экономнѣе. Возможно, что именно здѣсь и закончатся мои странствія, хотя мое желаніе не таково. «В серединѣ пути нашей жизни я очутился в дремучем лѣсу, так как прямая дорога была потеряна». Когда в 1916 году я возвращался в Россію, со мной, в ручном чемоданчикѣ, были двѣ миниатюрныя книги: «Божественная комедія» Данте и «Размышленія» Марка Аврелія. Таможенный чиновник, изображавшій одновременно и цензора, повертѣл в рукѣ один томик, не понял, освѣдомился и вернул мнѣ; понабѣялся, что книжки не страшны, не запрещены; обѣ были в пергаментѣ и похожи на молитвенники. Я кое-как цитирую наизусть Данте, язык котораго мнѣ ближе знаком, но Марк Аврелій писал, к сожалѣнію, по гречески; и однако римскій император помогал мнѣ в земных испытаніях, этот мудрый и уравновѣшенный стоик, впрочем не столь уж дальній родственник скептическаго автора «Экклезіаста». «Если страданье непереносно, оно убивает; если ты его выдержал, значит оно переносимо». — На стѣнѣ, грубо оштукатуренной и сильно закоптѣлой и запыленной, висит отрывной календарь, доску котораго я расписал знаками зодіака. Опять весна, но четвертью вѣка позже. Здѣсь со мной нѣтъ ни книги Данте, ни авреліевых сентенцій; оба томика пропали при одной из жизненных катастроф. Я называю катастрофами потерю того, что было близко и дорого; обычно для меня это книги и непутевыя, ничего другим не говорящія вещи и вещицы. Катастрофой же называется и другое, что трудно об'яснить и сложно излагать. В городкѣ, растянутом по теченію рѣки Шэр, до трех тысяч жителей; возраст его — много столѣтій, но он, как вырос из деревни, так и остался слитым с нею. Не знаю, дойду ли я в своей повѣсти о жизни до рассказа о том, какими вѣтрами занесло меня сюда. Городок спрятался в самом серд-

цѣ Франціи. И если мнѣ в нем не очень уютно, это не его вина.

Как тогда, в Балтійском морѣ, на пути из Финляндіи в Европу, боковая качка, головокруженіе, и кажется в туманѣ, что пароход стоит на мѣстѣ. Или, как много позже, в заливѣ Финском, в компаніи самых мирных людей, изгнанных из СССР писателей, философов, университетских профессоров с семьями, — и тоже туман и неизвѣстность впереди. Зачѣм то и за что то разрушенныя жизни, разметанный быт, которому пора бы уже стать покойным, и ужасная оскомина на душѣ от всѣх этих «исторических событий», о которых будут писать телескопическими словами, ни разу не заглянув в микроскоп на бѣды и горести пострадавших от них букашек. Весна стоит холодная. Мнѣ все — все равно. Я не увѣрен, нужно ли еще думать, вспоминать, писать. Я безмѣрно устал от этих жизненных перегонов, под'емов, спусков, путешествій, накопленій и потерь, встрѣч и разлук, от туманов, от воя пароходных и военных сирен, от писем, от чужих несчастій, от бѣга часов, срыванья календарных листочков, от вѣчных записей жизненной приходорасходной книги. Когда-нибудь уляжется ли боковая качка? Я не прошу о минуточкѣ, господин палач, я охотно ее вам уступаю.

Тогдашній Петроград показался мнѣ забавным, но милым своей нелѣпостью. Я не имѣл права в нем жить, но уже на второй день пріѣзда сидѣл в журналистской ложѣ Государственной Думы и слушал искусно построенныя рѣчи депутатов, боязливо дѣлавших революцію, в которую не вѣрили ни они, ни неуважавшее их правительство. Но все-таки война спутала россійскую полицейскую стройность, я чувствовал это по себѣ; надо мной висѣл заочный приговор к ссылке в восточную Сибирь, — это подтвердил мнѣ товарищ министра внутренних дѣл, котораго я удивил чисто-европейским телефонным звонком и сообщеніем о моем пріѣздѣ; в Россіи это считалось непозволительной дерзостью. Я просил его принять меня и, пріѣхав, продиктовал его дактило разрѣшительную бумажку на проѣзд в Москву; он удивленно

подписал. — Но вы не имѣете права жить в Москвѣ, вас вышлет оттуда командующій военным округом. — Я и здѣсь не имѣю права жить, однако вы меня почему то не выслали. — Да, это вѣрно, но случай добровольного возвращенія эмигранта как то не предусмотрѣн; тогда уж поѣзжайте в Москву скорѣе. — Я уѣду сегодня же, а там увидится. — Он согласился, и я понял почему: я был все-таки европейцем и корреспондентом крупной газеты, а Россія была союзницей великих демократій и дѣлала им глазки.

И вот, наконец, Москва, мой настоящій родной город; для многих родиной дѣлается город их университетскаго посвященія; для меня, сверх того, Москва была городом посвященія революціоннаго и первым этапом взрослой жизни. Здѣсь был разрушен мой первый осѣдлый быт, здѣсь я создам себѣ третій, разрушив второй в городѣ Вѣчном.

В редакціи моей газеты («Русскія Вѣдомости») сидѣли мудрые старцы. Они сказали мнѣ:

— Вы давно не жили в Россіи. Поѣзжайте ее посмотрѣть и не торопитесь о ней писать. Вернувшись, побываете и на фронтѣ.

И я поѣхал. Вслѣд за мной ѣхал приказ о моем задержаніи и высылкѣ, но он никак не мог меня догнать. Испортилась полицейская машина! Когда, обѣхав весь сѣвер европейской Россіи и побывав на западном фронтѣ, я вернулся в Москву, приказ еще кочевал, потеряв мои слѣды. Я успѣл снять квартиру, прочно обосноваться, писал, читал доклады о европейских настроеніях, опять посильно помогал крысам подтачивать священные устои, и только наканунѣ революціи догнал меня приказ, так и оставшійся невыполненным.

Но мнѣ хочется вспомнить, что вспомнится о мѣсяцах, проведенных в дорогѣ, о той Россіи, которую «умом не об'ять» и «пространства не измѣрить».

Как всякій поэт, Тютчев, конечно, преувеличивает: пространства Россіи измѣрены, и умом ее об'ять можно. Но

«стать» у нея дѣйствительно особенная, потому и не понимал ее до конца полупетербуржец-полуиностранец, полупоэт-получиновник, писавшій иногда превосходные стихи на слабом русском языкѣ. Давно изжив квасной патріотизм, я не боюсь порою хвастать и восхищаться Россіей-землей. К сожалѣнію, ее всегда выдумывали, выдумывают и сейчас, выдумываю, вѣроятно, и я. Ее хотят представить себѣ цѣликом — а цѣльной Россіи нѣтъ и никогда не было, она состоит из нагроможденія земель, климатов, гор, равнин, народов, языков и культур. Ее изображают медвѣдем; с тѣм же успѣхом можно изобразить и бѣлугой, снопом, жаворонком, виноградной лозой, почкой малахита. Из нея, многобожной и языческой, старательно выкраивали «матушку Русь-православную», как сейчас хотят представить ее безбожницей и комсомолкой. Великолѣпный базар ея племен малевали «народом-богоносцем»; ея строевой и мачтовый лѣс расщепливали на палки хоругвей; ея ширям подражали кучерской поддевкой и рѣзным круговым ковшем; ея Ваньку-дурака, хитрую кряжистую бестію, наряжали в театральный костюм Ивана Сусанина или жаловали то царским престолом, то марксистской ортодоксальностью. Над искаженіем лика Россіи не мало поработали два замѣчательных русских классика — Гоголь и Достоевскій, и не роди русская земля Льва Толстого, так бы нам и не видать ея подлиннаго лика. Едва ли не самое большое несчастіе Россіи в том, что ею всегда управляют, хотя лучше всего она управлялась бы сама, как сама течет большая рѣка, растет трава на заливном лугу, само свѣтит солнце, без помощи электрических станцій. Не знаю, как это было бы, но знаю как происходило и происходит противоположное и как на головы мудрых (не умных, не просвѣщенных, а от природы мудрых) напяливают дурацкіе колпаки. Я очень люблю Россію, — ту, которую знаю, — и это естественно для ея законнѣйшаго сына, — но не уважаю ее за лѣнивую волю: она позволяет кататься на своей выѣ каждому любителю верховой ѣзды. Ииногда, встав на дыбы, она опрокидывает всадника — и сейчас же позволяет взнуздать себя другому. Пожалуй дѣйствительно мед-

вѣдь — лучшей ея образ: сила необычайная и легкая приручаемость: кольцо в ноздри — и танцуй под любую музыку.

Но просторы! Цѣлый мѣсяц я пробирался по сѣверным губерніям через заросли деревьев и людей; и люди и деревья были смолисты, корявы и вѣтвисты на один бок. С ними хорошо было и говорить и молчать, и думать не спѣша — и с людьми и с деревьями. Послѣ европейских балаганчиков и аккуратно заглаженных на штанах складок — деревянные просторы, армяки и татарскіе халаты, природная кривизна линий, по волѣ растущіе борода, великое разнообразіе типов, и уж если тупость — так тупость, а если ум — так свой собственный, не из книжки с картинками. Зеленый ковер, расшитый серебрянными змѣями рѣк. Нищая рвань на мѣшках с золотом. Главное — нѣт этого душка плѣсени и мертвечинки, скопившейся тухлой исторіи, которая повсюду шибает в нос в Европѣ. Родится человек, живет, дохнет и перегнивает на сельском кладбищѣ по всѣм правилам естественной науки, без надгробій и некрологов, и кладбище всегда лѣсное, а не штукатуренное, гнить на нем пріятно. И города не на шахматной доскѣ, а выросли из деревенской грибницы, сами назвали себя и свои улицы, найти в них никого невозможно, а спроси бабу — укажет. Кому это — безпорядок, но у меня от линованнаго порядка Европы были на глазах мозоли и на душѣ оскомины, я радовался нашей первобытности и нелѣпости нашей, в которой есть свой высшій порядок, утвержденный природой, а не чиновничьей астролѣбией. Тут дѣло не в буколической поэзи и не в живописности, а в том, что цѣна цивилизаціи мнѣ была уже знакома, и радовалась анархическая душа нашей неизмѣримой «технической отсталости». Я тоже выдумывал свою Россію, и мнѣ казалось — вѣроятно ошибался, — что эта Россія пойдет иными путями и к иным цѣлям, естественно и просто, безо всяких миссіонерских заданій, без кичливости, спокойным шагом. Никакого «новаго слова» не скажет, а жить будем все-таки по своему, во всяком случаѣ — пока это можно, пока и нас не захлестнет европейская цивилизація и не слѣдует образцовым муравейником. И

я дышал, как раньше никогда не дышал, до растяжения грудной клѣтки и сладкой боли. Но я видѣл не только это. Вѣдался больше с земскими мѣстными людьми, — и поражался их работѣ. Они дѣлали огромное дѣло, стѣсняясь его малости, воображая, что вот там, в Европах, гдѣ и руки не связаны, и средств больше, что только там работают понастоящему; они не подозрѣвали, что подобное безкорыстіе, преданность такую и такую вѣру ни в каких Европах не встрѣтишь, развѣ как исключеніе, что ни один народный учитель не будет там работать в подобных условіях, ни один врач не станет обѣзжать на худой крестьянской лошаденкѣ стоверстные округи, что они — истинные подвижники и подлинныя герои. Перед ними не было ни карьеры, ни чинов, ни матерьяльнаго благополучія, напротив — полная увѣренность, что так и пройдет вся жизнь в медвѣжьем углу, и хорошо, если раз в десять лѣт доведется побывать если не в столицах, то хоть в губернском городѣ на каком-нибудь агрономическом, учительском, врачебном с'ѣздѣ. И они все-таки успѣвали читать «толстый» журнал, освѣдомляться, что дѣлается в этих самых просвѣщенных Европах, толкать свою науку и огорчаться, что так мало знают и так ограничена область примѣненія их сил: каких-нибудь десять-двадцать тысяч десятин крестьянской земли, три сотни дѣтских дифтеритов, пять-шесть школьных поколѣній, да помощь дѣлу кустарному, да участіе в кооперативном движеніи и уж, конечно, устройство в своем районѣ, общими средствами, нѣскольких хорошо подобранных народных библиотек.

Я побывал в своем родном городѣ, в единственном, гдѣ показался себѣ совѣм чужим. Там большой революціонный мужик, милліонщик и инженер, построил на свой счет университет с лабораторіями и клиниками; на открытіе этого университета я и пріѣхал. Этого милліонщика, дававшего и на просвѣщеніе, и на революцію большіе деньги, что не мѣшало ему прижимать рабочих на своих пріисках и копях, — его, кажется, послѣ прикончили. Забавные люди жили в Россіи. Помню одного сибирскаго промышленника, составившаго себѣ огром-

ный капитал на устройствѣ паровых мельниц. Туго набив мощну, он прїѣхал в Москву, сошелся с революціонерами, оттѣнки которых его не интересовали, и всѣ деньги ухлопал на издательство легальных и нелегальных популярных книжек. Таких людей было не мало — попробуй их понять! В Саратовѣ я сдружился с культурнѣйшим европейцем, почему то служившим секретарем в губернском земствѣ. Большой знаток и цѣнитель искусства Востока и искусства жизни. Он угостил меня тончайшими винами и такими же фруктами, привезенными то-ли из Ташкента, то-ли из Самарканда; никогда послѣ я таких не видѣл и не ѣдал. Он был образованнѣйшим человѣком, барином и в то же время демократом до мозга костей. Его дом был музеем искусства. Мы провели с ним ночь в одной из тѣх бесѣд, на которыя способны только русскіе: говорили о Парижѣ, о Буддѣ, о рѣках, о границах свободы личности, о Платонѣ, об Ивѣт Гильбер, вятском земствѣ и курганских раскопках. В революціи он принял самое близкое участіе, но послѣ Октября был нечаянно разстрѣлян: он слишком ярко оперенъ среди сѣрых провинціальных птиц.

Кама и Волга дали мнѣ часы и дни наслажденій, — я видѣл их тогда в послѣдній раз в своей жизни, — тогда бы нужно было вспоминать и писать о дѣтствѣ и юности; нашлись бы настоящія слова и живыя краски. Но мои чемоданы были набиты земскими отчетами и статистическими сводками; газета требовала работы серьезной, и на каждом этапѣ меня снабжали цѣлыми библіотеками и подносили мнѣ издѣлія мѣстных кустарей: великолѣпныя вещички литого чугуна, крашенных ванек-встанек, берестовыя бурачки, яркія, деревянныя ложки, горки уральских камней, евангелія из цѣльнаго куска соли, сладкіе пряники художественной работы, дѣтскія лапотки из лыка, яйца-писанки и прочія вещички которыя послѣ бывали на международных выставках и прельщали европейскую публику. Но в то время Россія была еще только Россіей — простое имя, годное на всѣ случаи, не отяжеленное нудной связью слов иностранных и надуманных, не сокращенное в буквенный вывих языка. Она росла быстро и подземно, как

толстый и прямой побѣг спаржи, одним стволом; потом она сломилась и от корней дала букет корявых, но сильных кривуль; может быть это лучше, я не знаю. И того, что случилось, уже никакая сила не перемѣнит, — как не повернуть теченія Камы, носившаго когда то и мою лодочку.

В Москвѣ меня спросили:

— Ну, понравилась ли вам Россія?

Я отвѣтил:

— Лѣтъ бы двадцать свободных, чтобы изучить ее уголок. Понравилась, понравилась! Приѣхал иностранцем, а теперь чувствую, что тутошній. Тутошним хотѣл бы и остаться.

М. Осоргин.

СЕМЬЯ

Welcome joy, and welcome sorrow,
Lethe's weed and Hermes' feather;
Come today and come tomorrow,
I do love you both together

John Keats

Единственное, что они, несомнѣнно, унаслѣдовали от своих благородных предков, был тонкій и длинный аристократическій нос. Хотя, по формѣ, это был все тот же нос, переданный по наслѣдству всѣм членам семьи, он казался особенным у каждаго из них. На усталом лицѣ Бабушки он выражал достоинство и терпѣніе, на увядающем лицѣ Матери он был воплощеніем покорности, у Пети он говорил о тайной обидѣ и назрѣвающим недовольствѣ судьбой. Очаровательным он казался на нѣжном лицѣ Лиды — он говорил, он пѣлъ о романтических надеждах, о том, что жизнь прекрасна в семнадцать лѣтъ. Он был обыкновенным носиком на худеньком личикѣ Димы, гдѣ он забавно и трогательно морщился, выражая радостное пріятіе жизни. И все же — это был тот же нос, объединяющій их в одну семью — как бывают отличные один от другого плоды на одном деревѣ.

Семья эта была русская — когда то в прошлом большая, богатая и славная. Пройдя через войну и революцію, испытав преслѣдованія, нищету, болѣзни и голод, пережив пожар, потоп и землетрясеніе, семья потеряла одних своих членов, породила новых. Смертность в концѣ концов оказалась сильнѣе рождаемости — и теперь семья состояла из пяти человек: итог длительного процесса роста генеалогического дерева. Это были бабушка, мать, дочь и два племянника — сироты, оставшіеся от двух умерших братьев. Всѣ вмѣстѣ они и составляли

*) Отрывок из книги того же названія.

с емью — «дубовый листок», давно оторвавшийся от «вѣтки родимой».

Буря гнала их на Восток. 1937-ой год застал их в Китаѣ, в Тяньдзинѣ. Они жили в наименѣе фэшенебельной и потому наиболѣе дешевой части Британской концессіи, неподалеку от берегов Хэй-Хо.

На первый взгляд иностранныя концессіи в Китаѣ имѣют европейскій вид. На широких, хорошо мощеных улицах, окаймленных деревьями, среди домов современной архитектуры турист бѣлой расы чувствует себя, как дома. Но понемногу он начинает замѣчать, что деревья здѣсь по большей части голы, а между домами кое-гдѣ видны стѣны из сѣраго камня, порою с башнями и бойницами. Стѣны наверху часто утыканы острыми гвоздями и усыпаны колким, битым стеклом. Это — дома-крѣпости богатых китайцев. Атмосфера настороженности окружает их, и тайна внутренней жизни за этими стѣнами ревниво оберегается.

Единственный вход в эти дома — маленькія, выкрашенные в яркую — обычно красную — краску желѣзныя ворота, с тяжелыми чугунными болтами, наглухо задвинутыми. И любопытный глаз туриста не увидит ничего, кромѣ холоднаго камня и маленьких ворот, ярких, как пламя. Но если ему удастся подстеречь миг, когда ворота открыты, его глазам представится очаровательное зрѣлище.

Он увидит сад с искусственными скалами и маленькими водопадами, с аллеями цвѣтов, с птицами в клѣтках и на волю. Изящныя, с любовью вырощенныя деревья бросают на землю движущуюся кружевную тѣнь. Зеленое и красное с золотом лакированное дерево бесѣдок усиливает очарованіе. Мраморный лев со страшно раскрытой пастью, бронзовый дракон с коварной улыбкой на миг перенесут в мір фантастики. Двѣ-три стройныя фигуры прелестных женщин в сіяющих шелковых одѣяніях, с цвѣтком в черных отвѣчивающих прическах придадут всему налет романтики. А зеркало, неизмѣнно укрѣпленное гдѣ-то над воротами, изнутри, бросив сноп слѣпящаго

глаза отраженного свѣта, заставит любопытнаго невольно податься назад.

Но видѣніе это всегда мимолетно. Чьи то невидимыя руки поспѣшно захлопнут калитку. Турист оказывается снова на прозаических улицах обыкновеннаго европейскаго города. Через минуту он уже едва вѣрит тому, что только что видѣл. Прохожіе — китайцы, рикши, преслѣдующіе иностранца нищіе — говорят о другом Китаѣ, о том, который вышел на улицу, оторвался от сказочной жизни за стѣною.

Чѣм дальше от центра Концессіи, тѣм меньше англійскаго в ней остается. Люди иных рас и націй тѣснятся на ея окраинах, стараясь укрыться от всѣх возможных невзгод под сѣнью могущественнаго флага Британской Имперіи. Эти пасынки своих стран обычно бѣдны и рѣдко кто из них может оплатить всѣ тѣ удобства жизни, которыя приличествуют культурному человѣку. Семьями и в одиночку они живут в пансіонах, гдѣ сдаются меблированныя комнаты со столом и без стола, стараясь снять их и без мебели, и без стола.

Такой именно пансіон снимала Семья и уж от себя сдавала комнаты жильцам. Пансіон этот находился на Лонг-стрит, номер одиннадцать.

Самое препрїятіе это, заставляя всѣх работать, никому не приносило дохода. Чтобы существовать, каждый член Семьи должен был что-нибудь добыть на сторонѣ и внести свою лепту для покрытія общих издержек.

Много книг существует по вопросам экономики, но их авторы, несомнѣнно, страдают маніей величія: всѣ вопросы они трактуют лишь в большом масштабѣ. В этих книгах можно найти свѣдѣнія о міровой экономикѣ, о монетных системах, об инфляціи и девальваціи, но на самый насущный, самый простой и самый интересный вопрос: «как прожить без денег семьѣ с дѣтьми?» — не найдешь отвѣта ни в одной книгѣ. А между тѣм именно этот вопрос мучает по крайней мѣрѣ треть чловѣчества. Изгнанная из сферы чистой науки практика жизни без денег превращается в искусство и в ка-

чувствъ такового становится индивидуальным достижением, внѣ общих правил и законов.

Финансовое положеніе Семьи было неопредѣленно и нелѣпо. Оно покоилось на нездоровых экономических началах. Его основами были — во первых, попытки что-нибудь заработать, во вторых, умѣніе обходиться без необходимаго. Второе удавалось гораздо легче, чѣм первое. Чтобы зарабатывать, необходимо найти кого-то, кто может дать заработок. Умѣніе же обходиться без необходимаго есть дѣло совершенно личное, не зависящее ни от чьего каприза, ни от чьей благожелательности, а главное — с годами практики доходящее до высокой степени виртуозности и совершенства. Так — лѣтом члены Семьи обходились без шляп, без перчаток, носков и чулок, зимой — без теплых пальто, без галош и без шерстяных вещей; при случаѣ — без тепла, без уюта и без пищи во всякое время года.

Бабушка болѣе других замѣчала лишенія. Значительная часть ея жизни прошла в благополучіи до-военнаго и до-революціоннаго быта — и ея сужденія были совершенно нелѣпы. Когда то она принадлежала к тому классу людей, который имѣл, любил и копил вещи, движимую и недвижимую собственность. Вещами были полны шкафы, комоды, шифоньерки, шкатулки и ящики. Вещами были завалены чердаки, родѣ и в деревнѣ, сады и дачи, иные из них были куплены в вѣчное владѣніе, другіе арендованы, кое что ей было завѣщано по наслѣдству. И теперь, не имѣя рѣшительно ничего, она переносила бѣдность, как униженіе. Тот фактъ, что у Лиды была лишь одна смѣна бѣлья, казался Бабушкѣ особо унизительным, когда она вспоминала о своем собственном гардеробѣ. «В Лидином возрастѣ»... В Лидином возрастѣ у Бабушки имѣлось уже приданое — нѣсколько дюжин бѣлья с кружевами, вышивками, монограммами и лентами. «Да, да, мы — нишіе...» Но сама Лида, не имѣя возможности сравнивать, многих лишений не замѣчала совершенно. Возможно, что вторую смѣну бѣлья она даже сочла бы излишней. Ея

мечта была совсѣм другая. Потомок гордых предков, она также была одержима честолюбіем: ей хотѣлось завоевать первый приз города в плаваніи. Ей нужен был для этого купальный костюм — и она его имѣла. Ни о каких других туалетах она не мечтала.

Для каждаго отдѣльнаго члена Семьи одна и та же жизнь, среди одних и тѣх же лишеній, принимала различный характер. Для Бабушки жизнь была уже разрѣшенной религиозно-философской проблемой; для Матери она была непрерывной арифметически-хозяйственной задачей; для Пети жизнь была трагедіей постоянно уязвляемой гордости, для Лиды — лирическими взлетами надежд и мечтаній, для Димы — забавой. Возможно, что различное отношеніе к жизни зависѣло от разниці в возрастѣ и в жизненном опытѣ. Членам Семьи было от восьми лѣтъ до семидесяти. Что же касается опыта, то измѣрить его было трудно за отсутствіем общаго масштаба.

И все же Семью нельзя было назвать несчастной. В наш вѣкъ таких семей на свѣтѣ много. Онѣ просыпаются утром с вопросом «быть или не быть?» и отвѣтить на него могут лишь вечером, когда день уже прошел, а они всѣ живы, снова всѣ вмѣстѣ вокруг стола, на котором лежит «хлѣб насущный», заработанный за день и принесенный домой. За ужином — отдых, разговоры и мечты о лучшем будущем.

В этом мірѣ хорошо умѣют мечтать лишь бѣдняки и поэты. В каждом бѣднякѣ есть нѣчто от поэзіи: бѣдняк не считает настоящей ту жизнь, которой живет, для него она не есть нѣчто окончательно установившееся, он борется с ней, мечтает ее измѣнить, у него всегда есть лучшіе, высшіе идеалы. Бѣдняк рѣдко бывает реалистом, еще рѣже — узким материалистом. Так и Семья жила мечтами, что вот-вот вдруг случится что-нибудь неожиданное, необыкновенное — и жизнь станет легче и пріятнѣй. Этой перемѣны всѣ ждали со дня на день и каждый — по своему. Бабушка молилась, Петя покупал лотерейные билеты. Но до весны 1937 не произошло никакого чуда.

Как в каждой русской семьѣ, ея члены были нѣжно при-

вязаны друг к другу и были всегда готовы пожертвовать собой ради общих интересов. Другой національной чертой была в них особая полнота духовной жизни, трепетный интерес к людям и к міру, в котором они жили. Их интересовали общечеловѣческія проблемы, поэзія, музыка, отвлеченные вопросы духовной жизни. Русскій ум отказывается всецѣло посвящать себя текущим событіям и личным интересам. Одних вопросов дня ему мало.

Так в Семьѣ вспоминали о прошлом, мечтали о будущем, о судьбах челоѣчества, а повседневная жизнь катилась сама собой. Душа Семьи не была скована цѣпями суеты и ежедневных огорченій. Прекрасна эта способность подниматься над мелочами будней! Послѣ долгаго дня забот и лишениій Семья наслаждалась отдыхом и бесѣдой. Слезы и смѣх, печаль и радость, шутка и мудрость — всего было много.

2.

Весной 1937 года только пять комнат пансіона были сланы жильцам. Двѣ комнаты в нижнем этажѣ занимал мистер Сун, профессор-китаец. В двух комнатах второго этажа, над мистером Суном, жили пять японцев. Одну комнату снимала бывшая гадалка, мадам Милица. Мистер Сун имѣл всегда торжественный вид, был печален и молчалив. Японскіе джентельмэны безпрестанно улыбались, шипѣли, кланялись и спрашивали о здоровьѣ. Их никто еще не видѣл молчащими, никто не видѣл их во весь рост. Они то приходили, то уходили, по два и по три и всегда в другой комбинаціи, так что в Семьѣ начали, наконец, подозрѣвать, что японцев в домѣ жило не пять челоѣк, а, по крайней мѣрѣ, двѣнадцать. Всѣ желтые жильцы столовались внѣ дома, давая, таким образом, очень скудный доход. Что же касается мадам Милицы, родиной которой была Бессарабія, то она не только столовалась в домѣ, но и дѣлилась с Семейей каждой своей мыслью, всѣми огорченіями и надеждами — но все же и от нея было мало финансовой выгоды. Три комнаты были свободны и ждали новых жильцов.

В это знаменательное майское утро мадам Милица и Бабушка сидѣли в дальнем углу двора, называемаго «садом». В «саду» было два одиноких дерева. Он находился в сторонѣ от дорожки, ведущей от калитки к дому — находившіеся в этом «саду» с удовлетвореніем сознавали, что никому не мѣшают. Ощущеніе уюта усиливалось еще и тѣм, что стѣна, отдѣлявшая «сад» от улицы, была высока, а находившіеся в нем стол и скамья не были видны уличным прохожим. Двух же деревьев было вполне достаточно, чтобы чувствовать себя в саду: они давали прохладу и зелень, игру свѣта и тѣни и шелест листьев при вѣтеркѣ. Двух деревьев вполне достаточно, чтобы скрасить жизнь.

Под деревьями, за столом, Бабушка и мадам Милица пили кофе. Кофе! Кофе было единственной слабостью Бабушки, ея единственной матеріальной усладой, единственным искушеніем ея аскетической жизни. Согласно закону, по которому человек не имѣет того, что хочет, Бабушка не имѣла возможности пить собственный кофе. Семья пила чай, потому что в Китаѣ чай дешевле кофе.

Кофе было угощеніем мадам Милицы. По счастью, она не могла пить кофе в одиночествѣ. Молчаливая вообще, мадам Милица за чашкой кофе испытывала неодолимую потребность произносить монологи и нуждалась в слушателѣ. Благодаря этой особенности ея характера Бабушка наслаждалась кофе, по крайней мѣрѣ, два раза в день за послѣдніе шесть мѣсяцев. Онѣ обѣ пили кофе каждый раз, когда мадам Милица была в нервном состояніи — подавлена или оживлена, — кофе помогало в обоих случаях. А мадам Милица за послѣднее время, если не была оживлена, то была подавлена.

Итак, в это майское утро онѣ сидѣли за столом, под деревьями, наслаждаясь разговором и кофе. Бабушка пила и вязала — она старалась заработать вязаніем, мадам Милица говорила, заливая монологи большими и торопливыми глотками кофе.

— Я честная женщина, — говорила мадам Милица. — Моя совѣсть не запятнана ложью. В этом я похожа на мать,

— и она с сокрушеніем вздохнула. Сдѣлав над собой усиліе мадам Милица продолжала уже болѣе радостным тоном: — Знаете ли вы, кто была моя мать? Это был ангел! Ангел чистѣйшей воды! О, в нашей жизни честность враг счастья. Честный человѣкъ не может имѣть то и другое вмѣстѣ: честность убивает счастье. — И она горестно покачала головой.

Голова у мадам Милицы была замѣчательная. Большая, внѣ какой-либо анатомической пропорціи с ея хрупким тѣлом, голова ея — величественная и торжественная — была в необыкновенном изобиліи вся покрыта черными кудрями, челками и разнаго рода завитками. Для лица оставалось очень мало мѣста. Два небольших круглых глаза, тоже черные и блестящіе, казалось, не знали покоя: они все время двигались и вращались, как будто старались выпрыгнуть из тѣсных орбит. Нос мадам Милицы был так мал, что едва ли заслуживал описанія. Вся нижняя часть лица была занята большим, зловѣщим ртом.

— Взгляните на меня, — продолжала мадам Милица. — Посмотрите на меня внимательно и судите сами. Вдумайтесь в мою жизнь. К т о я? По воспитанію, по своимъ наклонностям, по образованію, я — гадалка и, извините за откровенность, знаменитая в своемъ родѣ гадалка. Меня знают Румынія, Бессарабія, Украина и Дальній Восток. И я — б е з р а б о т н а я ! Добровольно, без всякаго вмѣшательства полицейскихъ властей, я сама прекратила пріемъ кліентов. П о ч е м у ?

Она загадочно умолкла на самомъ интересномъ мѣстѣ, тряхнула головой и, отпив большой глоток кофе, продолжала:

— Почему?! Потому что я ч е с т н а я женщина. — И добавила печально: — я не умѣю лгать.

Бабушка тоже покачала головой. Обѣ женщины одновременно вздохнули.

— До міровой войны все шло прекрасно. Что же случилось? Гдѣ теперь мои кліенты? Почему они недовольны мной? Посмотримъ прежде всего честно на то, что такое само гаданіе с точки зрѣнія рядового кліента. Почему он больше

не интересуется гаданіем? Почему перестал интересоваться своей судьбой? Вот вам примѣр. Как то раз, перед революціей, ко мнѣ пришла погадать молодая, красивая дама. Все у нея благополучно, но муж — на войнѣ. Она хотѣла, чтобы я предсказала ей легкую и красивую жизнь. Бросаю карты. Вижу: вдовство, нищета, болѣзни, смерть в тюрьмѣ — и все это в ближайшіе два года. Говорю ей, что вижу. Представьте ея негодование! О н а в т ю р ь м ѣ ? Дама устроила мнѣ скандал. Есть профессіи, для которых шум и скандал особенно вредны. Дама шумѣла и в комнатѣ, и на улицѣ и у параднаго входа... Публика и жильцы дома и даже прохожіе — всѣ были на ея сторонѣ. Так начались мои непріятности...

Обѣ женщины еще раз дружно и скорбно вздохнули.

— Офицеры, бывало, приходили ко мнѣ цѣлыми компаніями — с подругами жизни. Раскину карты и вижу: скорая смерть офицерам. А их подругам — голод, холод и всякія другія мытарства... Не раз меня били. Не поймите это иносказательно. Нѣтъ, били по настоящему — обыкновенной, скажем, палкою... Но сколько ни бей гадалку, судьбы своей не перемѣнишь. — Послѣднюю фразу она произнесла как бы в скобках и затѣм продолжала: — Карты говорили все об одном и том же — и с каждым днем все страшнѣй и все хуже... Клиенты исчезали... Я уѣхала в другой город, потом в третій... Перебывала во всѣх городах Украины: другой город, другіе люди, а судьба всѣм выходит та же... Тут подошла безкровная революція и гражданская война... Нѣтъ, чего только не готовит судьба человѣку! — и мадам Милица в удивленіи вскинула глаза вверх. — Ко мнѣ прибѣгали несчастныя дѣвушки... жены... безутѣшные родители... сколько было волненій! Всѣм бросала карты. И вижу — настоящее плохо, но будущее еще хуже. Нѣтъ утѣшенія! Так вот и двигалась я из города в город — проѣхала через всю Сибирь. Бывало, и красный комиссар зайдет погадать. Жаждет душа почестей. А я должна ему сказать, что он получит все, о чем мечтает, но сам потом будет убит... Один совѣтскій сановник тут же на мѣстѣ как развернется — ударил меня по лицу. Что ж? Что он потом был

в самом дѣлѣ казнен, развѣ это утѣшеніе для оскорбленной женщины?... Да... Докатилась я до Харбина... Хоть бы что! Без перемѣн. Ничто не вліяет на судьбу. Приѣхала я в Тянь-дзин — и тут все то же. Как то дѣвочка пришла. Молоденькая, хорошенькая — полна сладких надежд. Куда тут! Ей, почти ребенку, открыла такую судьбу: через два мѣсяца (замѣтьте, всего лишь через два мѣсяца) будет опозорена, погибнет!... И развязка быстро наступила: болѣзнь, нищета — и самоубійство! Скажите сами, какую плату можно назначить за такое предсказаніе? Что же удивляться, что заработки мои так страшно упали.

Она горько, сардонически усмѣхнулась и продолжала:

— Зашел как то ко мнѣ красивый юноша. До чего же он был красив! Взглянула я на него и в душѣ воскликнула: — Природа! Что ты дѣлаешь! Такую красоту даешь мужчинѣ! — Вѣдь какая в нем была опасность для женских сердец! Какіе глаза! Какой нос! Усы! Не говорю уж о всем его приятном видѣ! Гм... Бросила карты и вижу: поѣздка... недалеко... а там и смерть, мгновенная и насильственная... Самой не хотѣлось вѣрить. Однако же, слѣдила за его жизнью. Поѣхал мальчик в Шанхай, поступил к богатому китайцу в тѣлохранители, а через три мѣсяца был убит. Одно мгновеніе — пуля в сердце навывлет...

Мадам Милица мрачно качнула головой и всѣ ея кудри колыхнулись и, казалось, зазвенѣли, как колокольчики.

— Тут и начала я размышлять над м о е й жизнью. Думаю: кто были мои кліенты? Русскіе, румыны, поляки, евреи... Все, так сказать, угнетенныя націи. Но вѣдь есть и счастливые народы на свѣтѣ. Англичане, скажем, или американцы, французы. Рѣшила на них испробовать свое счастье. Стала заучивать англійскія слова, нужныя в моей профессіи. Хоть люди и различны, но факты жизни для всѣх одинаковы. Тѣ же слова для всѣх народов. Гадалкѣ какія слова надо знать? «Деньги» или «нѣтъ денег», конечно, «любовь», «муж», «жена», «любовник». Иной раз — «ребенок», «дальняя поѣздка», «болѣзнь». Если гадать честно — двадцать-тридцать

слов предскажут судьбу кому угодно. Выучила я эти слова. Конечно, интересно позволить себѣ роскошь в чужом языкѣ — сказать, напримѣр, «блондин» или «брюнетка». Это и просто — «блондин» на всѣх языках «блондин». Ну, конечно, хорошо еще знать — «подарок», «неожиданное извѣстіе». И эти слова я заучила. Потом помѣстила объявленія в обѣих англійских газетах. «Знаменитая гадалка, извѣстная во всем Восточном Полушаріи»... И что же? Ни одна душа, говорящая по англійски, не откликнулась на мои объявленія...

Ея голос зазвенѣл и оборвался. Бабушка прекратила вязаніе и смотрѣла на мадам Милицу полными слез сочувствующими глазами. Отвернувшись, избѣгая ея взгляда, мадам Милица порывисто налила в обѣ чашки свѣжаго кофе и послѣ нѣскольких глубоких глотков нашла в себѣ силы для дальнѣйшаго повѣствованія.

— Почему? Почему они не пришли? Они так увѣрены в своем свѣтлом будущем? Нѣтъ у этих англо-саксонцев простого любопытства? Слушайте! Я бы сказала им: — не довѣряйтесь судьбѣ! будьте готовы ко всему! ждите несчастья! удача обманчива! судьба играет с человѣком в прятки!

Ея глаза сверкнули жутко, предостерегающе.

— А тѣм временем я проѣдаю всѣ свои сбереженія, — замѣтила она вскольз. — Я приняла рѣшеніе: через двѣ недѣли уѣзжаю в Шанхай. По желѣзнодорожному справочнику это два дня пути. Но я бросила карты и вижу: двухмѣсячное путешествіе по водѣ, по землѣ и по воздуху — и без прибытія к желаемой цѣли... Что же, и в Шанхаѣ никому нѣтъ дѣла до собственной судьбы?

— Насколько я знаю, — мягко заговорила Бабушка, — англичане не вѣрят гаданіям, это не в их обычаях... К тому же и современное воспитаніе... Они вѣрят, что человѣкъ кузнец своего счастья.

— Они так вѣрят? Ха! — и мадам Милица злоѣше засмѣялась. — Мнѣ ж а л ь англичан. Подумать только: кузнецы своего счастья! Лучше бы зашли и спросили Милицу... Могла бы им кое-что сказать. И лучше

бы зашли поскорѣе, пока не поздно. Гибнет культура, вымирает и наша профессія. Кто станет тратить время, ж и з н ь на профессію, которая не привлекает кліентов? Да, уж немало нас, гадалок, осталось на землѣ. Мы вымираем, нас замѣнят шарлатаны...

Она опять налила двѣ чашки кофе и, наклонившись в сторону Бабушки, заговорила полушепотом, тоном сердечных признаній:

— Я люблю ваше семейство. Всѣ вы мнѣ дороги! Сколько раз находило на меня искушеніе разложить карты на вашу судьбу. Но страшно! Я боролась с искушеніем, сдерживалась. Но вот через двѣ недѣли я уѣду в Шанхай. Меня здѣсь не будет. И я думаю, не попробовать ли?... а?

Быстрым движеніем она вынула карты из кармана и вдохновенно, взволнованно стала их тасовать.

— А? Люблю ваше семейство... с матерью, с бабушкой... Каждая приличная семья должна имѣть бабушку. Желаю вам всяких благ. Но вот карты... Минута, — быть может, конец всѣм вашим надеждам... Попробовать? Нѣтъ? А?

Нѣкоторое время обѣ женщины сидѣли в молчаніи, неподвижныя, любопытныя и испуганныя. Мадам Милица, видимо, все сильнѣе поддавалась искушенію.

— Знаете, что мы сдѣлаем? Я погадаю только на Вас. Вы уж старушка. С Вами уже немного может случиться. Вы и так бѣдны... больны... Вам и терять то почти нечего... Бойтесь смерти?

— Смерти? Нѣтъ, не боюсь, — сказала Бабушка, и ея голос не дрогнул. Она оставила вязаніе и строго смотрѣла вдаль. В наружности Бабушки не было ничего замѣчательнаго. Она походила на пучек богородской травки: такая же поблекшая, такая же хрупкая, ароматная.

— Я не боюсь смерти, — повторила она. — Я боюсь расходов. Моя смерть может окончательно разорить семью. Здѣсь, на чужой землѣ, кто им поможет? А с похоронами столько расходов. Гроб, свѣчи... а панихида, а отпѣваніе! Мѣсто на кладбищѣ... крест на могилу... Да и как гроб со

мною доставят в церковь? Русское кладбище здѣсь так далеко, за рѣкой... Надо заплатить доктору за свидѣтельство о смерти, рабочему за копаніе могилы, батюшкѣ за отпѣваніе. Боже мой! Нѣтъ, нѣтъ, — закончила она со вздохом. — Как только я себя представляю всѣ эти расходы, эту дороговизну, это безпокойство для дочери Тани... да еще вѣдь смерть может распугать жильцов... Нѣтъ, как только стану думать обо всем этом, пропадает всякая охота умирать...

И она энергично снова принялась за вязаніе.

— Тогда почему не попробовать... карты? — вкрадчиво заговорила мадам Милица. И, не ожидая отвѣта, стала тасовать их порывистыми, жадными движеніями рук. Узором раскладывались карты на столѣ, глаза Милицы сдѣлались пронзительными, горячими, как угли. Лицо ея вдруг приняло удивленное выраженіе. На мгновеніе она как бы застыла, не вѣря глазам.

— Годы, долгіе годы не видала я такой раскладки: с к о р о е исполненіе всѣх сердечных желаній. Удача и счастье. Во первых, Вы получите службу...

— Я? Службу? Мнѣ семьдесят лѣтъ...

— Да, с л у ж б у и с х о р о ш и м о к л а д о м . Загребать будете деньги! Потом умрете. Но Ваш заработок не только покроет расходы, кое что еще останется для Вашей семьи. Благодаря службѣ у Вас появятся серьезныя дѣловыя связи. Ваша семья их использует. Да, Вас ожидает счастливая смерть...

В этот момент гаданіе было прервано. Калитка стукнула, и незнакомый человѣкъ вошел в сад.

3.

Вошедшій, по своему внѣшнему виду, был совершенно необычным посѣтителем для такого дома, как № 11. Это был, без сомнѣнія, англичанин — высокій, здоровый, хорошо одѣтый, чисто выбритый, с корректными, сдержанными манерами. Зачѣм он вошел в сад? В этой обстановкѣ он казался фанта-

тическим явленіем. Он, несомнѣнно, сошел с планеты, гдѣ вся жизнь иная, гдѣ живут спокойно и счастливо. И вошедшій, видимо, сам сознавал, что попал в необычное для него мѣсто. Он остановился, как бы давая тѣм возможность другим привыкнуть к его появленію — чтобы не казалось, что при первом же прикосновеніи он вот-вот исчезнет, растает без слѣда в воздухѣ.

Потом он сдѣлал два шага и заговорил по англійски. Сказал он необыкновенную вещь — он хотѣл в домѣ № 11 снять комнату и спрашивал хозяйку.

Первой пришла в себя Бабушка. Она быстро перемѣнила выраженіе лица — теперь оно перестало быть удивленным и стало привѣтливым. Затѣм она радушно улыбнулась. Когда то Бабушка получила прекрасное воспитаніе и поэтому легко ориентировалась во всяком положеніи. По англійски она говорила отлично. Думая, что здѣсь произошло какое то недоразумѣніе, она об'яснила пришедшему, что № 11 — р у с с к і й пансіон, что в нем имѣются жильцы р а з н ы х національностей, что дом не очень комфортабельный и что, по всѣм этим причинам он едва ли подойдет для англичан. Хотя говорила она быстро и вѣжливо, вошедшій господин слушал с нетерпѣніем и, едва дав ей кончить, повторил — и на этот раз нѣсколько громче — то же самое, что сказал в первый раз: ему нужна комната в пансіонѣ и он хотѣл бы видѣть хозяйку, если возможно.

— Войдите, пожалуйста, — сказала Бабушка, вставая и приглашая господина в дом.

Господин вошел — и в полчаса была заключена удивительная сдѣлка: лучшая комната в домѣ, с балконом, была сдана, и деньги, тут же и без всякой дальнѣйшей торговли, уплачены вперед за два мѣсяца. Комната была снята для благородной англійской дамы. Дама эта, по словам господина, была не очень молода, недавно овдовѣла и была во всѣх смыслах совершенно одинока — посѣщеніями ее никто не будет тревожить. К сожалѣнію, дама не может похвастаться превосходным здоровьем, хотя, с другой стороны, ее нельзя на-

звать и больной — напротив. Предвидя возможные непредвидѣнные расходы, господин счел своим долгом сказать, что дама располагает средствами и всѣ расходы будут оплачены братом дамы, мистером Стоун, который в настоящее время находится в пути из Англїи в Китай. Мистер Стоун выѣхал сюда с единственной цѣлью ликвидировать коммерческія дѣла мистера Парриш, покойнаго мужа дамы. Своего же имени господин не назвал, сказав только, что он — партнер в дѣлах покойнаго мистера Парриш и считает своим долгом — своим х р и с т і а н с к и м долгом — позаботиться о дамѣ, оказавшейся в трудном положенїи и в полном одиночествѣ. Тут господин вздохнул и добавил, что дама б ы л а совершенно очаровательной женщиной, но так как все в мїрѣ превратно, то измѣнилась и дама... И все же надо надѣяться, что пере-мѣнится и это... К этому господин добавил, что на этом его личное участіе в этом дѣлѣ и заботы о дамѣ кончаются — он должен помѣстить ее в пансіон и это все. С чувством исполненнаго христіанскаго долга он уѣзжает из Тяньдзиня на все лѣто и его послѣдним словом будет просьба оказывать возможно больше вниманїя дамѣ, так как, будучи нѣсколько н е у с т о й ч и в о й послѣ потери мужа, и почти н е у т ѣ ш н о й, она, тѣм не менѣе, нуждается в постоянном вниманїи. На тревожные вопросы Бабушки господин отвѣтил, что дама будет ѣсть все, что дадут, всегда будет всѣм довольна и в пансіон прибудет вечером этого же дня.

Господин ушел, оставив на столѣ деньги. Бабушка смущенно приняла их. В ея кругу, в прежнія времена, никто не давал деньги так — прямо на стол или в руки, как в лавкѣ. Деньги передавали в конвертѣ, незамѣтно. Но это все же были деньги, и их можно было тут же истратить — в уплату за квартиру, за хлѣб, за электричество...

Стали готовить комнату для дамы. Мать и Бабушка за работой высказывали всевозможныя предположенїя о новой жилищѣ. Мадам Милица и маленькій Дима старались помогать и поддерживать разговор.

— Англичанка... — размышляла вслух мадам Милица.

— Кто этому может повѣрить? Настоящая благородная английская дама в русском пансионѣ?... Все ѣст, никуда не ходит?... И замѣтите, к ней тоже никто не ходит... А брат ради нея катит из Англии?... Сам этот господин своего имени не назвал, — он просто так скрывается, уѣзжает теперь же... Как хотите, здѣсь какая то тайна!

Всѣм стало не по себѣ, даже немного жутко.

— Не будем заглядывать в будущее, — умиротворяюще сказала Татьяна Алексѣевна. — У нас нѣтъ никаких доказательств... — Доказательств? — Мадам Милица сверкнула глазами. — А деньги? Развѣ честный человек будет торопиться с платежом, да еще за квартиру? Много вы видѣли авансов от своих квартирантов? А этот сноб разговаривать не хочет, а деньги платит авансом — за два мѣсяца! В жизни не видала ничего подобного! — Вы только отчасти правы, — заговорила Бабушка. — Англичане, конечно, снобы... Но такими они бывают лишь в чужих краях, особенно здѣсь, на Востокѣ. У себя дома они совсѣм другіе. Я два раза была в Англии. Там они всѣ гостеприимны и радушны. — Еще бы! — усмѣхнулась мадам Милица. — Тогда вы были богаты. Снобы очень внимательны к чужим деньгам. — А почему снобы знают, что у Бабушки сейчас нѣтъ денег? — спросил Дима. — Может быть, снобы опять будут радушны к нашей Бабушкѣ... — и он принялся старательно, пальчиком, стирать пыль с рамки зеркала.

В комнатѣ опять стало тихо. Тишину нарушали лишь щетки, тряпки и вздохи.

— Ах! — вдруг воскликнула мадам Милица, — я так разстроена, так подавлена всѣм этим... Мнѣ необходимо кофе... сію минуту.

— Там осталось в кофейникѣ, — с готовностью откликнулась Бабушка. — Сейчас подогрѣю.

— Нѣтъ, — перебила мадам Милица. — В такой день мы не станем пить подогрѣтое кофе. Заварите, пожалуйста, с в ѣ ж а г о . . . — и она гордо встряхнула головой.

В шесть часов вечера были привезены вещи миссис Пар-

риш. Сундуки, чемоданы, ящики — все было новое, лучшаго англійскаго вида и выдѣлки.

В восемь часов, в сумерки, большой и роскошный автомобиль остановился у калитки. Дверца автомобиля быстро открылась. Первым появился бульдог. Он вышел медленно, с достоинством, не торопясь отошел в сторону и остановился у стѣны — спокойно, мрачно, не проявляя ни малѣйшаго интереса к окружающему. За ним послѣдовал господин, утренній посѣтитель. С помощью шофера он почти выволок из автомобиля высокую и грузную даму, которая отбивалась от них и кричала господину по англійски звонким и полным жизни голосом:

— Звѣри! А-а-а!... Куда вы меня тащите! — Она отбилась от тащивших ее и легко выпрыгнула сама. Это была высокая, цвѣтущая женщина с пріятным, но нѣсколько отекившим лицом. Волосы ее были растрепаны, платье помято и в беспорядкѣ — и все же всѣм было ясно и очевидно, что дама эта, миссис Парриш, была, дѣйствительно, настоящая англійская благородная лэди. Самым удивительным был ее голос: он звучал задорно, свѣжо и звонко, как голос мальчика.

На крыльцѣ дома расположилась в ожиданіи прибывшей живописная группа. Бабушка и Мать — в лучших своих платьях — прівѣтливо улыбались и кланялись, за ними в выжидательной позѣ стояла мадам Милица. Дима, только что начисто вымытый, с непросохшей еще мыльной пѣной за ушами и на шеѣ, мячиком скатился с крыльца навстрѣчу собакѣ.

Пріѣзд и встрѣча вновь прибывшей оказалась сложной церемоніей. Всѣ были удивлены, всѣ нервничали — и каждый по своему. Мать и Бабушка старались не показать, что онѣ шокированы. Господин старался ни с кѣм не встрѣтиться глазами — он смотрѣлъ то на небо, то в сторону. От мадам Милицы исходили горячие лучи любопытства. Появленіе собаки и ее красота поразили Диму — у него перехватило дыханіе: собака была мечтой его жизни.

Одна только миссис Парриш не испытывала никакого смущенія. Раскачиваясь на ногах, в туфельках с очень высокими

каблуками, из которых один был наполовину оторван, она подошла к крыльцу, с удивленіем посмотрѣла на незнакомых, вѣжливыя лица — и вдруг мило улыбнулась. Господин рѣшил воспользоваться этим психологическим моментом, чтобы помочь ей подняться на крыльцо. Но едва он коснулся ея руки, как миссис Парриш встрепенулась и закричала:

— Скотина! Видали? — и широким жестом она указала на господина. — О н — м н ѣ угрожает! Пугает лечебницей, если я не останусь здѣсь. Ха! Слыхали вы что-нибудь подобное?

Она стояла перед крыльцом — высокая, почти величественная, полная благороднаго негодованія.

— А что он говорит! Я качаюсь? Я не тверда на ногах? Смотрите — качаюсь я? — кричала она с вызовом. — Посмотрите сначала на меня, а потом на этого негодяя. К т о пьян? К о м у нужна лечебница? Тут я стою... — Она тряхнула головой, и вѣтерок легко взметнул вверх ея короткіе, свѣтлые и пушистые волосы. — Вот я стою перед вами — в полном сознаніи, в твердой памяти! Теперь посмотрите на него — несчастный, облѣзлый болван... Ха! Лечебница — вот именно!

Миссис Парриш была совершенно пьяна. В этом не могло быть никакого сомнѣнія. Спасая приличія, Бабушка выступила вперед и заговорила вѣжливо и мягко:

— Войдите, пожалуйста, в дом. Ваша комната готова. Мы ждали Вас. Я Вас проведу... Будете жить с нами — в простом и скромном семейном кругу... — Бабушка взяла миссис Парриш под руку и, маленькая, хрупкая, повела ее вверх по ступеням. Лэди повиновалась, господин замыкал шествіе.

Дверь закрылась.

— Видали? — кратко спросила мадам Милица.

Татьяна Алексѣевна с минуту стояла неподвижно.

— Деньги уже истрачены, — думала она. — З а д в а м ѣ с я ц а ! Надо мириться с положеніем. — Она вздохнула и пошла на кухню.

Миссис Парриш вверху бушевала. Пали вещи, хлопали

двери. Ея голос звонко разносился по всему дому и ему откуда то отвѣчало радостное эхо, как будто веселая лѣтняя буря, с громом и молніей, бушевала над домом. Господин непрерывно звонил, и китаец-слуга, как соломинка, летал вверх и вниз по лѣстницѣ, исполняя какія то приказанія.

Наконец, все стихло. Теперь был слышен лишь умиротворяющій голос Бабушки и громкіе вздохи самой миссис Парриш. Господин поспѣшно покинул дом, ни с кѣм не простившись.

Мадам Милица проводила его горящим взглядом и медленно пошла на кухню пить кофе. Петя и Лида вернулись со службы и с интересом слушали разсказ о событіях дня. Японцы группами возвращались домой, справляясь у всѣх об их здоровьѣ. Только китайскаго профессора не было ни слышно, ни видно. Хотя он и был весь день дома, он не задал ни одного вопроса о причинах необычнаго шума. Он никогда и никого ни о чем не спрашивал.

Нина Федорова.

ЮНЫЙ МУСОРГСКИЙ

(Из готовящейся к печати книги «Петеро и Другіе»)

«Как бы я хотѣл быть Манфредом!»
(Мусоргскій)

II

Молодой человекъ стоит на порогѣ жизни и жизнь встрѣчает его благопріятными ауспиціями. Все общает ему счастье и покой. Он богат, у него живые умственные интересы, он носит мундир офицера аристократическаго полка и «каста», принадлежность к привилегированному сословію, тоже защищает его от жизненных бурь и битв. Вокруг него — еще один щит — любящая семья, мягкій отец, мать и старшій, заботливый брат. У него пріятныя способности к музыкѣ, дѣлающія его желанным в каждой гостиной. В жизни он, словно ребенок в люлькѣ: пусть за стѣною бушует вѣтер — ему то тепло и уютно. Кто замѣтит, что все это — обман, что ласковая судьба готовит злые удары, подкрадывается в войлочных туфлях? Что внутренняя судьба, характер, «демон» человекъ влечет его на страданія, в бездну? Что салонный талант оказывается даром огромным и требовательным, готовым разрастись, как раковая клѣтка, стать неизлѣчимой болѣзнью? Ибо разрушительную силу гениальнаго таланта могут выдержать только немногія, богатырскія натуры.

Модест Мусоргскій родился и до десяти лѣтъ жил в Псковской деревнѣ, в имѣніи своих родителей. Там впервые впитывал он в себя подлинную «святую Русь». Песчанья равнины, поля, засѣянные льном, сосны, березняки, небольшія озера с плоскими берегами, среди которых гулял Пушкин, окружали его и тѣ же сказки рассказывала ему его няня, такая же псковская крестьянка, как пушкинская Арина Родионовна. Он

играл с дворовыми мальчишками, видѣлъ всю неприглядность крестьянской жизни и полюбил ее. Рано открылись в нем музыкальныя способности, и шести лѣтъ, не учась, он уже подбирал на фортепіано все, что ни слышал. Мать стала первою его учительницей и семи лѣтъ он мог играть нетрудныя піесы Листа. В девять, дома, перед многочисленными слушателями он исполнил фортепіанный концерт Фильда, а в 12 с успѣхом участвовал в большом благотворительном утрѣ. В это время он уже жил в Петербургѣ и учился в нѣмецкой Петропавловской школѣ, а музыкѣ у извѣстнаго тогда преподавателя Герке. Строгій и экононый нѣмец остался столь доволен его выступленіем, что даже подарил ему сонату Бетховена (о д - н у сонату!) в переплетѣ с золотым обрѣзом. Не прекращал он уроков и когда поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков, в которой учился когда-то Лермонтов. В 13 лѣтъ он сдѣлал первую попытку компзиціи, сочинил польку, которую под заглавіем *Porte Enseigne Polka* издал на свой счет гордый им папаша. Когда он кончил школу и вышел офицером в Преображенскій полк, он и там не прекращал музицированья и нашел нѣскольких товарищей, интересовавшихся музыкой (но большинство интересовалось только кутежами, к которым и он не остался вполнѣ равнодушен, хотя был в общем скромным и благовоспитанным мальчиком).

Отец его скончался еще не старым челоуѣком, оставив дѣла в запутанном состояніи и завѣщав имѣнія в нераздѣльное владѣніе сыновей. Это было первым предупрежденіем судьбы, но он был еще слишком юн, чтобы обратить на него вниманіе. С ним оставалась мать, все шло по прежнему. Окончив училище он поселился вмѣстѣ с ней и с братом. Как хорошо было каждое утро цѣловать ея милую руку и чувствовать ея ласковыя губы у темени. И каждый вечер она благословляла его на сон грядущій. Жизнь была еще не страшна, жизнь была интересна. Интересны были книги: он читал их без разбора — философію и френологію, исторію и геологію. Все это были любопытныя и забавныя штуки. Курьезно было узнать, на примѣр, что всѣм душевным качествам челоуѣка соотвѣт-

ствуют опредѣленные шишки на черепѣ. Это он прочел у понравившегося ему нѣмецкаго философа Лафатера.

III

Когда Модесту было 17 лѣтъ, нѣсколько мѣсяцев послѣ того, как он встрѣтился с Бородиным на дежурствѣ в госпиталѣ, один из его товарищей по полку ввел его в «салон» Даргомыжскаго. Как не всѣ сѣмена дают всходы и не всѣ прививки к дереву принимаются, так и в человѣческой жизни однѣ встрѣчи — значительны и чреваты послѣдствіями, другія же, большинство, проходят безслѣдно. Такой, долгое время безплодной, встрѣчей было его знакомство с Бородиным. «Милый офицерик и славно играет на фортепіано», «симпатичный и музыкальный доктор», так думали они, вѣрно, друг о другѣ и не продолжили знакомства. Наоборот, встрѣча с Даргомыжским сыграла роль в жизни Модеста. В салонѣ автора «Русалки» был привит нашему дичку в гвардейском мундирѣ росток настоящей музыкальной культуры. И там же познакомился он с тѣми людьми, которые имѣли еще большее значеніе в его жизни, а также привели к новой, болѣе прочной связи с тѣм же Бородиным, когда для этого пришло время.

Салон Даргомыжскаго был не Бог вѣсть каким высоким явленіем! Молодая и зрѣлая его ученицы вносили туда атмосферу сплетен и восторженнаго обожанія учителя. Маэстро больше вниманія обращал на их внѣшность, чѣм на голос, и когда ему замѣчали, что такая то невыносимо фальшивит, восклицал: «помилуйте, какая хорошенькая!» Одна из самых хорошеньких, молодая нѣмочка с незначительным личиком, Любовь Федоровна или Любонька, была с ним в связи, носившей характер маритальный. Прочія, влюбленные в «Мэтра» платонически, ее ревновали. Кромѣ свѣтских дилетантов в салонѣ можно было встрѣтить по преимуществу всяческих неудачников: учителей музыки без уроков, оркестровых музыкантов без ангажемента, заштатных военных капельмейстеров. Сам хозяин был тоже в сущности неудачником. Он со-

всѣм недавно пережил еще одно, быть может самое жестокое разочарованіе. Он столько надежд связывал со своей «Русалкой»: наконец, он нашел удачное либретто для оперы, талант его впервые окрѣп и созрѣл, но «Русалка», хотя и не провалилась, как прежнія «Торжество Вакха» и «Эсмеральда», но была встрѣчена холодно и настоящаго успѣха не имѣла. Между тѣм он не видѣл для себя в Россіи другого пути кромѣ театральнаго. Концертная эстрада была доступна только для знаменитѣйших иностранных виртуозов. Симфоническіе концерты были рѣдкостью, да он и не считал себя «симфонистом» (хотя опыты его в этом направленіи были интересны и не лишены революціонной новизны). Огорченный, обиженный, он удалился от міра в «пустыню» (довольно шумную) своего салона. Тут он царил, тут ему дышалось легко в тепличном воздухѣ поклоненія. И он начинал раздѣлять Петербург на двѣ неравныя части: посѣтителей его «пятниц» и всѣх прочих.

— Очень рад, — говорил он, пожимая руку сконфуженнаго Мусоргскаго, — рад привѣтствовать Вас у себя. Тут встрѣчаются всѣ, кто любит истинное искусство, кто не связан ни службой, ни карьерой, ни казенным мѣстечком, ни казенными взглядами, словом всѣ независимые музыканты Питера. Их не много (и он окинул взором собравшихся, слово их пересчитывая), но здѣсь найдете Вы равенство и дружелюбіе, истинную республику искусств. Прошу любить и жаловать!». Он представил Мусоргскаго нѣскольким завсегдатаям, но говорить с этим молоденьким офицериком им было не о чем, и всѣ они незамѣтно исчезали, так что вскорѣ он остался один, и не знал, что с собой дѣлать. Как во всяком организованном людском обществѣ здѣсь были свои интересы, недоступные ему, шли свои разговоры, вызывали всеобщій смѣх словечки и шутки, которых смысла он не понимал. Он подошел к кружку, образовавшемуся вокруг хозяина. Маленькаго роста, с большим артистическим галстухом бабочкой, он говорил авторитетно своим высоким пискливым тенором: «я не могу спорить с Глинкой со стороны идеальности его музы-

ки, но есть другая область — область правды, и тут, скажу без ложной скромности, я выше его. Глинка велик, но он был еще весь под влиянием итальянщины. У него склонность к закругленным, условным формам. Порой его речитативы довольно выразительны, но я хочу, чтобы музыка служила слову, послушно шла за рѣчью». Не все было понятно в этих словах Мусоргскому, да и из опер Глинки он знал только отрывки. Но он тоже был против итальянщины. У Даргомыжскаго была хитрая «іезуитическая» манера хвалить, порицая. Он восторгался Глинкой, говорил, — «я только ученик, недостойный развязать ремень обуви учителя». Но дальше выходило, что «Жизнь за Царя» слабая опера. О «Русланѣ» он выражался осторожнѣе. Тут его критика походила на подземныя траншеи, о которых Модест слышал на уроках фортификаціи. Траншеи эти велись, чтобы взорвать значеніе «Руслана».

Потом началась музыкальная часть вечера. «Русская музыка исполняется у нас просто, дѣльно, без всякой вычурной эффектности — говорил хозяин в видѣ интродукціи к ней, — одним словом, исполненіе такое, какое любил покойный наш друг Михаил Иванович». Но хотя эти слова, дѣйствительно, выражали тенденцію, внушаемую им своим ученицам, большинство их было не на высотѣ. К тому же онѣ словно нарочно исполняли самые слабые из романсов Глинки. Потом Даргомыжскій пискливым тенором пѣл собственные свои романсы и отрывки из «Русалки». Его романсы тѣх лѣтъ не были еще так оригинальны, как позднѣйшіе, но пѣл он превосходно. Окончив пѣніе, он вспомнил о новом гостѣ и усадил его почти насильно за фортепіано. Піанистическое дарованье Модеста вызвало общее одобреніе. Когда пріем кончился, он вышел на морозный, «вкусный» воздух в легком и пріятном опьяненіи.

С тѣх пор он стал посѣщать гостепріймый «салон» чуть ли не каждую недѣлю. Здѣсь впервые начинал он жить настоящей музыкальной жизнью. Хозяин, цѣнившій вѣрных посѣтителей, его жаловал. Иногда он усаживал его рядом с собою

на маленькій диванчик, брал его дружески под руку и говорил с ним интимно о себѣ, о своих взглядах на искусство. «Тот, кто пишет для богатства или славы — уже не художник, а торговец своим дарованіем. Я не хочу извѣстности в Россіи, но статьи обо мнѣ в иностранных газетах дают мнѣ случай пошуканировать петербургских свиней, что хрюкают на меня в гостиных и журналах. Я не заблуждаюсь! Артистическое положеніе мое в Петербургѣ незавидно! Большинство наших любителей музыки и газетных писак не признает во мнѣ вдохновенья. Рутинный взгляд их ищет льстивых для слуха мелодій, за которыми я не гонюсь. Я не намѣрен для них низводить музыку до забавы. Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды!»

Его слова глубоко западали в душу Мусоргскаго. Ради таких минут стоило поскучать и послушать безголосых пѣвиц! Вѣдь уже через нѣсколько посѣщеній, присматриваясь к окружающему, Модест, несмотря на всю свою неопытность, начал понимать, что только в воображеніи Даргомыжскаго общество, собиравшееся у него, можно было счесть «солью» музыкальнаго Петербурга. Впрочем, изрѣдка заглядывали туда и болѣе интересные люди. Однажды побывал молодой музыкальный критик Сѣров. Он много и умно рассуждал, размахивая своими короткими ручками. В оживленном діалогѣ с хозяином, к которому почтительно прислушивались всѣ присутствующіе, они касались множества фактов, о большинствѣ которых понятія не имѣл Модест. Но и не все понимая, он был восхищен тѣм, как ловко этот Сѣров попадал в тон хозяину и как дружно шипѣли они на весь мір. В другой раз его познакомили с композитором, носившим французскую фамилію Кюи. Они с Кюи понравились друг другу и хорошо разговорились в укромном уголкѣ. Кюи закончил недавно комическую оперу под заглавіем «Сын Мандарина». К слѣдующему собранію, втроем, — автор, хозяин и Мусоргскій — они разучили и спѣли отрывки из нея. Модест Петрович пѣл прекрасно и обнаружил подлинный комическій талант. «Вам бы на сцену надо» — говорил ему Даргомыжскій.

Но такія отступленія от обычной программы случались не часто. Обыкновенно ритуал собраний был неизмѣнен: сначала чай с бисквитами, еле подслащавшими рѣчи хозяина; потом выступленія пѣвиц и Любоньки; потом пѣнье или импровизація на фортепіано самого Даргомыжскаго. Модесту начинала все меньше нравиться атмосфера салона; во всем этом было что-то душное и кислое, как в непровѣтренной дѣтской.

Кюи, почувствовавшій симпатію к новому знакомому и довольный его исполненіем своей оперы, разоткровенничался и рассказал ему, что он жених одной из учениц Даргомыжскаго и представил его своей невѣстѣ, миле Бамберг. Он был очень влюблен в нее, но, пожалуй с чувством, тоже похожим на влюбленность, говорил и об одном из своих друзей, Балакиревѣ. «Это свѣтлая, тузовая личность» — говорил Кюи, а он не производил впечатлѣнія чловѣка легко увлекающагося. Поэтому Модест ждал с нетерпѣніем общаннаго знакомства с этим Балакиревым. Он должен был придти в одну из ближайших пятниц и, дѣйствительно, появился как то к концу собранья, но был молчалив, важен, застегнут на всѣ пуговицы и, хотя и не отказался сѣсть за фортепіано и сыграть одну из своих вещей, но под предлогом усталости скоро уѣхал. Кюи представил ему Мусоргскаго и Балакирев, очевидно предупрежденный своим другом, любезно пригласил его придти к нему вмѣстѣ с Кюи в один из ближайших вечеров.

IV

Сконфуженный и не без волненія входил он в сопровожденіи Цезаря Антоновича по неприглядной лѣстницѣ в маленькую квартиру, гдѣ снимал себѣ комнату Балакирев. Но все тут сразу понравилось ему: занимая чуть ли не половину комнаты, поблескивал черным лаком великолѣпный Беккеровскій рояль; всюду — на полках, на стульях, на полу и на подоконниках лежали в беспорядкѣ ноты. Милій Алексѣевич был совсѣм другой, чѣм у Даргомыжскаго, по домашнему

простой и веселый. Во всѣх его словах и жестах, в противоположность автору «Русалки», плѣняла рѣзкая и благородная прямота. Когда же он заговаривал на волнующую его тему, в самих интонаціях его голоса (смысла слов Мусоргскій порой не понимал) была покоряющая сила убѣжденности. Естественно заговорили о Даргомыжском, котораго оба фамильярно звали «Даргуном» и «Даргопехом». Кюи иронически именвал его музыку «Мыжскиной музыкой». Балакирев не отрицал достоинств его опер, признавал, что он продолжатель Глинкинских завѣтов, но в разжиженном и ослабленном видѣ. «Направленіе у него вѣрное, но таланта не хватает», резюмировал Кюи. Мусоргскій хотѣл, было, спросить, как же насчет музыкальной правды, в которой Даргомыжскій, по его словам, пошел дальше Глинки, но не рѣшился вступить в спор с Балакиревым. По просьбѣ Кюи Милій Алексѣевич сѣл за рояль, стал разбирать какую то симфонію Шумана, комментируя отдѣльные пассажи. Потом перешел к импровизаціи, темпераментной и увлекательной. Все, что он играл было ново и плѣнительно для Мусоргскаго! «Если он так импровизирует, к а к о в о ж е он сочиняет?» — думал он. Кюи тоже сѣл к фортепiano, пропѣл, аккомпанируя себѣ нѣсколько очаровательных своих романсов. Попросили сыграть и новаго гостя. Ему было стыдно за бѣдность своего репертуара и за его невысокое качество. Однако піанистическое дарованіе его не мог не отмѣтить Балакирев. Модесту Петровичу тогда же пришла в голову мысль: попросить Балакирева заниматься с ним. В этом был бы двойной авантаж: он имѣл бы случай пополнить свое недостаточное музыкальное образование с превосходным учителем и, главное, продолжить знакомство с этим изумительным человеком, видѣться с ним, может быть (может быть!) сойтись с ним поближе, говорить с ним так просто и дружески, как это дѣлал Кюи. Но он не рѣшился сказать о своем желаніи.

В это лѣто Балакирев серьезно заболѣл болѣзнью, которая называлась тогда горячкой или «тифусом». Модест Петрович навѣстил его уже тогда, когда он стал поправлять-

ся, но был слаб и испытывал блаженное чувство, свойственное выздоравливающим. Тут, у его постели, он познакомился еще с двумя симпатичнѣйшими людьми — братьями Стасовыми. Об уроках говорить было не время, а вскорѣ Балакирев уѣхал из Петербурга. Только осенью, в октябрѣ, Мусоргскій осуществил свою мысль и робко, с волненіем обратился к Милію Алексѣвичу со своей просьбой. Тот охотно согласился.

На уроки он ѣздил к Милію (так очень скоро начал называть его Мусоргскій в письмах, прибавляя «драгоценнѣйшій» или «прекраснѣйшій» Милій, и вкладывая в эти прилагательныя всю тяжесть их буквального значенія). Почти с тѣм же волненіем, что в первый раз, подымался он по знакомой лѣстницѣ в небольшую комнату, храм искусства. Уроки заключались в том, что они играли в четыре руки Баха, Генделя, Гайдна, Моцарта, Бетховена, а из новых — Шумана, Берліоза, Листа, и Балакирев их комментировал. Модест к этому времени уже был знаком с музыкой Глинки и Даргомыжскаго, так что их они оставляли в сторонѣ. Из этого перечня имен видно, что обвиненіе Милія в «культивированьи невѣжества» и в «презрѣньи к классикам» было несправедливо. Хотя сам он любил в музыкѣ главным образом новое, неизвѣданное, обращенное к будущему; хотя считал классическую музыку только фундаментом, на котором хотѣл строить дальше; но своих друзей-учеников он подолгу выдерживал на классиках и только постепенно заражал их своими личными пристрастіями.

Милій старался освѣтить Мусоргскому общій смысл играемых ими произведеній, их мѣсто и значеніе в исторіи музыки. Он умѣло избѣгал вопросов теоріи и сосредотачивался на том, что хорошо знал. Он объяснял Модесту, как он выражался, «форму» произведеній. Ничего кромѣ писем не писавшій, Балакирев несомнѣнно обладал способностями выдающагося музыкальнаго критика. Он отлично чувствовал внутреннюю логику музыкальнаго построенія и подмѣчал малѣйшее отступленіе от этой желѣзной логики. Странно, что при этом он

любил разлагать каждое музыкальное произведение на куски и разбирать каждый отрывок в отдѣльности. В своих вкусах и сужденіях он был очень увѣрен, для него не существовало авторитетов. Но как педагог он был нетерпѣлив и капризен. Сам все схватывавшій налету, он ждал того же от других и раздражался от малѣйшего непониманія. Он нисколько не считался с уровнем знаній ученика, не старался быть доступным ему, и не любил повторять одно и то же. Но все это он искупал любовью к искусству, огнем горѣвшим в нем и заживавшим других. И оттого он, «плохой педагог», стал учителем геніев, и в скромной его комнатѣ, в черном блескѣ его Беккера, дыша нотной пылью они выросли, как грибы послѣ лѣтняго дождя. Ни одна консерваторія в мірѣ не могла бы пойти в сравненіе с этой удивительной «пепиньеркой для геніев».

Мусоргскій его раздражал. Не то чтобы он не видѣл в нем добрых задатков и способностей... Но многого тот не понимал и, наоборот, понимал и думал что то свое, что и старался выразить коряво и превыспренно. Он был упрям, на него находили припадки тупоумія. Но он был славный малый, преданный ему, и Милій продолжал работу с ним. Очень скоро он отказался брать с него деньги, в виду их дружеских отношеній, а может быть отчасти из-за малой успѣшности ученика. Модест продолжал приходиться к нему каждый свободный вечер — пить чай, играть в четыре руки, разговаривать о музыкѣ. По прежнему Милій об'яснял ему «форму» піес, которыя они играли и выслушивал туманныя и темныя его разсужденія.

Почти в самом началѣ их занятій Модест рѣшил переменить свое фортепіано и попросил Милія помочь ему выбрать новое. Милій поѣхал к Беккеру, с которым был в хороших отношеніях и выбрал инструмент по своему вкусу. Привлечь к выбору друга он счел лишним, предоставляя ему право отправить фортепіано обратно. Но Модест от этого своеобразнаго права «вето» заранѣе отказывался, как отказываются от него робкіе монархи по отношенію к властным и крутым

министрам. Он заранѣе «не знал как благодарить драгоценнаго Милія», заранѣе восторгался. Инструмент ему доставили только в декабрѣ и выбор Милія, дѣйствительно, оправдал себя. «Машина» оказалась превосходной, тон был прекрасный, басы очень хороши. Пробуя ее и радуясь обновкѣ, Модинька так хватил по клавишам, что почувствовал острую боль в рукѣ и в кончиках пальцев заходили мурашки, а машина хоть бы что, хоть бы одна струна зазвенѣла!... Он добыл 2-ую Симфонію Бетховена в четырехручном переложеніи и ждал в гости друга, чтобы вмѣстѣ с ним обновить инструмент.

Милій познакомил его с Гусаковским, тоже его другом-учеником. Он надѣялся вызвать в Модестѣ чувство соревнованія и тѣм усилить его недостаточные успѣхи. С «Гусакевичем» у Модеста сразу установились веселыя, дружески-ироническія отношенія. При встрѣчах они цѣловались и Модест, показывая на свою верхнюю губу и давясь от смѣха, говорил: «А у Вас над этим мѣстом нехорошо, Гуссеке!» Гуссеке не обижался. У него, дѣйствительно, над губой пробивалась первая жесткая щетина. Гусаковскій блестяще сочинял и импровизировал, в то время как Модинька еще робко показывал Милію первую свою вещь (не считая, разумѣется, полудѣтской польки, но польки вѣдь «музыкальные пигмеи», как он выражался). Эта вещь «Souvenirs d'enfance», одобренія не получила, но видя его рвеніе и не смущаясь слабыми познаніями, Милій смѣло предложил ему писать «аллегро» к будущей симфоніи в *Ut. majeur*. Его принципом было: не бросившись в воду, не научишься плавать. Пусть побарахтается! И Модинька не тонул, плавал; к удивленію их обоих «аллегро» оказалось не лишенным достоинств. Под вліяніем удачи у Модеста зароились в головѣ еще болѣе честолюбивые планы. Он прочел «Царя Эдипа» в русском переводѣ, и задумал написать к нему музыку, и не только «антракты», как сдѣлал это для «Лира» Милій, а нѣчто в родѣ ораторіи с оркестром и хорами. Первый хор был в восточном духѣ, и он даже жаловался, что на него напала «ужасная лѣнь и нѣга,

все это козны восточной музыки». Как он сочинял, один Бог въдает! Теоретических знаній Милій дал ему немного, т. к. и сам знал гармонію больше по интуиціи да по знакомству с музыкальной литературой. И все таки и хор «вышел».

Модест познакомил Балакирева со своей матерью и братом Филаретом. Милій стал бывать у них изрѣдка, и добръшшая Юлія Ивановна не знала куда и усадить такого замѣчательнаго друга Модиньки. Зима проходила в дружеских встрѣчах, в захватывающих бесѣдах, в уроках... Изрѣдка бывали в театрѣ. Юлія Ивановна брала ложу втораго яруса и приглашала Милію, иногда Кюи. В тяжелой раззолоченной залѣ, с огромной хрустальной люстрой посерединѣ, в обитой малиновым бархатом ложѣ, они казались друг другу не совсѣм привычными, праздничными. Модест украшал скромную ложу своим Преображенским мундиром, его мать Юлія Ивановна была в чѣрном кружевном или по вдовьи лиловом платьи, болѣе пышная и достойная, чѣм дома; Милій и Филарет — в сѣрых, узких брюках, с кантом посерединѣ и в длинных сюртуках, тоже обшитых кантом по бордюру, а Милій еще и в красных перчатках. Он казался красавцем Мусоргскому. Окладистая борода его была хорошо расчесана, чудесные глаза блестяли болѣе обыкновеннаго. Филарет приносил с собой коробку шоколада; в антрактах шли в буфет пить лимонад или оржад. Милій Алексѣевич шел за сцену к Петрову, котораго встрѣчал еще у покойнаго Глинки. А во время дѣйствія Модест иногда вдруг переставал слушать, смотрѣл вниз в полутемную залу. Совсѣм дѣтскія, честолюбивыя мечты подымались в нем. Ему, безвѣстному офицеру хотѣлось покорить этот зал, как покорял его могучій бас Петрова. Чтобы всѣ эти незнакомые люди произносили с восхищеніем его имя, чтобы он стал у барьера в ложѣ и всѣ обернулись бы к нему и зашептали: «это — тот самый, знаменитый», и Юлія Ивановна уже не с затаенною тревогою, а задыхаясь от материнской гордости, смотрѣла бы на него. Но как достигнуть этого? Стать виртуозом или пѣвцом? На фортепіано он играл

неплохо, но голос у него скверный! Или трибуном, вождем народа, как он читал в «Исторіи Французской Революціи»? Говорят, что и у нас будет революція или попросту, русскій бунт. Ну, да это еще не так скоро! Написать оперу? Так или иначе, но добиться славы, чтобы и Милій, и Цезарь, и всѣ вообще поняли, как они ошибались, считая его просто добрым и недалеким малым. Конец аріи и аплодисменты в залѣ возвращали его к реальности.

Приближалось лѣто. Музыка все больше захватывала его, и часто, в бѣлыя майскія петербургскія ночи он до утра «без лампы», стараясь играть под сурдинку, чтобы не будить мать и брата, что-то подбирал на фортепіано, сочинял, перекладывал... Так по просьбѣ Миліа сдѣлал он клавир «Персидскаго Хора» из Руслана. В іюнѣ, когда еще не пыльный, не задыхающійся в жарѣ и духотѣ, но уже весь прогрѣтый, просвѣченный солнцем город был особенно очарователен, когда Острова тонули в нѣжной зелени, и вѣтер приносил запахи далекаго моря, он с открытыми окнами, у фортепіано (иначе, при скудости своих знаній, он еще сочинять не мог) без конца повторяя, отыскивая нужное, писал сонату и уже написал аллегро и скерцо. Соната была похожа на всѣ сонаты в мірѣ и наполняла его сердце отцовской гордостью. Однако он почувствовал (правильно), что Милій не будет «потирать его маслом по животику», как он выражался, за эту сонату и, может быть, даже скажет презрительно: «охлаботина!» Успѣшнѣ шла музыка к «Эдипу»; Милій помог ему наоркестровать уже написанные номера. Увлеченный, опьяненный всѣми этими новыми для него занятіями — сонатами и симфоніями, занимательнѣйшей игрой в инструментовку; весь захваченный музыкой, которую он исполнял вмѣстѣ с Миліем; весь погруженный в звуки, в нотную бумагу, в дружескія бесѣды на высокія темы; движимый твердым внутренним знаніем: так надо, это — мой путь, он подал в отставку из полка. Он не мог больше тратить время на ученія и дежурства, на неинтересных товарищей, на все то, что не музыка. Мать и брат огорчились; брат знал, что матерьяльное положеніе его

не блестяще и что доходов с имѣнія скоро не хватит. Против отставки высказался также и Милій: он указывал на примѣръ Кюи, которому служба не мѣшает сочинять. В душѣ же он просто не вѣрил, что Модест достаточно талантлив, чтобы стоило ему ломать свою жизнь для музыки. Высказался против и Стасов, который с самага начала их знакомства относился к нему ласково и сердечно. Он ссылаясь на примѣръ Лермонтова, но Модест упорно твердил: «То Лермонтов, а то — я!» Всѣ сомнѣнія исчезли, когда его перевели в Стрѣлковый батальон, стоявшій в Царской Славянкѣ. Он не мог разстаться надолго с матерью и с Миліем. В іюлѣ отставка пришла и, надѣвъ штатское, он уѣхал на отдых в Новгородскую губернію в имѣніе своих друзей.

V

В деревнѣ, гдѣ уже гостил его брат Филарет, он сначала пробовал вести свой обычный образ жизни — сочинял, импровизировал, переводил. Он писал романы, очень еще банальные и слабые, переводил книгу Лафатера «О состояніи души послѣ смерти». Книга эта чрезвычайно увлекала его и, очевидно, отвѣчала его тогдашним настроеніям. Но вскорѣ он вынужден был забросить всѣ занятія: он был очень переутомлен и душевное состояніе его было тяжелое.

Эти мѣсяцы он был болен странною болѣзнью, не то нервнаго, не то психическаго характера, которую он тщательно скрывал от близких, хотя очень страдал от ея мучительных припадков. Сам он считал основной причиной своей болѣзни «мистическій штрих», который констатировал у него Милій. Мистицизм, дѣйствительно, овладѣл им, и книга Лафатера отвѣчала его жаждѣ таинственнаго. Станным образом, жившая в нем в это время вѣра в Бога как то сочеталась с циничными мыслями о Божествѣ и самыми грубыми словами о Богѣ. Это принимало навязчивый характер маніи. И в то же самое время разумом он, русскій интеллигент своего поколѣнія, отрицал Бога и религію как «предразсудки». Все это было,

по его мнѣнію, «от крайняго идеализма, от молодости, от излишней восторженности, от страшнаго, непреодолимаго желанія всезнанія». Очевидно, его мучили «вѣчные» или «проклятые» вопросы: что такое жизнь? существует ли безсмертіе? как примириться с Богом, если есть страданія и смерть? Он старался не поддаваться этим мыслям, надѣялся, что «правильное развитіе мозгов», чтеніе естественно-научных книг помогут ему, также как спокойствіе, гимнастика, холодныя обтиранія. По счастью, вблизи от имѣнія, в котором он гостил, были минеральные источники. Эти Тихвинскія минеральныя воды, дѣйствительно, если и не излѣчили его вполнѣ, то все же поправили его здоровье настолько, что он смог бороться со своей болѣзненной «ирритаціей нервов» и «утраціей ума» (как он выражался, создавая несуществующее существительное от французскаго глагола *outrer*,) и даже вернуться в Петербург.

Он пріѣхал домой в первой половинѣ августа. Милія еще не было. Он уѣхал в Нижній — навѣстить отца и... получить неожиданное наслѣдство. Умер его старый друг Улыбышев и недаром он часто увѣрял Милія, что любит его, как сына: он оставил ему свою нотную библіотеку и тысячу рублей деньгами. Но сыновья Улыбышева ноты отдавали, деньги же (а он в них нуждался!) предлагали выплачивать постепенно. Словом, надо было это уладить, и пребываніе в Нижнем затягивалось. Без Милія, без «драгоцѣннѣйшаго» и «прекраснѣйшаго» Милія, Петербург ему казался пуст. Город и был еще по лѣтнему пуст, один Стасов никуда не уѣзжал, но со Стасовым они не часто видѣлись. Пріѣзжал на два дня из деревни навѣстить свою невѣсту Кюи. Цезарь был мил, влюблен, пригласил его на вечер к отцу невѣсты. Из гостей они возвращались вдвоем, под большими осенними звѣздами. Только что выпал дождь и запах влаги мѣшался с запахом теплой пыли. С Цезарем, хотя он был образованнѣе, старше и талантливѣе его, у него были отношенія болѣе равныя, чѣм с Миліем, они хорошо и обо многом поговорили. Стасов, с которым они встрѣтились на слѣдующій день воз-

мушался Кюи и готов был поставить на нем крест, как на художникѣ. Взгляды Стасова на брак были похожи на воззрѣнія казаков в Запорожской Сѣчи у его любимаго Гоголя. «О, любовь! О, Матильда!» — иронически пѣл арію из «Вильгельма Телля» Стасов, забывая, что невѣста Кюи была вовсе не Матильда а Мальвина. Женитьба в 23 года казалась ему преступленіем. «Если я лягу спать в 11-12 часов — говорил он — или позже, то конечно, я отлично просплю до самаго утра; но чего тут ждать, если я завалюсь в 6 часов вечера? Надобно жениться, когда уже поработал, пожил и немного устал, как и спать надо ложиться послѣ цѣлаго дня работы. Иначе сон не в сон и женитьба не в женитьбу. Впрочем, я напрасно ораторствую, Кюи меня не послушается, а мы с Вами. навряд ли женимся?»

В пустынном, уже не жарком, но еще пыльном городѣ Модест снова рьяно принялся за работу. Он хотѣл стать достойным своего чудеснаго друга, а для этого не нужно было терять времени, теперь, когда служба уже не отнимала его и не давала предлога и оправданья для бездѣлья. От времени до времени он снова брался за свой перевод Лафатера. Словно легкое головокруженіе тянуло его в бездну загробнаго міра, к тайнам, которыя увѣренно и с нѣмецкой основательностью раскрывал Лафатер. Мурашки пробѣгали у него по спинѣ, он чувствовал холодок в затылкѣ, когда читал, что «душа усопшаго — человѣку, способному к ясновидѣнью, сообщает свои мысли, которыя будучи переданы ясновидящим оставленному им на землѣ другу, дают послѣднему понятіе о его нахожденіи послѣ смерти.» Он даже сообщил об этом в письмѣ к Милію. Развѣ Милій не такой его друг? Если он умрет, то не сможет ли дать знать Милію через ясновидящаго о своем «нахожденіи послѣ смерти»? А, может быть, Милій и сам такой ясновидящій? Недаром магическая сила излучается порой из его глаз, из всей его личности. И друг и ясновидящій в одном лицѣ, это удобно и позволяет обойтись без посредников. Милій не одобрял

этого «мистическаго штриха» в своем младшем другѣ. Модест и сам не одобрял его в себѣ, и в перемежку с Лафатером усиленно читал популярныя книги по естествознанію, как противоядіе против «штриха». О них он тоже сообщал Милію: «А rporos, читаю Геологію, ужасно интересно. Представьте, Берлин стоит на почвѣ из инфузорій, нѣкоторыя массы их еще не умерли!» А Балакирев, получая эти письма, раздражался: «что за чепуха в головѣ у Модеста! И как только соединяет он вѣру в безсмертіе души с инфузоріями!»

Но больше всего времени Модест отдавал музыкѣ. Брат Филарет недурно читал ноты, и они играли в четыре руки симфоніи Шумана (Бетховенскія он всѣ уже переиграл зимою с Миліем). Он прочел три оперы Глюка (обѣ Ифигеніи и Армиду), проштудировал «Реквием» Моцарта. Переиграл тѣ из сонат Бетховена, которых еще не знал (особенно понравилась ему *Quasi Una Fantasia*). Закончивал свою сонату *Es-dur*, начатую еще до от'ѣзда в деревню, на продолженіе которой вдохновил его народный праздник, на котором он присутствовал в деревнѣ. Он привез с собой новыя темы для нея и тотчас же по своему обыкновенію, сообщил их далекому другу. Одновременно он писал и другую сонату, как он выражался, «простенькую». Главное же, он собирался продолжать «Эдипа». «Все в головѣ «Эдип» — писал он Милію — и так как я хочу его посвятить Вам, милѣйшій, то серьезно о нем подумываю, а то Вы скажете «охлаботина», да при том скверностей писать не слѣдует».

Осенью состоялась свадьба Цезаря. Мусоргскій написал романс на сочиненныя им самим нѣмецкія слова под заглавіем *Meines Herzens Sehnsucht* и посвятил его невѣстѣ. Перед свадьбой отпраздновали «мальчишник» у жениха, на котором было немало выпито. По пути домой Стасов навеселѣ все приставал к Модесту с совѣтами «заглянуть невѣстѣ под корсет». Он пустился в подробныя разсужденія о таинственных частях женскаго тѣла и все спрашивал: «а заглянете невѣстѣ под корсет?» На свадьбѣ Модест был шафером. Женувшись, Кюи как бы отходил немного от замкнутаго дружескаго круж-

ка, измѣнялъ их холостому артистическому «лыцарству». Вернулся Милій из Нижняго без наслѣдственной тысячи, но посвѣжѣвшій и отдохнувшій. Начинаясь новая петербургская зима.

Во многом она была похожа на прошлую, с той разницей, что не было службы. Встрѣчи с Миліем, полууроки-полубесѣды с ним, еженедѣльные собранія у него были яркими пятнами в ровной ткани его жизни, впитывавшими в себя весь ея свѣтъ. Изрѣдка Милій приходил к ним в дом, пил чай с бутербродами с его любимой паюсной икрой, играл в «медьники» с братом Филаретом и Юліей Ивановной. Уютный, домашній со своей окладистой бородой, он становился похож не на композитора, а на нижегородскаго мѣщанина. Изрѣдка, как в прошлом году, брали они ложу в театр. В ложѣ бельэтажа № 13 — он на всю жизнь запомнил ее — прослушал он впервые не в отрывках и не в переложеніи геніальнаго «Руслана». Ему и самому пришлось выступить на сценѣ: у Кюи для развлечения молодой жены ставились любительскіе спектакли. Давали пьесы молодого автора Виктора Крылова, гоголевскую «Тяжбу». Поставили даже комическую оперу Кюи «Сын Мандарина», отрывки из которой Модест уже пѣлъ у Даргомыжскаго. Оперу Цезарь написал когда еще был женихом, для своей невѣсты. Цезарь и Балакирев в четыре руки играли Увертюру, сам автор акомпанировал пѣвцам. Модест во всѣх пьесах играл с успѣхом, а когда он появлялся на сценѣ в роли мандарина Кау-Цинга, то смѣялась не только публика, но и акомпаниатор и даже другіе актеры на сценѣ.

Модест и сам мечтал об оперѣ. Еще в юнкерской школѣ его прельстил своим диким романтизмом «Han d'Islande» Виктора Гюго и он собирался писать оперу на этот сюжет. Но он был тогда еще совсѣм несмышленишем, и из оперы ничего не могло выйти. Теперь он примѣривался к своему любимцу Гоголю. В первый день Рождества 1858 года, придя вмѣстѣ с братом поздравить Милія с праздником и застав у него цѣлую компанію визитеров, он, послѣ обильных возліаній, сообщил присутствующим, что хочет написать оперу

«Ночь под Иванов день» на сюжет из Гоголя. Всѣ его, как это бывает в таких случаях, бурно привѣтствовали. Один из гостей, нижегородскій пріятель Милія, по имени Пьер Боборыкин, молодой литератор, одѣтый с иголки и совсѣм бы смахивавшій на парижанина, если бы не скуластое монголо-русское лицо, подхватил эту мысль. Рѣшено было закрѣпить ее в протоколѣ, который заканчивался так: «Писал П. Боборыкин. При сем присутствовали и имѣли словесное о дѣлѣ преніе Модест Мусоргскій, Евгений Мусоргскій (это было второе имя Филарета), Василій (фамилія неразборчива). Скрѣпил Милій Балакирев». Но скрѣплять было нечего: опера развѣялась, как винные пары.

Кромѣ «наших» были знакомства с «ненашими» или неполнѣ «нашими». Совсѣм «свои» были Захарыны. Васенька Захарын служил лейтенантом во флотѣ, но обладал чудесным голосом и был в душѣ артистом и богемой. А когда наѣзжали из Москвы или из своей подмосковной Шиловскіе, он много времени проводил у них и это было веселое и немного угарное время. Степан Степанович Шиловскій не отличался ничѣм особенным, кромѣ своего большого состоянія. «Богат — канальство — Шиловскій!» — говорил о нем Модест, парафразируя Гоголя и дал ему прозвище «Стефан де Шильон». Марія же Васильевна, или как звали ее даже малознакомые с ней люди — «Маша» Шиловская было вполнѣ очаровательна! Она была красива, весела и кокетлива, у нея был недурной голосок и она пѣла у себя на пріемах и в дружеских гостиных с неизмѣнным «фурором». Хотя она брала уроки у Даргомыжскаго, но нерѣдко сбивалась на цыганшину и в своем репертуарѣ и, особенно, в исполненіи. Пробовала она и сама сочинять романсы, но и романсы, и пѣніе были, кажется, только средством ея неизсякаемаго кокетства! Ей было под тридцать, на десять лѣтъ больше, чѣм Модесту. Он сильно увлекался Машей Шиловской, но едва ли представлял большой интерес для такой записной кокетки, развѣ что для счета! Его поощряли, но умѣренно.

Пожалуй, серьезнѣе могла стать его дружба с другой

женщиной, Надеждой Петровной Опочининой. У того же Даргомыжскаго, встрѣтился он с адмиралом в отставкѣ Владиміром Петровичем Опочининым, пѣвцом-любителем и другом композитора. Через него он познакомился со всѣми братьями Опочиниными, на рѣдкость культурными и милыми людьми, успѣшно служившими в разных департаментах. Особенно он сошелся с Александром Петровичем, который мог бы быть его дѣдом по возрасту и завѣдывал каким-то важным и скучным архивом. Их единственная сестра, Надежда Петровна, была тоже много старше его, ей было уже под сорок. Высокая, крупная, с темными глубокими глазами, она говорила низким, грудным голосом и была еще красива. Никто не знал почему она не вышла замуж, но ореол какой-то случившейся с ней в молодости трагической исторіи окружал ее. С ней познакомилась и очень полюбила ее мать Модеста, Юлія Ивановна, а сам он скоро начал называть ее «моя совѣсть» и был с ней так прост и откровенен, как ни с кѣм другим. Они много бесѣдовали, но о любви не было рѣчи в их бесѣдах, она подчеркивала, что она — «старуха» и интересовалась только им, его работой, его планами. Иногда она, правда, говорила ему намеками о своей «тайнѣ» и тайна эта словно незримо витала над ними во время их долгих полночных бесѣд. Когда он прочел «Кто Виноват?» Герцена, роман произвел на него сильное впечатлѣніе. Такова была уже судьба этих тенденціозных и вопросительных русских романов: «Что Дѣлать?» вдохновило Балакирева на планы оперы; «Кто Виноват?» вызвало к жизни фортепіанную пьесу под названіем *Impromptu rassiégné*, с подзаголовком «Воспоминаніе о Бельтовѣ и Любѣ», о сценѣ поцѣлуя между ними. Вещь была искренняя, взволнованная, но музыкально слабая. Он посвятил ее Надеждѣ Петровнѣ.

Среди всѣх этих людей, как в уже очерченной рамкѣ, протекала первая пора его молодости. Внѣшних событій, которые стоило бы в ней отмѣтить, было не много. Весною 1859 года Шиловскіе пригласили его погостить у них в Глѣбовѣ. Имѣніе было расположено близ стариннаго монастыря «Но-

вый Иерусалим», который начал строить еще Патриарх Никон. В имѣнии на горѣ стоял большой красивый дом, был разбит англійскій парк, устроена образцовая ферма — всѣ причуды и прихоти стариннаго англизированнаго барства. Шиловскіе не жалѣли денег, они держали собственный хор, которым управлял нѣкій Дююи из хора Шереметьева (несмотря на свою французскую фамілію настоящей русской). Хор недурно исполнял вещи Бортнянскаго и разучивал отрывки из «Жизни за Царя». Модест пріѣхал одним из первых, его притягивал магнит — Маша Шиловская. Но вскорѣ весь большой дом наполнился приглашенными. Пріѣхали Дарго с Любонькой, пріѣхал Лядов, капельмейстер русской оперы, который должен был руководить оперной постановкой. Марія Васильевна была превосходной «шателенкой» и незамѣтно устраивала так, чтобы всѣ чувствовали себя хорошо и свободно. Ея муж, «Стефан де Шильон» от нея не отставал. Модест не выходил из легкаго опьяненія от постояннаго присутствія своего «предмета», от смѣны увеселеній, катаній на лодкѣ и в коляскѣ, пикников, театральных постановок. Он занимался немного хором, что было и для него самого не бесполезно, но большую часть времени жил праздной и безпечной жизнью гостя в старинном англійском замкѣ.

Возвращаясь от Шиловских, Модест осмотрѣл, наконец, Москву. Древняя столица произвела на него такое же сильное впечатлѣніе, как на Милія, пожалуй даже еще сильнѣй, и в нем впервые проснулось то особое «чувство исторіи», которое достигло впослѣдствіи такой силы. «Москва заставила меня переселиться в другой мір — мір древности» — писал он Милію. — «Чудный Кремль, я подѣзжал к нему с невольным благоговѣніем. Красная Площадь, на которой происходило так много замѣчательных катавасій, немного теряет с лѣвой стороны — от Гостинаго Двора — но Василий Блаженный и Кремлевская Стѣна... это святая старина. Василий Блаженный так пріятно и вмѣстѣ с тѣм так странно на меня подѣйствовал, что мнѣ так и казалось, что сейчас пройдет боярин в длинном зипунѣ и высокой шапкѣ... Знаете, что я был космо-

полит, теперь какое-то перерождение; мнѣ становится близким все русское, и мнѣ было бы досадно, если бы с Россіей не поцеремонились, в настоящее время я как будто начинаю любить ее».

Так, чуть замѣтно, словно прокрались в его голову первые признаки «народности» на смѣну его непрочнаго космополитизма. Но в его музыкѣ, (что важнѣе), он был еще вполне космополитом несмотря на Милія и на Стасова. Словно их рѣчи, так же как чеканныя слова Даргомыжскаго «хочу правды в искусствѣ», должны были еще полежать в его душѣ, как озимыя сѣмена под снѣгом. Он не был еще ни націоналистом, ни реалистом. Даже названія для своих вещей он предпочитал брать из реквизита классических терминов, порою прибавляя для полной ясности «*in modo classico*», Прелюд или Интермеццо *in modo classico*», Однако, послѣдняя и в тот момент лучшая его вещь была «по секрету» русская. По секрету он рассказал Стасову, что это «Интермеццо» для фортепіано было внушено видѣнной им зимой в деревнѣ картиной: в солнечный день, в праздник, толпа мужиков шла по полям, по сугробам. Они шли медленно и тяжело, поминутно проваливаясь в снѣг и с трудом из него выкарабкиваясь. «Это было красиво и живописно, серьезно и забавно — и вдруг вдали показалась толпа молодых баб, шедших с пѣснями, с хохотом по ровной тропинкѣ. У меня мелькнула в головѣ эта картина в музыкальной формѣ и, сама собой, неожиданно сложилась первая «шагающая вверх и вниз» мелодія à la Бах. Веселыя, смѣющіяся бабенки представились мнѣ в видѣ мелодіи, из которой я потом сдѣлал среднюю часть или тріо. Но все это тріо было *in modo classico*, сообразно моим тогдашним музыкальным занятіям.» Интермеццо вышло сильное: плавная, по баховски тяжелая, тема и вплетающіеся в нее звонкіе, высокіе голоса.

В началѣ 1860 года, 11 января произошло событіе, важное в жизни каждаго музыканта: его вещь, скерцо Б-дур, впервые исполнили публично в концертѣ Русскаго Импера-

торскаго Музыкальнаго Общества под управленіем Антона Рубинштейна.

Он старался не подать виду, но в душѣ волновался и никак не мог примириться с естественным контрастом между его собственной нервной приподнятостью и будничной прозой того, как это все произошло. Народа на концерт собралось не много, любителей симфонической музыки надо было еще воспитывать. В залѣ было холодно, свѣчи оплывали в люстрах, освѣщая зал туманным, колеблющимся свѣтом. Исполненіе его не удовлетворило: он не совсѣм так слышал свою вещь, темпы были взяты не тѣ. По окончаніи публика поаплодировала не слишком увѣренно; автора не вызвали. С удивленіем он отмѣтил, что прислушивается к аплодисментам, как бы взвѣсивая в душѣ их тяжесть. Отмѣтил он и свое невольное разочарованіе: и это все? В антрактѣ кто-то его поздравил. Милій утверждал, что вещь прошла отлично. Ему же казалось странным, что всѣ заняты не им, а своими дѣлами. Он подошел к Рубинштейну и неумѣренно горячо стал благодарить его. Рубинштейн, окруженный дамами, в отвѣтъ только тряхнул своей красивой головой с львиной гривой. Из-за холода не пошли в трактир, как обыкновенно дѣлали, когда исполнялась вещь одного из друзей. Буднично он вернулся домой с Юліей Ивановной, как будто это был самый обыкновенный, такой же, как всѣ, вечер.

Но этот дебют все же хорошо повліял на него. Он почувствовал болѣе увѣренно, что он на с в о е м пути и стал спокойнѣе работать. Может быть это было случайным совпадением, но даже припадки его нервной болѣзни долго не повторялись со времени этого концерта. Только лѣтом, когда он снова гостил у Шиловских, и Маша Шиловская еще меньше обращала на него вниманія, чѣм прежде, болѣзнь его вспыхнула ненадолго, как лампа перед тѣм, как погаснуть. К осени он почувствовал себя вполнѣ и окончательно здоровым. «Я выздоровѣл, Милій, я выздоровѣл совсѣм — писал он другу — от мая до августа мозг мой был слаб и сильно раздражен» (он всегда был слаб! — иронически подумал Милій). Выздо-

ровление принесло с собой прилив творческой энергии и Модест сообщал о кипучей работе: «Эдип, сонатка двинулись. Соната почти готова, кое-что надо почистить в средней части, хвост удался (среди них считалось хорошим тоном писать о музыке, как о деле прозаическом и обыденном). К Эдипу прибавилось два хора... Еще я получил работу весьма интересную, которую надо приготовить к будущему дѣту: Полное дѣйствие на Лысой Горѣ, шабаш вѣдьм. Милій, Вас должна порадовать перемена, происшедшая во мнѣ и сильно, без сомнѣнія, отразившаяся в музыке... Мозг мой окреп, повернулся к реальному, юношескій жар охладился, все уравнилось и в настоящее время о мистицизме ни полслова... Я выздоровѣл, Милій, слава Богу, совѣм!»

Милій был рад письму, но что-то не до конца довѣрял ему. Уже не в первый раз Модинька сообщал о выздоровлении, а потом снова начинал отчаиваться. Такова уже была натура Модеста, склонная переходить от крайности к крайности. Чуть чуть раздражал его самый тон, в котором Модест писал о своей работе... «Написал аллегро и думает, что уж очень много им сделано для искусства вообще и русскаго в особенности». И может ли он быть здоров с этой своей неуемной чувствительностью? Он приложил письмо Модеста ко всей, уже довольно плотной пачке его писем, тщательно перевязанных тесемочкой. Письма были написаны ровным, четким и мелким почерком, на зло всем графологам, нисколько не отражавшим характера Модиньки. Изредка и осторожно Модест касался в них болезненной для него темы их отношений, отношений трудных и неровных. Милій перечел несколько отрывков из писем друга. Да, нельзя было отрицать, что этот странный, неуравновѣшенный юноша любит его, как никто другой, может быть, не любит. Но что за радость в его любви, полной уязвленнаго самолюбія, претензій, нелѣпостей, какія только могли зародиться в этих слабых мозгах!

«Произведение мое без сомнѣнія встрѣтит предубѣждение с Вашей стороны, это естественно потому что Вас мутит образ дѣйствій моей личности» — писал Модинька и был прав.

«Касательно взгляда на Вас, я должен пояснить, каким образом я вел себя с Вами с самого начала нашего знакомства. Прежде я сознавал преимущество Ваше; в спорах со мною видѣл большую ясность взгляда и стойкость с Вашей стороны. Как ни бѣсился я иногда и на себя, и на Вас, но с истинной должен был согласиться. Из этого ясно, что чувство самолюбія подстрекало меня держаться упорно и в спорах, и в отношеніях с Вами. Далѣе: Вам извѣстна излишняя мягкость моего характера, вредившая мнѣ в отношеніях с людьми, которые не стоили этого. Раз закравшееся чувство уколотаго самолюбія подняло всю гордость во мнѣ... Но все время я не пропускал в себѣ ни малѣйшаго промаха в отношеніи к добру и истинѣ. В отношеніи людей, я Вам многим обязан, Милій, Вы меня славно умѣли толкать во время дремоты... Позже я понял Вас совѣм и душой привязался к Вам, находя в Вас, между прочим, отголосок собственных мыслей или, иногда, начало и зародыш их. — Послѣднія же наши отношенія так сильно сроднили Вашу личность с моей, что я совершенно увѣрился в Вас: слишком мелка и ничтожна роль паши à la Даргомыжскій, чтобы ее приписать Вам, да она ни в каком случаѣ не сродна Вам».

Весь Модест был виден в самолюбивых строках этого письма. Это правда: он не паша à la Дарго. Но в отношеніях к младшему другу не бывал ли он часто слишком требователен и деспотичен? Понятно для его же пользы, чтобы держать его в руках, сдерживать его болѣзненные порывы. Если правда все, что бѣдный Модинька пишет о себѣ, то он кончит сумасшествіем. Если же это преувеличено, то откуда эта большая склонность к преувеличеніям, к ненужному откровенничанью, к выворачиванью своей души наизнанку? «Я, слава Богу, начинаю поправляться послѣ сильных, черезчур сильных нравственных и физических страданій — писал ему Модест весною. — Помните, милый, как мы с Вами два года тому назад шли по Садовой улицѣ? Вы возвращались домой, (это было лѣтом). Перед этой прогулкой мы читали «Манфреда», я так наэлектризовался страданіями этой высокой

человѣческой природы, что тогда же сказал Вам: «как бы я хотѣл быть Манфредом», (я был тогда совершенный ребенок). Судьбѣ, кажется, угодно было выполнить мое желаніе — я буквально оманфредился, дух мой убил тѣло... Дорогой Милій, я знаю, что Вы любите меня: ради Бога в разговорах старайтесь держать меня под уздцы и не давайте мнѣ зарываться; мнѣ на время необходимо оставить и музыкальныя занятія и всякаго рода сильную умственную работу для того, чтобы поправиться. Рецепт мнѣ — все в пользу матеріи и по возможности в ущерб нравственной стороны. — Теперь мнѣ ясны причины irritаціи нервов, не одни послѣдствія (это почти причина второстепенная), но главное вот: молодость, излишняя восторженность, страшное, непреодолимое желаніе всезнанія, утрированная внутренняя критика и идеализм, дошедшій до олицетворенія мечты в образах и дѣйствіях. Вот главнѣйшія причины. В настоящую минуту я вижу, что так как мнѣ только 20 лѣтъ, физическая сторона не доформировалась до той степени, чтобы идти наравнѣ с сильным нравственным движеніем (тут причина недоформированья —); — вслѣдствіе этого нравственная сила задушила силу матерьяльнаго развитія...»

Какой странный, какой нелѣпый, какой невозможный человек! Все письмо было полно ненужных и непрошенных признаній, туманных фраз, маніи величія: кажется он и впрямь вообразил себя Манфредом или Фаустом. Не удивительно, что он, Милій, не выдерживал и писал ему в отвѣтъ порой ненужныя рѣзкости и их отношенія портились. Так было зимою, когда Модест вдруг, не предупредив никого, укатил в Москву и поселился в домѣ Шиловских. Что с ним случилось тогда — точно никто не знал, и он и не говорил никому, только признавался, что «завяз, не музыкально, а нравственно» и что дѣло было по «бабьей части». Милій писал ему строгія письма, говорил, что его надо спасти, вытащить, писал даже Филарету об опасности, грозящей его брату. Модест обижался и возмущался, что его собираются опекать как ребенка и вытаскивать «как щепку из грязи». В Москвѣ стояли в ту зиму лютые

морозы, доходившіе чуть ли не до сорока градусов. Он почти не выходил из дому и говорил, что не возвращается потому что боится замерзнуть в пути в плохо отапливаемых вагонах. Но, кажется, что его бросало то в жар, то в холод не от мороза. В это время он познакомился с компаніей радикальной молодежи и когда не мог быть с Машей Шиловской, ходил с ними в трактиры ѣсть раков, пить пиво и ставить, как он выражался, «на ногу исторію и администрацію, химію и искусства» словом, все! По поводу этой-то компаніи Милій и написал язвительно о любви своего друга к ограниченным личностям. Этот упрек Модест тотчас же поднял и отмѣтил, не скрывая обиды: «Скажи мнѣ, кого ты любишь, и я скажу тебѣ, кто ты таков, и так, логично, я должен быть ограничен.» «Вовсе не ограничен, а просто идиот!» с досадой подумал Милій. И не потому, чтобы он вѣрил в будущее безсмертіе своего друга и вовсе не в интересах исторіи русской музыки, а просто по давней, укоренившейся привычкѣ, Балакирев аккуратно сложил по датам пачку писем Модеста и перевязал ее золотой тесемочкой из под коробки конфет.

Мих. Цетлин.

ТАМ

1. ОТЪЗД

Старая барыня прощается с домом. Отъзд назначен сейчас же послѣ завтрака по холодку, пока не пригрѣет солнце, не распустит так, что ни на колесах, ни на полозьях не проѣдешь. Она одна, дѣти давно раз'ѣхались, младшій сын в добровольческой арміи, другой скрывается гдѣ-то в Москвѣ. С ней только старая прислуга, Елизавета, да мужик бобыль, прижившійся послѣднюю зиму в усадьбѣ и не оставляющій барыню даже теперь, когда всѣ от нея отвернулись.

Барыня завтракает на кухнѣ у Елизаветы, в комнатах нѣтъ ни одного стола. Елизавета то уходит, то возвращается, спокойно оглядывает барыню хитрыми глазками и исчезает за перегородкой. Там у нея сложено все, что удалось припрятать за дни ликвидаціи барскаго имѣнія.

Василій переминается у дверей с ногу на ногу.

— Ну, Василій, Бог тебя наградит, — говорит барыня, — а я никогда не забуду. Главное я цѣню, что безкорыстно..

Василій тяжело вздыхает и молчит. — Видно, пора за лошадью итти, — говорит он, наконец.

— Уже? — пугается барыня, — так скоро? Но вѣдь я еще не все уложила.

Елизавета дѣлается смѣлѣй, она уже почти не прячется. Ей кажется, что барыня от огорченій ничего не понимает. Она складывает в мѣшок ножи и вилки и относит за перегородку.

Барыня смотрит равнодушно. Еще недавно она что-то пыталась спасти, прятала, волновалась. Теперь ей все равно, с собой она ничего взять не может.

С трудом, придерживая поясницу, она поднимается, идет

в комнаты. В огромном домѣ пусто и холодно. Все отнято, разграблено, увезено. Как все видно теперь: вот пятно на обоях, там покосился подоконник, здѣсь треснула печка.

Неясно она сознает значеніе этих минут, выходящее за предѣлы ея личной жизни. Но о прошлом она не думает, ни о родителях, проживших здѣсь долгую, спокойную жизнь, ни о предках, получивших это помѣстье от царя Михаила Федоровича, за то «что в Смутное время перед врагом стояли крѣпко, не шатались и ни на какія вражескія прелести не корыстовались». Ей не до них, настоящее слишком грозно и неумолимо. Удастся ли ей добраться до станціи? А вдруг ее арестуют в послѣднюю минуту? Да и на поѣзд, говорят, не сядешь... И куда она ѣдет? Гдѣ будет жить? И ноги болят, и нѣтъ у нея защиты и помощи...

Вдруг откуда-то издалека до нея долетает заглушенный стук молотка, шум падающей штукатурки, звон. Она идет дальше, стук дѣлается громче. — Кто там? — кричит она, — кто? — Никто не отвѣчает. Она открывает дверь в гостиную, и в углу у печки видит Василю. — Ты что дѣлаешь? — спрашивает она, не понимая, и потом, рѣшив, что он чинит печку, добавляет: — не к чему теперь, уж все равно. — Василий выпрямляется, в руках у него мѣдный отдушник. — Да, вам то уж, извѣстно, ни к чему, — говорит он немного смущенно, -- а мнѣ, глядишь, пригодится. — Она смотрит на мужика с грустной усмѣшкой и машет рукой: — И не стыдно тебѣ? Уж подождал бы, пока я уѣду. — Эх, барыня! Да развѣ тогда дадут? Как пчелы налетят!

Послѣднія минуты проходят быстро и совсѣм не так, как она ожидала. Во дворѣ пусто, нѣтъ ни провожающих, ни любопытных, а она-то думала, что сбѣжится вся деревня и она не выдержит, заплачет.

Послѣдній раз закрывается за ней тяжелая дверь. Аграфена сует в сани какіе-то узелки. Снизу из-под горы тянется старуха нищая из дальней деревни. Она идет по серединѣ дороги, гдѣ еще уцѣлѣли остатки льда, перемершаннаго с навозом, проваливается в просовы и, ворча, выдерживает ногу.

Замѣтив, наконец, сани, она подходит, кланяется и привычно бормочет: Подайте, Христа ради, барыня-благодѣтельница!

Барыня вдруг выходит из себя. — Иди! — кричит она, — Иди! Пусть тѣ подают, которые все отняли! У меня ничего нѣтъ! Видишь, из дому выгнали? Теперь сама побираться пойду!

Нищая смотрит спокойными равнодушными глазами. — Кто тебя может выгнать? Было ваше и будет ваше. Были спокон вѣку господа и будут!

Выѣзжают за парк в поле. Василій сидит на краю саней, спустив ноги, чиркает пробитыми валенками по замерзшим калмышкам. От деревни задами к ним наперерѣз спѣшит какая-то женщина. Василій останавливает лошадь. — Такуновх молодайка, — говорит он.

Запыхавшись подходит раскраснѣвшаяся круглолицая баба. В руках у нея коричневая, глиняная махотка, завязанная чистой тряпочкой.

— Вот, — говорит она, — мамаша гостиньчика прислала, бѣги, говорит, может застанешь! Уж я задами, по улищѣ то и не пройти!

— Да куда ж я дѣну? — растерянно говорит барыня. — Не с собой же брать! Ты поблагодари мать, скажи спасибо, но я, право, не могу!

— Нѣтъ, уж, барыня, сдѣлайте милость, примите! Томленное, прямо из печки.

— Берите, чего там! — говорит и Василій и ставит кувшин в передок саней. Лошадь дергает, оступается.

Вот послѣдняя береза и она видит ее в послѣдній раз.

2. М А Т Ъ

Она зашла за милостыней в деревенскій дом, гдѣ я была по дѣлу. Зашла и молча стала у дверей. Хозяйка дала ей горячій блин. Она поблагодарила и спрятала блин за пазуху. Прошло полчаса, прошел час, она все так же стояла, не двигаясь и не говоря ни слова. Ждала ли, что дѣдут еще, или

просто отдыхала в теплѣ, дышала запахом блинов и горячей печки.

— Видно, идти надо, — сказала она, наконец, ни к кому не обращаясь. Поправила платок, взяла палку и вышла на блестящую, морозную дорогу.

— У сына живет, — сказала хозяйка, — он ей ѣсть не дает, гонит из дому, смертным боем бьет, скорѣй, бы, говорит, подохла, не такое нынче время, чтобы старух кормить. Сосѣди ихніе сказывали, она-то сама не говорит, даром что голова вся в шишках!...

Через год я снова увидѣла ее на желѣзно-дорожной станціи в толпѣ ожидавшей поѣзд. Она была все такая же, большая, суровая, с длинной суковатой палкой. Стояла неподвижно, глядѣла прямо перед собой, ни с кѣм не говорила.

— Здравствуй, бабка, — сказала я, — или куда ѣхать собралась?

Она посмотрѣла на меня пустыми глазами и ничего не отвѣтила. Кругом волновались, спорили, когда придет поѣзд, и придет ли, и до какой станціи пойдет.

— А вѣдь я тебя узнала, бабка, — снова заговорила я, — как же ты живешь? Все собираешься?

Она не отвѣтила.

— Что ж ты поѣзда ждешь, что ли?

— Жду.

— Куда же ты ѣдешь? Может вмѣстѣ поѣдем?

— Далече, — сказала она, глядя на блестящій, струящійся желѣзно-дорожный путь: — На тот свѣт.

3. Г Е Р О Й

Что ж тут рассказывать? Рассказывать, собственно нечего. Было мнѣ лѣтъ девять или десять, нѣтъ, скорѣй девять, я еще дома жил, а как десять сравнялось меня в другой город отправили учиться. Ну, купались мы с ребятами в рѣкѣ. Нам это строго запрещалось, рѣка у нас быстрая, вся в омутах, даже сторожа по берегу разставлены. Но родители мои были

люди занятые, развѣ усмотришь? Мы бывало далеко за город уйдем, да еще за бугорок спрячемся, чтоб с дороги не видно было.

Ну, купаемся мы, а немного поотдадь какія то женщины купаются, у самого берега. Плавали мы, плавали, вдруг слышим кричат. Мы испугались и на берег выскочили. Смотрим вокруг, будте все тихо, подождали немного и опять в воду. Вдруг уже ясно слышим: спасите! спасите! Кругом ни души, и сторожа не видно, должно быть заснул в шалашѣ на другом берегу. Видим женщины эти бѣгают, руками машут, плачут... Ребята говорят: надо плыть! плыви ты, Ваня, ты лучше всѣх плаваешь! Ну, я и поплыл. Вижу и правда, человѣкъ тонет, то скроется, то опять вынырнет, и не кричит уж, только бьется, глаза выпучены, волосы висят! Подплыл я, верчусь кругом, а ухватиться боюсь. Женщина, видно, большая, тяжелая, а я совсѣм малыш, да и напугана она, ничего не понимает, разом меня утопит, не то что ее спасать. Побилась она, побилась и пропала, ослабѣла, должно быть, больше не выплывает. Ну, и слава Богу, думаю. Вдруг вижу, будто трава по водѣ стелется, — а это ея волосы. Я подплыл, ухватился, да к берегу. Не помню как и добрался. А там уж толпа собралась, и ребяташки мои прибѣжали, и женщины эти, и народ из города. И сторож откуда-то вылѣз. Стали ее откачивать, она еще живая. Мы стоим, смотрим. Вдруг какой-то господин подходит, не из нашего города, чужой. Гдѣ, говорит, этот мальчик? Я хотѣлъ было спрятаться, но меня вытолкнули. Он меня за руку взял, как, говорит, тебя зовут, гдѣ живешь? Я не хотѣлъ говорить, да ребята сказали. А я выбрал минутку, да скорѣй домой, очень боялся, что отец узнает. Ну, ничего как то все обошлось, или он был занят очень, или в от'ѣздѣ был, не помню. Дѣвица эта курсистка была из Петербурга, а господин — ея отец, он какой то важный чиновник был.

Проходит послѣ этого с полгода, я и сам уже забывать стал. Вот раз сѣли мы обѣдать, вдруг приходит казачек молодой, так и так, говорит, Ванюшу вашего к войсковому атаману требуют. Я чуть под стол не с'ѣхал со страху. Что,

думаю, такое? Или что в карты за церковью играли, или еще что, мало ли всяких грѣхов? Не знаю что и подумать. А на отца и взглянуть боюсь, вижу он весь потемнѣл.

Ну, пошел со мной старшій брат. А это все из-за той курсистки! Привели меня к атаману, он меня за руку взял, ты, говорит, герой, честь дѣлаешь для своих родителей и для всего казачества. И вынимает эту самую медаль, из Петербурга была прислана, и подарки всякіе, книги в дорогах переплелых...

Отец как узнал, страшно разсердился, я уж и подаркам не раз был. Может, говорит, ты по ихнему и герой, а по моему тебѣ за это уши оборвать мало. Спасибо старшій брат заступился, он меня всегда жалѣл. Вы, говорит, папаша, не сердитесь, он больше никогда не будет!

Ольга Христіанович.

КОМАНДИРОВКА ТАМАРИНА

I

Константин Александрович долго не мог заснуть в домѣ совѣтскаго уполномоченнаго. Все старался привести в порядок свои первыя впечатлѣнія от Испаніи. Думал, не забыл ли о чем-либо важном, не сказал ли чего лишняго. «Нѣтъ, кажется, все в порядкѣ. Какія-же могут быть впечатлѣнія от одного дня, от поѣздки в автомобиль? Кажется, прекрасная страна и народ прекрасный. Отлично могли бы жить без того, чтобы рѣзать друг друга. Бог их вѣдает, почему у них эта гражданская война? Может быть, они и сами этого не знают? А может, они-то знают, да нам непонятно. Развѣ в Европѣ что-нибудь понимают в нашей революціи? Или развѣ можно понять, что такое происходит в Китаѣ? Я за нѣсколько лѣтъ, ежедневно читая газеты, только два имени и запомнил: Сун-Ят-Сен и Чан-Кай-Шек. И еще есть какой-то «христіанскій генерал», кажется, главный разбойник. Но все это меня не касается: мое дѣло изучить положеніе на мѣстѣ, и представить в Москву доклад. Разумѣется, изучить положеніе будет не легко, не понимая по испански. Кое-что все-таки было интересно в том, что рассказывал этот товарищ с языком без костей... Нѣтъ, кажется, ничего лишняго я ему не сказал», — думал в кровати Тамарин. «Нелѣпая война, что и говорить. Люди одной крови, одного языка, одной вѣры рѣжут друг

*) В настоящей книгѣ помѣщаются два отрывка из еще не напечатанной заключительной части «Начала Конца». Дѣйствіе их происходит в 1937 году. Тамарин, совѣтскій командарм (прежде генерал-майор) отправлен в командировку в Испанію (как извѣстно, в ту пору туда было командировано много совѣтских офицеров, и не всѣ они оттуда вернулись).

друга из за идей, которыя девяти десятым из них совершенно не интересны. А тут еще наши вмѣшались» (он опять вспомнил «т-та-варищи и граждане!» на границѣ). «Без них такія дѣла не дѣлаются. А я на них работаю... Что-то очень холодно в Испаніи. Уж не простудился ли в дорогѣ? Очень хороша была водка у товарища»... Тамарин вспомнил свой обѣд с Надей в Парижѣ и вздохнул. «Гдѣ-то моя милая Надя? Так и проститься не успѣл. Надо ей послать открытку из Мадрида. Командировка секретная, но Бог даст, Надя генералу Франко о ней не сообщит»... Он уже дремал, когда на улицѣ послышался дикій крик. «Sereno!» — орал кто-то с наслаженіем. «Что за чорт? Это что-же? Приглашают ложиться спать? «Sereno» значит «тихо». Хорош способ устанавливать ночную тишину», — подумал Константин Александрович, улыбаясь. «Право, очень, очень мило. Прямо «Кармен» в «Музыкальной драмѣ»!... Сторож орал уже довольно далеко. Тотчас послѣ его предписанія шум на улицѣ усилился. С грохотом проѣхали грузовики. Тамарин так с улыбкой и заснул.

Разбудили его не в пять, как было условлено, а в четверть седьмого. Он умылся, стараясь не шумѣть, и вынул из чемодана военную форму. Она слежалась и немного пахла нафталином. Это было досадно Константину Александровичу: как ни как, он здѣсь представлял русскую армію. Достал англійскія бритвы, взял лучшую, «Tuesday», и выбрился очень тщательно. Натянуть сапоги оказалось труднѣе, чѣм было прежде, в Россіи: отвык. «Молода была — янычар была. Стара стала — стала!» — вспомнил он поговорку, которую в его полку произносили с сильным грузинским акцентом и приписывали князю Багратіону, герою Отечественной войны.

Несмотря на ранній час, для Константина Александровича был приготовлен завтрак. Его принес на подносѣ пожилой испанец, накануне подававшій обѣд. Приготовлена была и корзинка с провизіей на дорогу. «Нѣтъ, право, он очень милый и любезный человек», — думал об уполномоченном Та-

марин, сам удивляясь своему «нѣт, право», — « п р о с т о очень милый человек. Жаль, что старая Россія плохо понимает новую»... Вопрос о начаѣ, еще болѣе, чѣм всегда, неприятный Константину Александровичу, разрѣшился хорошо: немного поколебавшись, — можно ли давать начаи испанскому товарищу, и если можно, то сколько, — он пожал ему руку, и при рукопожатіи, как когда-то гонорар врачам, сунул приготовленную ассигнацію. Испанец отвѣтил рукопожатіем, спрятал деньги и очень просто, с достоинством поблагодарил. «Замѣчательно: настоящий гидальго», — с искренним удивленіем подумал Тамарин, спускаясь по лѣстницѣ. — «А странно, что у товарища прислуживает не русскій: это не полагается»...

Вышел он еще болѣе подтянутый, чѣм обычно: почти как в лучшія, гвардейскія времена. При его осанистой фигурѣ на нем и помятая шинель сидѣла хорошо. У под'ѣзда стоял большой автомобиль, новенькій, очень хорошій Бюнк. Два человека вскочили и отдали честь сжатым кулаком, при чем один вытянулся и превратился в статую. Не-вытянувшійся был еще совѣм юноша. «Ах, тот испанскій тѣлохранитель!» — догадался Константин Александрович, сдержав улыбку. Он никогда в жизни не видѣл лучше вооруженнаго человека: у юноши были и винтовка, и ручныя гранаты на поясѣ, и сабля, и два пистолета, и кинжал. Опытный взгляд командарма сразу признал русскіе казенные восьмизарядные пистолеты; винтовка была неизвѣстнаго ему образца, а ручныя гранаты маленькія, не то польскія, не то чехословацкія. «Ничего тут не поймешь: сами они какіе-то радикалы, и помогают им и наши, и демократы, и даже фашисты. Правда, за деньги. Правда и то, что помогают мало: «вот вам на двѣ копейки оружія, и отвяжитесь, проклятые!» — подумал Тамарин, довольно бойко отвѣчая на новое привѣтствіе: вытянул руку, но, в видѣ компромисса, кулака не сжал, только свел пальцы. Юноша восторженно на него глядѣл. Несмотря на обиліе оружія, ничего военнаго в наружности молодого испанца не было. Зато шоффер, неестественно свѣтлый блондин, лѣт

тридцати, с красной нашивкой на рукавѣ, был настоящій солдат. У него и привѣтствіе сжатым кулаком вышло по военному. Тамарин не без удовольствія окинул взглядом его окаменѣвшую фигуру. «Да, нѣмец!» — вспомнил он. — «Может быть, для военного эдакое привѣтствіе и не так нелѣпо».

— Какія будут приказанія? — переспросил Константин Александрович тѣлохранителя, обратившагося к нему с вопросом на французском языкѣ. — Да вот поѣдем. У вас все готово?

— О, да! — сказал тѣлохранитель с восторгом. Нѣмец тоже что-то сказал по французски. Понять его слова было не совѣм легко, но прозвучали они как «так-точно-Ваше-Высоко-превосходительство». Это показалось пріятной музыкой Константину Александровичу: он за двадцать лѣт отвык от таких интонацій. «Не отвѣчать же: «С Богом, ребята»? Этого по французски не скажешь, да и вообще тут было бы пожалуй, неумѣстно: ни Бога, ни ребят.» Он что-то одобрительно пробурчал и сѣл в автомобиль. Тѣлохранитель с гордостью снял чехол со стоявшаго в автомобилѣ пулемета и, к удовлетворенію Тамарина, занял мѣсто рядом с шоффером. «Слава Богу, не надо будет разговаривать». По просьбѣ тѣлохранителя, Константин Александрович отдал ему подорожную.

На улицѣ уже собрались зѣваки: военная форма командарма вызывала любопытство. Под'ѣхала телѣжка, запряженная ослом. Чудовищно-безобразная старуха пропѣла: «*Agua! Quien quiere agua!*» Тамарин взглянул на нее с изумленіем, но и с нѣкоторым удовольствіем: эта женщина, правившая ослом, торговавшая водою, вполне отвѣчала его представленіям об Испаніи. Тѣлохранитель подошел к телѣжкѣ, очень вѣжливо поднял фуражку и купил бутылку воды. «*Agua, agua! Mas fresca que la nieve*» — запѣла старуха. Нѣмец с недовольным видом передвинул бутылку, что-то пробормотал и, выпучив глаза, уставился на командарма в ожиданіи приказаній. «Мы можем ѣхать», — по нѣмецки сказал Константин Александрович. Лицо шоффера просвѣтлѣло, он опять

произнес неясные звуки с той же интонаціей. Автомобиль медленно, затѣм ускоряя ход, пошел по еще пустоватым улицам города. У заставы он остановился. Тѣлохранитель таинственно, с видимым наслажденіем, произнес новый пароль: “Lenin dos-dos” вмѣсто прежняго “Todos para uno” и показал подорожную. Начальник караула пробѣжал ее, вернул и отдал честь. Бюик покатил дальше.

Здѣсь, в отличіе от той дороги, по которой Тамарин ѣхал от французской границы, война чувствовалась безпрестанно. Контроль был гораздо серьезнѣе. У мостов, на перекрестках автомобиль останавливали патрули. У одного моста республиканскій офицер, подозрительно взглянувшись в шоффера и, повидимому, признав в нем нѣмца, потребовал его бумаги. Шоффер вынул из кармана аккуратно заложенную в кожаную обертку книжечку с наклеенными слѣва голубыми марками. “Republica Espanola”... “Brigadas internacionales”... “Grado Sargento”... — увидѣл, наклонившись, Тамарин. Офицер обмѣнялся замѣчаніями с тѣлохранителем (Тамарин не понял ни слова) и кивнул головой. Солдаты, отдав честь, пропустили Бюик. «Это хорошо, что провѣряют. Молодцы», — одобрил командарм. Но вид республиканской арміи не внушал ему большого довѣрія. Раза три они обгоняли шедшія по дорогѣ воинскія части. Константин Александрович внимательно их осматривал. Его неприятно удивило разнообразіе форм: были тут и пестрые мундиры королевских времен, и рубашки защитнаго цвѣта, и синія блузы, и кожаныя куртки, и африканскіе бурнусы, и даже какія-то странно надѣтыя, несерьезныя пелерины. Так же разнообразно было вооруженіе. Шли солдаты нехорошо: и командарм, и шоффер поглядывали на них неодобрительно. «Да, само по себѣ это не имѣет значенія. Есть отличныя арміи с виду неказистыя, как, напримѣр, японская», — думал командарм. немного кривя душой: он не любил неказистых армій, и ему было трудно отдѣлать боевую цѣнность войск от их внѣшняго вида и выправки. «Что бы там ни говорили, наша прежняя гвардія, да еще прежняя прусская, были лучшими войсками в мірѣ. Но и у испанцев че-

ловѣческой матеріал должен быть недурной. Их пѣхота издавна славилась... Жаль, что нѣтъ порядка».

Порядка дѣйствительно было мало. По измученным и злым лицам проходивших солдат Константин Александрович догадывался, что идут они давно и что кормят их плохо. На полустанкѣ, у котораго дорога пересѣкала желѣзнодорожное полотно, стояло множество пустых вагонов, вагонов с солдатами, и опять-таки, по разным, для штатскаго глаза неуловимым, признакам, Тамарину было ясно, что вагоны эти стоят здѣсь не первый день, а может быть, и не первую недѣлю. При цистернах с нефтью не было ни аэропланов, ни зенитной артиллеріи. «Чего проще их взорвать? Почему же тѣ не налетают? В гражданской войнѣ шпионаж всегда очень прост, сочувствующих должно быть немало, этим у тѣх, тѣм у этих. Если тѣ не знают, значит и там растяпы. А если знают и все-таки не взрывают, то тѣм паче».

Думал он и о своем докладѣ. «Выяснить, какая из двух сторон имѣет больше шансов на побѣду! А как это выяснить? Допустим, что в Мадридѣ мнѣ удастся получить матеріалы об их собственных силах. Они будут, как водится, привирать, я, как водится, сдѣлаю на это поправку. С'ѣзжу, разумѣется, на всѣ фронты, куда пустят. Но свѣдѣнія о силах противника? Допустим, что у них есть донесенія агентов, расчеты, сводки. На этот матеріал положиться нельзя. И если даже эти свѣдѣнія вѣрны сегодня, то будут ли они вѣрны завтра? Нѣмцы и итальяшки могут доставить Франко сколько угодно оружія, аэропланов и даже людей. А Франція и Англія? Извѣстное дѣло: «демократіи!» — При всем своем либерализмѣ, Константин Александрович невысоко расцѣнивал военную приспособленность демократій. — «Но и об этом я ничего знать не могу. Тут уравненіе с многими неизвѣстными», — подумал он привычной формулой. — «Если судить с чисто-военной точки зрѣнія, то ни та, ни другая сторона не могут рассчитывать на побѣду: одна слабѣе другой. Главное неизвѣстное: дух той и другой стороны. Как же я могу об этом судить?»

Между тѣмъ отвѣтъ ответственность большая: скажешь одно, выйдет другое»...

Тамарин с неудовольствіемъ вспомнил свое неудачное предсказаніе относительно абиссинской войны. «Правда, тогда ошибся не я один. Ошиблись крупнѣйшіе военные авторитеты міра. Один тот красавецъ что написал!... А вѣдь если вспыхнетъ европейская война, то именно он, вѣрно, и будетъ командовать французской арміей, хотя он и стар. Никто ему его предсказанія не напомнимъ. У насъ дѣло другое, могутъ поставить къ стѣнкѣ и безъ войны: ошибся насчетъ Амба-Аладжи, еще разъ ошибиться в Испаніи, — каюк? Боюсь? Нѣтъ, но неприятно»... Константину Александровичу вспомнились его мысли о мужествѣ. В своей физической храбрости онъ былъ совершенно увѣрен. «А то, что они называютъ моральнымъ мужествомъ, это вещь сложная».

Испанскій пейзажъ ему не нравился. Все было голо, выжжено солнцемъ, безцвѣтно, — только разные оттѣнки сѣраго цвѣта. Такое же было и небо: бѣло-сѣрое, мутное какъ вода съ молокомъ, иногда, при рѣдкомъ появленіи солнца, переходившее в желто-сѣрый цвѣтъ, — подобный пейзажъ, по мнѣнію Тамарина, приличествовалъ Африкѣ, а не Испаніи. Но, въ отличіе отъ Африки, было холодно. «Пожалуй, couleur locale есть, а эдакого испанистаго маловато», — думалъ Константинъ Александровичъ, собирая все, что в его памяти хранилось объ Испаніи. Хранилось немного: «Карменъ», кастаньеты, мантильи, дуэньи, веревочныя лѣстницы и статуя командора. «Ужъ солнцу бы тутъ полагалось быть. Это противъ игры. Ежели ты Испанія, то, чтобы было солнце»... Онъ совсѣмъ продрогъ в своей застегнутой шинели. Ёсть ему еще не хотѣлось, но согрѣться крѣпкимъ напиткомъ было бы хорошо. Тамаринъ все чаще поглядывалъ на корзинку с провизіей. «Что бы в ней могло быть? Едва ли онъ догадался вложить какую-нибудь бутылочку? Но кто его знаетъ, можетъ на счастье и догадался?»

В одиннадцатомъ часу они подѣхали къ селенію, которое могло быть большой деревней или крошечнымъ городкомъ. Шофферъ остановился у гаража, показалъ еще какую-то бумажку,

тоже сложенную необыкновенно аккуратно, и потребовал бензина. Его требованіе не вызвало радости у гаражиста. Однако тот угрюмо подчинился. Пока автомобиль запасался горючим, Тамарин гулял, разминая ноги и стараясь согрѣться. На площади была наглухо запертая церковка. «Кажется, старая и благороднаго стиля», — подумал он нерѣшительно: архитектурный стиль — дѣло темное. «Может, тут Сервантес бывал или какой-нибудь Лопе де Вега... Был такой, а что написал, не знаю: не читал, жаль»... Вокруг него собралось нѣсколько мальчишек: его шинель и здѣсь произвела впечатлѣніе, — он впрочем не знал, какое именно. Во втором этажѣ небольшого домика женщина сердито захлопнула окно и прокричала что-то едва ли лестное. Константин Александрович отошел. В окнѣ лавки с'ѣстных припасов были только колбаса сомнительнаго вида, грязныя овощи и пустыя бутылки. В стеклѣ была огромная трещина. Вздохнув при видѣ бутылок, Тамарин взглянул на часы. «Время для фриштика». — Он иногда себѣ позволял такія слова: его отец принадлежал к поколѣнію, которое говорило «фриштик», «пашпорт», «Штокгольм», и в котором сыновья называли отца «батьюшка».

Тѣлохранитель смущенно спросил Тамарина, не разрѣшит ли он немного отдохнуть и перекусить. — «Да, разумѣется», — поспѣшно подтвердил Константин Александрович, — «нам кое-что дали в дорогу. Вон корзинка... Тут в автомобилѣ и закусим?» Молодой человѣкъ вспыхнул и, запинаясь, пояснил, что корзинка дана не им: у них есть своя ѣда. Он добавил, что немного дальше, за углом, есть кофейня. Правда, едва ли там можно достать ѣду, но, быть может что-нибудь все-таки найдется. — «Отлично! Вот туда и пойдем». Тѣлохранитель бросился к шофферу и что-то ему сказал. Нѣмец, видимо, тоже обрадовался, но, как показалось Тамарину, сразу потерял к нему уваженіе.

Константин Александрович хотѣл было взять корзинку, — на лицѣ тѣлохранителя изобразился такой ужас, точно тяжесть корзинки могла раздавить русскаго генерала, — молодой человѣкъ схватил ее и понес. Шоффер тщательно запер

автомобиль, показывая выражением лица, что он никому здѣсь не довѣряет. До кофейни идти было недалеко. На углу тѣлохранитель показал командарму зданіе, развороченное воздушным снарядом. Два этажа его были открыты, как полки этажерки. Очень пострадал и сосѣдній кинематограф. На полу-обвалившейся стѣнѣ висѣла разорванная, обуглившаяся по краям, но еще свѣжая по краскѣ афиша, что-то напоминавшая Тамарину. «Кажется, стиль русск?» На афишѣ были изображены длинноволосый геркулес в красной рубахѣ, с обнаженной шашкой, еще какой-то другой человек, густо окровавленный, с выколотыми глазами, затѣм блестящій бал в залѣ непостижимых размѣров, что-то еще.

«Ишь в какой мы модѣ!» — со смѣшанными чувствами подумал Константин Александрович. Юноша взволнованно пояснил, что в прошлый свой проѣзд видѣл здѣсь эти самые русскіе фильмы, а как раз на слѣдующій вечер произошла воздушная бомбардировка и погибло множество женщин и дѣтей. «Ох, уж эти мнѣ женщины и дѣти!» — недовѣрчиво подумал Тамарин и сдѣлал фальшиво-испуганное лицо, какое полагается дѣлать при полученіи извѣстія о смерти чужих людей. Из приличія они пошли дальше молча. По дорогѣ им попадались в самом дѣлѣ главным образом женщины и дѣти. Но на углу, перед очень старым двухэтажным домом из тесанаго камня толпились мужчины, в большинствѣ вооруженные, в военных или полувоенных нарядах, в странных с прорѣзами для рук, мантиях на красной подкладкѣ. В полусознательной памяти Константина Александровича на мгновенье всплыла е г о красная подкладка, — он вздохнул, так и не сознав, почему вздыхает. — «Живописно, грѣх сказать! Это, по крайней мѣрѣ, испанисто»...

Их оглядѣли с любопытством. Нѣкоторые военные отдали командарму честь, но не всѣ. Кое-кто поспѣшно отвернулся. В домикѣ стоял адскій гул. «Может, домик как домик, а может, тут эдакій Лопе де Вега и жил!»... Наверху, прорѣзав крики и смѣх, страшно захрипѣл радиоаппарат. Толпа устремилась в домик, шум еще усилился. — «Это здѣшний респуб-

ликайски клуб», — объяснил тѣлохранитель. — «Тут же теперь помѣщается штаб...» — Он назвал номер бригады. — «Вы зашли бы узнать: уж не случилось ли что-либо важное?» — предложил Константин Александрович. — «Мы можем зайти всѣ, никто ничего не скажет». Тамарин с недоумѣніем взглянул на нѣмца. Тот засмѣялся и махнул рукой.

Они поднялись по каменной лѣстницѣ и вошли в большую переполненную людьми комнату, со сводчатым потолком, с каменным полом. В комнатѣ галдѣли люди, стучали пишущія машинки, трещал телефон, что-то выкрикивал радиоаппарат. Безпрестанно входили все новые посѣтители, в пелеринах, в плащах, в сапогах, начищенных до изумительнаго блеска. Но и тѣх, которые носили военную форму, Тамарин не мог серьезно считать офицерами, как не мог серьезно признать, что это заведеніе — какой бы ни было штаб, хотя бы и незначительной воинской части. В комнатѣ стоял густой дым. У Константина Александровича немного закружилась голова. Тѣлохранитель вернулся от радиоаппарата и заявил, что одержана большая побѣда, но подробности разобрать было трудно. — “Quatsch!” — рѣшительно сказал нѣмец. — «Пойдем», — приказал Константин Александрович. Ему было и смѣшно и обидно. «Правда, это глушь и далеко от фронта...»

Кофейня была именно такая, какой ждал от Испаніи Тамарин. Собственно, это была не кофейня, а харчевня. Правая часть дома, очевидно, предназначалась для скота. «Сюда, должно быть, и сейчас приѣзжают на ослах или на мулах. Уж здѣсь-то, навѣрное, бывали Дон-Кихот и Санчо Пансо...» Слѣва была кухня, тоже из тѣх, что описываются в старых романах, с большим очагом, с веревками, подвѣшенными к бревнам потолка. «Это для окороков, что ли?» К кухнѣ примыкала довольно большая комната с деревянными столами, со стульями старинной формы, со столиком хозяйки на возвышеніи. Хозяйка, почтенная усатая женщина, взглянула на военного гостя с явным безпокойством. Поговорив с ней, тѣлохранитель печально сказал, что ѣды никакой нѣтъ, только... Он произнес какое-то трудное длинное слово. — «Что такое,

авельянос? Ну, авельянос так авельянос», — благодушно согласился Тамарин, — «а вот нѣтъ ли у нея вина? Хереса, например?» Этот вопрос как будто удивил тѣлохранителя. Он снова обратился к хозяйкѣ и, вернувшись, сообщил, что херес есть, сейчас дадут. Нѣмец одобрительно кивнул головой, словно показывая, что и он заказал бы то же самое. Шоффер и тѣлохранитель очевидно не рѣшались сѣсть без приглашенія. «Что-ж, садитесь», — предложил Тамарин: он хотѣлъ было добавить: «граждане», но язык по французски слова citoyens не выговорил; по русски в свое время, в Москвѣ, почему-то выходило гораздо легче, особенно с 1920 года: в началѣ революціи Константину Александровичу все казалось, что его называют гражданином в насмѣшку.

Они выбрали стол в углу. Тамарин сѣлъ на скамью, его спутники заняли стулья по другую сторону стола. На третій стул тѣлохранитель положил один из своих пистолетов, поставив в углу винтовку. Вторым пистолетом он пользовался как пѣвица розой или платочком во время исполненія романса: чтобы занять руки.

— А вы бы спрятали оба пистолета, опасности пока никакой, — благодушно посовѣтовал ему Тамарин. Юноша смущенно улыбнулся. Нѣмец развернул свой перевязанный кулек, вынул хлѣб, колбасу и спрятал веревочку. Тамарин поднял крышку корзинки. Оба его спутника ахнули: там была ветчина, жареная курица, пирожки, фрукты; нашлись даже вилка, нож, горчица. «Какой любезный человѣкъ!» — опять подумал, веселя, Константин Александрович. Ему стало совѣстно перед спутниками, старавшимися не смотрѣть на корзину. «Наши-то, слава Богу, питаются здѣсь не так, как эти!...»

— Вот мы все это раздѣлим как слѣдует на три части, — особенно веселым тоном сказал он и стал дѣлить прилипшую к бумагѣ ветчину. Тѣлохранитель покраснѣлъ. — А вы мнѣ зато дадите вашей колбасы, она, кажется, очень вкусная, — деликатно добавил Константин Александрович.

Хозяйка принесла херес, стаканы и густой напиток, ока-

завшійся чѣм-то вродѣ шоколада. Тамарин разлил вино по стаканам. — «О, ради Бога, мнѣ не надо так много!» — с искренним испугом воскликнул тѣлохранитель. Он дѣйствительно только отпил из стакана и отставил его в сторону. Нѣмец взглянул на него с презрѣніем, залпом выпил полный стакан и посмотрѣл на марку бутылки. Константин Александрович тотчас налил ему еще вина. В кофейню вошли два старых испанца, вѣжливо раскланявшіеся сначала с хозяйкой, потом с Тамариным и его спутниками. Шоффер и тѣлохранитель живо с'ѣли свои порціи ветчины, курицы, пирожков. «Вѣрно давно такого пира не видѣли...»

— В берлинском ресторанѣ Кемпинскаго был тоже очень хорошій херес, — сказал нѣмец. Тамарин подлил ему еще. — О, я сказал не для этого, — пояснил шоффер и очень поблагодарил Константина Александровича, хотя и без прежней скороговорки. — В свое время, до Гитлера, я часто бывал у Кемпинскаго и начинал именно с хереса, а иногда и с икры. *Caviar im Eisblock...* Замѣчательная закуска! — добавил он с легким поклоном, желая, очевидно, сказать комплимент русскому. — Я не знаю лучше закуски. Развѣ Рейнлакс под майонезом?

Шоффер сообщил, что он родом из Магдебурга, сын государственнаго чиновника, доктор философіи берлинскаго университета, занимал очень хорошее положеніе в социал-демократической партіи, работал в разных ея учрежденіях, писал в печати и на слѣдующих выборах имѣл бы большіе шансы пройти в рейхстаг.

— Моя кандидатура уже обсуждалась в партіи. Но из за господина Гитлера я должен был бѣжать, хотя я коренной стопроцентный аріец. В моих жилах нѣт ни одной капли еврейской крови... Разумѣется, я не антисемит, — поспѣшно добавил он, — у меня близкіе друзья евреи. Я только констатирую факт.

— Здѣсь вы в чинѣ сержанта?

— Был ранен, представлен к наградѣ и еще три мѣсяца тому назад должен был получить офицерскій чин. Но при

здѣшнихъ порядкахъ производство задержалось, — отвѣтилъ угрюмо нѣмецъ. По его тону легко было понять, что онъ о здѣшнихъ порядкахъ самаго невысокаго мнѣнія. Тамаринъ сочувственно покачалъ головой и обратился къ испанцу по французски:

— Вы, вѣроятно, не знаете нѣмецкаго языка?

— Ни одного слова! — сердито отвѣтилъ нѣмецъ за молодого человѣка. — Къ счастью, я владѣю французскимъ языкомъ, хотя многое забылъ. У насъ въ домѣ была швейцарская гувернантка.

— Ну вот и отлично, значитъ у насъ есть общій языкъ, — сказалъ Константинъ Александровичъ и навелъ бесѣду на военныя дѣла. Тѣлохранитель заявилъ, что въ побѣдѣ не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія.

— Почему же вы такъ думаете? — осторожно спросилъ Тамаринъ.

— Потому что весь нашъ народъ ненавидитъ фашистовъ. Они воюютъ изъ за классовыхъ интересовъ, а у насъ духъ! Ахъ, какой у насъ духъ! — горячо воскликнулъ тѣлохранитель. — Мы голодаемъ, у насъ мало оружія, мы погибаемъ отъ пули, отъ голода, отъ болѣзней, но мы побѣдимъ.

— Правильно, — сказалъ Тамаринъ. «Какія же это у нихъ болѣзни? Не слышно, чтобы былъ сыпнякъ?» — невольно заинтересовался онъ, вспомнивъ гражданскую войну въ Россіи, — «Умирать такъ умирать, но не отъ сыпныхъ же вшей»... — Испанецъ что-то рассказывалъ о войнѣ, довольно сбивчиво, отчасти изъ-за волненія, которое у него вызывала личность совѣтскаго генерала, отчасти изъ-за недостаточнаго знанія языка. Впрочемъ, говорилъ онъ по французски бойко, съ акцентомъ забавнымъ, но много менѣе противнымъ, чѣмъ у нѣмца. Изъ разговора выяснилось, что онъ сынъ рабочаго изъ Ируна, работалъ въ мастерской съ двѣнадцати лѣтъ, сначала примкнулъ къ анархистамъ и только позднѣе понялъ, что это была тяжкая ошибка, что анархисты группа не пролетарская, а мелкобуржуазная.

— Не такъ ли? — почтительно обратился онъ къ командарму.

— Да, разумѣется, — подтвердил энергично Константин Александрович, произнося мысленно непечатныя слова.

— К партіи же я примкнул всего два года тому назад, — продолжал испанец. В дальнѣйшем он говорил о коммунистах просто «партія»; так англійскіе министры, произнося слова «правительство его величества», имѣют в виду только британское правительство, а не кабинеты других монархических стран. — Послѣ анархистов я было примкнул к троцкистам. Это тоже была тяжкая ошибка. — «Примкнул, примкнул... Эх, дурак мальчишка!» — с сожалѣніем думал Тamarin.

— Дух, конечно, великая вещь, что и говорить, но одним духом против танков и аэропланов воевать нельзя. Нужны еще оружіе, порядок и дисциплина, — сказал он, не совѣм согласно с прежними своими одобрительными словами.

— Das sag ich ja eben, — рѣшительно подтвердил нѣмец и даже закивал головой от удовольствія

— Я нисколько не возражаю, но, конечно, дисциплина свободная, — отвѣтил тѣлохранитель и заговорил о высоких боевых качествах республиканской арміи. Шоффер слушал с презрительной усмѣшкой.

— А ваше мнѣніе? — обратился к нему Тamarin.

— Мое мнѣніе? — переспросил по нѣмецки шоффер.

Мое мнѣніе то, что рѣшеніе конфликта не зависит нисколько ни от Мадрида, ни от Франко. Все будет рѣшено в Берлинѣ. Если господину Гитлеру угодно будет прислать сюда германскія войска, то они, разумѣется, и побѣдят. А если воевать будут они (он пренебрежительно кивнул на испанца), да еще итальянскіе господа, то... — Шоффер махнул рукой.

— Вот как? — спросил Константин Александрович, в душѣ вполне согласный с нѣмцем. «Только будь ты хоть трижды социалист, а говоришь ты о своем герр-Гитлерѣ не так, как о «die italienischen Herren», — подумал он, подливая себѣ остаток вина. Испанец неожиданно спросил, знал ли он Чапаева, и видимо огорчился, получив отрицательный отвѣт. Ему очень понравился этот фильм.

— И «Мишель Строгофф» тоже... Правда ли, что царь собственноручно вырывал бороды у бояр?

— Только за особо важные поступки. Не чаще двух раз в мѣсяц, — сказал Константин Александрович, опять произнося мысленно непечатныя слова, и тотчас пожалѣл о своей шуткѣ. Тѣлохранитель, широко раскрыв глаза, рассказал о звѣрствах испанских фашистов. Тут были сожженіе живых людей, пытки, особенно выкалываніе глаз.

— Вы сами это видѣли?

— Как выкалывают, не видѣл, конечно, а трупы с выколотыми глазами видѣл, — сказал нѣсколько обиженно молодой человек. Тамарин вдруг вспомнил спектакль, на котором был с Надей в парижском театрѣ ужасов. «А может ты и врешь, пан писарь», — подумал он неувѣренно. — «Хотя ничего невозможнаго собственно нѣтъ»...

— А у вас как? Нѣтъ звѣрств?

— Нѣтъ и не может быть, это клевета наших врагов, — отвѣтил испанец тоже без увѣренности в тонѣ. Шоффер пожал плечами. — Неправда! Мы просто разстрѣливаем шпіонов, — обратился к нему тѣлохранитель. «Вѣрно, и тѣ, и другіе привирают», — утѣшил себя Константин Александрович. — «Вот тебѣ и театр ужасов! Теперь и в театр ходить не надо»...

За столом, гдѣ сидѣли два испанца, вдруг поднялся шум. Оба старика вскочили с мѣст и заговорили одновременно очень повышенными голосами. — «Что это? Хорошо, что кинжалов при них нѣтъ», — сказал Тамарин, — «о чем это они?» Тѣлохранитель с любопытством прислушался. Хозяйка кофейни тоже подняла голову, впрочем без большого интереса. Старики дико орали друг на друга, размахивая руками; лица у них были искажены бѣшенством. Константину Александровичу, не понимавшему ни единого слова, казалось, что они тотчас бросятся друг на друга. «Так его, валяй», — думал Тамарин, повеселѣвшій от хереса. Понемногу однако голоса стали понижаться, от бѣшенаго крика до крика обыкновеннаго, затѣм до нормальнаго разговора. Лица у сердившихся

освѣтились улыбкой, они снова сѣли и заговорили очень просто и дружелюбно. Один из них повернулся к хозяйкѣ, приподнял шляпу и заказал двѣ чашки авельяноса. «Кажется, литературный спор», — объяснил без малѣйшаго удивленія тѣлохранитель. Шоффер снова пожал плечами и, заглянув в корзинку, сказал с сожалѣніем:

— Ничего не осталось на ужин...

— Поужинаем в Мадридѣ, — отвѣтил Константин Александрович. Он был доволен завтраком. Общеніе почти на началах равенства с этими людьми доставляло ему нѣкоторое удовлетвореніе, его самого удивлявшее: несмотря на революцію и совѣтскій строй, опыт говорил ему, что такое общеніе генерала с нижними чинами вредно и недопустимо. «Правда, они испанцы и сознательные... Как только мои солдаты в 1917 году стали сознательными, все пошло к чорту»...

Шоффер освѣдомился у Тамарина, знал ли он Ленина. Теперь Константину Александровичу показалось, что нѣмцу хотѣлось бы и Ленина обозначить каким-либо титулом: «Знали ли вы, Ваше Превосходительство, Его Превосходительство Ленина?»...

— Нѣт, не встрѣчал.

— А Сталина? — взволнованно спросил тѣлохранитель. Глаза у него заблестѣли.

— Тоже не знаю, — отвѣтил Тамарин. Оба его собеседника были видимо разочарованы. Разговор стал вялым. «Что, если отсюда написать открытку Надѣ?» — подумал Константин Александрович. — «Здѣсь навѣрное есть почтовый ящик?» — спросил он. — «Очень сомнительно» — отвѣтил нѣмец, — «у них почтовые ящики привѣшиваются к трамваям». — «Конечно, есть ящик! Как раз напротив кофейни», — обиженно возразил тѣлохранитель. Он достал у хозяйки открытку с видом городка. Тамарин вынул самопишущее перо и написал нѣсколько строк. — «Я могу опустить?» — предложил шоффер. — «Да, пожалуйста», — согласился Константин Александрович не совѣм охотно: любил для вѣрности отправлять письма собственноручно. Нѣмец взял от-

крытку, бѣгло взглянул на адрес, увидѣл слово «Мадмуазель» и улыбнулся с видом джентльменскаго пониманія. — Олл райт, — сказала шоффер. Как почти всѣ нѣмцы, он был англоман и, ругая англичан, в душѣ считал их высшей расой. Вернувшись через минуту, он угрюмо-иронически сообщил, что ящик закрыт, и вернул открытку.

— Вы, кажется, написали по русски? — спросил он. — По французски вѣрнѣе. И лучше опустить в Мадридѣ.

— Почему же нельзя отсюда писать по русски? — спросил сердито Тamarin. — Ну, поѣдем, пора. В Мадридѣ, вѣрно будем не раньше семи?

— Дай Бог, чтоб в восемь. А бензина проклятый гаражист дал маловато. Клялся, что у него больше нѣт. Хорошо, если найдем в дорогѣ.

— Как же будет, если не найдем?

— Быть может, хватит. Вот только не придется ли слѣлать крюк у Мадрида?

— Почему крюк?

— Один участок дороги очень опасен. Разрѣшите показать.

Он вынул тетрадку, на картонной обложкѣ которой было выведено прекрасными каллиграфическими буквами: «Дневник революціоннаго бойца», заглянул в нее, но не вырвал листочка, спрятал тетрадку и на кускѣ бумаги от ветчины провел нѣсколько кривых черт с кружочками.

— Da haben wir Madrid, Puerta del Sol, — сказал он, кладя крошку хлѣба на центральный кружочек и стал называть пункты: Мората-Тахуна, Серро Рохо, Карабансель Бахо. Константин Александрович знал приблизительное положеніе мадридскаго фронта и все же не представлял себѣ, что надо будет проѣхать так близко от непріятели. «Хороши у них коммуникаціонныя линіи!»... Он подумал также, что еслиб его взяли в плѣн, то разстрѣляли бы немедленно без разговоров. Эта мысль была не столь непріятна, сколь неожиданна: в тѣх войнах, в которых он участвовал, плѣнных генералов не разстрѣливали.

— Когда мы там будем, уже будет совершенно темно. К счастью, я хорошо знаю дорогу. Я под Мадридом был ранен... Еслибы на другом фронтѣ, может быть, уже был бы офицером. Но мадридскіе порядки! — сказал нѣмец и безнадежно махнул рукой. Тѣлохранитель поднялся, оправляя пояс с ручными гранатами, и неосторожно уронил солонку. Он поблѣднѣл, поспѣшно отворил окно и вылил во двор остаток воды в стаканѣ. Тамарин выпучил глаза.

— Это у них дурная примѣта. Просыпал соль, надо вылить воду. Он суевѣрен, как баба. Он и амулет какой-то при себѣ носит... Тоже марксист! — по нѣменки сказал шоффер с презрѣніем.

II

Уже начинало темнѣть, когда послышалась отдаленная артиллерійская пальба. Константин Александрович и сам не думал, что эти звуки так на него подѣйствуют: «вот довелось через двадцать лѣтъ снова увидѣть войну!». В послѣдніе годы ему не раз приходила мысль, что в сущности он по натурѣ не военный, что, еслибы его в свое время отдали не в корпус, а в гимназію, то он отлично мог бы стать профессором физики или исторіи. Эта мысль удовольствія ему не доставляла. Теперь, услышав далекій, глухой, ни на что другое не похожій гул, Тамарин испытывал радостное волненіе.

С холма, по словам нѣмца, можно было ознакомиться с общей картиной мадридскаго фронта. Тамарин вышел из автомобиля, достал полевой бинокль и книжечку. Увидѣть можно было немного. Тѣм не менѣе он набросал что-то вроде плана. Тѣлохранитель смотрѣл на него восторженно, как, должно быть, накануне Аустерлица молодые адъютанты смотрѣли на Наполеона: с выраженным на лицѣ убѣжденіем, что они присутствуют при зарожденіи геніальных мыслей. Чтобы его не разочаровывать, Константин Александрович составлял план немного дольше, чѣм было нужно. Шоффер провѣрял бензин, ругаясь вполголоса.

Число караулов увеличилось. Контроль становился все строже. На перекрестках и у мостов офицеры в хаки осматривали подорожную все болѣе внимательно. Они хмуро задавали тѣлохранителю вопросы, — повидимому, не совсѣм пріятные, так как он вспыхивал, оглядывался на командарма, а затѣм смущенно и уклончиво объяснял, что спрашивали о разных пустяках.

На одном из перекрестков шоффер, остановившись, вынул карту и сумрачно задал нѣсколько вопросов стоявшим без офицера караульным. Тѣ отвѣчали охотно, что-то показывая на дорогѣ жестами и отрицательно мотая головой. Шоффер взглянул на часы, еще подумал, оглянулся на Тамирина, снова сѣл за руль, хотѣл было что-то сказать, не сказал, и поѣхал дальше. Караульные что-то прокричали ему вслѣд. Он только ускорил ход автомобиля. Константин Александрович, задремавшій на своих пріятных мыслях, скоро заежился от вѣтра. «Ох, простудился, так и есть!» — подумал он в полудремотѣ. Через нѣсколько минут он проснулся от холода, от рѣзкаго ускоренія хода. Автомобиль несся с бѣшеной быстротой, — такой скорости они до сих пор нигдѣ себѣ не позволяли; Тамарин и вообще никогда в жизни так быстро не ѣздил. Моргая глазами и ежась, он соображал, в чем дѣло. Нѣмец наклонился над рулем, как жокей над скачущей лошадыо. Рядом с ним тѣлохранитель, с блѣдным взволнованным лицом, тоже наклонился, сжимая одной рукой колѣно, держа другую на гранатѣ. — «Что такое? Что это происходит?» — Константину Александровичу неловко было сказать, что не надо летѣть так быстро, что это без нужды рисковать жизнью. Вдруг — не сразу — ему пришла мысль об измѣнѣ: что, если эти люди везут его к фашистам! В ту же минуту слѣва промелькнули холмы и шоффер стал замедлять ход. Он обмѣнялся нѣсколькими словами с испанцем, захохотал, и, твердо держа руль, откинулся на спинку сидѣнья. Тѣлохранитель разжал руки и с восторгом повернулся к командарму. — «*Ça c'est bien!*», — сказал он, — «*ça c'est bien...*» Нѣмец с довольным видом объяснил, что они пронеслись по

чрезвычайно опасному мѣсту. «Теперь дальше все спокойно. Иначе надо было сдѣлать громадный крюк, а у меня уже почти нѣтъ бензина». — сказал он. Тамарин хотѣлъ сдѣлать ему выговор: он не имѣлъ ни малѣйшаго права так рисковать без разрѣшенія. Однако Константину Александровичу было неловко из за его мимолетных подозрѣній, и он выговора шофферу не сдѣлал. «Ну, что-ж, побѣдителей не судят», — начал было он, но затруднился в переводѣ этих слов на нѣмецкій или французскій язык и лишь одобрительно кивнул головой.

Когда они пріѣхали в Мадрид, было уже совсѣм темно. Стрѣльба затихла. Бюик, медленно лавируя, прошел через ход в странной зигзагообразной баррикадѣ. Тамарин, еще в Парижѣ старательно изучившій план Мадрида, сначала старался ориентироваться, но в темнотѣ не мог ничего разобрать. Он был взволнован преимущественно из за военной рѣдкости положенія: осажденная столица. «И эта тьма! Никогда эдакого города не видѣл!...» Зажженные фонари попадались крайне рѣдко, автомобиль проходил по освѣщенным оазисам, и снова все погружалось во тьму. Нельзя было даже понять, каким образом умудряется править шоффер. «Гдѣ же это мы? Все еще на окраинах ли или в срединѣ города?» У фонарей попадались люди, большей частью военные. Из домов с затворенными ставнями как будто доносились голоса. В одном домѣ сквозь приотворенный ставень промелькнули люди за столиками в освѣщенной комнатѣ, и вид кофейни почему-то сразу успокоил Тамарина. «Все разсмотрю завтра, теперь и глядѣть нечего. Поѣсть бы, лечь поскорѣе под теплое одѣяло и отдохнуть»... Константин Александрович чувствовал себя нехорошо и был утомлен дорогой. «Вот вѣдь странно! Уж на что комфорт: один в прекраснѣйшем автомобилѣ, а устал больше, чѣм от переѣзда в теплушкѣ»... Впрочем, он тут же себѣ отвѣтил, что в пору русских путешествій в теплушках был на двадцать лѣтъ моложе — и опять с печальной усмѣшкой вспомнил поговорку князя Багратіона.

Автомобиль остановился на коротенькой узкой улицѣ в концѣ которой горѣлъ фонарь. Тамарин увидѣлъ длинный, трехэтажный, довольно мрачный дом. Стѣна была снизу обложена мѣшками с песком. — «Это здѣсь», — сказал, соскакивая, тѣлохранитель. Он взбѣжал на крыльцо и постучал в дверь. Блеснул синеватый свѣтъ, на крыльцѣ появилась женщина с карманным фонарем. Тѣлохранитель снял фуражку, раскланялся и, показав бумажку, что-то вполголоса объяснил. Женщина кивнула головой и с улыбкой заговорила очень быстро. «Слава Богу! Значит есть комната?» — спросил Константин Александрович, выходя из автомобиля. Под его ногами что-то неприятно треснуло и захрустѣло. Тротуар был засыпан осколками. Окна с выбитыми стеклами были завѣшаны или заклеены. На двух окнах висѣли полуоторванные ставни. Тамарин хотѣлъ было взять чемодан, но тѣлохранитель снова бросился к нему так, точно могло произойти несчастье. «Все сейчас будет доставлено в вашу комнату», — сказал он, — как раз оказалась одна, очень хорошая. Ничего, что в третьем этажѣ?» — Разумѣется, ничего! Какіе пустяки». — «Во втором этажѣ тоже есть комнаты, но онѣ сейчас заняты. Здѣсь есть и русскіе», — радостно сообщил тѣлохранитель. Константин Александрович поморщился. — «Вѣрно, чекисты», — подумал он. — «А вы гдѣ останавливаетесь?» — Для нас тут мѣста нѣтъ. Мы будем спать в гаражѣ». Испанка потащила чемодан и тотчас, тяжело опустив руку, уронила его на осколки стекла. Шеффер сердито отстранил ее и сам бережно внес чемодан и пишущую машинку в дом. «Даже стекла подмести не могли!» — возмущенно пробормотал он по нѣмецки, вернувшись на крыльцо и соскребывая осколки с сапог о верхнюю ступень лѣсенки. — «Когда прикажете завтра захватить...?» — спросил он Тамарина. — «Пожалуйста, ровно в семь». Тамарин простился со своими спутниками. Они, особенно испанец, были видимо огорчены разлукой с ним.

Испанка, поднявъ выше головы фонарь, пропустила Тамарина вперед. Он с недоумѣніем остановился в темнотѣ за порогом. Затворив за собой дверь, она повернула выключатель.

В огромной люстрѣ зажглась одна лампочка. «Кажется, богатый дом? На гостинницу не похоже», — удивленно подумал командарм. В большом холлѣ были картины, статуи, высокія вазы. Справа была большая дверь, у которой стоял вооруженный человек. — «Сюда?» — спросил Константин Александрович, показывая рукой в сторону двери. Женщина с испугом замотала отрицательно головой, показала на лестницу и заговорила еще быстрее. Тамарин развел руками и пожалѣл, что отпустил своих спутников: «С этой не сговоришься. А милovidна... Не Кармен а скорѣе Микаэла... Кажется, ту звали Микаэла?».

На площадкѣ стоял вооруженный человек в кожаной курткѣ, как будто не солдат, но и не штатскій. Он с меньшим любопытством, чѣм другіе, взглянул на шинель командарма и равнодушно отдал честь сжатым кулаком, видимо мало заботясь о парадной сторонѣ жеста: просто тыкнул рукой вверх. Из корридора второго этажа слышалось равномерное трещаніе пишущих машинок. «Не поймешь, что это такое», — подумал Константин Александрович, не без тревоги оглядываясь по сторонам. На площадкѣ третьяго этажа никого не было. Они свернули по корридору налѣво. Из за стѣны машинки трещали и тут. Испанка остановилась у послѣдней двери, отворила ее ключем и повернула выключатель. Тамарин с удовлетвореніем увидѣл вполне приличную, хоть небольшую, комнату. «Вот и отлично. Мерси. Грація», — сказал он, стараясь вспомнить, как надо благодарить по испански. Женщина говорила так же необычайно быстро, с преобладаніем звуков р-р и х-х. «Хоть бы замолчала, а то и слушать неловко, не отвѣчая ни слова», — подумал он, беспомощно улыбаясь. «Кутузов тотчас взял бы эту Микаэлу за подбородок»... Быть может, в другое время Константин Александрович и поступил бы как Кутузов, но теперь он только и желал, чтобы Микаэла оставила его в покоѣ. У него болѣла голова.

Одѣяла и подушки не было. В комнатѣ стояла металлическая кровать с голым матрацом. Оставшись один, Тамарин пер-

вым дѣлом осмотрѣлъ матрац и остался доволен. «Кажется, на сѣкомых опасаться не надо, это главное»... Подошел к окну и чуть отодвинул черную занавѣсь. Стекла не было, — лишь зазубрины у рамы. Окно выходило на ту же еле освѣщенную, узкую, наклонную улицу. Из нижняго этажа противоположнаго дома слышался разговор. В мирных голосах было что-то успокоительное. «Странная жизнь, но жизнь. Издали все кажется хуже и страшнѣе. Живут как мы всѣ... Сильно дует. Это весьма некстати»...

Не снимая шинели, он сѣлъ в кресло и, опустив голову, вздрагивая всѣм тѣлом, просидѣлъ так минуты двѣ или три, с ужасом думая о предстоящей работѣ. «Открыть чемодан, достать несессер, разложить вещи, стащить сапоги, умыться»... В углу комнаты на табуретѣ стояли миска и кувшин с водой. «Ох, горячую ванну принять бы!» — подумал он со вздохом, понимая, что о ваннѣ в осажденном городѣ и говорить неприлично. За исключеніем первобытнаго умывальника, все в комнатѣ было удовлетворительно: письменный стол с ящиками — «очень пригодится» — этажерка, зеркальный шкаф, висячее зеркало против шкафа. Были даже картинки по стѣнам. Сдѣлав над собой усилие, он раздѣлся и начал мыться, стараясь возможно бережливѣе расходовать воду. Но только он намылил лицо, как в дверь постучали. «Микаэла», сверкая зубами, стыдливо остановилась на порогѣ и передала ему простыню, одѣяло, замѣнявшій подушку валик. «Мерси. Грація... Мульт, мульт, грація», — импровизировал по разным воспоминаніям Константин Александрович, прикрывая рукой шею и щурясь от пощипывавшаго глаза мыла. Он закончил туалет и кое-как постелил постель, — вышло недурно. Все больше дрожа от холода, повѣсил в шкафу платье, положил в комод бѣлье, на комод свои книги и колбасу. Комната приняла почти уютный вид. Только из завѣшеннаго окна дуло довольно сильно.

Опять послышался стук. Появилась та же Микаэла, нагруженная еще больше прежняго: в правой рукѣ у нея была дымящаяся кастрюля, в лѣвой — небольшой кусок хлѣба,

вилка, ложка и стакан, прижатый изнутри пальцем к хлѣбу, подмышкой — бутылка. Тамарин, благодаря и кланяясь, пролил немного жидкости из кастрюли. — «Ну, зачѣм это? Покорнѣйше благодарю», — говорил он, окончательно переходя на русскій язык («уж если она все равно и по французски не понимает!»). — «Тортильяс», — с гордостью сказала испанка. — «Тортильяс», — повторил командарм.

В кастрюлѣ оказался какой-то соус из риса, с рѣдкими кусочками мяса, густо посыпанный перцем. Константина Александровича позабавило то, что он ѣст блюдо, называющееся «тортильяс». Оно было с'ѣдобно, но аппетита у Тамарина не было: «Теперь ясно, что нездоров»... Вино было довольно пріятное. На бутылкѣ не было надписи. «Вѣрно, тоже называется как-нибудь так... Совсѣм торреадором стану здѣсь»... На вилкѣ и ложкѣ была корона. «Вот оно что! Очевидно, дом какого-то герцога или маркиза? Батюшка, царство ему небесное, знал все эдакое: какія у кого короны, сколько дужек, обручей, листков. Восемь листков это, помнится у герцогов... Гдѣ-то теперь герцог с герцогиней? И уж вѣрно никак не думают, что в их домѣ живет старый царскій генерал!... Странно, странно... Комната впрочем не герцогская. Может, тут жила какая-нибудь экономка или гувернантка?» Он с удовлетвореніем посмотрѣл на письменный стол, заглянул в чернильницу, в ней все высохло, повидимому, уже очень давно, — «завтра первым дѣлом купить чернил и наполнить самопишущее перо». Просмотрѣл книги, стоявшія на этажеркѣ. Онѣ в большинствѣ ему не понравились: «*La influencia militar en los destinos de Espana*»... «*De octubre rojo a mi destierro*» por Leon Trotsky»... Вот его только не хватало! «*De octubre rojo*» — «от краснаго октября», ясное дѣло. Заглянул в свой словарь: «*Destino*»... «*Destillador*»... «*Destierro*» — «изгнаніе». «От краснаго октября до моего изгнанія», — отлично все понял... Вѣрно, послѣ гувернантки тут жил кто-нибудь еще?»... Константин Александрович осмотрѣл и картинку над комодом, она изображала что-то ему знакомое. Не без труда в слабо освѣщенной комнатѣ

разобрал надпись: «Кузница Вулкана», Веласкеца, — «ишь ты!» Попробовал понять, что означают эти свирѣпые голые босые люди, — но ничего о Вулканѣ не вспомнил. «Кажется, какой-то был бог? Что-то ковал... Бог и ковал... Лемносскій бог тебя сковал... Ничего не помню»... Опять подошел к окну. «Веребочная лѣстница, испаночка, герцогинечка с кастаньетами... Неужто и на лѣстницѣ с кастаньетами?» Но темная узенькая улица ничего такого в его воображеніи не вызвала. «Да, теперь не до испаночек и не до герцогинечек!» — угрюмо пробормотал он.

Он надѣл пижаму и лег в постель, оказавшуюся довольно жесткой. Накрылся одеялом, с наслажденіем вытянулся, с еще большим наслажденіем распустил мускулы. «Да, все-таки и без испаночек, есть и на старости лѣтъ блаженные минуты». Хотѣл было по привычкѣ почитать книгу, на Клаузевиц остался на комодѣ: забыл положить его на стул, придвинутый к кровати вмѣсто ночного столика. Вставать ему не хотѣлось: холодно. Он повернул выключатель, находившійся, к счастью, под рукой.

Проснулся он от сильного грохота. Константин Александрович вскочил: «Что такое?» С улицы доносились крики, внизу как будто бѣжало множество людей. Тамарин протянул руку к выключателю, не без труда нашел его, шаря рукой по стѣнѣ, повернул, — лампа не зажглась. Было совершенно темно, еще темнѣе, чѣм вечером. Крики на улицѣ усиливались. Вдруг раздался сильный взрыв. «Бомбардировка!». Сердце у него забилося. «Потерял привычку!»... Слегка трясущейся рукой он снова, нѣсколько раз, рѣзко повернул выключатель, точно от силы движенія лампочка могла зажечься — и сообразил, что ток должна была выключить станція. Константин Александрович пытался разыскать ногами туфли, не нашел, и босой, по каменному полу, осторожно стал пробираться к окну, вытянув вперед лѣвую руку, ориентирясь больше по току холодного воздуха. Споткнулся, чуть не упал, но добрался и отодвинул занавѣску. Почти не стало свѣтлѣе.

Крики неслись откуда-то слева. Очевидно, люди бѣжали и прятались. Страшный взрыв повторился, — как будто еще ближе — и, сливаясь с ним, послышались долгій, нестерпимо нараставший грохот, затѣм женскій крик, визг, плач. Тамарин понял, что гдѣ-то, совѣм близко, рухнул дом. «Быть может, сейчас смерть!...» Он перекрестился, взглянул на потолок и уже спокойно стал соображать, что именно произойдет. «Задавить — не задавит: верхній этаж»... Раздался третій взрыв, за ним четвертый, пятый. Удары слѣдовали один за другим, но удалялись с непостижимой быстротой, — трудно было даже понять, как люди передвигаются столь быстро. «Вѣдь развѣ только минута прошла, а он, может быть, уже у Гетафе... Пронесло... Да, пронесло!»...

Крики на улицѣ ослабѣли и измѣнились. Послышались веселые голоса, точно спасшіеся поздравляли друг друга. Еще раздался глухой удар, но уж совѣм далеко. Вдруг в комнатѣ зажглась лампочка, на улицѣ что-то слабо засвѣтилось очень блѣдным синеватым свѣтом. Пронесся радостный гул: «а-а-а!». Улица стала заполняться людьми. Куда-то быстро проѣхал большой автомобиль неприятнаго вида. Тамарину хотѣлось узнать, куда упали снаряды, близко ли отсюда разрушен дом, но спросить было не у кого. «Все-таки у них порядок: и скорая помощь дѣйствует, и ток выключили как слѣдует».

С улицы его окликнули знакомые голоса: это были его спутники. «Вот как! И вы здѣсь?!» — радостно сказал Тамарин и зачѣм-то попросил их подняться. Пока они поднимались, он надѣвал только что повѣшенный в шкаф халат и думал, что принимать их в халатѣ неудобно. Испанец был теперь в сандалях на босу ногу и даже оружія имѣл с собой меньше. Шоффер был так же по формѣ одѣт и так же подтянут, как днем. «Ну, что? В чем же было дѣло?» — спросил Константин Александрович. Тѣлохранитель взволнованно рассказал, что на разстояніи трехсот метров отсюда упал тяжелый снаряд; рухнул большой дом, убито человек двадцать женщин и дѣтей, раненых еще гораздо больше. — «Пятая

колонна сигнализирует», — с таинственным видом сообщил он и объяснил незнакомое командарму выражение: летчикам подают знаки оставшіеся в Мадридѣ тайные фашисты. — «Одного из них только что нашли: у него горѣл фонарь». — «И что же?» — «Выбросили из окна», — отвѣтил весело нѣмец, — «это здѣсь такое правило, когда не меньше шести этажей». — «Мы уже исполнили ваш приказ», — поспѣшил перевести разговор тѣлохранитель, — «достали бензин, сѣздили в штаб, сдѣлали заявку и получили пропуск куда угодно». — Он подал Тамарину билетик. — «Это отлично, что так скоро. Значит, завтра в семь», — сказал командарм, не удивлявшійся больше испанским порядкам. — «Сегодня ночью ожидается большое сраженіе», — понизив голос, сказал тѣлохранитель, — «мнѣ только что сообщили. Мы атакуем клинику в Университетском городкѣ. Она в руках фашистов. Это величайшій секрет». — «Я никому не расскажу. Вѣдь Университетскій городок близко?» — «Совѣм близко. Туда идут с Пуэрта дель Соль трамваи 22 и 12». Тамарин только вздохнул: клиника, большое сраженіе, трамвай идет на поле сраженія! «Для штурма клиники мои стратегическія познанія не нужны»... Тѣлохранитель посмотрѣл на него сочувственно-тревожно. — «Надѣюсь, вы не заболѣли?» — сказал он, — «здѣсь очень легко простудиться. В Мадридѣ есть такая поговорка: надо тепло одѣваться до 41-го мая». Константин Александрович слабо улыбнулся и отпустил их. Он в самом дѣлѣ чувствовал себя все хуже.

Тамарин взглянул на часы и ахнул: еще не было двѣнадцати часов. Впереди была долгая ночь, — конечно, бессонная: сон сорван. «Развѣ принять снотворное?» Константин Александрович всегда возил с собой аптечку. В лучшія времена это был изящный ящичек с перегородками, отдѣленіями, скляночками, теперь — старая коробочка от конфет. Измѣнились и лѣкарства: о фенацетинах и антипиринах времен его молодости уже не было слышно. «Гарденаль? Подожду немного: если не засну, приму»...

Он положил суконный халат поверх одѣяла и снова лег.

Подумал, что хорошо было бы положить на ноги еще что-либо. Лихорадочная дрожь была сама по себе почти приятна, — еслибы знать, что так можно лежать долго, очень долго, — вѣчность. Тамарин чувствовал теперь такую физическую и душевную усталость, точно ему было сто лѣт. «Не дай Господи всерьез заболѣть здѣсь! Ни души!» — подумал он с ужасом, замотав головой. «Хорошо, что нисколько не испугался. Страшен тут только звуковой эффект, особенно от ружнувшего дома. Артиллерія другое дѣло: опасности больше, но звуковое впечатлѣніе не такое». Еще приятно было, что он снова попал на войну, — но теперь это чувство в нем было гораздо слабѣе, чѣм нѣсколько часов тому назад. «Да, батареи, боксеры... Выбрасывают из окон, быть может и вправду выкалывают глаза... Тѣ во имя Христа, эти во имя свободы... И тѣ, и другіе, разумѣется, безстыдно лгут. Свобода! Развѣ она так живет в душах людей, вот как у батюшки, у его сверстников жила, напримѣр, «честь мундира»! Отцам нашим было ясно как день, что мундиру измѣнять нельзя, ни при каких условіях нельзя, что есть вещи с мундиром несомѣстимыя и потому невозможныя, что, когда надо умирать за мундир, то, значит, надо и нечего разсуждать. А что же у этих несомѣстимо с их мундиром свободы? У них процент дезертиров, измѣнников, предателей не в десять раз, а в десять тысяч раз больше, чѣм был у тѣх... Кромѣ того, развѣ они введут свободу, если побѣдят? Только что глаз не будут выкалывать, да и то неизвѣстно... Разумѣется, есть осмысленныя войны, но эта бессмысленная... И самое бессмысленное то, что здѣсь оказался я. Почему русскій человек, бывшій помѣщик Орловской губерніи, русскій генерал — уж не знаю, бывшій или не бывшій — оказался участником гражданской войны в Испаніи!... Правда, дѣд участвовал в венгерской кампаніи, а нам до Венгріи было тогда столько же дѣла, как теперь до Испаніи. Однако офицеры Николая I твердо вѣрили во все то, во что вѣрил сам Николай I. А я? Мнѣ что у Міаха, что у Франко по существу все равно, и для меня разницы между ними нѣт: всѣ они генералы из Музыкальной Драмы»...

Он подумал также, что еслиб его убили в эту первую же ночь, то никто, пожалуй, никогда не доискался бы, что с ним стало. «Какая уж там регистрація! Кто будет наводить справки о чужом человѣкѣ, без родных, без друзей? Ну, положим, эти молодые люди заявили бы. Все-таки, быть может, сообщили бы в Москву». Снизу из окон перваго этажа доносились еще голоса, теперь совершенно спокойные и веселые. Люди укладывались спать и шутливо переговаривались: сегодня спаслись, — кто завтра? «Да, глупо, глупо. Странно, что преобладает над всѣм глупость... Да еще скука»...

Вдруг гдѣ-то внизу послышалась музыка. Тамарин с изумленіем прислушался: «гитара?» Играли что-то очень знакомое. К инструменту присоединился голос, довольно пріятный тенорок, пѣвшій по русски. — «... Я возвращался на разсвѣтъ — Всегда был весел, водку пил», — пѣл тенорок. — «Что за чудеса!»... — «И на цыганском факультетѣ — Образова- образование получил»... Кто-то весело засмѣялся. «Да, вѣдь тут еще русскіе! А я думал, чекисты! Ясно, что офицеры», — подумал радостно Константин Александрович, хоть это собственно ни из чего не слѣдовало. — «... Летя на тройкѣ полупьяный — Я буду вспоминать о вас. — И по щекѣ моей румяной — Слеза скати- слеза скатится с пьяных глаз»... У Константина Александровича неожиданно тоже появилась на щекѣ слеза. «Очень милый голос. И совѣм так поет, как мы пѣли»... Ему внезапно вспомнилась другая ночь, давняя, очень давняя, праздник Александрійскаго полка, почти пятьдесят лѣтъ прошло. «... А кто там в траурной венгеркѣ — Чей взор исполнен дивных чар? — Я узнаю тебя бессмертный»... Тамарин увидѣл перед собой залу собранія, уставленный бутылками стол, поющую толпу офицеров, веселое лицо будущаго царя, размахивавшаго руками в такт пѣсни. «Еслибы тогда колдун предсказал, эдакій вѣщій Олег! Зачѣм это было? Кому все это было нужно?».

Пѣнье оборвалось. Послышалось крѣпкое русское ругательство, за ним смѣх, треск разбившагося стакана. «Вѣрно,

они знают мое имя? Уж не зайти ли?» — подумал Константин Александрович. «Нѣтъ, нельзя: миссія секретная. Конечно, они имя должны знать. Эдак-то года через три уже никто не будет знать на всей землѣ. На всей землѣ! «Я узнаю тебя безсмертный!» Не узнаю и не безсмертный, и ничего не понимаю: как это о т т у д а пришел с ю д а ? Точно мой разум и воля в этом и не участвовали! Да они и в самом дѣлѣ не участвовали. И так, конечно, у всѣх, кромѣ развѣ каких-либо необыкновенных людей: идешь в одну сторону, попадаешь в противоположную... Нѣтъ, разумѣется, нельзя к ним зайти. Развѣ в случаѣ крайности, если совсѣм расхвораюсь? Но я у ж е болен! Уж не схватил ли я в самом дѣлѣ тиф? Хотя нѣтъ: у тифа инку... инкубационный період»... Слово «инкубационный» мысленно выговорилось у него не сразу. «Что-то такое еще есть на инку? Инкубы... Инкунабулы... Взор!... Пить очень хочется... Тифа быть не может. Говорят, здѣсь какая-то мѣстная лихорадка, тотчас сваливает человѣка».

Тамарин встал, налил себѣ трясушимися руками вина и выпил залпом. «Может быть, все-таки засну? Крѣпкое вино... Почитать на ночь»... Он просмотрѣлъ книги на комодѣ. Был очередной томик Клаузевица, были самоучитель и словарь испанскаго языка, был путеводитель по Мадриду, был тот же парижскій том Пушкина. «Отлично сдѣлал, что захватил!» Снова лег, подождал нѣсколько минут, чтобы согрѣться, не согрѣлся и с усиленіем открыл книгу. Вѣрнѣе, она сама открылась на закладкѣ, и опять, но еще с гораздо большим волненіем, чѣм тогда в Парижѣ, Константин Александрович прочел: «Он сказал мнѣ: «будь покоен, — Скоро, скоро удостоен — Будешь царствія небес, — Скоро странствію земному — Твоему придет конец. — Уж готовит ангел смерти — Для тебя святой вѣнец».

III

Так, дрожа в лихорадкѣ, не смыкая глаз, с трудом переводя дыханье, он пролежал очень долго, быть может три,

быть может четыре часа. Нѣсколько раз зажигал лампочку, смотрѣлъ на часы, старательно всматривался в стрѣлки, старался разобрать который час, и все ошибался. Свѣтъ рѣзал его воспаленные глаза, и он тотчас тушил его. «Болен, совсѣм болен», — тоскливо думал он, соображая, что бы такое сдѣлать. — «Ближих людей нѣтъ больше нигдѣ в мірѣ, позади кладбище из людей, когда-то бывших близкими. А тут нѣтъ даже и просто знакомых, которые хотя бы приблизительно знали, кто я»... К концу этой долгой ночи мысли его стали путаться. Он понимал, что у него сильный жар. «Вѣрно, градусов 39, а то и 40?» Долго старался вспомнить какой это счет: по Цельсію или по Реомюру. Но вспомнить не мог и очень волновался, что не может. «И кто такой Цельсій, не помню... Реомюр — да... Я в дѣтствѣ страшно боялся слов «Антонов огонь»: какой Антон? какой огонь?... Это сюда ни малѣйшаго отношенія не имѣет. У меня лихорадка, или, может быть, тиф, но Антонов огонь тут совершенно ни при чем. Это тревожно... очень тревожно»... Потом с радостью вспомнил, что Реомюра звали Антуаном, — «значит, какая-то связь есть, значит, все-таки не совсѣм спятил!»

Запах ѣды, оставшейся в кастрюлѣ, был ему противен. Он с усиліем встал и выставил кастрюлю в пустой корридор. Откуда-то все еще доносилось трещанье пишушей машинки, — теперь как будто одной. «Вот как! Значит, тут можно стучать до поздней ночи!» — подумал Тамарин, привыкшій к французским порядкам, — «что, если и мнѣ сѣсть за работу? Принять лекарство и сѣсть за работу?». Он разыскал аптечку; из двух коробочек высыпались порошки. «Вот это, кажется, аспирин», — подумал он и проглотил одну за другой три пилюли, запив вином. «А что было в другой коробочкѣ?» Вспомнил, что это были пресованные порошки, рекомендованные аптекарем для возбужденія умственной дѣятельности и энергіи — как-то купил в Парижѣ, замѣтив за собой усталость. «Вдруг ошибся? Очень похожія пилюли. Только тѣ надо было принимать «по одной в день, не злоупотребляя», — говорил тот старичек на углу бульвара Сен-Мишель. Кажет-

ся, в самом дѣлѣ ошибся: эти пилюли горьковатыя...» Он стакан за стаканом допил остаток вина из бутылки. «Хорошее вино, но много крѣпче французскаго»...

Пишущая машинка стояла на комодѣ. Сбоку она показалась ему похожей в миниатюрѣ на броненосец. «У Франко есть броненосцы, это надо будет отмѣтить в докладѣ... Я писал в книгѣ, что пока еще нельзя предсказать результат борьбы морского флота с воздушным: нѣтъ данных... А мнѣ собственно все равно», — бормотал Константин Александрович, не имѣвшій вообще привычки говорить с собой вслух. Лента на машинѣ сильно истрепалась, кое-гдѣ разорвалась на полоски, но у него была запасная. Он стал ее вставлять. «Совершенно все равно», — бормотал он. «Что Франко, что Міаха... Если эти, здѣшніе, немного чише и привлекательнѣй, то развѣ потому, что они пачкают только свободу, которую одни лѣнвые не пачкали и не компрометировали — и чорт с ней! Пусть ее и компрометируют и пачкают! А тѣ, фашисты, свои гнусности прикрывают не свободой, а другим, и это гнуснѣе, потому, что тут истинное кощунство... Настоящій вѣрующій человек это иначе, как кощунством, и не может назвать!»...

Вставить кончик ленты под стерженек валика Тамирину удалось лишь с трудом, хотя он привык к этой операциіи и даже любил ее; несмотря на свою бережливость, он ленты в Москвѣ, и в Парижѣ мѣнялъ очень часто, — ему нравилась черная четкая печать. Пальцы у него испачкались от свѣжей краски. Воды в кувшинѣ почти не оставалось, он вылил остаток в миску, но только размазал краску на руках, и на полотнищѣ остались черныя пятна, — «просто неловко перед этой, Микаэлой... Нѣтъ, так нельзя писать! Уж не выйти ли на улицу, а?»

Константин Александрович очень обрадовался этой мысли и поспѣшно стал одѣваться. «Пропуск есть, могу ходить гдѣ хочу, смотрѣть что хочу. Дверь там внизу была на задвижкѣ, без ключа... Вдруг еще бои увижу! Да, вѣдь ночью бои!» — еще больше обрадовался он. Усталость с него сняло как ру-

кой. Но соображал он все хуже. «Согрѣлся от вина, отличное вино... Да, открытку опустить!» Открытка Надѣ попрежнему лежала в карманѣ шинели. Надѣв шинель, Тамарин на цыпочках вышел из комнаты. Пишущая машина все стучала. «Уж не галлюцинація ли это? Нѣтъ, никогда в жизни никаких галлюцинацій у меня не было. Во всяком случаѣ это была бы очень странная галлюцинація.»

Внизу, в холлѣ, на диванѣ полудремал вооруженный сторож. Как раз в ту минуту, когда Тамарин спускался по лѣстницѣ, у дверей дома остановился автомобиль. В холл вошел высокаго роста сѣдой человек в темном поношенном штатском пальто. «Кажется, это н а ш ! Чуть ли я не видѣл его в Москвѣ в какой-то комиссиі? Латыш», — подумал с очень неприятным чувством Константин Александрович. Сторож вскочил, на лицѣ его изобразился ужас. Вытянулся с испуганным видом и часовой у двери холла. Штатскій человек прошел в дверь, слѣлав вид, будто не замѣчает Тамарина.

Ночь была странная. Быть может, в послѣдніе годы жизни переселившагося в Испанію грека, самаго непонятнаго из великих художников, в тѣ годы, когда на него надвинулось умопомѣшательство, он по ночам здѣсь видѣл это фигурное пятнистое небо. Рѣзкій вѣтер гнал облака, красноватая, огромная луна показывалась лишь на мгновенье. Тамарин взглянул на небо, изумился и простоял с минуту неподвижно. Ему пришла было мысль, что он в бреду, что надо тотчас вернуться и лечь в постель. «Какой вздор!... Странно, все очень странно», — сказал он себѣ и, застегнув шинель, быстро пошел налѣво. «Испанисто, очень испанисто! Никогда такой ночи не видѣл». Было очень холодно, улицы были пусты, фонари встрѣчались рѣдко. У одного из них ему бросилась в глаза какая-то высокая тумба. Он не сразу догадался, что это почтовый ящик, но догадался. Константин Александрович опустил открытку — «разумѣется, почтовый ящик: не может быть ни малѣйших сомнѣній» — и почувствовал большое облегченіе. Его и в обычном состояніи не-

много беспокоили неотправленные письма. Теперь же он вздохнул так радостно, точно найти почтовый ящик в большом городе было необыкновенной удачей. «Значит, слѣд не затеряется!... Да, торжество зла, и я во всем участвую, дурак на службѣ у злодѣев. Впрочем другіе не лучше их, не умнѣ меня»...

Не очень далеко раздался пушечный выстрѣлъ, за ним другой, третій. Тамарин обрадовался чрезвычайно. «Вот, вот, туда и надо идти!» — сказал себѣ он и ускорил шаги. Все чаще попадались разрушенные дома. «Странно еще, что их так мало! Еслибы нѣмцы бабахнули по настоящему, то ничего бы от города не осталось». Слева показалась высокая колонна с шаром на верхушкѣ. «Памятник? Некому было ставить и не за что. Не велика бѣда, если и снесут. А потом вы снесите их памятники, и тоже будет отлично», — кому-то посоветовал он. Константин Александрович еще больше обрадовался, увидѣвъ слабо освѣщенную кофейню с полуотворенной дверью. Он вошел, что-то пробормотал и тыкнулъ пальцем в первую попавшуюся бутылку. Свѣтъ шел от жаровни, на которой жарилась рыба. Старик-кабатчик налил поѣтителю рюмку, не обратив ни малѣйшаго вниманія на его шинель. «Может, он так же не обратил бы вниманія, еслиб к нему зашел Гитлер в германском мундирѣ», — подумал Тамарин, — «это и есть мудрец!» Он проглотил одну рюмку, потребовал другую, расплатился. Снова загремѣли выстрѣлы, постышалось трещанье пулеметов. — «Университетскій городок?» — спросил с радостью Константин Александрович, вспомнив, приблизительно, как по испански называл это мѣсто тѣлохранитель. Старик равнодушно кивнул головой и передвинул блюдо на жаровнѣ. Тамарин только теперь почувствовал сильный неприятный запах рыбы и с отвращеніем больного человѣка выбѣжал из кабака.

И точно жизнь хотѣла удивить его в послѣдній раз, — луна вышла из под туч, освѣтив красноватым свѣтом гибнущій город. Константин Александрович ахнул. «Феерично, феерично!» — бормотал он, — «кажется, так хорошо говорить:

«феерично»? Если угодно, можно разобрать вывѣски. Не при лунѣ, так при фонарѣ... Здѣсь и фонарей как будто больше. "Peluqueria" — парикмахерская! — обрадовался он. — "Cofiteria", "Camiseria" — все понимаю! "Carpinteria" Что такое "Carpinteria"? "Assegurada da incendios" «застраховано от пожара». На каждом домѣ «застраховано от пожара»... Вот тебѣ и "asegurada" Россія тоже была "asegurada da incendios". И мы всѣ.

На углу часовой сдѣлал было нерѣшительно движеніе в направленіи к нему, но, разглядѣвъ форму, отдал честь и не остановил его. Тамарин вышел на большую площадь. Вездѣ были залитыя лунным свѣтом развалины. Справа горѣло большое зданіе. Константин Александрович засмѣялся. «Вот вѣдь и там, у Веласкеца, свѣт от огня кузницы. Кунштюк! Здѣсь жизнь устроила кунштюк!... Cine "Las Flores" Да оно застраховано! Оно застраховано!».

Впереди вниз шла узкая дорога, от которой кривыя тропинки поднимались по другую сторону в гору. Только теперь Тамарин замѣтил, что на невысокой горѣ стоят большія несимметричныя зданія. Он догадался, что это и есть Университетскій городок, и, быстро перейдя дорогу, стал подниматься по тропинкѣ. Над его головой разорвался снаряд. «Кажется, я попал к штурму?» — подумал он. К зданью бѣжали люди с винтовками наперевѣс. — «Эх, дурачье! Как идут! Вѣдь их сметут пулеметным огнем!..»

Впереди нападавших, челоуѣк в курткѣ, с необыкновенно четкими, как в кинематографѣ, движеніями, повидимому, в отличіе от других, знал толк в такой войнѣ. Пробѣжав шагов двадцать, он оглянулся, что-то закричал и припал к землѣ. Не всѣ сдѣлали то же самое. В ту же секунду затрещали пулеметы. Выждав с минуту, челоуѣк в курткѣ, изогнувшись, бросился зигзагом вперед, откинув далеко назад правую руку с гранатой. Нѣкоторые из бѣжавших за ним людей повалились. Тамарин ахнул и побѣжал за ними, на бѣгу выхватывая саблю. «Ребята!... Todos para uno!. Lenin dos-dos!» —

закричал он не своим голосом. Раздался сильный взрыв. Тамарин метнулся в сторону, выронил саблю, поднял обе руки и упал. Раскаты взрыва, затихая, слились с пулеметным огнем.

БАЛУ КОРОЛЯ

В день бала у обер-гофмаршала было ненамного больше работы, чем в обычные дни: вѣсковой механизм дворца дѣйствовал очень исправно. Обер-гофмаршал встал, как всегда, в одиннадцатом часу утра; проснувшись, полежал еще с четверть часа в своей нелѣпой, похожей на катафалк, огромной кровати с балдахином, думая о разных предметах, в большинствѣ очень пріятных: о предстоящем балѣ (к его собственному удивленію, придворные балы и теперь, на старости лѣтъ, еще доставляли ему удовольствіе), о вчерашнем разговорѣ с юной, милой принцессой, всего больше о новом и лучшем сокровищѣ своей коллекціи марок: два дня тому назад, нарушив смѣту, значительно выйдя из бюджета, он, послѣ мучительных колебаній, приобрѣлъ наконец, Британскую Гвіану 1856 года, «black on magenta, the famous error». Это было безуміе. Однако он чувствовал, что без Британской Гвіаны жизнь потеряет для него — не всю прелесть, но значительную часть прелести.

В четверть двѣнадцатаго он был готов. Обер-гофмаршал относился недоброжелательно к тѣм государственным людям, которые встают в пять часов утра или в пять утра ложатся. Многие министры, по их словам, работали восемнадцать часов в сутки. Обер-гофмаршал давно знал всѣх министров своей страны, знал очень многих иностранных, и, по его наблюденіям, ничего дурного с міром не произошло бы, еслиб они работали нѣсколько меньше, — «ну, хотя бы как Бисмарк, который вставал в двѣнадцать дня, позже меня». Он думал также, что работать восемнадцать часов в сутки невозможно: соврать гораздо легче.

В его вѣдомствѣ во всяком случаѣ восемнадцатичасовой рабочий день отнюдь не требовался. Послѣ утренняго завтрака обер-гофмаршал обошел свое хозяйство, убѣдился, что всѣ его распоряженія выполнены точно, и отправился верхом на прогулку в парк. Катался он не менѣе часа, и вид этого красиваго стараго человѣка на кровной лошади дѣйствовал успокоительно на всѣх, даже на очень нервных, прохожих, свидѣтельствуя о том, что в мѣрѣ ничего тревожнаго не происходит. Завтракалъ обер-гофмаршал с королевской семьей, затѣм поднялся к себѣ, отдохнул, поработал над какими-то докладами, написал страницу дневника. Марками он в этот день не занимался, но во время работы часто, всякій раз свѣтлѣя, вспоминалъ о Британской Гвіанѣ 1856 года, теперь, наконец, приобрѣтенной.

Обѣдал он у себя в квартирѣ, полагавшейся ему по должности в королевском дворцѣ. У него был свой повар. Кухню короля обер-гофмаршал считал посредственной и, когда можно было, старался обѣдать дома. В четверть восьмого, немного раньше обычнаго, он надѣлъ смокинг, хотя обѣдал один и хотя тотчас послѣ обѣда нужно было снова переодѣться. Во дворцѣ ходил о нем анекдот, будто он и больной, в постели, вечером надѣвает смокинг или фрак, чтобы принять лекарство. Обер-гофмаршал вышел в огромную гостиную, обставленную старинной мебелью, с большими портретами королей по стѣнам. Здѣсь все было историческое; около камина было даже совершено в 17-ом вѣкѣ какое-то историческое убійство. Он сѣлъ в историческое кресло, медленными глотками выпил рюмку хереса 1878 года, поданнаго ему на тяжелом серебряном подносѣ великаном-лакеем, перешел в историческую столовую и сѣлъ за историческій стол, освѣщенный восковыми свѣчами в исторических канделябрах.

В отличіе от стараго принца, обер-гофмаршал отнюдь не относился отрицательно ко всему современному. Но он прожил двадцать лѣтъ в этих покоях, почти не уступавших по великолѣпію парадным комнатам короля, и не считал ни нужным, ни возможным мѣнять что бы то ни было в укладѣ жиз-

ни, установленном его предшественниками: каждому мѣсту — свой стиль. Здѣсь ничего дѣйствительно и не мѣнялось. Обѣд тоже был такой, какой вѣками подавали при его предшественниках, с расписным меню на французском языкѣ, с множеством блюд, с четырьмя сортами вин определенной для каждого температуры.

Обер-гофмаршал не любил читать за столом, но пробѣжал заголовки вечерних газет: перед балом слѣдовало знать послѣднія новости. Он сразу потерял охоту к чтенію остального. Событія были все либо грандіозныя, либо общавшія грандіозное в самом близком будущем и вслѣдствіе своей непрекращающейся грандіозности весьма утомительныя. «Бог даст, на наш вѣк все-таки хватит», — неопредѣленно подумал обер-гофмаршал. — «Да, при нас ничего такого, слава Богу, не произошло», — сказал он себѣ в прошедшем времени. — «Ну, что-ж, надо сохранять что можно, все что можно, пока можно. Это превосходный девиз: «Je maintiendrai».

Грустныя мысли не помѣшали ему прекрасно пообѣдать. Ъсть без гостей было гораздо пріятнѣе; гости аппетиту вредили. Закончив обѣд, он вернулся в гостиную и там еще посидѣл за кофе, выпил немного налитаго в огромный стакан коньяку, лѣниво перебирая в памяти то нѣкоторыя подробности бала, то заголовки газет. Против его кресла висѣл на стѣнѣ портрет короля, прославившагося жестокостью триста лѣт тому назад. «Разумѣется, в любом номерѣ любого историческаго журнала можно найти матеріал, способный сравниться с нынѣшним. Все же, если сдѣлать одну поправку на количество звѣрств, а другую на то, что нынѣшніе господа свой строй считают передовым и просвѣщенным, а самих себя тѣм паче, — этот Свирѣпый вѣдь не считал, — то выводы окажутся никак не в их пользу. У нас Свирѣпые всегда были исключеніем, их рассматривали как фамильный скандал. Большинство королев походили на моего, и это доволно естественно: им о карьерѣ приходилось заботиться

гораздо меньше, чѣм нынѣшним господам, у них карьера создавалась рожденіем».

Обер-гофмаршал занес эту мысль в память, чтобы записать в мемуары. У него была своя система запоминанія. Записной книжки он не имѣл и самопишущим пером никогда в жизни не пользовался. Запоминал лишь одно или два слова. «Свирѣпый. Карьера»... Он вспомнил, что на балу будет знаменитый французскій писатель Луи-Этьенн Вермандуа, которому устроено было приглашеніе с довольно серьезным нарушеніем порядка: на придворный бал не полагалось звать людей, до того ко двору не представленных. Однако для обер-гофмаршала в дѣлѣ этикета не могло быть правил и прецедентов: он сам создавал правила и прецеденты. Обер-гофмаршал очень хотѣл познакомиться с Вермандуа, и думал, что так, должно быть, Фридриха или Екатерину тянуло к Вольтеру. «Жаль, что нельзя ему прочесть мемуары. Говорят, он анархист или коммунист, или что-то в этом родѣ. Позвать его на обѣд и прочесть нѣсколько глав? Пріятнѣе прочесть умному анархисту, чѣм глупым сановникам. Впрочем, ему было бы не интересно: он никого из нас не знает. Быть может, мемуары и вообще самообман: жизнь человѣка никому, кромѣ него самого, по настоящему быть интересна не может»... Эту мысль он тоже занес в память, для предисловія к мемуарам: «Самообман. Свирѣпый-карьера, самообман».

Он взглянул на историческіе часы и отправился одѣваться. Надѣл свой пышный мундир, выдѣлявшійся даже во дворцѣ обиліем золота. Без такого мундира и самая роль его была бы почти невыполнимой, как танец без музыки. Обергофмаршал нисколько не тяготился тѣм, что ему приходилось мѣнять костюм пять или шесть раз в сутки. Он даже любил это. Говорил друзьям, что в с е - т а к и предпочитает одѣваться как Соломон, а не как птицы небесныя.

Музыка заиграла марш. Двери зала распахнулись необыкновенно широко. Показались пажы. На нѣкотором разстояніи за ними шел обер-гофмаршал. На лицѣ его играла очень

легкая улыбка, вѣрнѣе, дробь улыбки, одна пятая часть полной: полная улыбка не отвѣчала бы обряду выхода, а совершенное ея отсутствіе — праздничному настроенію бала. Шел он очень торжественно и вмѣстѣ с тѣм почти естественно. «Это настоящее искусство», — подумал Вермандуа, стоявшій в одном из длинных рядов приглашенных. Обер-гофмаршал как будто и не смотрѣл по сторонам, точно не имѣл никакого отношенія к дѣлу. Между тѣм он незамѣтно управлял обрядом, который без него не мог бы совершаться, как оркестр, несмотря на множество репетицій, не мог бы играть без дирижера. Он видѣл, что пажи идут в ногу, что гости выстроены довольно ровно, что темп марша взят правильный. Король и королева появились именно в ту секунду, когда это было нужно. Гости низко склонились. Тут, конечно, не могло быть полного однообразія движеній, но поклон не нарушал красоты зрѣлища. Преодолевая застѣнчивость, ласково улыбаясь, привѣтливо наклоняя голову направо и налево, король пошел вперед. «Идет чуть быстрѣе, чѣм слѣдует», — подумал обер-гофмаршал, видѣвшій и то, что происходило позади него, в еще далекой зеркальной стѣнѣ, к которой они шли. Он чуть замедлил ход. Тотчас замедлили ход король и королева; разстояніе между ними и обер-гофмаршалом сократилось развѣ лишь на фут.

Марш кончился как раз в ту секунду, когда пажи оказались у зеркальной стѣны, почти столкнувшись со своим изображеніем в зеркалѣ. Король и королева повернулись. Музыка заиграла полонэз. Ближайшей к королю дамой оказалась та жена посла, с которой ему полагалось открыть бал. Они пошли назад, за ними королева и иностранный принц. Другія пары втягивались, точно всасывались, в полонэз не совѣм так гладко; но обер-гофмаршал понимал, что при шестидесяти парах, полонэз лучше идти не может. Все шло превосходно. Впрочем, по долгому опыту он знал, что выходы, маневры, парады всегда удаются очень хорошо. Ему же самому казалось, что балы, дававшіеся в этом дворцѣ лѣтъ сорок тому назад, были все-таки лучше. «Но тогда состав был другой.

Тогда дѣйствительно здѣсь бывало хорошее общество», — подумал он, переходя к двери большой бѣлой гостиной, гдѣ должно было происходить третье дѣйствіе пьесы: *cercle*. По пути знакомые, или люди, считавшіе себя его знакомыми (он и в лицо знал далеко не всѣх), пожмая ему руку, хвалили красоту зрѣлица, — как говорят комплименты хозяйкѣ дома: не говорить же королевѣ.

В бѣлой гостиной сами собой оказались, вслѣд за королем, королевой и принцами, гости, имѣвшіе право быть в *cercle*'ѣ. Обер-гофмаршал стоял слѣва от короля, отступив назад приблизительно на полфута, и на лицѣ его играло уже три пятых полной улыбки: *cercle* не требовал такой торжественной серьезности, как выход. Для вѣрности он, не представляя, как бы случайно, вскользь называл имена тѣх людей, которых король, по его предположеніям, мог не помнить. Впрочем, король помнил всѣх: он обладал превосходной, наслѣдственной и профессиональной, памятью на лица и имена. Обер-гофмаршал был вообще очень королем доволен. В свое время он — тоже для мемуаров — выписал из Ренана фразу: «Il faut pardonner aux rois leur médiocrité: ils ne se sont pas choisis». — «Чѣм посредственнѣе король, тѣм лучше государству и тѣм больше его любят», — этого своего примѣчанія к Ренану он, конечно, в мемуары не вставил и немного жалѣл об этом. — «Очень рад вас видѣть, господин посол», — сказал король подходившему в очереди совѣтскому полпреду Кангарову-Московскому, — «надѣюсь, вы себя хорошо чувствуете в нашей столицѣ». — «Очень хорошо, ваше величество. Меня в ней пріятно поражает... — начал было посол, но, по сократившейся на одну пятую улыбкѣ обер-гофмаршала, понял, что надо проходить дальше. — «Очень рада вас видѣть. Надѣюсь, вы хорошо себя чувствуете?» — довольно сухо спросила королева жену совѣтскаго посла, склонившуюся в разученном перед зеркалом реверансѣ. «Но красных пятен у нея больше на лицѣ нѣтъ: привыкла...» — подумал о королевѣ обер-гофмаршал и с особым удовольствіем вспомнил, что престарѣлый принц так-таки на бал не явился:

«чтобы не встрѣчаться чорт знает с кѣм!»... На лицѣ обергофмаршала внезапно появились всѣ пять пятах улыбки.

«Да, цѣлое искусство», — подумал Вермандуа. — «Конечно, искусство второстепенно, вродѣ балета. Но для его созданія тоже нужна была вѣковая культура. Танцовщиков учат годами, а у них ремесло, вѣроятно, в крови. Не репетировали же они выход?... Музыка хороша, это «Турецкій марш» Моцарта. Эмиль написал бы в своем романѣ: «Вѣна беззаботнаго моцартовскаго времени, Вѣна Бурга, менуэтов, маскарадов, шпаг, шелка и золота». Они здѣсь поддѣлываются под ту Вѣну. Забавно, что та Вѣна тоже под что-то поддѣлывалась: под Стамбул, под Багдад, под «кривыя сабли, гаремы, залитые солнцем висячіе сады», — отсюда и всѣ эти «турецкіе» марши. Они так же, как мы, не могут быть вполне естественными и неизмѣнно кому-то подражают, обычно подражали Версалю... Очень красивый марш»... Вермандуа вспомнил то, что сам говорил в салонѣ графини о «Реквиемѣ» Моцарта, и усмѣхнулся: «вот и суди о художникѣ по его твореніям! Творю «Реквием», но творю и «Турецкій марш». Заказали марш, он и написал. Так было всегда: искусство самаго независимаго, гордаго художника подчиняется требованіям рынка. Еслибы Расин написал безсмертную трагедію не в пяти, а в семнадцати дѣйствіях, то рынок не позволил бы поставить ее на сценѣ. Вагнер отлично подгонял свои оперы к часам, свободным вечером у его очаровательных соотечественников... Впрочем, тут не только заказ: Моцарт по четвергам вѣрил в идеи «Реквиема», а по пятницам — в идеи «Турецкаго марша». Это не мѣшает критикѣ требовать от нас, чтобы в наших романах были «четкіе, опредѣленные, выдержанные образы». И на того же Вагнера вѣковой вздор критиков дѣйствовал так сильно, что он наивно ввел для каждаго героя «лейт-мотив». На самом дѣлѣ, для одного меня, напримѣр, понадобилось бы сто семьдесят пять лейтмотивов, в зависимости от состоянія моего здоровія, от того, как идет моя работа, от того, очень ли поддѣйствовал мнѣ на нервы человек,

только что со мной поговоривший... Даже самая общія, самая приблизительная из наших опредѣлений — например, «порядочный человек», — почти не считаются ни с животной, ни с подсознательной основой, — с тѣм физиологическим и душевным благоустройством, которое дѣлает возможным порядочнаго человека. Но мы в эти подраздѣления вѣрим, любим их и ненавидим с наивностью Давида, науськивавшего в псалмах Господа Бога на своих личных врагов»...

Секретарь французскаго посольства называл ему наиболѣе важныя пары полонеза. В большинствѣ фамиліи были историческія, от школьных времен сохраняющіяся в памяти людей. Но были также имена, ни с какой исторіей не связанныя. — «Эта жена совѣтскаго посла, госпожа Кангарова-Московская», — сказал с иронической улыбкой секретарь, показывая на даму, шедшую в шестой парѣ, в третьей послѣ принцев крови. — «Эта? Кангаров-Московскій мой лучший друг», — неожиданно сказал Вермандуа, больше на зло секретарю, почему-то его раздражавшему, — «с кѣм она танцует? Чей это посол?» — Секретарь назвал весьма реакціонную державу и с той же улыбкой пояснил: — «Это одна из штучек обер-гофмаршала: он обожает устраивать такія пары». — «Должен сказать, что секретарша совѣтскаго посла была лучше, чѣм его супруга. Ея здѣсь нѣтъ?» — «Я не знаю, кого вы имѣете в виду», — поспѣшно отвѣтил секретарь и отошел: он рассчитывал попасть в бѣлую гостиную. За дверьми исчезли также граф и графиня де Белланкомбр. В большой залѣ у Вермандуа больше знакомых не оставалось. В бѣлую гостиную его не звали, и ему совѣстно было признать, что это немного его раздражает. «Старый дурак!»...

Музыка заиграла вальс. Направившись дальше наудачу, он оказался в длинной комнатѣ, вдоль стѣн которой сверкали серебром бѣлоснѣжные столы. У них уже собирались люди. Вермандуа выпил шампанскаго, — оно, к его удивленію, оказалось превосходным. Старинное серебро, фарфор были хороши на заглядѣнье. Он заглянул в слѣдующую гостиную, примыкавшую к ярко освѣщенному зимнему саду. Здѣсь было

не так жарко, и кресла в этой гостиной были гораздо удобнѣе, чѣм стулья танцевальнаго зала. «Можно отдохнуть». До выхода ему пришлось стоять довольно долго. В зимній сад и из зимняго сада проходили раззолоченные люди, молодыя дамы в изумительных платьях. «Что-ж отрицать, все это необыкновенно красиво... Почему-то они меня раздражают меньше, чѣм лакеи в чулках у того парижскаго банкира. Между тѣм разница велика только с точки зрѣнія Поля Бурже, Эмиля и им подобных. У тѣх грабителями были отцы, у этих прадѣды. Но это так... Право, во мнѣ пропал монархист, при том довольно дешевый. Но еще не поздно примкнуть к лагерю роялистов»...

Его воображеніе заработало довольно пріятно. «Можно было бы с'ѣздить к претенденту, вернуться и написать книгу: нѣчто вродѣ «Генія Христіанства» монархической идеи. Это была бы сенсация на весь мір. В правых организаціях стоял бы стон восторга: «Вермандуа наш!»... Все простят и перевознесут. Лѣвые наговорят колкостей и оставят меня в покоѣ. Это был бы способ «пріобщиться к великому коллективному дѣлу», — т. е. в сущности то самое, ради чего я готов был вступить в коммунистическую партію. Надо, надо поглупѣть и «пріобщиться к дѣлу освобожденія человѣчества». Освобожденіе кухарок можно подогнать и под монархическія и под коммунистическія убѣжденія, — это просто вопрос изобрѣтательности. Коммунизм, правда, нѣсколько новѣе, но «ново только то, что забыто», а у нас больше всего забыты монархи. «Исторію нельзя повернуть вспять», да? Это один из глупѣйших афоризмов всей политической литературы міра. Специалисты только и дѣлают, что поворачивают исторію кому куда угодно, и единственная философская заслуга Гитлера именно в этом и заключается: он первый вполнѣ наглядно показал, что исторію можно повернуть вспять на нѣсколько столѣтій, можно даже увѣрить полміра, что вспять значит вперед. Консерваторы и реакціонеры тѣм и ошибались, что называли себя консерваторами и реакціонерами. Надо было утверждать, что они то и есть самые передовые социалисты

и демократы. Да что же тут отрицать? Гитлера привел к власти народ, его грубость, тупоуміе, жестокость именно у народа им и взяты. Если мір теперь так хорош, то именно потому, что в самых многолюдных странах, в Россіи, в Германіи, впервые запахло народом, народом по настоящему. В исторію ворвался мясник, и в связи с этим теперь очень спѣшно по дешевой цѣнѣ изготавливаются мистика, метафизика, философія. Всѣ так называемыя элиты так же спѣшно скрылись. Что-ж, элита мысли никогда нигдѣ у власти не стояла, не стоит и не будет стоять, — да при ней-то и было бы всего хуже, так как к чорту пошло бы рѣшительно все. А из многочисленных дешевеньких элит, пожалуй, «элита воспитанія» наименѣе плоха... Этот балет всерьез обезпечил надолго міру нѣкоторый порядок и устойчивость», — думал Вермандуа. Он знал, что к претенденту не поѣдет и к роялистам не примкнет, но больше не приписывал душевной бользни то, что мѣнял взгляды по нѣсколько раз в день. — «Да, «великія политическія идеи» всѣ без исключенія так незначительны, так общедоступны, так элементарны, что и разницы между ними большой быть не может. Доводы в защиту и в опроверженіе каждой из них приблизительно равноцѣнны, а их творцы и вожди всѣ одинаково хотят ѣздить верхом на «ближних», одинаково хотят славы, радостей жизни и денег... Да, средство против тоски и разстроенной нервной системы можно себѣ сдѣлать из всего что угодно. Все может пригодиться, как домашній «якорь спасенія»... «Наша тысячелѣтняя традиція... Сорок королей... Устойчивость власти... Вся исторія Франціи... Благосостояніе англійскаго народа... Провѣтаніе скандинавских стран»... — перебирал он в памяти то, что говорилось в защиту королевскаго строя. «По крайней мѣрѣ это красиво, красиво той красотой, какой при другом строѣ быть не может. Мысль? Конечно, они угнетали мысль. Но при Людовикѣ XIV были Расин и Мольер, королевскій строй не помѣшал появленію Декарта и Паскаля, — их у Сталина и у Гитлера не видно. Да, вполне возможно, что, послѣ демократіи, большевизма, фашизма, расизма, че-

ловѣчество еще потянет к этой мистикѣ, и двадцатый вѣкъ будет назван вѣком паденія и возвращенія королей. Они всѣ уѣхали с обратным билетом»...

Подкрѣпившись шампанским и этими временными мыслями (он их называл то вагонными, то мыслями на сон грядущий), Вермандуа вернулся в большой зал. Там уже играли пятый или шестой вальс. Жена совѣтскаго посла опять танцевала с посланником реакціонной державы. Посланник, лысый коренастый человек с грозно-апоплектической шеей, любил танцы такой страстной любовью, какая могла бы быть естественной только у юноши или у старика, а в человекѣ средних лѣтъ была патологической. Сидѣвшій в углу зала лейб-медик, в воображеніи, с профессиональным любопытством, раздѣвавшій гостей, подумал даже, что этому гостю слѣдовало бы тотчас уѣхать в Ройа или в Наугейм и принимать іодистый калий. Посланник разсыпался в любезностях. Он надѣялся найти в разговорах жены полпреда матеріал для частнаго письма своему министру, который был с ним в дружбѣ и обожал международныя сплетни. Но, быть может, вопреки правилу, Елена Васильевна и поумнѣла от счастья: никакого матеріала посланник не нашел; за исключеніем французскаго языка — у него получше, у нея похуже, — ея отвѣты были вполне на уровнѣ его любезностей. «Право, очень мила», — думал посланник, почти механически произнося мадригал: он принадлежал к той школѣ, которая еще говорила мадригалы и чуть ли не сочиняла эпиграммы.

— Вы танцуете как божественная Павлова, — сказал посланник и спохватился: «Кажется, Павлова была эмигрантка?» — Всѣ славяне имѣют врожденный талант к танцам. Русскій балет лучшій в мірѣ.

— Вы слишком любезны. Я дѣйствительно обожаю наш балет. В институтѣ мы им бредили!

— В этой залѣ, — начал было посланник. «В каком же это институтѣ она училась? В каком-нибудь тюремном, что-ли?» — спросил он себя, отвѣчая легкой улыбкой заговорщика на веселую улыбку обер-гофмаршала, который вел Вер-

мандуа в бѣлую гостиную. — Вы знаете кто это? Это знаменитый французскій писатель Вермандуа, автор... Я забыл, что он написал!...

— А я никогда и не знала! — столь же весело отвѣтила Елена Васильевна. Она была счастлива почти до потери сознания. На этом королевском балу на ея долю выпал необычайный успѣх. Третій вальс она танцевала с молодым принцем, теперь лысый посланник был для нея рядовым, скорѣе мелким кавалером. Из любопытства ли, или из снобизма, или из желанія обнаружить широту взглядов — политическія отношенія одно, свѣтскія отношенія другое, — с ней были особенно любезны самые консервативные и высокопоставленные люди. Еще никогда Елена Васильевна не была в таком побѣдном настроеніи. Она сводила с ума молодых принцев, — «она х-ха - х-ха - ттала»...

Обряд представленія продолжался очень недолго. — «Разрѣшите представить вашему величеству мосье Луи-Этьенна Вермандуа», — сказал обер-гофмаршал и поспѣшил добавить: «знаменитаго автора романов, которые так нравятся вам, государь». Ему было извѣстно, что обычно, перед представленіем выдающихся иностранцев, король заглядывает в справочныя книги и очень этого стѣсняется. «Вдруг не успѣл? Не подумал бы, что это швейцарскій миссіонер или оперный композитор?» Однако, предосторожность была излишней: король произнес нѣсколько вполне приличных слов. — «Я надѣюсь, что вы долго здѣсь пробудете», — сказала королева. «Не находка, конечно, но ничего возразить нельзя», — подумал обер-гофмаршал. Он поспѣшил закончить представленіе и увел Вермандуа.

— Король дѣйствительно ваш поклонник, — сказал он, садясь в кресло за столиком в другой гостиной. — Но его величество не рѣшается говорить о литературѣ.

— Я был чрезвычайно польщен.

— Войдите в его положеніе, — сказал обер-гофмаршал и засмѣялся. — В молодости я был секретарем посольства

в Вѣнѣ. Покойный Франц-Иосиф в сeрcле-ѣ без малаго семьдесят лѣтъ задавал всѣм один и тот же вопрос: «Давно ли вы охотились, граф?» «Как охота, господин посол?». Даже в тѣх случаях, когда граф или посол отроду не брали ружья в руки. Если же посол представлял императора или какого-нибудь очень хорошаго короля, старик еще спрашивал о здоровьи его величества. Но ничего другого император никому не говорил. Я помню какой переполох произошел в Бургѣ, когда он вдруг кому-то сказал что-то другое. Это было настоящее смятеніе.

Он, смѣясь, взял с поданнаго лакеем подноса бокал, отпил шампанскаго и подумал, что совершает нѣчто вродѣ классоваго предательства, говоря так о монархѣ с этим чело-вѣком без рода и племени.

— Да, нравы измѣнились, — сказал Вермандуа, прислушиваясь к звукам новаго вальса. — Лорд Байрон, сокрушавшій всѣ основы соціального порядка, признал появившійся тогда вальс совершенно непристойным и недопустимым танцем.

— Неужели? Я этого не знал. — Обер-гофмаршал подумал, что это сообщеніе могло бы очень пригодиться для мемуаров. Он заговорил о Парижѣ, в котором часто бывал, о разных знаменитых людях, которых знал лично. Среди них были и писатели, но упоминаніе о них, повидимому, не вызвало восторга у французскаго гостя. «Кажется, литературныя знаменитости еще меньше любят друг друга, чѣм знаменитости политическія», — подумал обер-гофмаршал и перевел разговор на политическія темы. Они поговорили о преніях во французском парламентѣ, оба собесѣдника рассказали по анекдоту, коснулись осторожно Сталина и послѣ еще нѣскольких чуть шатавшихся фраз перешли на испанскую войну. Хотя оба показали себя *causeur*'ами, им уже было трудно-вато, как совершенно чужим друг другу людям, вынужденным поддерживать разговор. Обер-гофмаршал, проявляя либерализм и безпристрастіе, говорил, что обѣ стороны своей жестокостью поколебали его мнѣніе о рыцарствѣ испанскаго народа.

— Впрочем, их величайший писатель, Лопе де Вега, председательствовал на церемоніях ауто-да-фе, — сказал обер-гофмаршал. — Быть может, жестокость в крови южных народов. Возможно, впрочем, и то, что газеты преувеличивают.

— Может быть, газеты и не преувеличивают. Исторія учит тому, что надо относиться в высшей степени довѣрчиво ко всѣм рассказам о жестокостях и звѣрствах. Напротив, рыцарство и доброта должны были бы поражать наше воображеніе, — сказал Вермандуа, взявшій почти по случайности начальную мизантропическую ноту; теперь с нея нужно было продолжать, хотя во дворцѣ, в первом разговорѣ с еле знакомым сановником, это было не очень умѣстно. Обер-гофмаршал изобразил на лицѣ подобающую скорбь. В его умѣ скользнуло нѣсколько подобающих отвѣтов: «Исторія учит тому, что она ничему не учит» («слишком книжно, неудобно для дальнѣйшаго»), «я знаю, вы сторонник Шопенгауера» («я вовсе этого не знаю: может быть, он не сторонник Шопенгауера»), «дѣйствительно, событія наших дней дают нѣкоторыя основанія для пессимизма, но незачѣм сгущать краски». Язык его как-то сам сдѣлал выбор по законам, едва ли укладываемымся в ученіе о причинности:

— Дѣйствительно событія дают основанія для пессимизма, но, быть может, не слѣдует сгущать краски. Мы воспитались на традиціях рыцарской войны.

— Надѣюсь, вы не требуете, чтобы испанскіе республиканцы кричали воинам генерала Франко: «Messieurs les fascistes, tirez les premiers»?

— Не требую, но хотѣл бы возвращенія к эпохѣ битвы при Фонтенуа. — отвѣтил обер-гофмаршал, смѣясь и уточняя цитату («цитата общеизвѣстная, но он, вѣроятно, не приписывает обер-гофмаршалам и минимальнаго общеобразовательнаго ценза»).

— Вы желаете невозможнаго: возвращенія к тому, чего не было. Граф д'Отрош никогда не кричал лорду Чарльзу Хэю: «господа англичане, стрѣляйте первые!». И лорд Чарльз Хэй никогда не кричал графу д'Отрошу: «господа французы,

стрѣляйте первые!». Но, повидимому, инстинкт и камертон вранья были у них совершенно тождественны, так как они, не сговариваясь, избрѣли одну и ту же фразу... Битва под Фонтенуа была одной из самых звѣрских боен в исторіи. Ни о чем в мірѣ, даже о большевиках, не врут так, как о войнѣ и о солдатской доблести. И тот талантливѣйшій нѣмецко-еврейскій поэт, который трогательно изобразил, как из плѣна возвращаются во Францію два гренадера, конечно, ни одного гренадера в жизни не видѣл и чрезвычайно мало гренадерами интересовался. Этот поэт и его наивные единомышленники вѣрили, что войны устраиваются тиранами. Да, войны устраиваются тиранами, за исключеніем тѣх войн, которые устраиваются не тиранами. Люди 18-го и 19-го вѣков были наивно убѣждены, что народныя массы миролюбивы. К сожалѣнію, это не так. Не то бѣда, что рядовой крестьянин, рабочій или лавочник — дурак. Бѣда в том, что он драчливый дурак.

— Однако, все познается по сравненію, — отвѣтил, скорбно качая головой, обер-гофмаршал («Я с вами согласен, но, ради Бога, тише! Во дворцѣ столько демократов!») — слишком шутливо... — «все познается по сравненію»). — Я не думаю, чтобы все было чудесно в Афинах Перикла, но это были Афины Перикла («отлично»). Французскій народ устами своих великих мыслителей провозгласил иные идеалы («хуже»)...

— Нѣтъ, народ не провозглашал. Мыслители провозгласили сами по себѣ. Иные идеалы. У фашистов и у коммунистов идеалы хуже наших («и у коммунистов хуже? Кто же он такой?» — с недоумѣніем спросил себя обер-гофмаршал), но у них идеалы прагматическіе: у первых они подогнаны к войнѣ, у вторых к революціи. Наши ни к чему не подогнаны. Пока не было ни коммунистов, ни фашистов, исторія нѣсколько десятилѣтій кое-как куда-то плелась как старая кляча — и слава Богу! Теперь кляча вдруг заскакала, и я с ужасом жду результатов. Вѣроятно, наш еще относительно молодой двадцатый вѣкъ окажется гнуснѣйшим вѣком в исторіи: этот юноша уже оправдал самую блестящія надежды. У него толь-

ко одна хорошая черта: откровенность и полная наглядность. Так, величайший из его живописцев, изобразив бутылку вина, еще написал на ней огромными буквами: «вино». Чтобы не было никаких сомнѣній.

Он неожиданно испытал то же чувство, которое только что испытывал обер-гофмаршал: сознание допущеннаго предательства. Но это ощущение неловкости тотчас было подавлено многолѣтней привычкой: его приглашали для того, чтобы его слушать — и он не мог не говорить, как не может не пѣть на вечерѣ оплаченный хозяином тенор. Говорить же просто, без цитат и афоризмов, ему было труднѣе, чѣм говорить с цитатами и афоризмами. «Да, дешево. Это и есть тяжкое испытание свѣтским общеніем, шуточками, болтовней, котораго без ущерба никто выдержать не может»...

— По поводу юноши, — сказал обер-гофмаршал. — Я как раз сегодня прочел в «Фигаро» о казни того молодого человѣка, который был вашим секретарем и совершил это ужасное убійство. Я слѣдил за этим странным дѣлом и не могу...

— Развѣ он казнен? — вскрикнул Вермандуа. Обер-гофмаршал, не привыкшій к тому, чтобы его перебивали, высоко поднял брови.

— Вы не знали? Я вижу, что вы не читаете газет. Кажется, Гете и Толстой тоже их не читали? — Он поднялся навстрѣчу иностранному принцу, вышедшему из бѣлой гостиной. — Я страшно был рад, что мог побесѣдовать с вами, — сказал обер-гофмаршал, впрочем улыбаясь уже больше в сторону принца.

«Да, всѣх этих господ со временем перевѣшают», — думал Вермандуа, с ненавистью глядя на проходивших мимо него раззолоченных людей. — «Пусть пока погуляют! Так, в старину индюшек сначала кормили орѣхами, чтобы стали жирнѣе, а потом их рѣзали и даже очень скоро. — Он не без удовольствія перешел из монархической вѣры в большевистскую. — «Да, это общество обречено на гибель. Того не-

счастливаго безумца казнили, а вот этот гуляет на свободѣ». Он уставился в толстаго человѣка, стоявшаго у буфетнаго стола, и тут же, по какому то смутному воспоминанію о своей поѣздкѣ в Версаль на процесс Альвера, рѣшил, что этот неизвѣстный ему человѣкъ — банкир, не пойманный вор. Почему то удобнѣе было его считать банкиром, чѣм герцогом или графом. «А может быть, он и титул себѣ купил... Однако, висѣлица в концѣ карьеры этого господина тоже была бы признаком существованія в мѣрѣ разумной управляющей силы, того, что в старину называлось мировым разумом, божественным разумом. Микель-Анджело пытался представить себѣ эту силу в видѣ летящаго бородатаго старичка, — и какой туповатый и злой старичек у него получился!... Но признать разумную правящую силу в мѣрѣ для меня именно и означает отказаться от разума, от того единственнаго, что в мѣрѣ цѣнно и для чего міру стоит существовать... Всѣ, всѣ они погибнут, и в большинствѣ не с оружіем в руках, а пассивно, бессмысленно, как погибает во время пожара закрытый в хлѣву скот.» Он увидѣл вдали Кангарова-Московского и, столь же неожиданно переходя из большевистской вѣры к революціонно-демократической, подумал, что не мѣшало бы повѣсить и совѣтскаго посла. «Он чекист или получекист. И во всей их революціи была развѣ одна доля идеализма на девяносто девять долей властолюбія, честолюбія, звѣрства. Революція была для них всѣх карьерой, очень недурной карьерой. Он говорил мнѣ, что, как Ленин, прожил долгіе годы в эмиграціи, то есть в полной безопасности, писал статьи. Гдѣ же еще, кромѣ революціоннаго міра, человѣкъ мог стать генералом тридцати лѣтъ отроду, и не имѣя ничего за душой?... Так что же? Так что же? «Святые» с их внутренним совершенствованіем? Как им, должно быть, было скучно: усовершенствовался... еще усовершенствовался... а потом, окончательно усовершенствовавшись, умер... Да, старость подкралась (именно подкралась!) так грубо, так безжалостно! И всю эту красоту я вижу в послѣдній раз в жизни»...

Он вспомнил, что антрепренер отказался устроить ему

поѣздку с лекціями. «Да («все это бессмысленное «да» — без возражений!»), расход превышает доход, до конца дней придется писать статьи и брать авансы у издателей. А если болѣзнь? Если потеря работоспособности?... Конечно, очень утѣшительно, что Бетховен и Рембрандт были бѣдняками. Идіоты (разумѣется, богатые идіоты) говорят, что это было полезно их творчеству: «денежная палка», «горькій жизненный опыт» и т. д. Надо было бы спросить об этом самих Рембрандта и Бетховена... Сезанн, мечтавшій о грандіозных сюжетных картинах, писал так, как писал, отчасти потому, что экономил деньги на краски и даже на полотно... Что-ж, я своей независимости не продавал, не давал даже своего имени для рекламы перьям и винам, это вѣдь теперь дѣлают всѣ. Я шел по ч е с т н о й дорогѣ искусства, не по нынѣшней большой его дорогѣ», — безсвязно думал Вермандуа с легким умиленіем над собой, вообще мало ему свойственным. «Да, это очень, очень красиво, я в жизни видѣл мало столь красивых зрѣлищ»... Перед ним вдруг появилась гильотина, худой блѣдный полоумный человѣкъ, окровавленная голова, — бессознательное писательское усиліе помогло этому видѣнію. «Ох, как прочно в нас засѣли Шекспир и кинематограф!... Да, начало конца», — говорил себѣ Вермандуа, глядя на подхлывшаго к нему совѣтскаго посла. «Что это с ним сегодня такое? Он похож на льва, на льва фирмы Голдвин-Майер»...

В двѣнадцатом часу ночи король снова появился в большом залѣ. Он был утомлен, но самое тяжелое, — выход, полонез и cercle, — уже оставалось позади. Чтобы не стѣснять гостей, король тотчас сѣл в кресло у стѣны и с усталой, благожелательной, вполне королевской улыбкой смотрѣл на танцующих. Теперь и он мог имѣть нѣкоторое, хоть очень небольшое, удовольствіе от своего бала.

Обер-гофмаршал, сидѣвшій слѣва чуть позади королевскаго кресла, как будто занимал короля бесѣдой. В дѣйствительности бесѣды почти не было. Обер-гофмаршал понимал, что король говорил в этот вечер достаточно, и что ему всего

приятнѣ отдохнуть и помолчать: разговор с многими десятками самых разных людей был утомительнѣ всѣх его занятій. Поэтому обер-гофмаршал лишь изрѣдка, чуть наклонившись вперед и направо, произносил нѣсколько не требовавших отвѣта слов. Но вид его, сіяющая улыбка, поза в каждый момент, кто бы ни посмотрѣл, создавали впечатлѣніе, будто между королем и обер-гофмаршалом ведется интереснѣйшая и пріятнѣйшая бесѣда, именно сейчас прервавшаяся на одно мгновенье.

Обер-гофмаршал был очень доволен. Он в этот вечер имѣл двѣ интересныя встрѣчи: одну с Вермандуа, другую с иностранным принцем, рассказавшим забавный анекдот (вполнѣ inédit) об Эдуардѣ VII, очень пригодный для мемуаров (мнемоническій приѣм: «Карлсбад»). С дополненіем о женѣ совѣтскаго посла, флиртующей с посланником реакціонной державы, мемуары могли считаться подвинувшимися страниц на пять или шесть. Было однако и что-то неприятное. «Тѣ сообщенія газет... Опасность всему этому», — вспомнил он и чуть было не поморщился (по настоящему поморщиться на придворном балу, на виду у тысячи людей, обер-гофмаршал не мог).

К креслу короля, вальсируя, приближалась пара: статный, огромнаго роста, капитан гвардейскаго полка, молоденькая барышня, дочь одного из друзей обер-гофмаршала. Ему было извѣстно, что они страстно влюблены друг в друга и скоро станут женихом и невѣстой. Принадлежали они к одному и тому же, богатому, титулованному кругу. «Очень хороши оба, на заказ не придумаешь лучше. Она просто прелестна», — подумал обер-гофмаршал, — «наша порода не так плоха»... Пара, кружась, прошла мимо короля. Барышня и не видѣла, что тут сидит король. Но офицер, как ни был поглощен безмолвным разговором с ней, это видѣл, и легкое, мало замѣтное измѣненіе в его движеніях, даже в выраженіи его лица, показывало, что перед этим креслом у стѣны он проходит не так, как перед другими. Король, тоже знавшій секрет, ласково улыбнулся барышнѣ. Она не замѣтила королевской улыбки.

Он повернулся к обер-гофмаршалу. — «Вам завидно, я знаю», — шутиливо сказал король. Обер-гофмаршал, провожавшій барышню взглядом, еще больше просіял улыбкой. — «Каждому возрасту свое, государь», — сказал он, не слишком утруждая себя в разговорах с королем заботой о тонкости замѣчаній.

В его поле зрѣнія попал совѣтскій посол, выдѣлявшійся своим фраком в этом множествѣ раззолоченных мундиров. Вид Кангарова-Московскаго опять было вызвал из подсознанія обер-гофмаршала грустныя мысли. «Пустяки, пустяки», возразил себѣ он бодро. Обер-гофмаршал обвел взглядом великолѣпный зал, сіявшій огнями, золотом, брилліантами, и снова увидѣл молодую пару. «Нѣтъ, наша порода еще за себя постоит. Мы не Вермандуа, мы покрѣпче. На наш вѣкъ хватит. Может быть и на три вѣка!» — И вдруг в воображеніи обер-гофмаршала, согрѣвая его душу, радостно озаряя жизнь, мира со злом, украшая добро, во всем своем блескѣ, во всей божественной красотѣ, всплыла Британская Гвіана 1856 года, «Black on Magenta, the famous error».

М. Алданов.

РУСАЛКА

Заключительная сцена к пушкинской «Русалкѣ»

Б Е Р Е Г .

К н я з ь

Печальныя, печальныя мечты
вчерашняя мнѣ встрѣча оживила.
Отец несчастный! Как ужасен он!
Авось опять его сегодня встрѣчу,
и согласится он оставить лѣс
и к нам переселиться...

(Русалочка выходит на берег)

Что я вижу!

Откуда ты, прекрасное дитя?

Р у с а л о ч к а

Из терема.

К н я з ь

Гдѣ ж терем твой? Отсюда
до теремов далече.

Р у с а л о ч к а

Он в рѣкѣ.

К н я з ь

Вот так мы в дѣтствѣ тщимся бытіе
сравнять мечтой с каким то міром тайным.
А звать тебя?

В. НАБОКОВ-СИРИН

Р у с а л о ч к а
Русалочкой зови.

К н я з ь

В причудливом ты видно мастерица,
но слушатель и слишком суевѣрный,
и чудеса ребенку впрок нейдут
вблизи развалин, ночью. Вот тебѣ
серебряная денежка. Ступай.

Р у с а л о ч к а

Я б дѣду отнесла, да мудрено
его поймать. Крылом мах-мах и скрылся.

К н я з ь

Кто — скрылся?

Р у с а л о ч к а
Ворон.

К н я з ь

Будет лепетать.

Да что ж ты смотришь на меня так кротко?
Скажи... Нѣтъ, я обманут тѣнью листьев,
игрой луны. Скажи мнѣ... Мать твоя
в лѣсу, должно быть, ягоду собирала
и к ночи заблудилась... иль попав
на топкій берег... Нѣтъ, не то. Скажи,
ты — дочка рыбака, меньшая дочь,
неправда-ли? Он ждет тебя, он кличет.
Поди к нему.

Р у с а л о ч к а
Вот я пришла, отец.

Князь

Чур, чур меня!

Русалочка

Так ты меня боишься?

Не вѣрю я. Мнѣ говорила мать,
что ты силен, привѣтлив и отважен,
что пересвищешь соловья в ночи,
что лань лѣсную пѣшій перегонишь.
В рѣкѣ-Днѣпрѣ она у нас царица;
«Но, говорит, в русалку обратясь,
я все люблю его, все улыбаюсь,
как в ночи прежнія, когда бѣжала,
платок забывши впопыхах, к нему
за мельницу.»

Князь

Да, этот голос милый
мнѣ памятен. И это все безумье —
и я погибну...

Русалочка

Ты погибнешь, если
не навѣстишь нас. Только человек
боится нежити и наважденья,
а ты не человек. Ты наш, с тѣх пор
как мать мою покинул и тоскуешь.
На темном днѣ отчизну ты узнаешь
гдѣ жизнь течет, души не утруждая.
Ты этого хотѣл. Дай руку. Видишь,
луна скользит, как чешуя, а там —

Князь

Ея глаза сквозь воду ясно свѣтят,
дрожащія ко мнѣ струятся руки!

Веди меня, мнѣ страшно, дочь моя...

(исчезает в Днѣпрѣ)

Р у с а л к и (поют)

Всплываем, играем
и пѣним волну.
На свадьбу рѣчную
зовем мы луну.
Все тише качаясь,
туманный жених
на дно опустился
и вовсе затих.
И вот осторожно,
до самого дна,
до лба голубого
доходит луна.
И тихо смѣется,
склоняясь к нему,
Царица-Русалка
в своем терему.

(Скрываются. Пушкин пожимает плечами)

В. Набоков-Сирин.

СТИХОТВОРЕНІЯ

СУТУЛЫЙ ПРИЗРАК

Мнѣ это рассказал Бездомный Джон,
Старик-бродяга, встрѣченный случайно,
Нескладный, черный, как нелѣпый сон,
Как эта мѣстность Южной Каролайны.

Куда-то мчалась быстрая рѣка
С индѣйским, древним, сказочным названьем;
И чуть дрожала дряхлая рука,
Привыкшая к нещедрым подазням.

Бездомный Джон сказал: Сюда, к рѣкѣ,
Раз в двадцать лѣтъ, а может быть, и рѣже,
Приходит он в потертом сюртукѣ,
Походкой неуклюжей и медвѣжьей.

Со всѣх сторон стекается народ,
Убогій, черный, бѣдный, подневольный,
Узнать, какую радость принесет
Сутулый призрак мистера Линкольна.

И в небесах становится свѣтлѣй,
Святой привратник открывает двери,
И весело гуляет меж полей
Вольнолюбивый вѣтер дальних прерій.

М. Желѣзнов.

НА ВЫСТАВКѢ ШАГАЛА

Он из еврейскаго мѣстечка
Принес козла-бородача,
Избушки кроткія, и рѣчку,
Домашній, крошечный очаг.

И вот в Нью Йоркѣ, иль в Парижѣ
Козленок в воздухѣ летит,
Тряся своей бородкой рыжей.
Красив его наивный вид.

Вот юноша с лиловой скрипкой
На солнечной листьѣ дерев
Сидит с блаженною улыбкой
И слушает невѣсты зов.

Как человѣчны у Шагала
И с красным гребнем пѣтушок
И кот премудрый, возмужалый,
Янтарный шурящій зрачок.

А снѣга голубая дрема
Окутывает все кругом,
Как счастья образ невѣсомый,
Как дѣтскій сон, забытый днем.

Повѣрь ему, имѣй терпѣнье
И в сказку пріоткрой засов.
Усни под бой, и хрип, и пѣнье,
Под маятник стѣнных часов.

Леонид Опалов.

ПРАЗДНИКИ

1.

Палка слѣпого ли, посох ли странника,
Жезл о скалу зазвенѣл и затих.
Ломки остатки миндального пряника
В чопорной скатерти складках крутых.

Так на мгновение сон прерывается
И на мгновение, так суждено,
Вижу, как в сморщенной рюмкѣ качается
Кровью окрашенное вино.

2.

Ветхія стѣны, шептанья несмѣлая,
Тонут слова в неживой бородѣ,
И отражаются пышныя, бѣлая
Люстры в цилиндра глубокой водѣ.

Праздники, синяя горечь весенняя,
Под потолком потерявшійся звук,
Звѣзды атласныя, стройное пѣніе...
Праздники, праздники, прикосновеніе
Добрых и благославляющих рук!

ГОРНЫЙ ВѢТЕР

Весь напитанный жаркой малиной,
В темном небѣ свирѣпо-багров.
Он разгладил широкія спины
Обветшалых крестьянских домов.

И на площади церковь озябла,
 От него постѣдѣло стекло,
 Он разнес опадающих яблок
 По землѣ золотое тепло.

Камень пористый, рыжий и черный,
 Неизмѣнный во всѣ времена,
 Он точил, обжигая, упорный.

Вся деревня в ладони горной
 Диким вѣтром была сожжена.

И Р У Н

Под мостом облака по канвѣ
 Желтосѣрой воды колыхались.
 Дѣти плакали. Мысли порвались
 В обезумѣвшей головѣ.
 Сам жандарм, надменно-усат
 И лѣнив, меня удостоил
 Мутным взглядом. Солнце простое
 В одноцвѣтный скрывалось закат,

И темнѣло запястіе гор,
 И земля уплывала куда-то
 И о том, что не будет возврата
 Утомленный хрипѣл мотор!...

Софія Прегель.

СНОВИДѢНІЕ

Сегодня ночью, при лунѣ,
 Желѣзный рыцарь снился мнѣ.

И ночь тянулась без конца,
 Но я не видѣла лица...

Желѣзный всадник гарцевал
И черных духов призывал.

Примчалась вѣдьма на метлѣ
И геній зла, навеселѣ;

За ним тринадцать чертенят
Влетѣли с криком воронят;

Под топот, визг и дикій вой
Из бани вылѣз домовой;

Покрытый сѣтью травяной
Из тины выплыл водяной.

Желѣзный рыцарь на конѣ
Кивнул смѣющейся лунѣ

И лунный лик передо мной
Вдруг превратился в шар земной..

И вижу я — земля горит,
По человѣчьи говорит:

«Мнѣ больно... Помогите мнѣ...»
Но мрачный рыцарь на конѣ

Усмѣшкой встрѣтил слабый стон.
Он сдѣлал знак и злой дракон

Подкрался, пламенем дыша,
Хвостом чешуйчатым шурша...

Надменно всадник крикнул в ночь:
«Сгорѣть — могу тебѣ помочь!»...

Я начиталась о войнѣ,
Желѣзный рыцарь снился мнѣ.

Кира Славина

П Р О Л О Г

На небѣ прозрачными руками
Сны со звѣздами перемѣшав,
Ночь идет, опутанная снами,
Слушать рост и тайный шорох трав.

Слушать вѣтер зыбкій и тревожный,
Зябкій плеск и бормотанье вод:
— Здѣсь не мѣшкай, путник осторожный..
И в отвѣт им полночь гдѣ-то бьет.

Тусклый мѣсяц изогнулся рогом,
Сумрак полон топота копыт.
Тѣнь за тѣнью по большим дорогам
Распластáвшись в воздухѣ летит.

Сумрак полон темных волхованій,
Долгих вздохов, окриков глухих,
Вздрагиваній, диких содраганій
И послѣдних судорог земных...

Тянет глѣнием из кажлаго оврага,
Пахнет адом каждый Божій сад.
И врага не знает, скользкой шпагой
В этот час заколотый солдат.

Лорелен косы распускают,
Голос бездны сладок и высок.
И над кладом медленно сіяют
Черный Рейн и золотой песок.

А над дальним Брокеном смятенье:
Пир горой, и в пламени гора,

За которой пляшут в изступленьи
В древних рощах гномы до утра.

И над всѣми — с мертвыми глазами
Стрый призрак, гибель на скалѣ...
... Сѣет ночь усталыми руками
Правды и неправды на землѣ...

Марія Толстая.

СИЛА И СЛАБОСТЬ РОССИИ

В России, отстаивающей самое свое существование против врага, равнаго которому по мощи не знает исторія, поражает сочетаніе силы и слабости. Россія сильна: она остановила армію, которой до сих пор никто не мог сопротивляться. Но Россія и слаба: Россія отбрасывает врага от подступов к Москвѣ и Кавказу, потерявъ огромныя, богатѣйшія пространства.

Парадокс одновременной силы и слабости отчасти покрывается на сравненіи дѣйствительности с различными ожиданіями: в русско-германской войнѣ, Россія оказалась гораздо сильнѣе, нежели опасались тѣ, которые судили о красной арміи по финской войнѣ, или нежели надѣялись другіе, полагавшіе, что против коммунистической власти народ повернет полученное им оружіе. Но Россія оказалась гораздо слабѣе, нежели чаяли тѣ, которые поддались обаянью стереотипных фраз о «непобѣдимой красной арміи».

Однако парадоксальное сочетанье силы и слабости есть и в самой дѣйствительности. В извѣстной мѣрѣ такое сочетанье существует вездѣ и всегда. Но особенно замѣтно бывает оно в обществах, прошедших через полосу тяжелых потрясеній, и потому так бросается в глаза в современной Россіи. В чем же русская сила и в чем русская слабость?

Русская сила, прежде всего, в ея колоссальном пространствѣ и в многочисленном населеніи. К началу войны, Германія, со включеніем Австріи и судетской земли, занимала территорию в 225 тыс. кв. миль с населеніем в 79 милліонов чело-вѣкъ. Пространство Россіи, послѣ расширенія ея предѣлов в 1939—40 г.г., составляло 8,820 тыс. кв. миль, а населеніе — 195 милліонов. Цифры о Германіи непосредственно взяты из данных переписи 1939 г., вскорѣ послѣ которой Германія вступила в войну, что исключает возможность сколько-нибудь замѣтнаго прироста к 1941 г. Цифры, касающіяся Россіи, основаны на переписи 1939 г., которая показала населеніе в 170 $\frac{1}{2}$ милліонов, на приблизительном подсчетѣ населенія присоединенных областей, в 17 $\frac{1}{2}$ милліонов, и на учетѣ при-

роста населенія за 2½ года, по расчету 1.6% в год: русскія женщины, как выразился Сталин, ежегодно дарят Россіи новую Финляндію, увеличивая населеніе Россіи на 3 миллиона в год.

Таким образом, по населенію Россія превосходила Германію в два с половиной раза, а по пространству в 38 раз. Правда, Германія воюет в союзѣ с Италіей, Румыніей, Венгріей, Словакіей и Финляндіей, с совокупным населеніем в 70 миллионов. Но и Россія — не одна в войнѣ, и потому сравненіе Россіи с Германіей сохраняет свою показательность. Оккупированныя Германіей в западной Европѣ страны увеличивают ея военно-промышленный потенціал, но зато требуют значительных сил для удержанія их в повиновеніи. Японія же пока с Россіей не воюет, а ея географическое положеніе относительно Россіи таково, что ея присоединеніе к врагам Россіи только прибавило бы, к основной войнѣ, войну колониальную, но не отразилось бы прямо на рѣшающем фронтѣ. Если на рѣшающем фронтѣ Россія выиграет, то пораженіе на колониальном фронтѣ окажется лишь временным; об этом, хотя бы ради собственной выгоды, позаботятся ея союзники.

Занятіе Германіей обширных пространств на русском западѣ, с населеніем в 60-70 миллионов, лишь частично мѣняет картину: военнопособное населеніе было мобилизовано и ушло на восток вмѣстѣ с арміей, также как значительная часть гражданскаго населенія в рабочем возрастѣ; декретом 17-го февраля 1942 г. это населеніе, видимо, прочно закрѣплено на новых мѣстах.

Пространство всегда служило одним из главных устоев русской обороноспособности. Его безпредѣльность создает в русском народѣ своеобразную психологію, весьма отличную от той, которая проявилась, напр., во Франціи, которой пришлось сражаться с сознанием опасности быть припертой спиной к океану или к пограничным горам. На сознаниі этого фактора всегда покоилась русская стратегія. Надо, однако, отдать себѣ отчет в том, что в настоящую войну роль русскаго простора нѣсколько понижена. Во-первых, техническія изобрѣтенія «сократили разстоянія» и как бы уменьшили пространства; прежде недостижимые центры оказались легко уязвимыми, хотя бы с воздуха; прежде непроходимые рубежи стали легко преодолимыми. Во-вторых, война в значительной мѣрѣ стала войной промышленности, и сдача территорій с высокой промышленной производительностью стала почти

столь же гибельной, как сдача армій. Между тѣм, несмотря на всѣ усилія власти по децентрализациі промышленности, все же ея основная мощь сосредоточена в западной и средней полосах Европейской Россіи. Этим объясняется тот факт, что красная армія не так быстро отступала, как ей совѣтовали иностранные воинные обозрѣватели, исходившіе из поверхностной аналогіи с 1812 г.: красная армія защищала самую возможность своего дальнѣйшаго существованія в видѣ современной арміи, и потеря Кривого Рога и новаго промышленнаго центра при днѣпровской плотинѣ, равно как ослабленіе промышленной работы в донецком бассейнѣ и в петербургском районѣ были для нея по меньшей мѣрѣ столь же тяжелыми ударами, как сдача полумилліона бойцов под Бѣлостоком и Минском. С другой стороны нѣчто сохранилось в русском пространствѣ, что и понынѣ облегчает оборону и затрудняет нападеніе: это суровый русскій климат, умѣлое использование котораго составляло и продолжает составлять гордость русской стратегіи.

Второй фактор русской силы, особенно существенный сравнительно с первой міровой войной — это далеко продвинувшаяся индустриализація. В ту войну Россія постоянно вспоминала о своих неисчерпаемых природных богатствах, но не могла ими пользоваться. В эту войну такая возможность открыта в гораздо большей мѣрѣ. В самом дѣлѣ, за 25 лѣтъ, с 1913 по 1938 г.г., добыча угля в Россіи увеличилась с 29 до 133 милліонов тонн, т. е. в $4\frac{1}{2}$ раза; производство чугуна — с 4 до 15 милліонов тонн, т. е. в $3\frac{3}{4}$ раза; добыча нефти — с 9 до 32 милліонов тонн, т. е. в 3.6 раз; по всѣм статьям вплоть до начала войны было и дальнѣйшее увеличеніе; так, в 1940 г. угля добыто 165 милл. тонн, а нефти 34 милліона.

Значеніе этого фактора, к сожалѣнію, уменьшается в зависимости от того, что главныя промышленныя области Россіи, как уже упомянуто, — под ударом врага или даже им заняты. Хуже всего обстоит дѣло с чугуном и его производными. Однако, восточная полоса Европейской Россіи, Кавказ и Азіатская Россія, ко времени начала войны, были в состояніи бурнаго промышленнаго развитія, и, если только Россіи будет дано время, могут в значительной мѣрѣ восполнить потери на западѣ. Важно то, что в Россіи есть огромный кадр промышленных рабочих, которые могут справиться с задачей.

Хорошо извѣстно, в каких мучительных условіях произошло повышеніе военно-промышленнаго потенциала Россіи.

Для оцѣнки этого повышенія в общем балансѣ сил важно, однако, имѣть в виду, что оно не было искусственно наложено на Россію по капризу революціонной власти — от подобных капризов Россіи много пришлось пострадать, — а было возстановленіем исторической тенденціи, начавшейся задолго до періода военных и революціонных потрясеній. Если от 1913 г. отсчитать 25 лѣтъ назад и установить рост основных, с военной точки зрѣнія, отраслей промышленности, то окажется, что добыча угля поднялась, тогда, с 5.3 до 29 милліонов тонн, или в $5\frac{1}{2}$ раз, производство чугуна — с 0.7 до 4 милліонов тонн или в 5.7 раз, добыча нефти с 3.2 до 9 милліонов, т. е. в 2.8 раз. Таким образом, темп прироста за 1913 — 38 гг. приблизительно совпал с темпом прироста за 1888—1913 г.г. Скептикам, которые скажут, что прирост за послѣднюю дореволюціонную четверть вѣка не показателен, так как он относится к ранним стадіям развитія, когда абсолютныя цифры малы, и высокія относительныя цифры легко получаются, слѣдует противопоставить слѣдующій факт: если от 1888 г. отступить еще на четверть вѣка назад, то окажется, что за тот період добыча чугуна всего только удвоилась. Період индустриализаціи начался для Россіи около 1890 г., и цифры опровергают распространенное, особенно среди иностранцев, представленіе о дореволюціонной Россіи, как о стоячем болотѣ.

Главное отличіе между двумя четвертями вѣка русской индустриализаціи в том, что за первую развитіе шло плавно, а за вторую — болѣзненными скачками. Это обстоятельство нѣсколько уменьшает вѣс фактора индустриализаціи, как положительной статьи в нашем балансѣ.

Другой весьма существенный фактор русской силы заключается в том, что, начиная с 1934 г., Россія стала возвращаться на путь исторической традиціи в области культуры и возстановила, хотя частично, основныя условія производительнаго труда. До того, в теченіе 17 лѣтъ, коммунистическая власть дѣлала все возможное, чтобы вытравить из сознанія русских людей самое представленіе о том, что они имѣют право гордиться своим отечеством; ломалась семья, как носительница традиціи; школы превращались в революціонные клубы молодежи; в хозяйственной сферѣ, если исключить передышку нэп-а, фактически проводилась политика уравниванія всѣх в нищетѣ.

Но в 1934 г. произошел перелом. На столбцах совѣтской печати появились такія забытыя слова, как отечество, патріо-

тизм, Россія. Русская классическая литература было провозглашена образцом для подражанія со стороны молодых совѣтских писателей; русское народное искусство было признано обязательным источником вдохновенія для совѣтскаго искусства; появились, кромѣ пропагандных, просто занимательные и историческіе фильмы; было объявлено желательным, чтобы граждане совѣтскаго государства вели, по возможности, красивую и зажиточную жизнь. Двѣ иллюстраціи наглядно покажут сущность переменъ. В 1936 г., по распоряженію вновь учрежденнаго всесоюзнаго комитета по дѣлам искусства, были сняты со стѣн Третьяковской галереи и спущены в подвал многочисленныя картины, написанныя за ранніе годы совѣтскаго режима, в духѣ кубо-футуризма и вообще модернизма, и подняты из подвалов и повѣшены на старыя мѣста картины передвижников, написанныя в концѣ прошлаго вѣка. А когда готовилось всесоюзное торжество по случаю столѣтней годовщины со дня смерти Пушкина, был выдвинут лозунг: «Россія — великая страна, потому что она дала міру Пушкина и Ленина».

В хозяйственной сферѣ, послѣ отмены карточек, русскіе люди получили возможность покупать, на заработанныя деньги, что им захочется — в предѣлах предложенія товаров на рынкѣ; одновременно им была дана возможность зарабатывать очень много, путем упорнаго труда и в особенности творчества; так напр. композитор Дунаевскій одно время зарабатывал по 1.500 рублей в день. В колхозах крестьянам было предоставлено право самостоятельно обрабатывать небольшіе участки земли и имѣть, в личном владѣніи, нѣкоторое количество скота.

Смягчилось преслѣдованіе религіи; крѣпкая семья была вдруг объявлена устоем совѣтскаго общества; в связи с этим был затруднен развод и запрещен аборт. Школа перестала быть революціонным клубом и вновь стала мѣстом, гдѣ с упорным напряженіем, передают культурную традицію от поколѣнія поколѣнію, и в состав этой традиціи, само собой разумѣется, вошли и подвиги русских національных героев, начиная с Владиміра Святого и Александра Невскаго и кончая генералами Отечественной войны и даже войны 1914 г., и великая русская литература, и великое русское искусство во всѣх его проявленіях.

И наконец, хотя ничего не уступила диктатура из своего полновластія, но фикція совѣтской демократіи была вынута

из архивов, основательно подновлена, со значительным приближением — на бумагах — к западным формулам, и как-бы брошена приманкой в народное море.

Извѣстно, что пропаганда, в особенности монополярная, свободная от всякой конкуренции, может достигнуть многого. Но все же, когда она направлена против естественных стремлений человека и против исторической линии развития, пределы ея успеха ограничены: так и не создала «нового, социалистического человека» упорная пропаганда первых семнадцати лѣт режима. Иное дѣло, когда пропаганда направляется в ту же сторону, как естественныя стремления и историческая традиция: тогда успехи могут быть колоссальны. Это и произошло в Россіи за послѣднія семь лѣт. Под влияніем уступок в пользу исторической традиции и сопровождавшей их пропаганды, Россія вновь нашла себя. У русскаго человека есть опять за что сражаться: и народная гордость, и, хотя бы очень ограниченное, но все же реальное экономическое благополучіе и, главное, надежда на лучшее будущее. Можно с увѣренностью утверждать, что в 1933 г. Россія не воевала бы так, как она воюет в 1941-2 гг.: тогда, в началѣ тридцатых годов, вѣсти, приходившія из Россіи, говорили о широко распространенном пораженчествѣ. Но начиная с 1934 г., время работало в пользу Россіи.

Еще один фактор силы надо имѣть в виду, особенно сравнительно с первой мировой войной: продолжая дѣло, начатое еще в предреволюціонной Россіи земствами и городами, и затѣм подхваченное Гос. Думой, Россія преодолѣла свою неграмотность. Подсчеты, сдѣланные на основаніи всѣх имѣющихся матеріалов, показывают, что в первую мировую войну Россія вошла, имѣя только 40% грамотных в населеніи старше 10 лѣт. В эту войну Россія, по данным переписи 1939 г., вошла с 81% грамотных; неграмотные сохранились только среди старших возрастных групп, и бойцы красной арміи сплошь грамотны. В результатѣ, нѣмцы признают, что в эту войну, в противоположность той, русскій боец индивидуально равен нѣмецкому. Значеніе этого признанья тѣм больше, что, как утверждают нѣмцы, в 1870-1 г.г. французов побѣдил нѣмецкій школьный учитель.

Послѣдній фактор силы — в заблаговременной подготовкѣ к войнѣ. В Кремлѣ война всегда считалась неизбежной — на почвѣ абстрактных разсужденій в духѣ марксизма. Другой вопрос, ясно ли там понимали, что, конкретно, война

с неизбежностью надвигалась на Россию в результате нелѣпой политики совѣтской власти за первые пятнадцать лѣт ея существованія, когда она, с одной стороны, раздувала «пожар мировой революціи», раздувала безсильно и бездарно, и тѣм сильнѣйшим образом способствовала зарожденію и возвышенію фашизма, а с другой стороны, подрывала силы, которыя могли изнутри остановить рост фашизма.

Угроза революціи на востокѣ и западѣ обернулась угрозой войны, на востокѣ и западѣ. Угроза появилась в момент японскаго вторженія в Манчжурію в 1931 г. Приход к власти Гитлера, под знаменем анти-коммунизма, сдѣлал угрозу полнѣ осязуемой. Начиная со времени германо-польскаго пакта (январь 1934 г.), совѣтская власть не сомнѣвалась в том, что война близка. Этим об'ясняются уступки, выше перечисленные: совѣтская власть искала хотя бы частичнаго примиренія с народом. Этим об'ясняется и вся ея внѣшняя политика за минувшій семь лѣт: и политика «народнаго фронта» в западных демократіях, и внезапное обращеніе совѣтской власти в женевскую вѣру, и германо-совѣтскій пакт, отдалившій для Россіи войну на полтора года, и политика стратегических аннексій вдоль западной границы. Другой, конечно, вопрос, во всѣх ли случаях зигзаги внѣшней политики дѣйствительно служили цѣли наилучшей подготовки к войнѣ.

Но, во всяком случаѣ, на почвѣ сознанія неминуемой войны, шла и чисто-военная подготовка. Теперь ясно, что чуть ли не половина стали, производившейся в неимовѣрных количествах и как-то исчезающей с баланса промышленности и народнаго потребленія, была употреблена на созданіе огромных военных запасов, которые хранились на недосыгаемом русском востокѣ: в этом отношеніи русское пространство сыграло свою роль. Наличие этих запасов, равно как умѣніе скрыть их, опредѣленно признается врагами Россіи, равно как и то, что этот фактор сыграл чуть ли не рѣшающую роль в просчетѣ нѣмецких стратегов.

Скажут, пожалуй, что все же этому фактору не слѣдует придавать слишком большаго значенія, так как и в Германіи шла подготовка к войнѣ, да еще какая! Значеніе его все же наглядно обнаруживается, если сравнить то, что в іюнѣ 1941 г. имѣлось в Россіи, с тѣм, что имѣлось во Франціи и Англии, когда онѣ, в 1939 г., рѣшились на войну с Германіей, или если сравнить Россію 1941 г. с Россіей 1914 г., по части военно-технической подготовки. Даже сравнительно с Германіей, в

1941 г. Россия имела одно существенное преимущество: в России воинская повинность существовала непрерывно со времени гражданской войны, так что Россия имела около 20 годовых классов обученного резерва, против четырех в Германии. Начиная с 1936 г., Германия, конечно, проводила часть старших возрастов через ускоренное воинское обучение. Но американский опыт еще раз подтвердил одну старую истину: послѣ 28-30 лѣт, человек сравнительно плохо поддается военному обученію, тогда как в тѣ же годы, и даже позже, он еще способен сохранить, и тѣм болѣе возстановить то, что было им раньше приобрѣтено. На этом основаніи можно утверждать, что резервные арміи, формируемые Ворошиловым и Буденным — не миф, тогда как Германия, для пополненія убыли, имѣет лишь молодых людей, достигающих призывнаго возраста.

Перейдем теперь к разсмотрѣнію факторов слабости. Первый из них — общая историческая отсталость России, сравнительно с врагом: нѣтъ сомнѣній в том, что и культурно, и технически, и в отношеніи социальной организованности Германия выше России. Изумительной германской организаціи продолжает противостоять русский беспорядок, присущій не столько русскому національному характеру — постоянный и неизмѣнный национальный характер есть, вообще говоря, миф — сколько вытекающій из особенностей русскаго историческаго развитія за два вѣка, протекшіе послѣ петровской реформы. Свѣдѣніями об этом беспорядкѣ продолжали быть полны совѣтскія изданія вплоть до начала войны. Как и в болѣе ранніе годы, сплошь и рядом шли навстрѣчу друг другу поѣзда с хлѣбом, или поѣзда с лѣсом. Совершенно безподобна исторія с «нефтяным озером» образовавшимся под Одессой в 1940 г., в разгар нефтянаго голода, из остатков нефти, выливавшейся из цистерн желѣзнодорожными служащими, во имя стопроцентнаго исполненія плана ея распределенія по линіи.

Второй фактор слабости, — это длительные эффекты революціонных разрушеній. Они проступают прежде всего, в хозяйственной сферѣ. За годы пятилѣток Россия нагнала потерянный было темп индустриализаціи дорогой цѣной — цѣной разрушенія сельскаго хозяйства. К началу войны, изумительная трудоспособность и выносливость русскаго крестьянина уже залѣчили, в основном, удары, нанесенные по полководству, и урожай даже превзошли уровень двадцатых годов;

в связи с допущением частного скотоводства, удалось восстановить положение по части коров, овец и свиней — их теперь столько же, или даже больше, нежели было до приступа к сплошной коллективизации. Но по части лошадей положение далеко не восстановлено: с 30 миллионов в 1928 г., число их упало до 16 миллионов в 1934 г., и поднялось лишь до 17 миллионов в 1939 г. Медленность восстановления объясняется многими причинами. Известную роль играют биологические условия, делающие коневодство трудным и медленно развивающимся делом. Решающее значение им все же не принадлежит, потому что, за семь лет нэп-а, с 1922 по 1929 г.г., крестьяне сумели поднять конское стадо с 20 до 34 миллионов голов. Причины лежат в социальных условиях, и они ясны. Советская власть не вернула лошадей в индивидуальное владение крестьян: через монополию тяговой силы она крепко держит их в кабаль. А раз это так, то коневодством продолжает заниматься колхозная бюрократия, из всех ветвей советской бюрократии пожалуй самая бездарная, невежественная и неповоротливая. Сыграло роль и примитивное «машинопочтение», сильно распространенное на советских верхах: работать машинами как-то импозантнее и прогрессивнее, нежели работать на лошадях.

Во всяком случае, лошадей имеется вдвое меньше, нежели технически нужно. Недостающие лошади замещаются тракторами, а эти машины требуют большого количества нефтяных продуктов: 30% добываемого в России бензина и 70% керосина уходят на нужды сельского хозяйства, замещая неразумно загубленных лошадей и тем фактически упраздняя народно-хозяйственные выгоды значительной части прироста добычи нефти. В результате Россия, вторая в мире страна по добыче нефти, испытывала серьезные затруднения с нефтью в 1940 г., когда пришлось дать Гитлеру небольшое ее количество (меньше одного миллиона тонн). Так как потребности армии грандиозны, в 1942 г., вероятно, наступят большие затруднения в сельском хозяйстве центральной и юго-восточной полосы, также переведенном на механическую тягу, как и Украина. Но по той же причине, Гитлер вряд ли соберет богатый урожай с занятой им полосы России: ничего не поделяют и переселяемые им туда фермеры из Дании и Голландии, так как живой тяговой силы они не найдут, а нефти Гитлер им не предоставит — если он только не прорвется, рано в 1942 году, на Кавказ. На одну Украину нефти нужно около

пяти миллион тонн в год, что равняется болѣе, нежели трехмѣсячному потребленію ея всей германской арміей. Перед нами — один из многочисленных случаев взаимной зависимости между факторами нынѣшней, поистинѣ тоталитарной войны, зависимости столь сильной, что рѣшенія, как будто свободно принимаемая воюющими сторонами, нерѣдко, при ближайшем разсмотрѣніи, оказываются продиктованными природой вещей.

Слѣдующее слабое мѣсто того же происхожденія — это желѣзныя дороги. По трудно уловимым причинам, у совѣтской власти онѣ были в полном загонѣ. За двѣ первыя пятилѣтки, в них вложено капиталов в шесть раз меньше, нежели в промышленность, тогда как практика дореволюціонной Россіи показывала необходимость равных вложеній, в зависимости от русских разстояній. В результатѣ, уже в мирное время желѣзныя дороги работали с интенсивностью, допустимой лишь на короткое время, в особенности на время войны. Никаких резервов пропускной и перевозочной способности не было. Мы не имѣем достаточных данных о том, что дѣлается в Россіи. Но можно с увѣренностью утверждать, что гражданскія перевозки сильно страдают, а от этого и снабженіе населенія, что опять таки не может не отражаться на его трудоспособности.

Едва ли не значительнѣе экономических разрушеній культурный урон, причиненный Россіи коммунистической властью. Русская интеллигенція — понимая под этим термином весь высшій культурный слой — трижды подверглась физическому истребленію: немедленно послѣ захвата власти коммунистами, затѣм в разгар пятилѣток, когда ей пришлось расплачиваться за неисполненіе неисполнимаго, и еще раз во время великой чистки 1936-8 г.г., когда Сталин уничтожил всѣх своих товарищей по партійной «старой гвардіи», и лучших из красных генералов.

Эта повторная гибель кадров культуры усугублялась тѣм, что, в теченіе 15 лѣт, в странѣ не было настоящаго образованія, кромѣ низшаго: элементарная грамотность увеличилась; но одновременно прекратилось восполненіе кадров подлинно образованных людей, которые, при современном развитіи культуры, незамѣнимы на командных постах. В средних школах не учили ничему, и потому университеты, техническіе и другіе институты не могли дать странѣ настоящих врачей, инженеров, агрономов и т. д.; не было и подлиннаго военнаго образованія. Эта ошибка было признана давно, еще в началѣ тридцатых

годов, и за послѣднее десятилѣтіе дѣлались огромныя усилія, чтобы ее исправить. Но именно в дѣлѣ культуры разрушеніе исключительно просто, а восстановленіе безконечно трудно. Сущность затрудненій в восстановленіи культуры заключалась в том, что культурная традиція оказалась вполнѣ прерванной, и учить других часто приходилось людям, которые сами нуждались в основательном ученіи. Когда, напр., совѣтская власть восстановила преподаваніе русской исторіи, то оказалось, что большинство совѣтских учителей преподавать ее не могут и подмѣняют исторію дешевой «соціологіей» в духѣ вульгарнаго марксизма. А когда началась полоса соревнованій на грамотность — на простую грамотность — между студентами педагогических техникумов, т. е. между будущими учителями, то выяснилось, что устроители соревнованій умудряются дѣлать по сотнѣ грамматических ошибок в коротком письмѣ. Понятно, как глубоко зашла, при таких условіях, техническая безграмотность: поворот в школьном дѣлѣ был в значительной мѣрѣ обусловлен тѣм, что совѣтскія предприятия наотрѣз отказывались ставить на производственную работу инженеров с совѣтскими дипломами, познав на печальном опытѣ, что такіе «инженеры» могут только вредить.

В существенном сниженіи культурнаго уровня высших и средних руководителей политической, экономической, культурной и военной жизни страны слѣдует видѣть самое темное из всѣх пятен, нами разсматриваемых. Извѣстный американскій экономист, проф. К. Хувер, поставил такой діагноз различія между Россіей и Германіей: обѣ страны — тоталитарныя диктатуры, но в Германіи поставленныя диктатурой заданія выполняются, а в Россіи усилія растрачиваются впустую. Это, по его мнѣнію, происходит потому, что Россія истребила свою интеллигенцію, а Германія, по крайней мѣрѣ на двѣ трети, ее сохранила. Германская диктатура относилась к культурѣ не с большим уваженіем, чѣм русская, но в противоположность русской интеллигенціи, в большинствѣ своем отказавшейся работать с захватившими власть большевиками, германская почти цѣликом сотрудничала с наци, что и спасло ее от разгрома.

Культурный урон оказался чрезвычайно чувствительным в военной сферѣ, гдѣ воспроизводство кадров, в мирной обстановкѣ, требует непрерывной традиціи. Теперь ясно, что основная ошибка союзников в Версалѣ состояла не в непра-

вильном распределении территорий, и не в неудачной организации Лиги Наций, а в том, что германская военная традиция не была полностью прервана, путем упразднения, на длительный срок, всякой германской армии.

То, чего победители 1918 г. не сделали с Германией, коммунисты сделали в России: они оборвали военную традицию. В результате, по свидетельству одного из опубликованных германских военных отчетов о кампании в России, за первые месяцы войны немцы встретили неучтенные резервы боевого снабжения и неожиданное упорство противника, который продолжал стоять стойко в условиях, которых ни одна армия не выдержала; но они не встретили, за те же месяцы, даже проблеска стратегической мысли. Особенно показательны были операции на южном фронте, где Буденный попался в серию разставленных ему ловушек и потерпел жестокое поражение. К счастью, по мере того, как война затягивается, этот фактор уменьшается в значении, поскольку выбор военных вождей, на место малограмотных, неумных и неудачливых, производится на основании талантливости, которая так быстро и безапелляционно проявляется в военной обстановке, — в противоположность мирной, — а не на основании особой преданности режиму и вождю. И есть указания на то, что, в условиях смертельной опасности, такой отбор происходит.

Наконец, в балансе есть еще одна отрицательная статья: доведенное до логического предела единовластие вождя. По этому поводу легко услышать возражение, сводящееся к тому, что в условиях войны демократии тоже вынуждены ограничивать политическую свободу и давать неограниченные полномочия премьеру или президенту; а, раз это так, то отсутствие свободы в России приходится пожалуй записать, в балансе сил, не в минус, а в плюс. Возражение это не убедительно: лишь в порядке метафоры можно говорить о диктатуре в Англии или в Соединенных Штатах; в обеих странах сохранилась возможность критики, как в печати, так и в представительных учреждениях; в обеих странах снабженному неограниченными полномочиями правителю приходится считаться с перспективой ответственности перед парламентом или перед избирателями. С точки зрения правильного, стратегически и дипломатически, ведения войны, существенно то, что в демократиях, несмотря на чрезвычайные полномочия, правитель живет и действует в условиях живого общения с большим числом знающих, способных и свободных людей; решение при-

нимается им, правителем, но на основаніи компетентнаго и свободнаго обсуждения возможностей в другу этих людей.

А вокруг Сталина, — пустота, гробовое молчаніе, прерываемое лишь подобострастными восторгами им воспитанных и пригрѣтых прислужников. Его мозг должен все охватить, все оцѣнить. Каков бы ни был мозг поставленнаго в такія условія правителя, многія возможности не представляются ему, равно как многія соображенія, существенныя при выборѣ между ними. Полное подавленіе свободы означает духовное обѣдненіе; а вѣдь в конечном счетѣ дух приводит в движеніе и машины, и человѣческія массы. И вот выбор между возможностями становится личным и случайным, и потому естественно падают шансы выбора наиболѣе правильнаго. На протяженіи послѣдних лѣтъ, совѣтская власть, движимая Сталиным, совершила много внѣшне-политических актов, цѣлесообразность которых была по меньшей степени спорной. Но о вопіющей ошибкѣ в оцѣнкѣ положенія свидѣлствует тот факт, что 22-го іюня 1941 г., несмотря на абстрактное предвидѣние войны в Кремлѣ, Россія все же была застигнута врасплох и понесла ряд серьезных поражений из за явно нецѣлесообразнаго распределенія военных сил вдоль границы. Сталин просчитался, понадѣявшись на то, что колоссальными уступками еще раз оттянет войну (что время работает в пользу Россіи, он понимал хорошо). Просчитались и другіе правители в других странах, просчитаться могли и другіе правители на мѣстѣ Сталина. Существенно то, что Сталин имѣл всѣ шансы просчитаться, потому что оцѣнивал обстановку в полном одиночествѣ, и в таком же одиночествѣ отбрасывал предупрежденія, приходившія из Англии.

В доведенном до предѣла единоличном характерѣ современной русской власти — большой минус для Россіи, к счастью умѣряемый тѣм, что в этом отношеніи нѣтъ почти никакой разницы между ней и Германіей.

Только что разсмотрѣнное отрицательное условіе, по своей природѣ, допускает измененіе к лучшему: в подпольѣ, ссылкѣ, эмиграціи есть же русскія культурныя силы. Но никакой надежды на соотвѣтствующую уступку нѣтъ: Сталин воюет прежде всего за себя, и лишь потом за Россію. Без власти над Россіей побѣда ему ненужна. Это он доказал, в момент интенсивной подготовки к правильно учтенной войнѣ истребив наиболѣе опытных вождей своей арміи: опасность своего свер-

женія он призналъ болѣе существенной, нежели опасность пораженія арміи, ведомой негодными вождями.

Таковы элементы силы и слабости. Когда пройдены статьи баланса, естественно подвести итог. Чтобы это сдѣлать, нужно предварительно привести статьи к одному знаменателю; но в отношеніи соціальных явленій это невозможно, и вряд ли когда либо и станет возможным: нѣтъ измѣрителя соціальным силам, подобнаго измѣрителям сил физических. И потому, вмѣсто подсчета, приходится ограничиться выраженіем надежды на то, что русская сила превозможет и русскую слабость, и силу врага (у котораго вѣдь тоже есть слабости), и что Россія отстоит себя от нашествія иноплеменников, как отстояла она себя в Отечественную войну, и в Смутное время, и ровно семьсот лѣтъ тому назад под водительством Александра Невскаго.

Н. С. Тимашев.

ПРАВДА АНТИ-БОЛЬШЕВИЗМА

«...У нас в ушах гремит ура!
И многие, забывшись слншком,
Ногами штатскими пылят,
Подобно уличным мальчишкам,
Близ марширующих солдат.»

Б л о к .

Всякой войнѣ свойственно вносить смятеніе — не только в ряды врагов, но и в собственные ряды, в политическое сознание воюющих. В русско-турецкую войну 1877-78 гг. из английской партіи тори выдѣлилась группа, настаивавшая на вступленіи Англии в войну против Россіи; эта группа была окрещена — Джинго, по имени легендарной японской царицы, символа воинственности, родительницы «бога войны», микадо № 15 Хашимена. С того времени д ж и н г о и з м о м стали называть нездоровую атмосферу, создаваемую во время войны «зоологическими націоналистами» умѣлой игрой на привязанности масс ко всему своему, потому что это «свое», и на отталкиваніи от всего чужого, потому что это «не наше».

Джингоизм свирѣпствовал в Англии во время войны с бурами. Джингоистскія настроенія культивировали обѣ борющія стороны в прошлую мировую войну. Джингоизмом была пресыщена вся гитлеровская пропаганда и в мирное время. Теперь такая же атмосфера — «Гром побѣды раздавайся», «веселися славный Росс» — создается и в русском зарубежѣ, даже в политической эмиграции. И как манія величія превращается иногда в манію преслѣдованія, так и преувеличенное самоутвержденіе легко превращается в крайнюю подозрительность по отношенію ко всѣм иначе думающим. Упрощающая логика уже не довольствуется традиціонным — «Кто не с нами, тот против нас!»; она идет дальше: «Кто не с нами, тот с нашими врагами!» ...Вы не за Сталина, «значит», Вы за Гитлера или с Гитлером.

Джингоистское настроеніе не удовлетворяется тѣм, что противники террористической диктатуры Совѣтов подчиняют свою политическую борьбу против совѣтской власти

общим интересам войны против фашистской агрессии; что они поддерживают оказание всемирной помощи советской России в борьбе с гитлеровцами и т. д. Требуется большее — воздержание от всякой критики советской власти, ибо такая критика, «безплодная, бесполезная и вредная», способна вызвать недоверие к власти. Но и этого недостаточно. В порядке логического развития умолчание у «безбоязненных патриотов» переходит в апологию нынешних действий этой власти, а там и в изыскание смягчающих обстоятельств для ее прошлой деятельности и даже — в речительство за направление советской политики и в будущем.

Если вы любите Россию и боретесь за нее, если Вы считаете себя подлинным русским патриотом, от Вас требуют не только воздержания от хулы на Сталина — не одобрять Черчиля и Рузвельта дозволяется, — но и восхваления светлых явлений советского строя, до дипломатического искусства Молотова и Сталина включительно. Джингоистская психология — и логика — требует, чтобы вы признали русский фронт единственно решающим для общих судеб войны; что «красная армия состоит из 10 миллионов сверх-человечков, проводящих 24 часа в сутки в умерщвлении немцев и разрушении танков», — как характеризует казенные репортажи советских репортеров американский корреспондент на русском фронте Эркин Колдуэл в только что выпущенной книге «All-out on the Road to Smolensk»; что русская армия героически сражается «именно русским оружием» — англичане и американцы и оружием помогают слабо; и т. д. При этом умалчивают не только о роли Англии в прошлом, в то судьбоносное и для России, лето 1940 г., когда Англия одна и единственная противостояла Гитлеру, — Франция капитулировала, Америка выжидала, СССР помогал Гитлеру. Опускается и роль Соединенных Штатов, как арсенала демократии, поставляющего России не одну только аммуницию, но, увы, и основные продукты питания: Вашингтон сообщил 20 февраля, что СССР требует кроме сахара, что естественно после потери свекло-сахарной промышленности на Украине, мясных консервов, жиров и даже — 2½ миллионов тонн пшеницы и муки!...

Джингоизм — явление не новое. И оригинальность нынешних джингоистских настроений лишь в том, что к ним приобщились и недавние противники советского патриотизма из демократического лагеря, отлично знающие цену смеловществу и не без сарказма сами расценивавшие «советский патриотизм».

О смятеніи политических умов в русском зарубежьи свидѣтельствует то, что ушедшим в изгнаніе, — в частности, и по патріотическим соображеніям, — либералам, демократам, социалистам приходится сейчас чуть ли не оправдываться в своем анти-большевизмѣ. Они вынуждены сейчас доказывать — бывлым циммервальдиам и открытым пораженцам — совмести-мость патріотизма с анти-большевизмом и, больше того: правомѣрность и необходимость критическаго отношенія к совѣтской власти именно в нынѣшнее, рѣшающее для Россіи и міра время; и, с другой стороны — что гитлеровскій анти-большевизм (производное от его анти-демократизма, так как для него врагом № 1 является «м а т ь большевизма» — демократія), компрометирует демократов-антибольшевиков не в большей мѣрѣ, чѣм социалистов компрометирует гитлеровскій «социализм».

Духовная опустошенность наших дней сказывается в том, что и послѣ 25 лѣт существованія большевистской власти приходится оправдываться анти-большевикам и о п р а в д ы - в а т ь анти-большевизм — в том философско-историческом смыслѣ, который придал этому термину Владимір Соловьев, когда назвал свою нравственную философію «Оправданіем Добра». Мы хотим в дальнѣйшем вскрыть и намѣтить **правду анти-большевизма.**

**

„Les peuples sont pour nous des frères.
Et les tyrans des ennemis”.

Революц. пѣснь 1848 г.

Анти-большевизм есть отрицаніе большевизма и его зла. Это значит, что анти-большевизм демократіи постоянен, доколѣ существует большевизм. Но это не значит, что анти-большевизм статичен. Нѣтъ, он слѣдует за большевизмом, и его отрицанія мѣняются соответственно с тѣм, что в разное время, в связи с своими нуждами и интересами, утверждает большевизм.

Можно спорить о том, что составляет главное зло большевизма; неоспоримо, что он свершил не единственное зло. В общей формѣ можно сказать, что главная бѣда состояла не в том, ч т о слѣдали большевики, а в том, к а к они слѣдали; не в том, какой п р о г р а м м ы они держались или хотѣли держаться, а к каким с р е д с т в а м и мѣрам

при этом прибѣгали. Организовавъ заговоръ противъ февральской революціи, — «Россія теперь самая свободная страна въ мірѣ», говорилъ Ленинъ наканунѣ октября, — большевики методически утвердили и во всеуслышаніе благословили терроръ во имя и во славу социализма. Осуществилось на дѣлѣ предсказанное Герценомъ: «Социализмъ, который хотѣлъ бы обойтись безъ политической свободы и безъ равноправія, быстро выродился бы въ самодержавный коммунизмъ». Большевицкій социализмъ превратился въ самодержавный коммунизмъ со всѣми его атрибутами: массовыми казнями, пытками, провокаціей, заложничествомъ, шантажемъ, всеобщимъ ссыскомъ и доношительствомъ, даже дѣтей на родителей.

Большевизмъ хотѣлъ освятить насилие и деспотизмъ нуждами революціи (по примѣру французскихъ якобинцевъ) и интересами социализма. Величайшія надругательства надъ личной свободой и раскрепощеніемъ трудящихся были выданы за единственно реальный, русскій путь къ социализму. Это оказалось великимъ соблазномъ. «Мифомъ XX вѣка» должны были бы быть названы не нацистскія мудрствованія Розенберга, а большевицкое утвержденіе «социализма», въ который насильственно загоняютъ осчастливленныхъ трудящихся.

Это было не только логическимъ противорѣчіемъ съ обычнымъ представленіемъ о социализмѣ, какъ утвержденіи демократіи и въ экономической области, не только искаженіемъ и извращеніемъ свободолюбиваго социализма; это было и представленіемъ глубоко анти-историческимъ. Социализмъ — или коммунизмъ — представлялся большевикамъ ф и н а л ь н о й стадіей человѣческой исторіи, которая достижима волевымъ напряженіемъ профессиональныхъ революціонеровъ-террористовъ.

Большевизмъ оказался болѣе живучимъ, чѣмъ это можно было думать — чѣмъ думалъ, въ частности, Ленинъ. Послѣ четверть-вѣкового властвованія большевиковъ, — срокъ, которымъ измѣряются поколѣнія, — какъ будто не приходится говорить объ анти-историчности большевицкаго. Это вѣрно въ той мѣрѣ, въ какой большевицкій «мифическій», или тотъ, за который онъ себя выдавалъ, и большевицкій реальный принимаются за одно и то же. Анти-историческій по заданіямъ, большевицкій былъ возвращеніемъ вспять по сравненію съ уже достигнутымъ. Обѣщая хлѣбъ, большевицкій далъ голодъ. Суля дворцы, отмѣрилъ жилплощадь. Возвѣщая миръ, привелъ къ войнѣ. Рекомендую разбить «государственную машину», создалъ неслыханный «аппаратъ угнетенія»: полицію, армію, бюрократію, судъ, тюрьмы, концъ-

лагеря. Сократив безработицу, создал миллионы безработных.

Провал большевизма был тройкий: м о р а л ь н ы й — потому что взамен не-большевиками свергнутого самодержавия большевизм установил несравнимо более жестокий и бездушный строй; провал с о ц и а л ь н ы й — потому что большевизм разрушил прежнее неравенство между командующими и командуемыми, но воздвиг еще горшее, распространив его на все мелочи быта: жил-площадь, пользование лечебными средствами, способы и самую возможность передвижения и т. д.; провал п о л и т и ч е с к и й , потому что «организованная гражданская война», как большевики называли свою революцию, превратилась в войну перманентную, длящуюся вот уже четверть века.

И когда иные с видом политических агностиков вопрошают теперь: а можете ли вы объективно, на основании данных, утверждать, что общее отношение русского населения к большевистскому режиму осталось таким же враждебным, каким оно было в голодные годы, — мы без колебаний отвечаем «да, можем!» Голодные годы военного коммунизма имфли свой рецидив в эпоху сплошной коллективизации (1932-33 гг.) и за все время существования большевизма недоверие населения было постоянным; а, главное, факт существования и по сей день несмягчающегося террора свидетельствует с достаточной убедительностью о постоянстве чувств подвластных большевистской диктатуре.

Никакая власть не устанавливает режима ежовых рукавиц без крайней к тому необходимости. И как низко ни расценивать советской диктатуры, но и ее нельзя заподозрить в любви к террору ради террора. Она хорошо осведомлена об отношении к ней населения. «Репрессии всегда признак страха» — признают ведь и те, кто внезапно усумнились в подлинных чувствованиях русского народа.

Себе равная все 25 лет диктатура опрокидывает безжалостно все благодушные размышления советских патриотов из эмигрантского далека. Им представляется, что если нет в СССР сейчас возстаній против власти, «значит» у населения нет и недобрых чувств к власти, — а, наоборот, население видит в экономическом и социальном строе СССР «нечто свое, близкое». Это создает и особую «моральную атмосферу», благодаря которой только СССР и оказался «более приспособленным к современной тотальной войне». Вряд ли надо

указывать, что в подобных разсуждениях «экономической и социальный строй» стыдливо прикрывает наготу диктатуры — служит псевдонимом: советский социальный и экономический строй порожден диктатурой, которая террором охраняет себя и этот строй. И колхозный бригадир, воскресивший бригадира аракеевских военных поселений, — символ достижений советской власти в земельном вопросе, стоивших русскому крестьянству десятков миллионов жертв от голода 21-22 и 32-33 гг. и беспощадного истребления властью «кулаков и подкулачников, как класса»... Не потому СССР оказался больше приспособленным к войне, что там сильнее единение народа с властью, чем в Британии или Соединенных Штатах, а потому, что всякой тотальной диктатуре приспособиться к тотальной войне гораздо легче, чем демократии.

Был ли большевизм органическим эпизодом русской истории? — Вряд ли это можно утверждать, не приписывая «органичности» (та же гегелевская «разумность») всему в реальности сущему. Различая между народом и властью, нельзя и большевистскую власть безнаказанно «пришивать» русскому народу, как нельзя отождествлять фашизм с Италией или нацизм со всей Германией. Только ложная гордыня может утверждать, что реакция русского народа на мировую войну в форме большевизма «изуродовала идеал», тогда как все другие реакции на то же явление дали «идеал уродства». Нам уже приходилось приводить замечательные слова Владимира Соловьева: «Национальное самосознание великое дело; но когда самосознание народа переходит в самодовольство, а самодовольство доходит до самообожания, тогда естественный конец для него есть самоуничтожение: басня о Нарциссе поучительна не только для отдельных лиц, но и для целых народов».

Не раз ставили мы перед собой вопрос: что положительного дал большевизм России и миру по сравнению, в частности, с тем, что было дано или предвещено февральской революцией? В чем хотя бы апостериорное оправдание пролитой крови, разорению страны, обнищанию народа? Выросла ли человеческая личность в образе и звании советского гражданина? Освободились ли от гнета нужды и произвола трудящиеся в пределах хотя бы своего «социалистического» отечества. Сорваны ли ветхия одежды Адама — капитализма и империализма? Торжествует ли интернациональная солидарность, всечеловеческий идеал братства?

И как прежде (см. «Миф Октября» в «Соврем. Записках» № 33), так и теперь мы считаем: ни человек, ни класс, ни человечество, ни интернационал трудящихся от торжества большевизма не выиграли, а — проиграли. Говоря в общей форме, — проиграли потому, что развѣяна по вѣтру вѣра в человека, угас энтузиазм, уваженіе к слову, любовь к труду, надежда на разум коллективных усилий и грядущее братство. Пробуждены и освящены («соціализмом»!) эгоцентрическіе, шкурническіе, первичные инстинкты в человекѣ. Все это представляется неоспоримым сейчас, как было неоспоримо и 12 лѣтъ тому назад. И лишь одно отрицательное сужденіе может показаться опровергнутым нынѣшними событіями.

«Возвеличена ли Россія, как была возвеличена Франція террористами-якобинцами?», — прежде, когда в активѣ большевизма значились лишь побѣды на внутреннем фронтѣ, а на внѣшнем только мир в Брестѣ и мир в Ригѣ (с Польшей), это звучало риторически: отвѣтъ подсказывался сам собой. Сейчас, когда красная армія остановила гитлеровское наступленіе у Ростова, а потом принудила не знаваго до того пораженій врага отступить, — аналогія с террористами-якобинцами может казаться правильной: большевизм **дѣйствительно** «возвеличил Россію». И С. Л. Поляков-Литовцев поспѣшил печатно удостовѣрить: «вчерашніе захватчики власти, вчерашніе душители Россіи сегодня в горнилѣ военного ада — охранители русской чести, знаменосцы русской свободы» (имѣется в виду, очевидно, в н ѣ ш н я я свобода, т. е. независимость). Он прибавляет почти уничижительно: «от нашей воли, от наших настроеній, от наших государственно-правовых концепцій это не зависит ни в малѣйшей степени».

Еслибы это было так безнадежно, бесплодны были бы всѣ наши сужденія и писанія. Спасти — или не спасти — русскую и мировую свободу сужденія и писанія, конечно, бессильны. Это рѣшат физическіе бойцы. Но в той мѣрѣ, в какой правильная установка может все-же способствовать разрушенію иллюзій и утверженію правды, она может явиться положительным элементом в физической борьбѣ. Большего не дано никаким и ничьим писаніям — тѣм болѣе людей, находящихся в изгнаніи. Невозможность вліять на событія — аргумент обоюдо-острый, закрывающій уста всѣм. Правда должна быть высказана, безотносительно к тому, «послѣдует ли совѣтам Кремль» или не послѣдует. Критика, ориентир-

ющаяся на Кремль, критика несвободная и, потому, не критика вовсе.

Только согласившись на этом, можно говорить о всем дальнѣйшем и в частности, о том, «возвеличили» ли Россію большевики.

**
*

«Изгнаніем из страны родной,
Хвались повсюду — как свободой».
Л е р м о н т о в .

Итак: побѣда Россіи — мѣра вещей. Важно не то, хорош или нехорош существующій в Россіи режим, а может или не может он выгнать нѣмцев, очистить русскую территорию и обезпечить независимость Россіи. «Былъ молодцу не укор», — особенно сейчас, во время войны. Не будь в Россіи диктатуры, может быть и Россія раздѣлила бы участь демократій в Европѣ и Америкѣ, показавшей свою неподготовленность противостоять Гитлеру и Хирохито? — И в таком случаѣ «да здравствует диктатура»? — Можете ли вы «вполнѣ объективно» доказать, что демократія сопротивлялась бы гитлеровским полчищами болѣе успѣшно, чѣм большевики?

Доказать что могло б ы быть, еслибы было не то, что было, — задача невозможная. Отрицательные факты вообще недоказуемы: на этом построено требованіе доказательств от обвинителя. Но сомнѣнія относительно демократіи смягчаются увѣренностью в том, что она никогда не пошла бы на противоестественное соглашеніе с Гитлером, на которое пошел Сталин и на которое не рѣшается окончательно итти даже Петзн. А не будь обезпечен у Гитлера тыл на востокѣ, вѣроятно, вся карта міра была бы не той, какой она стала послѣ соглашенія 23 августа 1939 г. в значительной мѣрѣ в с л ѣ д - с т в і е этого соглашенія. Можно согласиться с тѣм, что во время войны побѣда над врагом — высшій закон. Но почему, на каком спеціальному основаніи надлежит проводить знак равенства между Сталиным и Россіей, когда даже между Черчилем и демократической Англійей никто — в том числѣ и Сталин, и Черчилъ — такого знака не проводят?

Не может быть сомнѣній в том, что евреи желают побѣды над Гитлером и, тѣм самым, успѣха британскому оружію. Это, однако, не помѣшало ни евреям, ни не-евреям, в самой Англии и в Соединенных Штатах, с возмущеніем отнестись и публично осудить, даже в засѣданіи палаты общин, безчеловѣчный формализм британской администраціи в Палестинѣ, из-за котораго пошла ко дну «Штрума» с 768 бѣженцами-евреями из Румыніи. И лучшая власть не всегда власть хорошая: случается и ей дѣйствовать нецѣлесообразно и пагубно, и в таком случаѣ подвергаться критикѣ и осужденію. Почему совѣтской власти быть исключеніем?

Безмѣрны муки, которыя несут сейчас Россія и красная армія. И нѣт того демократа или російскаго патріота, который не ликовал бы при вѣсти о каждом отступленіи врага. Можно только радоваться, что опасенія в неподготовленности Россіи, вызванныя ходом войны с Финляндіей, не оправдались, и мы, вмѣстѣ со всѣми врагами и друзьями Россіи, — ошиблись. Совѣтской власти удался ея двуличныи маневр: она сумѣла «засекретить» даже от друго-врагов и германскаго Райхсвера количество и качество своего вооруженія — и это оказалось объективно благом; но она сумѣла в то же время склонить западныя демократіи, под давленіем внутренней пропаганды пацифистов и коммунистов, к максимальному разоруженію, — что оказалось объективно злом. Кто взвѣсит и как учеть окончательный итог от выигрыша, полученнаго в результатѣ засекреченнаго вооруженія СССР, и проигрыша от неподготовленности разложенных пасифизмом демократій?

И вовсе не из «вѣрности прошлому», а для того, чтобы не обманываться самим и, вольно или невольнo, не обманывать других, нельзя никак сбросить со счетов 23-лѣтнюю подготовку и тренировку красной арміи в ненависти к западным «плутократіям», якобы ковавшим свое оружіе для нападенія на «соціалистическое отечество». И когда на 24-ый год существованія красной арміи на Россію напали вовсе не западныя имперіалисты, а коварныи, но «кровью спаянныи» друг, это оказалось сюрпризом не только для неподготовившейся к тому совѣтской власти, но для всего населенія.

За 25 лѣт жизнь не стояла, конечно, на мѣстѣ. Но террористическая диктатура оставалась себѣ равной все это время, варьируя лишь объекты, к которым прикладывался «каленный утюг». Все еще не отмерли, увы, за 25 лѣт и «цитаты из Ленина 1918 года». Кто в этом сомнѣвается, пусть перечтет

юбилейный приказ Сталина по случаю 24-лѣтія красной арміи. Главная надежда верховнаго совѣтскаго вождя по прежнему не на народ, который «зажегся національно-патріотической страстью и суровой рѣшимостью бороться и умирать». Нѣтъ, для него важнѣе всего, чтобы «здоровствовала великая партія большевиков, ведущая нас к побѣдѣ! Да здравствует непобѣдимое знамя великаго Ленина! Под ленинским знаменем вперед!» Вот в чем по прежнему предѣл государственной мудрости для тѣх, кого хотят признать за «охранителей русской чести и завоевателей русской свободы».

25 лѣтъ спаяна Россія с большевизмом. Это было величайшим несчастьем для нея самой и для всего міра. Только слѣпые могли этого не видѣть раньше, а зрячіе только могут дѣлать вид, что этого не замѣчают сейчас. Нас стараются убѣдить, что народ и власть, страна и режим в странах диктатуры — едины. Этого нѣтъ ни в одной странѣ, и меньше всего, конечно, может быть в странѣ диктатуры. Это отрицают многіе из новоявленных защитников совѣтской власти, но это признает и Сталин, — если нужны непременно доводы от Сталина: «Исторія учит, что Гитлеры приходят и уходят в то время, как германскіе народ и государство остаются». Это историческое поученіе примѣнимо в полной мѣрѣ и к Россіи. И мы, с своей стороны, неоднократно подчеркивали: и Ленин, и Троцкій, и Сталин прейдут, а Россія останется.

Нельзя не различать между проходящим режимом и «вѣчным» народом. Но и при таком различеніи остается вопрос: способствует ли нынѣшній режим в СССР — и на террорѣ покоящаяся совѣтская экономика — побѣдѣ русскаго оружія? По глубокому нашему убѣжденію, — и не только как демократов (а, потому, якобы, непременно «доктринеров»), но и по тому совершенно самоочевидному основанію, что никто без крайней нужды не мирится с насиліем, — русскій народ сейчас проявляет чудеса храбрости не благодаря совѣтскому режиму, а безотносительно к нему и, объективно, вопреки режиму, — **подчиняя** свои чувства и отношеніе к режиму нуждам защиты Россіи.

Жертвенностью и успѣхами русской арміи можно и должно восхищаться. Но при чем тут правящая совѣтская клика, своим дипломатическим искусством способствовавшая восхожденію к власти наци и побѣдоносному их продвиженію по всему міру? Было бы несправедливо, конечно, всѣ побѣдныя

доблести приписывать русскому воинству, а всё поражёніе относить на счет бездарнаго командованія. Все же за поражёніе гораздо болѣе отвѣтственно командованіе, а не выполняющіе приказы бойцы. Мы это видѣли на примѣрѣ Франціи. В этом убѣждает и примѣр Америки. Адмирал Киммель и генерал Шорт могли быть смѣщены в 24 часа. А в СССР, гдѣ все — в тотальном смыслѣ этого слова, — всё концы и начала сосредоточены в руках одного и единственнаго? Против стратегической пассивности британскаго или американскаго командованія и отвѣтственных за него Черчиля или Рузвельта могут возстать парламент и конгресс или отдѣльные его органы. Кто мог поднять голос против несмѣщавшаго бездарных Буденнаго и Ворошилова? Какая вообще существует, не скажу: сдержка, а хотя бы провѣрка принимаемых Сталиным рѣшеній по самым сложным и основным вопросам войны, — Сталиным, который не то что о военной технике, но и о жизни других народов освѣдомляется, по мѣрѣ нужды, с чужого голоса (Ср. живописный разсказ Дэвиса, как изумился Сталин, когда Дэвис ему сообщил, что и в Америкѣ капитализму ставят преграды: богатая жена Дэвиса вынуждена будет отдать государству 80% своего имущества, в формѣ наслѣдственных пошлин, а сам Дэвис, менѣе состоятельный, — 50%; только утвердительный кивок присутствовавшаго при бесѣдѣ Молотова убѣдил всевластнаго, но не всезнающаго диктатора).

Во всяком случаѣ, если и совѣтская власть причастна к побѣдѣ и ей, по неожиданному стеченію обстоятельств, доведёлось возвеличить Россію, — как в свое время возвеличили Францію террористы-якобинцы, — тѣм, что враг был вынужден очистить, примѣрно, 1/5 занятой им территоріи (данныя нью-іоркскаго «Таймса» на 1 марта), то вѣдь та же совѣтская власть причинна больше других и к потерѣ тѣх 4/5 русской территоріи (427.000 квадратных миль), на которой жило 60 миллионъ граждан и которая остается еще во владѣніи Гитлера!

Понятны и естественны комплименты — искренние и официальные, — которые несутся по адресу предержавшей в Россіи власти со стороны не слишком освѣдомленных иностранцев. Внутри-фальшивая дипломатія и давно прогнвшая теорія невмѣшательства, даже морально-политическаго, в дѣла других государств (она тоже несет свою долю вины за катастрофу) позволяют со спокойной совѣстью взирать на тер-

рористическую диктатуру у других, предостерегая от нея своих. Большевизм царствует и управляет Россіей четверть вѣка, — «значит», существуют к тому достаточныя «органическія» основанія — в психологіи русскаго народа, в его исторіи, гео-политикѣ, экономикѣ. Гораздо существеннѣе, что совѣтское правительство участвует «в нашей битвѣ. Оно у самых бастіонов наших крѣпостей, когда враг у ворот, а врата наши и у других пали». В таком, близком к паническому, настроеніи, бывшій американскій посол в СССР Джозеф Дэвис (в рѣчи от 28 февраля), естественно, рекомендует американскому общественному мнѣнію оказать «безоговорочное довѣріе совѣтскому правительству и его главѣ Сталину». Он оправдывает и прошлое — соглашеніе Сталина с Гитлером, когда Сталин «отказался вытаскивать своими руками из огня чужіе каштаны»; он готов ручаться за «честность намѣреній» совѣтской власти и в будущем, утверждая, что она «служит своему Богу так же, как мы своему».

Повторяю, для иностранцев такая психологія — и логика — естественна. Кто бы ни дрался, с какими потерями и жертвами для себя ни дрался, лишь бы дрался на нашей сторонѣ. Враг нашего врага нам друг — безотносительно ко всему остальному. Внутренній режим Россіи, в концѣ концов, и не интересует чужеземцев: не они призваны пещись о нем и вообще о Россіи.

Совѣм иное дѣло — русская политическая эмиграція. О чем могут договариваться с совѣтской властью политическіе эмигранты, когда и самыя жертвенныя предложенія услуг со стороны бѣженцев-патріотов неизмѣнно отвергаются — «до окончанія войны»? Когда даже американскому Еврейскому Рабочему Комитету не давалась возможность отправлять в СССР столь необходимые там платье и медикаменты! Если в чем может состоять измѣна родинѣ русских эмигрантов, это в добровольном отказѣ от того единственнаго оружія, котораю она, и только она, располагает, в отличіе от подвластнаго диктатурѣ населенія Россіи, — в отказѣ от критики больших и малых пороков совѣтскаго механизма, его стратегіи и тактики, дипломатіи и внутренняго управленія. «Служить так не картавить, а картавить — так не служить», — говорил Яков Долгорукій. Да еслибы политическая эмиграція и восхваляла совѣтскія достиженія, это было бы ударом по водѣ: не устраним факт вынужденнаго пребыванія русских демократов и социалистов в изгнаніи и он свидѣтельствует убѣдительно вся-

ких слов и доводов против совѣтской власти и ея новѣйших апологетов из рядов эмиграціи.

Этот единственный смысл политической эмиграціи никак не в силах вытравить из себя до конца даже тѣ, кто сами стремятся и других зовут всячески увеличить и усилить «удѣльный политическій вѣс Совѣтскаго Союза». Уже как в этом направленіи старается Ф. И. Дан, однако и он то и дѣло вынуждается, конечно против собственной воли, то озаглавить статью «Хуже чѣм преступленіе» (вторичный арест гг. Эрлиха и Алтера), то — «Слабоуміе или провокація» (вариант историческаго противоположенія П. Н. Милюкова «Глупость или измѣна»), и говорить, совсѣм на манер прочих «переродившихся и выродившихся социалистов» (выраженіе Дана), о — «лакеях Сталина или весьма искусных агентах Гитлера» (см. «Новый Путь» №№ 14, 15 и 16).

В ту войну, послѣ февральской революціи, мой учитель и друг Ф. Ф. Кокоскин — будущая жертва разнузданной большевизмом черни — говорил (в докладѣ к.-д.-скому с'ѣзду о Монархіи и Республикѣ): «нельзя одновременно быть с царом и быть с Россіей, — быть с царем значит быть против Россіи». Эти слова сохраняют свой смысл и для Россіи эпохи самодержавнаго коммунизма. Еслибы «отец народов» руководился исключительно интересами скорѣйшей побѣды над международными фашистами, а не расчетами личнаго властолюбія или видами на социальную революцію, — лучшее, что он мог бы сдѣлать в интересах даже не Россіи tout court, а своей Россіи, совѣтской, это безотлагательно слать власть и уйти в политическое небытіе. Это давно поняли американскіе друзья Россіи из лагеря социалистической демократіи, подавшіе такой совѣт. Это должны осознать и подлинныя російскіе патриоты.

H u g o .

**
*

«Et s'il n'en reste qu'un
Je serai celui-là.»

Анти-большевизм не есть только отрицаніе отрицательнаго — зла большевизма. Он и в положительном утверженіи анти-большевистской правды демократіи. Сейчас эта правда не ко двору у руководителей международного общественнаго мнѣнія; она не в чести даже у русской политической эмигра-

ции, вопреки ея собственному внутреннему смыслу и природѣ. Это не отмѣняет значенія и силы правды.

Именно потому, что антибольшевизм претендует на правду, он не может зависѣть от случайных обстоятельств времени и мѣста или быть производным от послѣдней военной сводки событій на фронтѣ. Благодушные русскіе либералы при самодержавіи заявляли себя республиканцами на берегах Сены и монархистами на рѣкѣ Невѣ. И в наши дни ставившіе на большевизм до 23 августа 1939 — заявили о своем непримиримом анти-большевизмѣ на слѣдующій день послѣ заключенія Молотовым соглашения с Риббентропом; в ночь с 22 на 23 іюня 1941 г. они вернулись обратно на прежнія позиціи. Такія превращенія происходили и в индивидуальном порядкѣ, и в групповом. Как обычно в таких случаях, на помощь психологическому состоянію призвана была и «идеология». Самый анти-большевизм был об'явлен пережитком прошлаго — «примитивным» и «вульгарным». А в той мѣрѣ, в какой и в строѣ «без капиталистов и земельных собственников», при самом благожелательном к нему отношеніи, далеко не все обстоит благополучно, — безбоязненные патріоты оказались вынуждены взять под свою защиту самую войну. Нас увѣряют дружно, что война, несмотря на всѣ ужасы, все же «великій двигатель прогресса», что война уже «выправляет изуродованный русскій идеал», а «мир, который за нею послѣдует» выправит его окончательно. Послѣ войны, когда фашизм будет разбит, весь мір и во всяком случаѣ Россія станут социалистическими. «Война становится той огненной купелью, окунаясь в которую, замиравшая было русская революція получает боевое крещеніе к возрожденію, к новой жизни», — можно прочесть в № 16 «Новаго Пути» Ф. И. Дана.

Войнам присуще рождать ажіотаж и спекуляцію — и не только в личных и матеріальных интересах. Война рождает и морально-политическую спекуляцію на то, что в результатѣ войны и «благодаря» ей, как «локомотива исторіи», двинется семи-мильными шагами вперед и морально-политическое устройство человѣчества. Благодѣтельные послѣдствія войны обыкновенно изображались и учитывались сторонниками моральнаго очищенія и просвѣтленія, отрицавшими социальную-политическій прогресс. В частности, за это и за положительную оцѣнку войны их и клеймило прогрессивное общественное мнѣніе ретроградными и обскурантами.

Знаменитый Жозеф де Мэстр, родоначальник новѣйшей

реакціонної ідеології, воскресил и развил класическій тезис Гераклита Темнаго — «война отец и царь всѣх вещей». Де Мэстр доказывал, что «война необходима для моральнаго прогресса человечества» — она «взбадривает размягченныя миром нации и сообщает всему в общежитіи движеніе, жизнь, огонь». Примѣрно в таких же выраженіях прославлял войну и Достоевскій. Он с убѣжденіем доказывал во время русско-турецкой войны, что «война развивает братство и озлобляет меньше, чѣм мир»; «война в наше время необходима... Без войны провалился бы мир или, по крайней мѣрѣ, обратился бы в какую-либо слизь, в какую-то новую слякоть, пораженную новыми ранами». Позднѣе о том же писали Морис Баррэс и Поль Бурже во Франціи и другіе. Они и сами причисляли себя к противникам либералов, демократов, социалистов.

В лѣвом лагерѣ апологія войны впервые раздалась из уст Лењина. Жоресистскому лозунгу: «Социализм это мир!» Ленин противопоставил свой лозунг: и в империалистической бойнѣ он нашел свое благо и утѣшеніе для социализма. «Нельзя не признать, писал Ленин еще в 1915 г., что европейская война принесла человечеству гигантскую пользу». «На свѣтѣ еще слишком много осталось такого, что должно быть уничтожено огнем и мечом для освобожденія рабочаго класса и, если в массах нарастает злоба и отчаяніе, если на лицо революціонная ситуація, готовься создать новыя организаціи и пустить в ход столь полезныя орудія смерти и разрушенія (ружье и великолѣпную, по послѣднему слову машинной техники оборудованную скорострѣльную пушку) против своего правительства и своей буржуазіи» — подчеркивал Ленин особым шрифтом свою ударную мысль. «Поповско-сентиментальному» воздыханію о мирѣ Ленин противопоставил свой лозунг — «Поднимай знамя гражданской войны!»

Ленин сдѣлал что мог, чтобы этот лозунг побѣдил. Теперь к этому лозунгу склоняются эпигоны Ленина — и лѣвых эсэров, — четверть вѣка пребывавшіе в анти-большевистском лагерѣ именно потому, что они отлично понимали, к чему мог привести и фактически привел «русскій опыт» насильственнаго «введенія» социализма. Новая война оживила былую спекуляцію и ажіотаж. Если люди вынуждены гибнуть и народы страдать — так не за Данинг же и не за Лигу Націй или формальную демократію! Другое дѣло — социализм; социализм стоит войны. «В атмосферѣ новой, на этот раз анти-

фашистской, мировой войны русская революция впервые получает перспективы социалистического завершения, которых у нея не было еще вчера», — с удовлетворением отмѣчает передовик «Новаго Пути» от 8 марта.

25 лѣт тому назад выдумка Ленина звучала как бред одержимаго, как видѣніе фанатика, Герострата, безкорыстнаго и тѣм болѣе опаснаго. Как назвать нынѣшній рецидив ленинизма послѣ продѣланнаго опыта, который пришлось бы повторить в условіях неизбѣжнаго всеобщаго разорѣнія, моральной деградациі и распыленія, когда не будет даже и тѣх политических, профессиональных и иных спаек, которыя все же сохранились послѣ первой мировой войны?..

Война, конечно, революціонизирует жизнь в самом ходѣ войны и по ея окончаніи. Мір послѣ войны будет, конечно, не тѣм, чѣм он был до войны. Но почему он станет принципиально иным? Почему опустошеніе в мірѣ вещей и в сердцах людей должно обязательно привести к «счастливому концу» — к молочным рѣкам в кисельных берегах всеобщаго братства? Захват Малайи и выход японцев к границам Индіи способствовал освобожденію Индіи от владычества Британіи. Слѣдует ли отсюда, что в Индіи дѣйствительно утвердится свобода? Пожар Москвы в отечественную войну, как извѣстно, способствовал ея украшенію, — как и бомбардировка Лондона в нынѣшнюю будет, вѣроятно, способствовать и его украшенію; но слѣдует ли отсюда, что архитектурно и социалью измененные Москва и Лондон будут освобождены войной и от всѣх видов социальнаго угнетенія? Или э т а война, и в самом дѣлѣ, будет послѣдней? Об этом не возбраняется мечтать, но не реально на этом строить. Хилиастическія чаянія возникали на протяженіи человѣческой исторіи не раз — и до, и послѣ перваго тысячелѣтія христіанской эры. Но кончались онѣ все, тѣм же: чѣм грандіознѣе были иллюзіи, тѣм глубже было разочарованіе. Можно ли — не для галереи проповѣдывать, а вѣрить и исповѣдать, что на костях и крови погибших, из пепла, гнѣва и ненависти, которые ежечасно плодит война, произрастет социализм не московскаго или берлинскаго образца, а подлинный, свободолюбивый и благой? Не связано ли возрожденіе стараго хилиазма с приближеніем к концу втораго тысячелѣтія христіанства?..

Как об'яснить недоразумѣніе, в которое под влияніем войны так легко стали впадать эмигранты анти-большевики —

патріоты или соціалісты прежде всего или и патріоты, и соціалісты одновременно.

Объяснение может быть в незадачливости русской политической эмиграции, в непереносной длительности неудач, неизменно выпадавших на ея долю. «Странная вещь, что почти всѣ наши грезы оканчивались Сибирью или казнью и почти никогда не торжеством», — писал много-много десятилѣтій назад эмигрант Герцен. Это справедливо и сейчас. Систематическія неудачи сломали многое в сознании русских эмигрантов-демократов. Одни капитулировали открыто — «с оружием и багажом» перешли в стан побѣдителей-большевиков. Когда в октябрь 1917 г. к большевикам примкнул глава лѣвых эсэров престарѣлый Марк Андр. Натансон, он говорил: «Нѣтъ больше стараго Натансона, есть молодой Бобров» (революціонный псевдоним Натансона). Менѣе рѣшительные пытаются сохранить лицо: не они измѣнили или измѣнились; все измѣнила и поставила на голову война — та или эта. Уставшіе и извѣрившіеся в том, что и за 25 лѣт неспособно осуществиться, они пошли на сдѣлку с собой и признали, что чаемое частично уже осуществлено, остальное же приложится навѣрняка послѣ войны. Пусть вложиться реально в творчество русской жизни не суждено; видимость хоть нѣкотораго приобщения к ней создается «пропагандой» (в американском смыслѣ этого слова, т. е. завѣдомо тенденціозным изображением) совѣтских достижений в прошлом, настоящем и будущем. Политическое омоложение путем самообмана субъективно, может быть, и способно дать удовлетворение. Оно не искупает вреда, который такое омоложение — как и всякая иллюзія — причиняет, когда из безобидной сферы личного сознания оно объективируется во внѣ.

Марк Вишняк.

9. III. 42.

P.S. — Статья была уже отправлена в набор, когда пришлось столкнуться с проявленіем «джингонзма», направленного лично по нашему адресу по поводу напечатанной в прошлой книжкѣ статьи. «Один писатель в «Новом Журналѣ» позволил себѣ вслух размышлять, что «разсужденія о россійском будущем должны идти не от Россіи к Европѣ и міру, а в обратном направленіи: от міра — к Россіи». — Взволнованному джингонстскому чувству, «без дум, без разсужденій», как оно само себя характеризует, в этих словах чудится уже угроза Россіи. — чуть ли не ея расчленение; и, приведа

наши слова, автор в поясненіе п р и б а в л я е т у ж е о т с е б я : «т. е. участь Россіи будет рѣшена Европой и Америкой»... Так как все это продѣлывается в цѣлях якобы патриотическаго объединенія и всепрощенія, то и мнѣ предлагается «глубоко пожалѣть о своих печатных размысленіях», или — придется признать, что «змѣя злобы, прижавшись к сердцу, за него размышляла и довела его до печальнаго состоянія» («Новое Русское Слово» от 10 марта).

Психологія — и логика — джингоизма говорят здѣсь сами за себя и в комментаріях не нуждаются. Скажу только, что чѣм шире развивается нынѣшняя война, втягивая в себя всѣ континенты, тѣм самоочевиднѣе, что и судьбы внѣшне-политическаго бытія и независимости отдѣльных стран будут рѣшаться в зависимости от того, чѣм станет мір послѣ войны, а не в порядкѣ частных и самостоятельных рѣшеній мѣстных и національных проблем, хотя бы они касались и «одной шестой» земной суши.

М. В.

СМѢЩЕНІЕ ФЕЛЬДМАРШАЛА БРАУХИЧА

Смѣщеніе фельдмаршала фон Браухича, котораго еще недавно вся нѣмецкая пресса провозглашала величайшим полководцем всѣх времен и народов, неразрывно связавшим свое имя «со славными достиженіями нѣмецкой арміи в эпоху возрожденія нѣмецкой націи», — является событіем большого значенія. Обстоятельства, сопровождавшія его смѣщеніе, — истерическая прокламація Гитлера, настоящая «игра в чехарду» с нѣмецкими генералами, которая не закончилась и понынѣ и которая время от времени прерывается неожиданными «скоропостижными смертями» людей, вчера еще отличавшихся завидным здоровіем, — все это только сильнѣе подчеркивает исключительную важность событія. Очень похоже, что его слѣдует считать одним из наиболѣе крупных событій в политической исторіи войны вообще и в исторіи внутренней жизни Германіи за годы войны в особенности. Тѣм важнѣе понять его подлинное значеніе.

1.

Выходец из старой, но обѣднѣвшей дворянской семьи, прусскій генерал в третьем поколѣніи, Браухич принадлежал к той отборной когортѣ нѣмецких офицеров, которая вынесла на своих плечах работу по воссозданію нѣмецкой арміи послѣ разгрома 1918 г. Они работали, захваченные мечтой о войнѣ-реваншѣ против держав-побѣдительниц, — против Франціи и в особенности Англій («Боже, покарай Англію!»), — и дѣлу подготовки именно этой войны отдавали всю изобрѣтательную энергію своих талантов, всю неутомимую страсть своей ненависти. Полные сознанія своей слабости, они бросались во всѣ стороны в поисках возможных союзников. Это об их настроеніях нейтральный наблюдатель-швейцарец писал в 1920 г., что они готовы «пойти на союз хотя бы с дьяволом, — только бы взорвать версальскій мир». В обстановкѣ тѣх лѣтъ нашелся только один кандидат на роль такого союзника, — Совѣтская Россія, и нѣмецкое офицерство превратилось в сторонников союза с послѣдней. В их глазах это стало возвращеніем Германіи на пути «традиціонной прусской

политики», завѣщанной еще Фридрихом-Вильгельмом III и Бисмарком.

Согласно их взглядам, тѣсный и на долгій срок рассчитанный союз Германіи с Россіей, не только давал Германіи выход из ея тогдашняго униженнаго положенія, но и открывал перед нею безбрежныя перспективы в будущем. Хлѣбородная, богатая всякаго рода сырьем, но бѣдная предпримчивыми людьми Россія казалась спеціально созданной, чтобы дополнять Германію с ея высоко развитой промышленностью и огромными, быстро растущими кадрами инженеров, химиков, строителей... Россіи одной не хватает ни сил, ни предпримчивости, чтобы использовать свои богатства. Германія, опирающаяся на Россію и имѣющая возможность пользоваться ея сырьем, не только выправит свое хозяйственное положеніе, но и станет неуязвимой для внѣшняго міра. Ей тогда никакая блокада не будет страшна. Ее тогда не сломит союз даже всѣх остальных стран міра.

Сторонником именно этой политики Браухич, — по свѣдѣтельству его біографа (О. Дуч: «12 апостолов Гитлера»), — стал уже в 1919 г. Активную роль в проведеніи ея в жизнь он начал играть с 1922 г., когда занял пост завѣдующаго артиллерійским отдѣлом военнаго министерства и в качествѣ такогого руководил работами по превращеніи Россіи в секретную базу снабженія Германіи тѣми родами оружія, производство которых в самой Германіи было запрещено Версальским договором; строил там артиллерійскіе, авіаціонные и иные заводы, устраивал школы военных летчиков и пр. В связи с этими дѣлами Браухич, — как рассказывает А. Гржезинскій, — в тѣ годы и сам лично совершил ряд поѣздок в Россію...

Именно эта оріентація на военное сотрудничество с Сов. Россіей опредѣлила отрицательное отношеніе Браухича к Гитлеру в первые годы диктатуры послѣдняго. Как извѣстно, Гитлер совсѣм по иному рисовал отношенія Германіи к Россіи, мечтал о завоеваніи послѣдней и ко власти пришел с идеей крестового похода против Москвы. Этим он ставил под угрозу все будущее «традиціонной прусской политики», в сохраненіи которой Браухич как раз в то время был больше всего заинтересован. «Солдат прежде всего и больше всего», как его охарактеризовал тогдашній военный министр ген. Бломберг, Браухич на политику всегда смотрѣлъ под углом военной стратегіи, а эта его стратегія в тот період «прежде

всего и больше всего» была обращена против Польши: начальник военного округа Вост. Пруссии, он был кандидатом на пост командующаго арміей в случаѣ войны против Польши, разрабатывал планы соответствующих военных операций, строил линію пограничных укрѣпленій и т. д. Но всѣ традиціи рейхсвера стратегію борьбы против Жольши основывали на предпосылкѣ соглашения с Сов. Россіей. Тѣм острѣ Браухич критиковал политику Гитлера, который зимою 1933-34 г.г. начал играть в сближеніе с Польшей. Очень интересныя черточки тогдашних настроеній Браухича передает Герман Раушнинг, который был в то время президентом Сената в Данцигѣ и сходилса с Браухичем, как в отрицательном отношеніи к вѣтшне-политическим спекуляціям Гитлера, так и в стремленіи заручиться поддержкой Россіи на случай конфликта с Польшей. Оппозиціонность Браухича в это время доходила до того, что он, монархист по всѣм своим прежним связям, начал говорить о необходимости войти в соглашеніе с профессиональными союзами и социал-демократами*).

В тѣ годы многіе, — вѣрнѣе, почти всѣ, — нѣмецкіе генералы фрондировали против «маляра», — но фронда Браухича выдѣлялась и рѣзкостью, и настойчивостью. Его отказ в 1934 г. выдать из складов рейхсвера оружіе для отрядов «Коричневых Рубашек», его угроза примѣнить рейхсвер для разгона н.-с. демонстраціи — все это стало достояніем печати и в свое время привлекло к себе немало вниманія. Это были этапы длинной эпопеи борьбы Браухича против нацистских

*) Хронологически именно к этому времени относится один эпизод, до сих пор еще не выясненный в литературѣ: лѣтом 1934 г. в правленіе нѣмецкой с.-д. партіи (тогда в Прагѣ) поступило предложеніе войти в переговоры с ответственными представителями рейхсвера о совмѣстных дѣйствіях по ликвидаціи диктатуры Гитлера. Посредники, через которых было передано это предложеніе, казались серьезными, и О. Вельс, предсѣдатель правленія партіи, лично вел с ними переговоры, сохраняя их в строгой тайнѣ. Затянувшіеся на нѣсколько мѣсяцев переговоры не привели ни к каким результатам, и среди небольшого круга лиц, посвященных в это дѣло, позднѣе преобладало мнѣніе, что рѣчь шла о какой-то игрѣ. Не шло ли на самом дѣлѣ это предложеніе из круга единомышленников Браухича, которые, рѣшив в началѣ повести эти переговоры, потом по каким-либо причинам от них отказались?

вождей Вост. Пруссіи, во главѣ которых стоялъ Эрик Кох, — в прошлом соратник Шлягеттера по нападеніям на французов в дни оккупации Рейнской области, а затѣм один из вѣрнѣйших друзей и послѣдователей А. Розенберга. Орган Коха «Остланд» (Кенигсберг) с самаго своего возникновенія и до наших дней играет роль одного из наиболѣе усердных пропагандистов розенберговских идей в области «гитлеризации» Востока Европы, — и совсѣм не случаен тот фактъ, что Розенберг, назначенный недавно намѣстником Гитлера для всѣх оккупированных территорій Россіи, взялъ своим ближайшим помощником именно Коха... Есть основанія предполагать, что острота конфликтов Браухича с Кохом в ея основѣ и в прошлом опредѣлялась остротою их главнаго расхожденія по вопросу об отношеніи к Россіи.

В 1935 г. этот конфликт принялъ столь острыя формы, что понадобился личный прїѣзд Гитлера в Кенигсберг, чтобы атмосфера нѣсколько разрядилась. Именно к этому времени относится и начало личного знакомства Гитлера с Браухичем.

О настроеніях послѣдняго Гитлер был, конечно, освѣдомлен: аппарат освѣдомленія у Гитлера поставлен очень хорошо, — и при том на базѣ взаимнаго контроля. Гештапо во главѣ с Гимлером, с одной стороны, и особая канцелярія, бывшая в тѣ времена под руководством Р. Гесса, с другой, конкурируют друг с другом в дѣлѣ собиранія самых детальнѣх свѣдѣній обо всѣх, мало мальски замѣтных дѣятелях Германіи, — и в результатѣ Гитлер всегда хорошо и разносторонне освѣдомлен обо всѣх лицах, с которыми ему придется имѣть дѣло. Но эти свѣдѣнія ни в какой мѣрѣ не помѣшали Гитлеру высоко оцѣнить Браухича. К этому он был подготовлен. На верхах нац.-соц. партіи Браухича, как военнаго, начали цѣнить раньше. Первая нить связи протянулась через ген. Райхенау, который в 1933 г. был начальником штаба у Браухича в Кенигсбергѣ (перейдя к нему в наслѣдство от ген. Бломберга, предшественника Браухича по командованію рейхсвером Вост. Пруссіи). Этот ген. Райхенау был извѣстен, как первый нѣмецкій генерал, открыто примкнувшій к наци: передают, что его увлек Геринг, — своей энергіей и размахом планов реорганизации военной силы Германіи. Назначенный в военное министерство специально для установленія связи между рейхсвером и нац.-соц. партіей, Райхенау создавал Браухичу в рядах наци славу одного из

талантливѣйших военачальников. Неудивительно поэтому, что Гитлер приложил всѣ усилія, чтобы привлечь Браухича на свою сторону, — и не довести конфликт послѣдняго с Э. Кохом до открытаго разрыва...

Позднѣе, Гитлер в особую заслугу ставил себѣ тот факт, что в період острых расхожденій с рейхсвером он не пошел на прямую борьбу с руководителями послѣдняго, — как это от него требовали многіе из партійных соратников, — и тѣм самым сохранил для арміи тѣх, кто «иначе сдѣлались бы нашими врагами» (рѣчь Гитлера от 8 ноября 1936 г.). Если мы переберем біографіи руководителей рейхсвера, — до и послѣ этой рѣчи, — мы легко убѣдимся, что Гитлер, произнося эти слова, должен был прежде и больше всего имѣть в виду именно Браухича: в предшествующій період этот послѣдній больше, чѣм кто-либо другой из руководителей рейхсвера, был близок к непоправимому разрыву с наци; в дальнѣйшіе же годы именно он стал болѣе, чѣм кто-либо другой полезен Гитлеру...

2.

Вскорѣ послѣ этой рѣчи Гитлера начинается головокружительно быстрый взлет карьеры Браухича: Браухич был именно тѣм техником военного дѣла, котораго Гитлеру не хватало.

Подготовительный період работы Гитлера подходил к концу. Власть наци в Германіи была укрѣплена, и почти весь аппарат управленія был в их руках. Армія восстановлена. Версальскія ограниченія отмѣнены. Дезориентированная Европа переносила всѣ оскорбленія, — примирялась со всѣми «совершившимися фактами». Гитлер рѣшил перейти в активное наступленіе в цѣлях территоріальнаго расширенія Германіи, — и торопился закончить подготовку к вооруженным столкновениям, перспектива которых все яснѣе вырисовывалась на горизонтѣ. 18 октября 1936 г. был подписан декрет о 4-х лѣтнем планѣ развитія промышленности: это был цѣлком военный план, построенный в полном соответствіи с идеями «тотальной войны». В воздухе явственно чувствовался запах пороха, — а у наци все еще не было генерала, который военное дѣло, стратегію и тактику поднял бы на уровень их гео-политических апетитов. Геринг и особенно Мильх много сил отдавали разработкѣ методов веденія воздушной войны,

проблемам возрушных десантов и т. д. Удет пришел к идеѣ пикирующей бомбардировки и создал «Штуку». Лютц и Гудеріан работали над созданием первых танковых дивизій. Отдѣльных элементов, способных революціонизировать войну, накопилось уже не мало. Но чедовѣка, который свел бы их всѣ воедино, привел бы их в систему и построил бы новыя стратегію и тактику, полностью использующія всѣ эти техническія усовершенствованія, — у наци все еще не было.

Старшее поколѣніе генералов рейхсвера для этой работы было непригодно: они воспитывались в традиціях осторожности, — настойчиваго, но медленнаго продвиженія вперед. В их стратегіи до 1936-37 г.г. господствовали оборонительныя концепціи. Ген. Риттер фон Леб, тогда командующій армейскими соединеніями в Касселѣ (Группенкомандо 2) и потому кандидат на пост главнокомандующаго в войнѣ против Франціи, около этого времени разработал план военных операцій: то были цѣликом оборонительныя операціи, в основѣ которых лежала старая концепція, — времен еще ген. Зекта, — об арьергардных боях с постепенным отходом на восток...

На смѣну именно им шел Браухич, ставшій піонером-практиком «молніеносной» наступательной войны, пользующейся всѣми новѣйшими родами оружія, — и прежде всего танками, как центральной боевой силой. До 1937 г. Германія имѣла только три танковых дивизіи, и при том еще не вполне законченнаго формированіем. Правда, имѣлось особое управленіе по формированію таких дивизій, но в военном отношеніи онѣ были прикомандированы по одной к каждому из трех существовавших тогда армейских об'единеній (Группенкомандо): это — показатель того подчиненнаго значенія, которое отводилось новому роду оружія в концепціях старшаго поколѣнія руководителей нѣмецкой арміи.

В 1937 г. в этой области происходит настоящая революція: танковыя дивизіи (число которых увеличивается) выдѣляются в совершенно самостоятельное об'единеніе, — Группенкомандо 4, — и первым командующим ими назначается Браухич. Именно он играет главную роль во время знаменитых в исторіи нѣмецкой арміи маневров 1937 г., на которых такое большое вниманіе было удѣлено проблемѣ согласованія танковых операцій с дѣйствіями пѣхоты и авіаціи. Успѣх именно этих маневров открыл дорогу для его дальнѣйшаго продвиженія вперед по іерархической лѣстницѣ Третьяго Райха: в февралѣ 1938 г. он получает назначеніе на

пост главнокомандующаго всѣми сухопутными силами Германіи (командованіе танковыми арміями переходит к ген. Райхену) и одновременно включается в состав вновь созданнаго Гитлером «частнаго совѣта» для разсмотрѣнія вмѣстѣ с ним самим вопросов внѣшней политики. Этот «частный совѣтъ» в дѣйствительности был военно-политическим штабом Гитлера для подготовки міровой войны... Браухич стал одной из центральных фигур этой подготовки.

Для пониманія Браухича необходимо подчеркнуть, что в интересах карьеры ему не пришлось поступиться тѣм, что в предшествующіе годы составляло существо его военно-политическаго кредо. За тѣ годы в Германіи прошло много сложных, запутанных сдвигов. Многие мѣнялось, — даже когда вывѣски сохранялись неизмѣненными. Но если брать основныя линіи развитія, то в области міровой военно-политической стратегіи не Браухич шел в Каносу к Гитлеру, а, наоборот, Гитлер торопливо продѣлывал свой путь в направленіи к Браухичу. Не без сомнѣній и колебаній, внося временами поправки в прежнія концепціи, — но все же шел.

Политика соглашенія с Англійей в глазах Гитлера к зимѣ 1936-37 г. потерпѣла полное банкротство. Среди англичан было немало людей, склонных к соглашенію с Гитлером, — но всѣ они не годились в партнеры для начатой послѣдним большой игры. Они готовы были итти на уступки частнаго характера, — но условіем таких уступок ставили отказ Гитлера от планов «чернаго передѣла» всего міра. Это была наивная и опасная игра, основанная на полном непониманіи существа гитлеризма, — и Гитлер умѣло пользовался ею в своих интересах, — но это было совсѣм не то, чего Гитлер искал. Ему нужны были не сентиментальныя проповѣди о «мирѣ всего міра», а союзник для совмѣстной работы над передѣлом этого міра, — или хотя бы надежный попутчик для первых этапов борьбы за этот передѣл. Именно об этом говорили предложенія, которыя он сдѣлал Англійи еще в 1934 г. (их огласил Риббентроп в своей рѣчи 25 октября 1939 г.), — но Англія их не приняла, и к концу 1936 г. Гитлеру стало ясно, что она их и не примет. Если б в ней и нашлось правительство, которое захотѣло принять подобную программу, оно было бы бессильно провести ее в жизнь: рост антифашистских настроеній среди населенія при наличіи демократической конституціи дѣлал неизбѣжным быстрое крушеніе такого правительства. Осенью 1937 г. послѣ визита лорда Га-

лифакса в Германію, — по разсказу Невіля Гендерсона, — Геринг прямо поставил послѣдному вопрос: вѣрит ли он, что англійское правительство, если б оно даже захотѣло, дѣйствительно сможет провести в жизнь намѣченное соглашеніе? Гитлер и его окруженіе не вѣрили, — и были вполнѣ правы: союзником Гитлера по тоталитарному передѣлу міра могла быть только тоталитарная же страна...

В этих условіях строить большую политику на базѣ соглашения с Англійей не было никакой возможности. А так как возможных путей для этой «большой политики» у Германіи было вообще только два: или соглашеніе с Англійей и поход против Россіи, или возвращеніе на рельсы «традиционной прусской политики», — то Гитлер, чтобы имѣть возможность двигаться вперед, должен был хотя бы на время вернуться к «завѣтам Бисмарка».

Поворотным в этом отношеніи был 1937 г., когда Гитлер дважды отклонил сравнительно далеко шедшія предложенія Англійи («большой программы» Гитлера она, конечно, и в это время не принимала) — и рѣшил перейти к захватным операціям в Центральной Европѣ, превосходно понимая, что послѣ таких захватов о сколько нибудь прочных соглашениях с Англійей нельзя будет и думать. В соотвѣтствіи с этими рѣшеніями производилась и «чистка» окруженія Гитлера. Здѣсь еще недавно безраздѣльно господствовали сторонники соглашения с Англійей: такова была официальная партійная догма, и в соотвѣтствіи с этим происходил подбор «попутчиков». Ген. Бломберг, — человекъ абсолютно ничѣм не выдающійся, — именно потому и мог играть такую роль (он был не только военным министром, но и постоянным совѣтником Гитлера), что он был едва ли не единственным нѣмецким генералом — сторонником соглашения с Англійей. В тѣ годы Гитлер цѣлко держался за него. Разсказывают, что Гитлер как то в шутку пригрозил выброситься из окна, — если Бломберг его покинет. Конечно, это была игра: когда он перестал быть нужным, за окно выбросили Бломберга, обвинив его в том, что он подкуплен англичанами (очень интересныя детали об этой отставкѣ разсказаны в воспоминаніях ирландца Джемса Мурфи).

Новая оріентація внѣшней политики требовала новаго генерала на ведущую военную роль. Сторонников соглашения с Россіей среди них было много, — но далеко не всѣ они подходили для Гитлера. На послѣдняго многіе из них, — во

главѣ с самим главнокомандующим Фричем, — смотрѣли с большой долей презрѣнія. Для них он все еще оставался выскочкой, «маляром». Хозяевами положенія они продолжали считать себя и были тѣсно связаны с наиболѣе сильными слоями стараго правящаго класса, с помѣстным дворянством, с одной стороны, и с тяжелой индустріей, с другой. Прочныя нити от них тянулись и в Доорн, гдѣ старыи «император на покоѣ» не только подстригал розы в саду, но и лелѣял мечты о возвращеніи на дѣдовскій трон, категорически отказываясь отречься от своих прав в пользу кого-либо из внуков. Он все время вел свою «большую политику». Тиссен, — тот самый, который «платил Гитлеру», — рассказывает, что ген. Фрич и его друзья были тоже за союз с Россіей, но не скрывали, что их симпатіи склоняются в сторону Россіи не коммунистической. Если мы вспомним, что как раз в это время (конец 1937 г.), по указанію Вильгельма, был заключен «династическій брак» одного из его внуков с дочерью претендента на русскій престол, то точный смысл разсказа Тиссена для нас будет вполне ясен. Старшее поколѣніе генералов рейхсвера, настроенное монархически для Германіи, не только стояло в оппозиціи к диктатурѣ Гитлера политически, не только было связано со старыми правящими слоями общества, все болѣе и болѣе недовѣрчиво косившимися на «выскачек», которые тянулись к власти вслѣд за Гитлером, — но и совѣм по иному, отнюдь не в духѣ «реалистической политики», интерпретировало идею соглашенія с Россіей. Генералы этого типа совѣм не годились в помощники Гитлеру, — особенно на предстоявшем пути, который, — он знал, — будет изобиловать крутыми поворотами.

Браухич был не из их числа. Его ничто не связывало ни со «стальными магнатами», ни с «угольными баронами». У него, правда, было небольшое помѣстье в Восточной Пруссіи, но сам себя он ощущал не ост-эльбским юнкером, а «солдатом прежде всего и больше всего». И при всей своей старой дворянской родословной он не чувствовал себя склонным дѣлать политику во имя реликвій прошлаго. Навѣрное, в положенные сроки и он совершал свои ночные визиты в Доорн на автомобилѣ с притушенными огнями: такіе визиты были тогда обязательными для нѣмецких генералов, а Браухич без большой нужды не нарушал старых традицій. Вѣдь не преминул же он позднѣе явиться на похороны «стараго Вильгельма»... Но эти визиты для него были простой формальностью.

Реальностью была война с ея нуждами и интересами. Все было подчинено этим послѣдним. Во имя их в 1933-34 г.г. Браухич был готов пойти на разговоры с рабочими и демократами. Теперь практика убѣдила его, что никто не способен лучше и полнѣе, чѣм наци, поставить все народное хозяйство на служеніе дѣлу войны, — и он пошел к Гитлеру.

Было и еще одно обстоятельство, — личнаго порядка, — прочно привязавшее Браухича к лагерю Гитлера, — о нем мы знаем из рассказов того же Тиссена: семейная жизнь Браухича сложилась неудачно. Он не жил с женой, любил другую женщину, но не мог на ней жениться, т. к. первая жена за развод требовала большое отступное, заплатить которое Браухич не имѣл средств. Гитлер, внимательно слѣдившій за личными дѣлами своих соратников, был освѣдомлен об этом обстоятельствѣ и пришел на помощь Браухичу. Свадьба состоялась 23 сентября 1938 г., — в самый разгар натиска на Чехословакію... Это не было прямым подкупом, — но нить личной благодарности прочнѣе, чѣм золото, привязала Браухича к Гитлеру.

3.

4 февраля 1938 г. был подписан приказ о назначеніи Браухича на пост главнокомандующаго, — а уже 12-го танковая дивизія Гитлера пустилась в свой первый рейд на Вѣну. Передают, что в эти дни Браухич якобы сказал Гитлеру:

«Мой Фюрер, если вам нужна армія для поддержки шантажа путем военной демонстраціи, то вы можете рассчитывать на нас. Для болѣе серьезнаго дѣла мы не пригодны.»

Ничего «болѣе серьезнаго» не понадобилось. Англія не раскачалась: в ней еще слишком живы были иллюзіи о возможности «замирения» Гитлера. Что же касается до Франціи, — страны, болѣе других заинтересованной в недопущеніи гитлеровской экспансіи, — то возможность реакціи с ея стороны была пресѣчена очередным министерским кризисом.. Будущему историку, — к слову сказать, — придется заинтересоваться любопытным вопросом: о взаимосвязанности французских министерских кризисов с наиболѣе удачными предпріятіями Гитлера. Было ли в этом только умѣніе послѣдняго, быстро ориентировавшись в положеніи, использовать помимо него создающую обстановку? Или свою роль играло и умѣніе, нажимая нужныя кнопки, помогать «родам исторіи» и

по своей воле создавать желательную обстановку, вызывая замешательство в рядах противников?

Австрія досталась без борьбы, — а первый успѣх всегда подстрекает на дальнѣйшіе. Если так легко дают, то почему не идти «вперед и выше»?

О. Дуч, уже цитированный выше биограф Браухича, говорит, что именно послѣдній «медленно подготовил возвращеніе Германіи на прусскую линію во внѣшней политикѣ и имѣл удовольствіе в февралѣ 1939 г. открыть тайные переговоры с Москвою». В этом имѣется, — думаю, — нѣкоторое преувеличеніе роли Браухича. Даже сам состав «частнаго совѣта», созданнаго Гитлером в февралѣ 1938 г., говорит, что к этому моменту вопрос о соглашеніи с Сов. Россіей был по существу предрѣшен. Но нѣтъ сомнѣнія, что передача самаго отвѣтственнаго поста в арміи в руки такого опредѣленнаго сторонника соглашенія с Россіей, каким был Браухич, сильно помогла работѣ в этом направленіи.

Одну дополнительную черту необходимо отмѣтить: в ближайшем окруженіи Браухича в это время оказывается барон Оскар фон Нидермайер, — одна из наиболее интересных фигур нѣмецкаго штаба послѣдних десятилѣтій. Молодым офицером во время прошлой войны он выдвинулся на секретной работѣ в Турціи и Афганистанѣ: какіе то заговоры и возстанія в стилѣ полковника Лоуренса. Но по настоящему себя он нашел только в 1921 г., когда по порученію ген. фон Зекта и с подложными документами, полученными от совѣтскаго представительства, совершил поѣздку в Москву для установленія непосредственных связей и нѣмецкаго рейхсвера с совѣтским правительством. Сношенія с Россіей с тѣх пор становятся его спеціальностью, и постепенно он вырастает в главнаго эксперта нѣмецкаго военнаго министерства по дѣлам Россіи вообще, руководит соотвѣтствующим отдѣлом военной развѣдки и в то же время оказывает большое влияние на всю русскую политику райхсвера вообще. Его руководящей идеей становится мысль, что Россія и Германія, когда онѣ вмѣстѣ, неодолимы, — надо только умѣть соединить «нѣмецкій организаціонный талант с неисчерпаемыми матеріальными богатствами русской почвы» (из статьи Нидермайера в «Милитэр-Виссеншафтliche Рундschau» от декабря 1939 г.). В процессѣ именно этой работы его пути скрестились с путями Браухича. Они сблизились — и лично, и в вопросах военной политики. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго в том, что уже

вскорѣ послѣ того, как Браухич становится главнокомандующимъ всѣми сухопутными силами Райха, Нидермайер появляется в его окруженіи в качествѣ руководителя восточного отдѣла политической части штаба. Всѣ русскія дѣла переходят в его вѣдѣніе..

Ихъ обоихъ сближало и рѣзко отрицательное отношеніе къ Польшѣ. «Изъ войны противъ Польши, — говоритъ О. Дуч, — Браухич дѣлалъ в извѣстной мѣрѣ личное дѣло. Этотъ сынъ Восточной Пруссіи не прощалъ полякамъ данцигскаго корридора, который ему приходилось пересѣкать всякій разъ, когда он ѣздилъ в замокъ своихъ предковъ». «Замокъ предковъ» в примѣненіи къ имѣнію Браухича звучитъ черезчуръ громко. Но существованіе корридора, несомнѣнно, вызывало возмущеніе у «солдата» Браухича, когда он совершалъ свои служебныя поѣздки между Кенигсбергомъ и Берлиномъ. Поэтому только вполне естественно, что 28 апрѣля 1939 г., — в тотъ день, когда Гитлеръ денонсировалъ германо-польское соглашеніе, — с устъ Браухича торжествующе сорвалось:

«Наконецъ-то внѣшняя политика Райха возвращается на старый прусскій путь!»

И в послѣдующіе дни, когда Гитлеръ поставилъ передъ командованіемъ вопросъ, имѣетъ ли Германія шансы на побѣду, если ей придется пойти на общую войну, то Браухичъ весь вѣс своего вліянія бросилъ на поддержку идеи соглашенія съ Сов. Россіей. В случаѣ, если Россія будетъ в лагерѣ противниковъ Германіи, — таковъ былъ смыслъ отвѣта Браухича, — послѣдняя имѣетъ только очень немного шансовъ на побѣду; наоборотъ, в случаѣ, если Россія останется в сторонѣ отъ конфликта, шансы Германіи на успѣхъ весьма значительны (докладъ франц. посла в Берлинѣ Кулондра отъ 1 іюня 1939 г., — «Желтая Книга», стр. 180).

Именно этотъ отвѣтъ, — и очень близкій ему по смыслу отвѣтъ ген. Кейтеля, — и рѣшилъ окончательно вопросъ о соглашеніи со Сталинымъ.

1938-39 г.г., — годы кануна теперешней войны, — были годами напряженной дѣятельности Браухича. Онъ развиваетъ большую военно-политическую дѣятельность, — особенно лѣтомъ 1939 г., — в рядѣ рѣчей и приказовъ по арміи формулируя свое отношеніе къ событіямъ: «Ежегодникъ нѣмецкой арміи» на 1940 г. для лѣтнихъ мѣсяцевъ 1939 г. регистрируетъ около полутора десятковъ такого рода выступленій Браухича. Но этимъ его дѣятельность не ограничивается. Къ какой

именно войнѣ он готовится и как далеко вперед он в это время заглядывает, мы можем судить по тому факту, что в маѣ 1939 г. он совершает поѣздку в Сѣв. Африку и лично осматривает в Ливіи тѣ самыя мѣста, по которым теперь вот уже два раза прокатились взад и вперед волны то англійских наступлений, то нѣмецких контр-атак. Как на военную силу, на своих союзников итальянцев Браухич и тогда — явно — не полагался и, готовясь к войнѣ против Англии, превосходно знал, что всю тяжесть этой борьбы придется нести именно Германи.

4.

1 сентября 1939 г., в 5 час. 45 мин. утра, по сигналу, данному Гитлером и скрѣпленному Браухичем, нѣмецкія части перешли польскую границу... Прозвучали первые выстрѣлы второй міровой войны, — которой суждено стать много болѣе страшной и болѣе жестокой, чѣм была первая! В послѣдніе дни перед тѣм нѣмецкіе генералы с Браухичем во главѣ прилагали всѣ усилія, чтобы толкнуть Гитлера на крайнія рѣшенія, чтобы отрѣзать всѣ возможности компромисснаго соглашенія. Гитлер шел у них на поводу. В бесѣдѣ с Бургхардом, верховным комиссаром Лиги Націй в Данцигѣ, он жаловался, что в отличіе от прошлаго, когда всѣ совѣтники старались удержать его от крайних мѣр, теперь, — наоборот, — эти же совѣтники толкают его вперед и вперед... В ряду этих совѣтников первое мѣсто занимали генералы. Иначе и быть не могло: вѣдь теперь война была и х войной, — войной именно с той группировкой сил, о которой нѣмецкіе генералы — строители райхсвера мечтали в теченіи двух десятилѣтій: в союзѣ с Россіей и против Англии. «Боже, покарай Англию!»

В теченіи первых 22 мѣсяцев войны руководимыя Браухичем нѣмецкія арміи неизмѣнно шли от побѣды к побѣдѣ. Нѣмецкій флот, правда, не вписал блестящих страниц в свою исторію. Даже нѣмецкая авіація, — краса и гордость Третьяго Райха, — узнала, что такое поражение (в сентябрьских боях 1940 г. над Англией). Но и флотом и авіаціей командовали другіе, не Браухич. Что же касается до сухопутных армій, то ни один из противников, с которым только ни приходилось встрѣчаться нѣмцам, не выдерживал и перваго удара. Над Вислой и в Арденнах, на полях Фландрии и под Фермопилами, в горных ущельях Кара-Дага и в пустынях Ливіи, —

повсюду танковыя дивизіи Браухича проходили почти триумфальным маршем.. «Для нѣмецкаго солдата нѣтъ невозможнаго», — заносчиво выкрикивал Гитлер перед «своим» рейхстагом (4 мая 1941 г.). Он вѣрил своим словам, за ним вѣрил и весь мір...

Это был момент, когда, казалось, вплотную приблизилось осуществленіе той завѣтной мечты, которую так старательно вынашивали первые строители рейхсвера: разрушенія Британской Имперіи. Танковыя дивизіи ген. Роммеля стояли на границах Египта, прикрытых только много болѣе слабыми силами англичан. Безумно смѣлым ударом был занят Крит, — этот «пистолет, приставленный к груди Суэцкаго канала». Адмирал Дарлан во время переговоров с Герингом, — как свидѣтельствуют документы, найденные «свободными французами» в Бейрутѣ, — предоставил сирійскіе аэродромы в распоряженіе нѣмцев. Итальянскіе и нѣмецкіе агенты подняли возстаніе в Иракѣ... Суэц был взят в полу-кольцо, а паденіе Суэца, как открыто говорили государственные дѣятели Японіи, должно было явиться сигналом к распаду Британской имперіи («Н. I. Таймс» от 1 марта 1942 г.).

Одним ударом вся обстановка в корнѣ измѣнилась: танковыя дивизіи пошли не на Запад и не на Юг, — а на Восток, в безбрежные просторы Россіи. В какой обстановкѣ было принято это рѣшеніе, какая точно борьба ему предшествовала, мы пока не знаем. Мы вообще очень мало знаем о той борьбѣ, которая шла внутри ближайшаго окруженія Гитлера по вопросам веденія войны. Но и того немногаго, что нам извѣстно с полной достовѣрностью, достаточно, чтобы увѣренно говорить: это рѣшеніе о войнѣ против Россіи было принято вопреки мнѣнію руководителей нѣмецкаго штаба, — в частности против мнѣнія Браухича.

Теперь едва ли может быть сомнѣніе, что версія о «коварном нападении на Германію», которое якобы готовил Сталин и план котораго был своевременно разгадан проницательным Гитлером, совершенно не соотвѣтствует дѣйствительности. Достаточно хотя бы изрѣдка заглядывать в нѣмецкія газеты и видѣть, с каким стараніем онѣ всѣ, — явно по директивам Геббельса, — выискивают всякую мелочь, которую можно истолковать как хотя бы косвенное подтвержденіе версіи о «коварном планѣ», чтобы исчезло всякое сомнѣніе в разсчитанной преднамѣренности этой версіи. Впервые в обращеніе ее пустил сам Гитлер (в своей прокламаціи от 22 іюня

1941 г.); ее затѣм подхватила и до сих пор старательно разрабатываетъ вся огромная машина нѣмецкой пропаганды, — со вполне опредѣленной цѣлью: убѣдигь нѣмецкій народъ въ правильности рѣшенія Гитлера напасть на Россію, въ неизбѣжности для Германіи этой войны, требующей такихъ тяжелыхъ (и чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе тяжелыхъ!) жертвъ. Такъ какъ, — если бъ эта война не была начата Гитлеромъ, то Сталинъ все равно ее началъ бы черезъ нѣсколько мѣсяцевъ или даже недѣль...

В дѣйствительности дѣло обстояло совѣмъ иначе. Это не Сталинъ, а Гитлеръ уже давно вынашивалъ планъ нападенія на Россію, — вѣрнѣе, онъ никогда по существу не отказывался отъ своего стараго плана войны противъ Россіи, какъ главнаго врага. Всѣ достовѣрныя, поддающіяся об'ективной провѣркѣ данныя, которыми мы располагаемъ, съ полной несомнѣнностью показываютъ, что руководители Совѣтской Россіи выполняли всѣ условія своихъ договоровъ съ Германіей и нападеніе Гитлера для нихъ было неожиданностью, — что не могло бы имѣть мѣста, если бъ ихъ собственная мысль работала въ направленіи нападенія. Русскіе авіоны были открыто выставлены на аэродромахъ, — какъ будто для того, чтобы облегчить противнику задачу ихъ уничтоженія. Русское командованіе было настолько психологически неподготовлено къ мысли о нападеніи, что въ моментъ, когда начали приходить сообщенія о налетѣ нѣмецкихъ авіоновъ и запросы, что же дѣлать, растерянные штабы отдавали распоряженіе не стрѣлять по нѣмцамъ: предполагали, что вышло какое-то недоразумѣніе. Полная растерянность царила и въ Кремлѣ, — когда туда пришли первыя извѣстія. Только черезъ 8-9 часовъ послѣ начала нападенія и только черезъ 6 часовъ послѣ врученія нѣмецкимъ посланникомъ ноты объ объявленіи войны совѣтское правительство собралось съ духомъ оповѣстить страну о начавшейся войнѣ. Теперь мы знаемъ, — объ этомъ рассказали не только Черчилль съ Корделъ Холломъ, но и Сталинъ съ Литвиновымъ, — что Москва получила нѣсколько совершенно точныхъ предупрежденій о готовящемся нападеніи, но не хотѣла имъ вѣрить... Такъ не ведутъ себя люди, которые сами готовятъ нападеніе!

Въ этихъ условіяхъ не можетъ быть сомнѣній, что совѣтское правительство войны съ Германіей не хотѣло, что оно, — во всякомъ случаѣ на данномъ этапѣ развитія событий, — къ ней не готовилось. Теперь это кажется даже страннымъ, такъ какъ въ маѣ іюнѣ прошлаго года въ нейтральныхъ странахъ буквально воробьи

на крышах чирикали о мѣрах принимаемых нѣмцами для подготовки нападенія на Россію. Совѣтское правительство обо всем этом знало, — и тѣм не менѣе Сталин, обычно столь недоувѣрчивый в отношеніи всѣх, с кѣм ему приходится имѣть дѣло, на этот раз проявил необычную доувѣрчивость и не принялъ даже элементарных мѣр предосторожности.

Понять причины этого трудно объяснимаго поведенія нам помогают заявленія, сдѣланныя Сталиным в его бесѣдах с Гарри Хопкинсом («The American Magazine» декабрь 1941 г., стр. 114). Сталин рассказал, что нападеніе Гитлера он рассматривает, как «измѣну партнеру» и что отвѣтственным за эту измѣну он считает «не Германію, не германскій генеральный штаб» (Сталин подчеркивает, что нападеніе совершено «быть может, вопреки послѣднему!») «и не Райх, как политическое цѣлое», т. е. рѣшеніе о нападеніи Гитлер принял единолично, дѣйствуя «как бѣшеная собака».

О Сталинѣ можно быть различнаго мнѣнія, — но одно внѣ спора: он слов на вѣтер не кидает и всегда бывает хорошо освѣдомлен о вопросах, про которые говорит. Он несомнѣнно имѣл серьезныя основанія для своих заявленій, — а из них слѣдует вывод: Сталин был настолько увѣрен в позиціи руководителей нѣмецкаго генеральнаго штаба, — и, конечно, прежде всего Браухича, — что категорически снимает с них всякую отвѣтственность за нападеніе на Россію. В его глазах отвѣтственным за это нападеніе является Гитлер единолично, который дѣйствовал, «как бѣшеная собака» и вѣрнѣе всего в прямом расхожденіи («вопреки») с совѣтами нѣмецкаго штаба, с совѣтами главы послѣдняго, Браухича. Все прошлое послѣдняго говорит за правильность этого утвержденія Сталина: Браухич был за удар несомнѣнно в совѣтм другом направленіи, и не случайно зимой 1940-41 г. он открыто заявлял, что пролив, отдѣляющій Англію от континента, предоставит для нѣмецкой арміи лишь немногим болѣе трудное препятствіе, чѣм линія Мажино («Н. I. Таймс» от 25 дек. 40 г.).

Тот факт, что Браухич, — этот «спонсор совѣто-германскаго договора» (выраженіе «Пи-Эм» от 24 іюля 40 г.), — когда поход на Москву все же был начат, остался во главѣ нѣмецких армій, ни в какой мѣрѣ не противорѣчит всему вышесказанному. Нужно помнить: никакого сентиментальнаго «руссофильства» у Браухича не было и в намекѣ. Нѣмецкій націоналист чистой воды, сторонником союза с Россіей он стал исключительно потому, что такой союз ему казался

выгодным для Германіи, полезным для послѣдней. Поэтому он должен был бороться против всѣх планов похода на Москву, пока вокруг этого вопроса шла борьба, но с того момента, когда рѣшеніе было принято, когда война была уже начата, он должен был, — исходя из тѣх же мотивов, которыми руководствовался раньше, — принять в ней участіе и приложить всѣ усилія для доведения ея до такого конца, который ему казался наиболѣе отвѣчающим интересам Германіи.

Установить эти факты тѣм болѣе важно, что они помогают нам понять и дѣйствительное значеніе послѣдняго эпизода и в общей исторіи борьбы нѣмецких генералов с Гитлером, и в біографіи Браухича лично: смѣщенія послѣдняго с поста главнокомандующаго.

5.

Вокруг этого эпизода уже слагается легенда. Вѣрнѣе, цѣлый ряд легенд. Сообщенія и контр-сообщенія, — всѣ из «самых достовѣрных источников» и всѣ друг другу противорѣчающія, друг друга исключают, — уже соткали вокруг него такой сложный переплет правдоподобнаго вымысла с мало-вѣроятной правдой, что полностью разобраться в нем сможет только будущій историк. Но одно можно считать несомнѣнным уже теперь: основная линія спора Гитлера с Браухичем и на этот раз прошла по старой линіи их споров, — по вопросу об отношеніи к Россіи. Об этом с достаточной ясностью говорит сам Гитлер, — в тѣх официальных документах, которые были опубликованы в связи с этой отставкой.

Основной довод, который Гитлер приводит в оправданіе удаленія Браухича, состоит в указаніи на необходимость в обстановкѣ современной войны (исключительной по своей сложности) полного единства между политикой и стратегіей. Но принимать мѣры, — и при том такія экстраординарныя, как смѣщеніе главнокомандующаго, — становится необходимым только в тѣх случаях, когда на практикѣ такого единства нѣтъ. Из этого слѣдует безспорный вывод: между лицом, опредѣляющим политику Германіи, т. е. Гитлером, с одной стороны, и лицом, опредѣлявшим ея стратегію, т. е. Браухичем, с другой, единства не было, и Браухич, опираясь на соображенія стратегіи, требовал от Гитлера каких-то измѣненій в политикѣ.

Продолжая анализ указанных документов, мы найдем не только подтвержденіе этому общему выводу, но и аргументы для его конкретизаціи.

В своем воззваніи к арміям от 19 декабря 1941 г., Гитлер с особенной силой подчеркивает мысль, что главный враг Германіи, — «самый опасный из врагов всѣх времен», — это Россія. Основная задача нѣмецкой арміи должна состоять в уничтоженіи именно этого врага. Отсюда и частныя задачи: нѣмецкія арміи должны во что бы то ни стало «держаться и защищать до наступленія весны все, что онѣ заняли с таким неизмѣримым героизмом и тягчайшими жертвами». И в то же время «должны быть немедленно начаты приготовленія к возобновленію наступательных операцій весной, — для окончательнаго сокрушенія врага на Востокѣ».

Подчеркивать именно эти задачи в обращеніи к арміям, в связи со смѣщеніем главнокомандующаго, — это может имѣть только один смысл: разногласія между «политиком» и «стратегом», сдѣлавшія это смѣщеніе необходимым, лежали в плоскости этих вопросов. Болѣе ясно Гитлер в данной обстановкѣ и не мог сказать: несомнѣнно, что это Браухич настаивал на очищеніи тѣх или иных частей русской территоріи; несомнѣнно, что это он не считал необходимым приступать к подготовкѣ весенняго наступленія на русском фронтѣ.

Этот спор вполне вкладывается в рамки тѣх отношеній Гитлера с Браухичем, развитіе которых на протяженіи ряда лѣтъ мы только что прослѣдили.

Война против Россіи, — если брать официальные формулировки, — Германіей была начата, как «фаза в нашей общей борьбѣ против Англіи» (заявленіе представителя мин. ин. дѣл на конференціи для печати в Берлинѣ 23 іюня 1941 г.). Эту войну Германія разсматривала тогда, как «предварительное условіе для рѣшающей борьбы против Англіи» (заявленіе Геббельса в «Мюнх. Нейесте Нахрихтен», 23 августа 1941 г.). Концепція войны, в которой Англія фигурирует в качествѣ «врага № 1», т. е. концепція, внушенная рейхсвером, — в первые мѣсяцы войны против Россіи оставалась в принципѣ не поколебленной. В нее был только введен новый вспомогательный момент: Красная Армія, нависшая на Востокѣ, связывает Германію по рукам и ногам; только ликвидировавъ эту опасность, Германія сможет цѣликом отдаться своей основной задачѣ: борьбѣ против Англіи (хоро-

Б. НИКОЛАЕВСКИЙ

нии подбор соответствующих цитат из немецких газет дан в брошюре «La guerre sans issue», изданной нелегально «гдѣ-то в Европѣ» одной из французских «групп сопротивления»).

Эта концепція войны явно была отраженіем того компромисса, который в началѣ войны против Россіи был достигнут между сторонниками двух основных концепцій войны, боровшихся внутри правящих слоев гитлеровской Германіи, — между сторонниками концепціи «Майн Кампф», с одной стороны, и сторонниками старой концепціи рейхсвера, с другой. Неразрывной составной частью в эту новую компромиссную концепцію входило представленіе о походѣ на Россію, как об операциі сравнительно легкой, которая возьмет не очень много времени и сил, но зато избавит Германію от необходимости держать на русской границѣ большую армію (по послѣдним свѣдѣніям, Германія, начиная с осени 1940 г., держала на русской границѣ около 100 дивизій).

Но всѣ эти расчеты оказались неправильными: война против Россіи оказалась болѣе трудной и болѣе продолжительной, чѣм кто-либо полагал.

Несмотря на всю неожиданность перваго удара, несмотря на цѣлый ряд других благопріятных для Германіи обстоятельств, — война не привела к быстрой развязкѣ. Нѣмцы одержали ряд весьма крупных побѣд, захватили огромное количество плѣнных и снаряженія, заняли обширныя территории, — но сами понесли колоссальныя потери и в то же время не смогли ни уничтожить живую силу русской арміи, ни сломить ея волю к борьбѣ. При всей видимости побѣды, по существу это было поражение. А дальше выступил на сцену тот «закон пространства», который так пугал немецких стратегов, когда они разрабатывали проблему похода против Россіи: безкрайніе просторы послѣдней создавали возможность теоретически безконечнаго сопротивления. За извѣстными предѣлами побѣдоносное продвиженіе вперед становилось болѣе опасным для побѣдителей, чѣм для побѣждаемых. Русскіе лѣса и степи, в особенности російскіе снѣга, так пугали немецких генералов еще во время прошлой войны, что ряд молодых стратегов носился тогда с авантюристическими планами притворных отступленій немецких армій с цѣлью «вытащить русскаго медвѣдя из его берлоги», подманить к немецких границам, быть может, даже впустить на немецкую территорію. — чтобы затѣм сразу раздавить. А вѣдь продвиженіе нѣмцев вглубь Россіи во время прошлой войны не

может идти в сравненіе с их продвиженіем теперешним. Легко понять, как их тревожит это послѣднее!

В этих условіях компромиссная концепція войны должна была терпѣть крушенія. Политики и стратеги Германіи должны были сдѣлать выбор между двумя основными, старыми концепціями: между концепціей Гитлера и концепціей рейхсвера. Кто именно является врагом № 1, — Англія или Россія? Борьбу против кого слѣдует считать основной? На борьбу против кого слѣдует сосредоточить главныя силы?

Гитлер, чѣм дальше, тѣм опредѣленнѣе возвращался к своей старой концепціи «Майн Кампф». Он снова приблизил к себѣ наиболѣе крайних сторонников этой послѣдней, — во главѣ с А. Розенбергом. Именно в их руки он передал управленіе оккупированными территоріями Россіи, — и они устраивались там так, как устраивается не гость, пришедшій на время, а хозяин, облюбовавшій новое мѣсто постоянного жительства. Уже принимаются мѣры к расчисткѣ «пространства» для массовой колонизаціи из Германіи, — и придворные барды, слѣдующіе за побѣдителями, уже провозглашают, что

«грядущая колонизація Россіи составит аналогію тому, чѣм было в прошлом открытіе и эксплуатація Америки испанцами и португальцами» (статья Іоз. Виндшу в «Алерт», Ницца, 29 ноября 1941 г.).

В числѣ людей, привлеченных к управленію оккупированными областями, на одном из наиболѣе видных постов оказался Эрик Кох, — старый антагонист Браухича по Кенигсбергу 1933-35 г.г. Круг, который продѣлала карьера Браухича под Гитлером, замыкался и в отношеніи персональном!

Нѣмецкое командованіе сопротивлялось такому пониманію войны. Оно боролось и против политики Розенберга в отношеніи оккупированных областей. Оно пыталось противиться и безпредѣльному продвиженію вперед. Теперь извѣстно, что уже с сентября командованіе было за пріостановку наступленія. Эти настроенія находили сильную поддержку в позиціи, занятой Японіей, которая все настойчивѣе и настойчивѣе требовала от Германіи прекратить ненужную, — по ея мнѣнію, — войну против Россіи и сосредоточить силы на борьбу против Англіи и Америки...

6.

Такова была обстановка, как она сложилась в ноябрь 1941 г. в тѣх кругах Германіи, которые опредѣляли судьбы войны. На одной сторонѣ стоял «политик» Гитлер, требовавший все вниманіе и всѣ силы сосредоточить на доведеніи войны против Россіи до полной побѣды, до полного уничтоженія этого противника. Его поддерживала «старая гвардія» нац.-соц. партіи с Розенбергом во главѣ, настаивавшая на полном осуществленіи той программы, которая была намѣчена за полтора десятилѣтія перед тѣм в тѣсной редакціонной комнаткѣ «Фелькише Беобахтер» (статья Вильг. Вейсс в «Фельк. Беоб.» от 19 ноября 1941 г., в связи с назначеніем Розенберга намѣстником для всѣх оккупированных территорій Россіи). Против них стояло военное командованіе во главѣ со «стратегом» Браухичем, которое основной задачей войны считало разгром Англии и Америки и во имя этой основной задачи требовало приостановки военных операцій на русском фронтѣ. Оно находило в высшей степени вліятельную поддержку в Японіи, которая свое выступленіе связывала с перенесеніем и Германіей центра тяжести ея операцій на борьбу против Британской Имперіи. А в выступленіи Японіи Германія нуждалась все болѣе и болѣе, — по мѣрѣ того, как все болѣе и болѣе втягивалась в борьбу Америка...

Как развернулись событія послѣдних перед отставкою Браухича дней, мы знаем, конечно, только по отрывочным намекам: подробности мы прочтем в воспоминаніях, которые появятся уже послѣ войны. Но очень похоже, что в началѣ, — для того, чтобы добиться вступленія Японіи в войну, — Гитлер дал свое согласіе (или притворился, что дает согласіе) на осуществленіе ряда мѣропріятій, идущих в направленіи соединенных требованій японскаго и нѣмецкаго командованій. С ноября было начато снятіе значительной части дивизій с русскаго фронта: судя по ряду сообщеній, количество снятых надо опредѣлять приблизительно в 50-60% всего состава армій, дѣйствовавших на этом фронтѣ. Началось сосредоточеніе войск и авіаціи на Балканах, что имѣло вид подготовки нападенія на Суэц. Цѣликом в духѣ требованій Японіи 8 декабря, — немедленно же послѣ нападенія на Гавайи, — нѣмецкое командованіе сообщило о приостановкѣ до весны наступательных операцій на русском фронтѣ, а офи-

ціальный радіо-коментатор главнаго командованія заговорил совѣм в духѣ старой концепціи рейхсвера. «Боже, покарай Англию», — прибавляя на этот раз — и Америку! Именно в этом духѣ и была выдержана рѣчь Гитлера в рейхстагѣ 11 декабря, — в которой он об'являл войну Америкѣ..

Но это все было только кратковременным зигзагом..

14 декабря радіо из Анкары сообщило, что Гитлер выѣхал в Берхтесгаден: он нервно переутомлен и едва ли скоро вернется к руководству дѣлами, — прибавляли комментаторы. Но вернулся он скорѣе, чѣм ждали. Уже 19 декабря «Н. І. Таймс» опубликовал сообщеніе «из частнаго и в высшей степени освѣдомленнаго источника» о том, что Браухича видѣли в Вѣнѣ (часа три скорой ѣзды от Берхтесгадена!), что он ходит в штатском платьѣ и рассказывает друзьям о своей отставкѣ. Тѣм же 19-м декабря датировано (в американских газетах оно появилось 22 декабря) воззваніе Гитлера к «Солдатам Арміи и к вооруженной Отборной Гвардіи», в котором он доводит до их свѣдѣнія, что, повинувся «внутреннему голосу», он рѣшил взять в свои собственныя руки руководство всѣми военными операціями, — для того, чтобы устранить расхожденіе между политикой и стратегіей..

В этом воззваніи характерно не только содержаніе, — о чем уже была рѣчь выше. В высшей степени показателен и его тон: истерически приподнятый и демагогически заостренный против Браухича. Солдатам, которые еще вчера проливали свою кровь, «с безмѣрным героизмом и тяжелыми жертвами» отнимая у русских части их территоріи, Гитлер внушает мысль будто их вчерашній главнокомандующій хотѣл свести на нѣт всѣ результаты их борьбы! В своих воззваніях и в рѣчах Гитлер вообще охотно берет высокія ноты, взвинчивая ими и себя и своих слушателей. Но срывающійся фальцет воззванія 19 декабря даже в серіи истерических документов гитлеровской біографіи стоит почти особняком. Всего ближе к нему подходят, — по своей внутренней напряженности и какому-то испугу автора перед тѣм, что он сам говорит, — рѣчи и заявленія Гитлера от дней Мюнхенскаго путча в 1923 г., с одной стороны, и от періода расправы с Ремом и пр. в 1934 другой. Изучая эти документы и сопоставляя их с другими, можно установить совершенно точно: Гитлера особенно нервирует, даже пугает, разрыв с тѣми, кто еще вчера был очень близок к нему. Он боится пустоты, которая образуется около него, — там, гдѣ еще вчера стоял надежный союзник. Именно

в таких случаях он берет особенно высокія ноты, особенно близко подходит к состоянію полной истерики.

7.

Если так, — а все говорит за то, что дѣло обстоит именно так, — то разрыв с Браухичем испугал Гитлера так, как его не пугал ни один другой разрыв в его біографіи. В этот момент он явно чего-то боялся.. Чего? Отвѣтъ на этот вопрос мы найдем в тѣх телеграммах, которыя еще и до сих пор сообщают о новых и новых отставках генералов, о неожиданных смертях в их средѣ, об их массовых перемѣщеніях. За Браухичем, несомнѣнно, стояла вся верхушка нѣмецкого командованія, — всѣ генералы из поколѣнія строителей рейхсвера. Их ряды замѣтно порѣдѣли в 1936-38 г.г., — как раз в тѣ годы, когда Браухич так стремительно быстро взбѣгал по іерархической лѣстницѣ. Несмотря на всѣ старанія Гитлера быть бережливым к человѣческому матеріалу, который он получил в наслѣдство от старой арміи, цѣлый ряд видных строителей рейхсвера все же оказался выброшенным за борт. В послѣдніе мѣсяцы перед войной, — когда вопрос о ней явно уже был рѣшен, — Браухич приложил всѣ усилія к тому, чтобы собрать «старую гвардію» рейхсвера. Это он добился реабилитаціи Гитлером и Фрича, и Бломберга, — и сам лично отвозил им всемилостивые рескрипты «Фюрера». Ни Бломбергу, ни Фричу это не помогло: Бломберг до сих пор пребывает на покоѣ, — а Фрич погиб еще в Польшѣ, пойдя на фронт командиром небольшой артиллерійской части. Но, реабилитируя их, Браухич едва ли думал о возвращеніи их лично на командные посты. Для него важно было другое: этот его жест помогал ему возстановить внутреннее единство стараго генералитета, давшее такую сильную трещину в 1936-38 г.г. Этой цѣли он достиг, — и именно этот снова об'единенный генералитет был главной его опорой, главным его козырем в той борьбѣ, которая развертывалась в ставкѣ Гитлера. Старая «рейхсверовская партія», сплоченной когортой стояла за Браухичем во время споров о цѣлях войны и об ея стратегіи, отстаивая ту концепцію этой войны, которая была выпестована еще в «героическія времена» фон-Зекта...

Гитлер, конечно, не только видѣл и понимал значеніе всѣх этих маневров «рейхсверовской партіи», но и принимал свои контр-мѣры. Еще в самом началѣ войны, — в сутолокѣ похода на Польшу, — он провел реформу, которая имѣла огром-

ное принципиальное значеніе и против которой вожди рейхсвера так рѣшительно боролись начиная с 1938 г.: включил в состав арміи отряды партійных дружинников, — и притом включил их в качествѣ самостоятельных, организационно обособленных единиц, подчиненных особому командованію. Тот факт, что их главным командующим был Гимлер, — вождь всѣх партійных дружин и одновременно начальник Гештапо, — создавал для этих отрядов совсѣм особое положеніе и придавал реформѣ особенно большое политическое значеніе. Явно по указанію Геббельса, нѣмецкая пресса усиленно рекламировала дѣятельность этих отрядов; партія всячески их поддерживала, постепенно укрѣпляя их положеніе в арміи. Параллельно шло торопливое продвиженіе на верхи офицеров из партійной нац.-соц. молодежи, которая никогда в старом рейхсверѣ не служила, которая свою политическую карьеру начинала в рядах наци. Роммель, — дѣятельность котораго в Ливіи нацистская пресса с особенной старательностью окутывает ореолом героической легенды, — является первым представителем этого поколѣнія, получившим чин фельдмаршала...

Смысл этих мѣропріятій не вызывает сомнѣній: в предвидѣннй будущаго, Гитлер заранѣе готовит свои надежные командные кадры, которые дѣлают его менѣе зависимым от стараго генералитета. И совсѣм не случаен тот факт, что воззваніе Гитлера о смѣщеніи Браухича озаглавлено: «К солдатам арміи и к вооруженной Отборной Гвардіи»: смѣщая с команднаго поста вождя старой «рейхсверовской партіи», Гитлер впервые партійную гвардію открыто поставил рядом (хотя и послѣ!) со всею старой арміей!

Гитлер, несомнѣнно, предвидѣл неизбежность конфликта со старым генералитетом и готовился к нему, — и тѣм не менѣе (это тоже несомнѣнно!) конфликт его испугал. Повидимому, он оказался значительно болѣе острым, чѣм Гитлер ждал, — значительно болѣе глубоким...

С точки зрѣнія Гитлера главный смысл этого конфликта был в освобожденіи его от необходимости считаться со старой рейхсверовской концепціей войны, — старым опредѣленіем «врага № 1»... Удалось ли ему достигнуть этой цѣли? Послѣднія сообщенія заставляют полагать, что сопротивленіе старой «рейхсверовской партіи» все еще продолжается. С этой точки зрѣнія интересны не столько сообщенія о воз-

вращеніи Браухича на отвѣтственный пост. Эти сообщенія противорѣчивы и неопредѣленны (Браухича газеты послѣдовательно посылали то в Норвегію, то в Харьков, то на Балканы!), — и если б они даже и оказались вѣрными, они ровно ничего еще не означали бы: Браухич, несомнѣнно, первоклассный полководец, и Гитлер несомнѣнно будет очень рад имѣть его на том или ином отвѣтственном посту в качествѣ т е х н и к а военнаго дѣла, от чего Браухич по всему своему складу не сможет и не захочет отказаться.

Болѣе важны другія сообщенія: о приѣмѣ Гитлером в ставкѣ сначала фон Шуленбурга, затѣм проф. Гетча. Первый из них — долготѣнній посол в Москвѣ, один из наиболѣе извѣстных нѣмецких дипломатов — сторонник соглашенія с Россіей. Бержери, быв. посол Франціи в Москвѣ, недавно рассказывал (во французских газетах), что уже послѣ начала нѣмецко-русской войны Шуленбург говорил ему, что он жалѣет об этой войнѣ, что он дѣлал все, чтобы предупредить ее, — «но что подѣлать: фюрер меня не послушался». Еще болѣе характерна фигура О. Гетча, — профессора русской исторіи в Берлинском университетѣ, который в веймарской Германіи был наиболѣе вліятельным из консервативных политиков, обосновывавших «рейхсверовскую концепцію» отношеній Германіи к Россіи: между прочим, он был инициатором и одним из редакторов грандіозной публикаціи документов из русских архивов по исторіи войны 1914-18 г.г., которая выходила одновременно на русском (в Москвѣ) и на нѣмецком (в Кенигсбергѣ) языках. В первые годы послѣ прихода Гитлера звѣзда Гетча померкла. Он не только ушел от политики, но и вынужден был покинуть университет, причем было извѣстно, что эта опала его постигла именно за вѣрность его взглядам на задачи нѣмецкой политики в отношеніи Россіи... В этих условіях телеграммы о приѣмѣ Гитлером сначала Шуленбурга, потом Гетча приобретают вполне опредѣленный политическій смысл: сторонники «рейхсверовской концепціи» войны дѣлают послѣднія усилія отстоять свои позиціи...

Каков будет конечный итог этой борьбы, покажет ближайшее будущее. Но вся длинная эпопея отношеній между Гитлером и его генералами, из которой я приоткрыл только нѣсколько страничек, заставляет полагать, что он едва ли поддастся на уговоры. Он вѣрен основным концепціям «Mein Kampf». Если ему приходилось на время отходить от них, то

это были только тактическіе маневры. В таких маневрах он способен итти очень далеко, — много дальше, чѣм от него ждал даже Сталин! Но от своих основных идей он не отказывается, а в основѣ их лежит мысль, что «врагом № 1» для Германіи, — «самым опасным из ея врагов всѣх времен», — является именно Россія.

Б. Николаевскій.

ЯПОНІЯ И СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

Первыя сношенія между двумя тихоокеанскими сосѣдями — Соед. Штатами и Японіей — завязались в 1853 году. До этого года американцы знали о Странѣ Восходящаго Солнца только по наслышкѣ да по неудачным ранним попыткам своих мореплавателей проникнуть в эту страну.

Восемьдесят девять лѣтъ тому назад Японія, имѣвшая за собой уже долгую исторію, была феодальной страной под властью императоров (микадо), которые царствовали, но не управляли, и всесильных шогунов (феодалов).

При шогунах Японія 250 лѣтъ не знала войны. Это об'яснялось, главным образом, тѣм, что шогуны старались запереть японцев от внѣшняго міра из опасенія, что знакомство с другими народами подорвет существующій порядок. С этой цѣлью японцам запрещалось выѣзжать из страны, а иностранцы в нее не впускались. Только небольшое число голландцев еще в 17 вѣкѣ получили разрѣшеніе основать факторіи на небольшом островкѣ близ Нагасаки.

В 1853 году молодая американская республика уже вступила на путь широкаго промышленнаго прогресса. Она раскинулась по всему материку от океана до океана и от канадской границы до Мексиканскаго залива и Ріо Гранде. Союз состоял из 33 штатов (остальные штаты еще были территоріями) с населеніем в 30 милліонов человек, предприимчивых, подвижных и увѣренных в себѣ. Страна только что закончила успѣшную войну с Мексикой, расширившую ея предѣлы. Не зная того, она уже приближалась к трагической междоусобной войнѣ Сѣвера с Югом. В Калифорніи было открыто золото, в Орегонѣ — плодородныя земли, тосковавшія по плугу земледѣльца. Это привело к быстрому заселенію Дальняго Запада. Соединенные Штаты твердой ногой стали на тихо-океанском побережьи и скоро их корабли начали бороздить безбрежныя воды Великаго океана.

2.

В 1852 году американское правительство снарядило экспедицію коммодора Перри с порученіем мирным путем или, если понадобится, силой открыть Японію для внѣшняго міра. Попытки завязать отношенія с Японіей дѣлались и раньше, как американцами, так и англичанами, русскими и другими. Но японцы обстрѣливали всѣ пристававшіе к их берегам корабли, а иностранцев, успѣвших высадиться, брали в плѣн или убивали.

8 июня 1853 года Перри с четырьмя военными кораблями вошел в бухту Еддо (нынѣ Токио) и, угрожая стрѣльбой, потребовал к себѣ японскаго чиновника высшаго ранга для передачи ему письма президента Соединенных Штатов к японскому императору. Вручив письмо, которое содержало предложеніе о заключеніи торговаго договора, Перри ушел со своей эскадрой в Китай, заявив, что вернется за отвѣтом.

В 1854 Перри опять появился в водах Японіи, на этот раз уже с десятью кораблями. Японцы, впервые увидѣвъ такую большую эскадру, испугались и пошли на уступки, тѣм болѣе, что в промежуткѣ между первым и вторым прибытіем коммодора Перри на рейдѣ Нагасаки появилась русская эскадра адмирала Путятина с таким же порученіем, какое было у Перри. Японцы вынуждены были заключить торговый договор с американцами, потом с англичанами, затѣм с русскими. Замкнутая жизнь Японіи кончилась.

Произошло это далеко не безболѣзненно. Воспитанная вѣками ненависть к иностранцам давала себя знать. В странѣ часто возникали беспорядки, сопровождавшіеся убійствами иностранцев и разграбленіем их имущества. А в 1863 году американскія и французскія суда, находившіяся в проливѣ Симоносеки, подверглись обстрѣлу японских батарей. В отвѣтъ на это соединенныя эскадры англичан, американцев, голландцев и французов уничтожили японскія батареи и потопили японскія суда близ Симоносеки. Этот урок не прошел для японцев даром. **Они поняли, что западныя державы сильнѣе их и впослѣдствіи, когда они начали на скорую руку перенимать западную цивилизацію, то первым долгом обратили вниманіе на постановку военнаго дѣла. Они рѣшили стать сильными.**

3.

Миссія commodора Перри имѣла и другое важное для Японіи послѣдствіе: она ускорила паденіе ея феодальнаго строя, процесс разложенія котораго начался нѣсколько раньше. Так как торговый договор с чужестранцами был заключен шогунами, то возмущенный этим народ весь свой гнѣвъ обратил на них, смотря на императора, как на защитника старины и врага иностранцев. Императору везло: в его окруженіи было нѣсколько энергичных людей, сумѣвших использовать положеніе. Они оловѣстили народ о возстановленіи древней самодержавной власти микадо. Шогуны сперва подчинились, потом подняли возстаніе. Гражданская война длилась нѣсколько лѣт. Императорским войскам трудно было справиться с повстанцами потому, что в руках послѣдних был почти весь флот. Правительство микадо обратилось за помощію... к иностранцам. Оно заказало в Соединенных Штатах броненосец и весной 1869 года при помощи него разбило повстанцев.

Этот факт показателен: правительство микадо, поднявшее оружіе якобы против иностраннаго вліянія, не колеблясь прибѣгнуло к содѣйствію иностранцев для того, чтобы укрѣпить свою власть.

Феодальный строй был разрушен, но иностранцы не были изгнаны; наоборот, в мартѣ 1868 года микадо дал аудіенцію иностранным послам и объявил, что сношенія с иностранными державами не будут прерваны. В Японіи началась эпоха реформ, в подражаніе Европѣ и Америкѣ. Были введены почта, телеграф, пароходство. Построена желѣзная дорога (в 1872 г.) между Токио и Йокогамой. Введена обязательная прививка оспы. Отмѣнена пытка. Реформирован суд. Дарована конституція (в 1889 г.) и введено народное представительство. Но больше всего вниманія было удѣлено постановкѣ военнаго дѣла и развитію промышленности. Армія была создана по германскому образцу, флот — по англійскому, промышленность — по американскому. Страна Восходящаго Солнца быстрыми шагами выходила на мировую арену.

4.

Мирныя отношенія между Соед. Штатами и Японіей продолжались 88 лѣт. Этот отрѣзок времени может быть грубо раздѣлен на три періода: первый — от 1853 до 1905 г., второй

— от 1905 до 1931 г. и, наконец, третій — до 7 декабря 1941 года.

Первый и самый длинный період слѣдует охарактеризовать как самый дружелюбный. Соединенные Штаты принудили Японію отказаться от своей обособленности, но они не искали никаких привилегій, кромѣ торговых. Соед. Штаты — единственная из великих держав, не добывавшаяся ни концессій, ни колоній на Дальнем Востока.

Исключеніе составляют Филиппины, которыя достались Соединенным Штатам послѣ войны с Испаніей. Но Американское правительство с самаго начала обѣщало Филиппинам независимость, как только населеніе островов станет на ноги экономически и подготовится политически к самостоятельной жизни. Т. к. такое же обѣщаніе, слѣланное Вашингтоном в отношеніи другой бывшей испанской колоніи — Кубы, было в точности осуществлено, то были всѣ основанія вѣрить, что и заявленіе о Филиппинах будет исполнено. И, дѣйствительно, актом Тайдингса-МкДоффа, принятым конгрессом и подписанным президентом Рузвельтом 24 марта 1934 г., Филиппины должны были получить полную независимость через десять лѣт послѣ принятія акта, т. е. в 1944 году. Японскіе государственные дѣятели знали, что Соединенные Штаты, добываясь свободы торговли и отстаивая принцип открытых дверей, проводили политику цѣлости и неприкосновенности дальневосточных держав. И именно этой политикѣ Японія, вѣроятно, обязана, что она не подверглась участи Китая, когда она была слаба.

Со свойственной им способностью заимствовать и ассимилировать чужое, японцы многому научились у Америки. Первая японская миссія за границу (в 1860 г.) была послана в Соединенные Штаты. Корабль, отправлявшійся в Сан Франциско, взял с собой продовольствіе на все время путешествія туда и обратно, — японцы не вѣрили, что «бѣлые варвары» дадут им пищу. Позже пріѣзды японцев в Америку стали частым явленіем. Пріѣзжали дипломаты и государственные дѣятели, журналисты и студенты, торговцы и промышленники. Торговый договор, который коммодор Перри «навязал» японцам, скоро стал разсматриваться ими, как очень выгодное дѣло. Впослѣдствіи этот договор много раз пересматривался и дополнялся в соотвѣтствіи с требованіями времени и ростом торговли между обѣими странами.

Война с Китаем в 1894 году, в которой Японія добилась

уступки Формозы и Пескадорских островов, не нарушила ея дружелюбных отношеній с Соединенными Штатами. Не нарушило их и заявленіе американскаго правительства в 1900 году, что его политика на Дальнем Востоку стремится «обезпечить безопасность и мир Китаю... защитить всѣ права держав по договорам и международным законам и сохранить за міром принцип равнаго и безпристрастнаго товаро-обмѣна со всѣми частями Китайской Имперіи».

Эта декларация американскаго правительства была направлена не против Японіи, а против других западных держав, навчавших погоню на китайскими концессіями. Для Японіи эта декларация была выгодна. Страна Восходящаго Солнца еще не была достаточно сильна, чтобы приступить к осуществленію своих завоевательных планов и американская политика противодѣйствія раздѣлу Китая была ей на руку.

И даже еще в 1908 году Вашингтонское и Токийское правительства обмѣнялись нотами, в которых оба государства соглашались поддерживать «всѣми имѣющимися в их распоряженіи мирными средствами неприкосновенность и цѣлость Китая и принцип равных для всѣх народов возможностей для торговли и промышленности. Оба правительства заявили, что их политика «направлена к сохраненію статус кво» в Китаѣ.

5.

Но к 1903 году в отношеніях между Соединенными Штатами и Японіей уже намѣтился перелом. Прежней дружбы больше не было. С обѣих сторон была настороженность и недоувѣріе. Произошло все это в 1905 г., послѣ заключенія Портсмутскаго договора, которым, при американском посредничествѣ, был возстановлен мир между Россіей и Японіей. Когда в 1904 году грянула Русско-Японская война, американское общественное мнѣніе оказалось на сторонѣ Японіи. Из этого не слѣдует, конечно, что американцы считали Японію правой. Они над этим совсѣм не задумывались, но им хотѣлось видѣть пораженіе русскаго самодержавія и введеніе в Россіи демократическаго порядка. Большую роль в этих настроеніях несомнѣнно сыграли русскіе эмигранты, в частности русскіе евреи, бѣжавшіе от погромов, черты осѣдлости и других ограниченій, а также такіе американцы, как Джордж Кенан, автор книги «Сибирь и Ссылка».

Президент Теодор Рузвельт, большой государственный

человек и дальновидный политик, первый почувствовал, что Япония становится опасной, и не видел причин к ликованию по поводу русских поражений. 17 июня 1905 г., т. е. за два месяца до подписания Портсмутского договора, он в частном письме к президенту Калифорнийского университета, пророчески предсказал: «Я верю, что наша будущая история будет решаться больше в зависимости от нашего положения на Тихом океане лицом к Китаю, чем на Атлантическом океане лицом к Европе». Рузвельт уже тогда предвидел, что политика защиты целостности и неприкосновенности Китая, которую Соед. Штаты неуклонно проводили, раньше или позже приведет к столкновению с Японией, и он первый из американских президентов стал думать о мерах ее обуздания. Он потому, главным образом, и предложил свое мирное посредничество России и Японии, что опасался дальнейших японских побед и роста японских appetitов.

В самой Японии Портсмутский договор вызвал большое недовольство и даже беспорядки. Война с Россией очень дорого обошлась Японии: она потеряла 230.000 человек убитыми и разстроила свои финансы. Там считали, что мир не дал Японии того, что она должна была получить, и что произошло это главным образом из за вмешательства Соед. Штатов.

Внешние отношения между обеими странами не изменились. Их товарооборот продолжал все расти и был заключен выгодный для обеих сторон новый торговый договор. Но взаимное недоверие осталось и недоразумения стали учащаться. Обе страны почувствовали себя соперницами.

В 1907 г. Рузвельт послал флот американских dreadnoughtов в кругосветное плавание. Главная цель была продемонстрировать перед японцами морскую мощь Соед. Штатов. В этом же году в Америке вышла книга Homer Lea «The valor of ignorance», в которой автор, проведший многие годы в Китае, где он работал с Сун-Ят-Сеном, излагал (уже в то время!) японский план вторжения в Соединенные Штаты. Любопытно, что нынешнее вторжение на Лузон, главный из филиппинских островов, произошло совершенно согласно этому плану.

6.

Первая мировая война оказалась на руку Японии. Став на сторону союзников, она ограничила свое участие в ней захватом германских концессий Киао Джоу на Шандунском

полуостровѣ в Китаѣ, занятіем германских островов в Микронезіи и помощью союзникам на морѣ. Зато война сдѣлала Японію одной из главных поставщиц Антанты и способствовала ея молниеносному превращенію в промышленную страну первой величины.

Японія пыталась всячески использовать войну. В 1915 году она предъявила китайскому правительству знаменитыя двадцать одно требованіе, которыя должны были поставить Китаю в полную зависимость от Японіи. Эти требованія были в противорѣчій с соглашеніем, заключенным с Америкой в 1908 году. Соединенные Штаты запротестовали и Японія вынуждена была пойти на попятную. Однако, через два года, когда Соединенные Штаты вмѣшались в войну, они, желая имѣть свободныя руки, согласились признать, что Японія ввиду ея близости к Китаю имѣет там «особые интересы». Это признаніе было оформлено в договорѣ Лэнсинга-Иши. Позже, когда рѣшался вопрос о посылкѣ экспедиціонных отрядов в Россію, Соед. Штаты настояли на том, чтобы японскій отряд не превышал 7000 человек. Японцы ошиблись в одном нулѣ и послали 70.000. Они пробовали укрѣпиться в русском Приморьи и Забайкальѣ, но встрѣтили стойкое сопротивление. Все же основной причиной их ухода оттуда — были настойчивыя требованія Соединенных Штатов.

Таким образом, куда Японія ни оборачивалась в своих стремленіях к экспансіи, всюду она наталкивалась на противодействие Америки, в Японіи росло убѣжденіе в неизбежности войны с Соединенными Штатами.

7.

В началѣ 20-х годов положеніе на Дальнем Востокѣ настолько обострилось, что одно время военное столкновение казалось неминуемым и близким. Его удалось избѣжать, или вѣрнѣе, отсрочить благодаря созыву по инициативѣ президента Хардинга Вашингтонской конференціи, открывшейся 21 ноября 1921 г. Результаты ея были выражены в семи договорах, среди которых главныя: 1) договор о неприкосновенности Китая и 2) соглашеніе между Соединенными Штатами, Британской Имперіей, Японіей, Франціей и Италіей об ограниченіи морских вооруженій.

В основу перваго договора были положены три главных принципа: 1) сохраненіе статус-кво на Дальнем Востокѣ,

2) соблюдение прав и интересов Китая и 3) равныя для всѣх держав торговыя и промышленныя возможности в предѣлах Китая. Ограниченіе морских вооруженій выразилось в установленіи тоннажа для военных судов Соединенных Штатов, Англии и Японіи в пропорціи 5:5:3. Другими словами Соединенным Штатам и Англии разрѣшались военные флоты вмѣстимостью в 525.000 тонн для каждой страны; для Японіи — 315.000 тонн, для Франціи и Италіи по 175.000 тонн.

Внѣшне Японія проявила на Вашингтонской конференціи большую уступчивость. Она согласилась признать неприкосновенность Китая и вернуть ему Шандунскій полуостров. Она согласилась имѣть военный флот, равный только 60 проц. американскаго и англійскаго. Она пошла на расторженіе союза с Англійей, чего настойчиво добивались Соед. Штаты. Взаимѣн Японія получила только одну значительную уступку: Америка согласилась не усиливать укрѣпленій Филиппин и других американских владѣній в сѣверной части Тихаго океана. Однако, в самой Японіи результаты конференціи вызвали большое недовольство. Там к этому времени уже образовались многочисленныя тайныя офицерскія организаціи, которыя особенно негодовали по поводу того, что Японія, согласившись на неравенство флотов, признала, что она не такая великая держава, как Соединенные Штаты. Не могли в Японіи успокоиться и по поводу того, что Англія предпочла дружбу с Америкой союзу с Японіей. Ненависть к обѣим англо-саксонским странам росла.

Недовольство в Японіи разгорѣлось с новой силой, когда в 1924 году американскій конгресс ввел иммиграціонныя ограниченія для японцев. Послѣдніе жаловались, что этим их признают низшей расой. Вскорѣ, однако, все успокоилось, но только на поверхности. Броженіе внутри Японіи не только не прекращалось, но усиливалось и принимало крайнія формы. Крѣпли мечты о завоеваніях, создавались планы вторженія.

8.

Эти планы ярче всего отразились в знаменитом меморандумѣ или «завѣщаніи» Танаки, представленном императору 25 іюля 1927 года тогдашним премьером бароном Танаки. В американских кругах «завѣщаніем» Танаки заинтересовались лишь теперь и комиссія Дайса опубликовала его совѣм недавно в своем докладѣ о японском шпіонажѣ. До сих пор к

этому «завѣщанію» здѣсь относились с недоувѣріем, настолько оно казалось фантастичным. Японцы отрицали подлинность этого документа и называли его «китайской фальшивкой». Но в Китаѣ и в Россіи «завѣщаніе» получило широкое распространеніе и его достовѣрность считалась несомнѣнной. Надо отмѣтить, что завѣщаніе соотвѣтствовало взглядам барона Танаки, что японская экспансія проводилась по программѣ в ней изложенной и что достовѣрность его лучше всего подтверждается теперешними событіями.

В меморандумѣ было, между прочим, сказано: «... наступила очередь «третьей фазы» плана великаго Мейджи: овладѣнія Манчжуріей, Монголіей и Китаем. Если эта задача до сих пор (1927 г.) не выполнена, если нашему народу, промышленности, торговлѣ и финансам грозят осложненія, то вина в медлительности и недальновидности слуг вашего величества...» И дальше: послѣ овладѣнія ресурсами Китая Японія «приступит к завоеванію Китая, Архипелага, Малой Азіи, Центральной Азіи и даже Европы». И еще: «В цѣлях самосохраненія и предостереженія Китая и всего остального міра нам придется когда-нибудь сразиться с Америкой».

Все это писалось в 1927 году. Через четыре года Японія приступила к выполненію «третьей фазы плана»: она вторглась в Манчжурію. С этого момента наступает рѣзкое ухудшеніе в отношеніях между Соединенными Штатами и Японіей. Обѣ страны вступают в третій предвоенный період своих взаимоотношеній. На дальне-восточном горизонтѣ заполыхали зловѣщія молніи.

Захват Манчжуріи был предпринят в 1931 году. Годом раньше, однако, Японія участвовала еще в Лондонской конференціи, гдѣ ея представители согласились на сниженіе общаго тоннажа подводнаго флота Японіи с 77.900 тонн до 52.700 тонн. Это соглашеніе снова вызвало в Японіи очень сильныя волненія. Японским делегатам на конференціи, — морскому министру адмиралу Такара а и капитану морского генеральнаго штаба Кусуруги, по их возвращеніи из Лондона, было предложено совершить над собой харакири. Кусуруги на слѣдующій день распорол себѣ живот. Такараба вышел в отставку. вмѣстѣ с ним ушли и другіе видные представители морского командованія. Но военные круги успокоились лишь тогда, когда узнали, что осуществленіе долгожданной Манчжурской авантюры близко.

Во время японскаго вторженія в Манчжурію американ-

ским государственным секретарем был Генри Л. Стимсон, нынѣшній военный министр. Он обратился к англійскому правительству с предложением о совмѣстных мѣрах воздѣйствія на Японію в цѣлях прекращенія ея захватов. В Англии господствовали тогда «миротворческія» настроенія, и англійское правительство, как и во всѣ послѣдующіе годы, до прихода к власти Черчиля, не было способно на рѣшительныя мѣры. Предложеніе Стимсона было отвергнуто и послѣднему пришлось ограничиться отправкой ноты (7 января 1932) японскому и китайскому правительствам, в которой он заявил, что «правительство Соединенных Штатов не согласится признать положеніе, договор или соглашеніе, явившееся послѣдствіем нарушенія ранѣе подписанных договоров».

Так как никакія другія мѣры против японской агрессіи в Манчжуріи не были приняты, то Японія осмѣляла и начала готовиться к новым захватам. Обстоятельства ей благоприятствовали. В 1933 году Гитлер пришел к власти в Германіи. В Европѣ готовились большія событія, и все вниманіе держав было сосредоточено на них. Японія могла дѣйствовать совершенно безнаказанно. Своим вторженіем в Манчжурію она грубо нарушила договор девяти держав, подписанный в Вашингтонѣ в ноябрѣ 1921 года. В декабрѣ 1934 года она заявила о своем намѣреніи отказаться от морского соглашенія, подписаннаго в Вашингтонѣ в февралѣ 1922 г. В 1936 году Японія вмѣстѣ с Германіей и Италіей подписала договор против коминтерна, направленный официально против Россіи, а в дѣйствительности против Соединенных Штатов, Англии и Франціи. Заручившись союзниками, Японія рѣшила приступить к осуществленію своего дальнѣйшаго плана экспансіи.

10.

В іюль 1937 года начался пресловутый «Китайскій инцидент», началось открытое и жестокое завоеваніе Китая, сопровождавшееся нарушеніем прав Соединенных Штатов, гибелью американцев и причиненіем убытков американской собственности. Самым ярким таким нарушеніем явилось потопленіе японцами американской канонерки «Пэнай», чуть не приведшее к вооруженному конфликту. Японское правительство извинилось, возмѣстило убытки, и инцидент был улажен. Но отношенія все болѣе портились.

когда в 1937 году президент Рузвельт в рѣчи в Чикаго говорил о необходимости борьбы с «грабительскими народами», он имѣл ввиду не только Германию с Италіей, но и Японію. Когда в 1939 в Европѣ началась война, Соединенные Штаты сразу стали на сторону Англии и Франціи. Японія открыто поддерживала Германию и Италію.

В сентябрь 1940 Германия и Японія согласились оказать друг другу военную помощь, если на одну из них нападет держава, еще не участвовавшая тогда в войнѣ. Соединенные Штаты, с своей стороны, начали ограничивать вывоз в Японію военных матеріалов и, наконец, объявили о своем намѣреніи расторгнуть с ней торговый договор, существовавшій с 1910 года. Вслѣд за этим послѣдовали другія мѣры: были «заморожены» японскіе кредиты, совершенно прекращен товарообмѣн, японским судам было запрещено пользование Панамским каналом. Одновременно увеличивалась финансовая и военная помощь Китаю. Дѣло шло к развязкѣ. Попытки уладить нароставшій конфликт миром предпринимались как с одной, так и с другой стороны. Девять мѣсяцев прошли в переговорах, но расхожденія между обѣими сторонами оказались слишком глубокими, противорѣчія — слишком серьезными. Гордіев узел запутался и его можно было только разрубить.

Многіе думают, что отправкой в Вашингтон особаго посланца Сабуро Курусу в ноябрь прошлаго года Японія сдѣлала послѣднюю попытку сговориться миром. Сомнительно, чтобы это было так. Будет вѣрнѣе сказать, что миссія Курусу предвѣщала близость войны. Она должна была замаскировать послѣднія военныя приготовленія Японіи, усыпить бдительность американскаго правительства и народа, чтобы возможно успѣшнѣе нанести предательскій удар.

Это японцам удалось. Атака на Пѣрль Харбор 7 декабря 1941 пришла, как извѣстно, совершенно неожиданно и военныя власти на Гавайях были застигнуты ею врасплох. Гроза разразилась. Европейская война и китайская слились в одну, охватившую всѣ материки и океаны.

11.

Но была ли война неизбѣжна? В оправданіе Японіи указывают на ея перенаселенность, на невозможность ввиду иммиграционных ограниченій отправлять избыток населенія в другія страны, на борьбу за рынки, на недостаток в Японіи

сырья. Доля правды в этом есть. Плотность населенія в Японіи очень велика. Это, однако, не помѣшало ей увеличить свою промышленность и торговлю и поднять благосостояніе. Вот что об этом пишет японскій писатель Тацуо Кавай в своей книжкѣ «Цѣли японской экспансіи»:

«Торговая экспансія Японіи в течение четырех десятилѣтій представляет собой изумительную картину. Общая сумма импорта и экспорта за 1935 год составляла 5700 млн. іен, будучи, таким образом, в 14 раз больше таковой же в 1898 году, когда общій оборот достигал только 382 млн. іен. Национальныя сбереженія Японіи выразились в 1.148 млн. іен в 1905 году, а в 1930 году, т. е. за год до манчжурскаго инцидента, они уже достигли 10.600 млн. іен. Цифра эта продолжала ежегодно расти и к 1936 году достигла уже 16.500 млн. іен». Тот же автор приводит и другія цифры, убѣдительно доказывающія, что Японія богатѣла и что «по биржевому курсу даже Америка, самая богатая страна в мірѣ, только в 4 раза и Великобританія только приблизительно в 2 раза имѣют больше промышленнаго капитала, чѣм Японія, в то время, как Германія и Франція имѣют каждая лишь около половины суммы капиталовложенія Японіи».

Но тогда каковы же цѣли японской экспансіи? Тот же Тацуо Кавай говорит: «Безконечная терпимость и способность ассимиляціи, столь свойственныя японской націи, являются факторами безграничных возможностей ея экспансіи, которая и раскрывает міру наш древній національный идеал сдѣлать мір одной семьей». Идеал, о котором говорит Тацуо Кавай, дѣйствительно древній. Его провозгласил 2500 лѣт назад император Джиму, основатель японской имперіи, сказавшій: «мы построим нашу столицу над всѣм міром и сдѣлаем весь мір нашей имперіей».

Японцы вѣрят в эти слова и так часто повторяют их в том или ином вариантѣ, что они насквозь пропитали народное сознание.

Японская газета печатает карикатуру японки с неудовольствіем смотрящей на глобус, на котором видны Америка, Россія и Китай. «Я хочу глобус», говорит она, «на котором была бы только Японія». Это желаніе высказывают и ученые, и государственные дѣятели, и военные.

Проф. Чикао Фуджисава пишет: «Всеобщий мир может осуществиться только через владычество Японіи».

Доктор Іесуджи Шинкичи: «Человѣчество может быть

спасено от гибели, если оно признает добродѣтель нашего императора и будет жить под его властью... Теперь совершенно ясно, что спасеніе всего человѣчества является миссіей нашего императора».

Высокій японскій чиновник: «Тѣло нуждается в головѣ и народы міра тоже. Близится день, когда они будут привѣтствовать правленіе нашего императора».

Доктор Какехи: «Экспансія Японіи по всему міру и возвышеніе всего міра в страну богов дѣло нашего времени».

Таких цитат можно привести безконечное количество. Ими полна вся японская военная и общая литература. На них воспитано все молодое поколѣніе. Так же, как нѣмцы, японцы вѣрят, что сила есть право и что цѣль оправдывает средства. Они воспитаны в фанатичной преданности государству и императору. Каждый захват в прошлом только разжигал их аппетиты, потому, что их конечной цѣлью является не простое расширеніе предѣлов их имперіи, а **покореніе всего міра**. Японскій народ еще в большей степени, чѣм германскій, одержим маніей величія. Он представляет собой страшное зрѣлище цѣлаго народа, помѣшавшагося на одной безумной идеѣ и готоваго пролить море крови во имя ея осуществленія.

М. Вейнбаум.

МІР ПОСЛѢ ВОЙНЫ

Никто не может сейчас опредѣлить, когда настоящая война закончится, и всѣ силы направлены теперь на достиженіе побѣды; однако, вопрос о том, каков должен быть мір послѣ конца грандіозной борьбы, является неотложным. К миру надо готовиться так же, как надо было дѣйствовать в отношеніи войны; принимать мѣры заблаговременно; чѣм раньше, тѣм лучше. Да и для успѣшнаго веденія войны крайне важно выясненіе вопросов мирнаго строительства. Это строительство фактически является цѣлью войны, из за достижения которой люди готовы нести до конца жертвы и лишенія. Чѣм яснѣ народныя массы будут представлять себѣ, что именно придет на смѣну тѣм формам жизни, которыя вызвали кровавую бойню, тѣм привлекательнѣе будет для них картина новаго зданія, тѣм больше найдется у них выдержки, внутренней скрѣпы и мужества; а это в такой же степени, как и превосходство военнаго снаряженія, пожалуй, и в большей степени, рѣшит исход войны.

**
*

Этому вопросу о мирѣ послѣ войны посвящена в первой книгѣ «Новаго Журнала» статья М. В. Вишняка. К сожалѣнію, она во многих отношеніях может смутить читателей и оттолкнуть их от болѣе близкаго ознакомленія с нѣкоторыми предложеніями, заслуживающими серьезнаго изученія.

Автор статьи останавливается на планѣ Кларенса Стрейта «Union Now» и характеризует его, как «максималистическую установку, радикально рвущую не только с ошибочным прошлым, но и со всей исторіей и психологіей человѣка и человѣчества», как «проект, покоящийся на принципиальном отрицаніи національнаго во имя... универсальнаго, природнаго, всечеловѣческаго». М. В. Вишняк утверждает, что «Стрейт выработал и текст конституціи міроваго объединенія... с общим народным представительством для всего міра»,

и общую свою оцѣнку плана Стрейта выражает словами Герцена, ставя их эпиграфом: «... не вѣрьте праздным риторам и пустым идеалистам».

Правда, кратко касаясь, вслѣд за этим, нѣкоторых пунктов плана «Юнион Нау», автор упоминает, что первоначальный проект предполагал объединить 15 демократических государств, а нынѣ этот план предусматривает объединеніе только 7 государств; М. Вишняк даже заявляет, что план собственно сводится к руководящему положенію либо Соединенных Штатов, либо всей Сѣверной Америки.

Утверждается все это на одной и той же страницѣ и не может не вызвать недоумѣнія у внимательнаго читателя. Так кто же это — праздный ритор и пустой идеалист, фантаст, не мирящийся ни с чѣм, кромѣ объединенія всего міра, или практичный американец, стремящийся к «Рах Americana»?

Всѣ, писавшіе о книгѣ Стрейта, отзываються о ней, как о книгѣ, дѣлающей эпоху; интерес к плану во всѣх странах настолько велик, что необходимо отвѣтить на этот недоумѣнный вопрос и выяснить истинную природу мысли Стрейта.

Ученые и специалисты по вопросам государственнаго развитія міра согласно приходят к тому заключенію, что взаимная зависимость стран достигла уже той степени, когда на очередь становится вопрос об организаци, охватывающей в какой-то формѣ большинство независимых нынѣ государств. Всякій проект международнаго устройства предусматривает возможность развитія, привлеченіе новых стран в число членов, превращеніе этой организаци в концѣ концов в общемировую единую систему. Эту цѣль выставляет и Стрейт, наравнѣ с... М. В. Вишняком. Послѣдній является сторонником Лиги Націй, но, вѣдь, и Лига Націй имѣет тот же идеал объединенія всѣх государств міра. Мало того, Лига Націй не может в сущности приступить к работѣ, если с самаго начала к ней не присоединится большинство государств. Почему же М. В. Вишняк не зачисляет Вудро Вильсона в лагерь праздных риторов и пустых идеалистов? Лига Націй разнится от плана Стрейта в самом принципѣ своего построенія — на этом мы остановимся ниже, — но элемент фантастики, с точки зрѣнія М. В. Вишняка имѣется у нея такой же, как и у идеи Стрейта.

То, что отличает план «Юнион Нау» и является его самой здоровой частью, это именно его немаксимализм. Основная его посылка такова. Не ждите, — пишет Стрейт, — объедине-

нія всѣхъ стран; начните, но немедленно, Now, с созданія ядра, с объединенія государств болѣе однородныхъ по политическимъ формамъ своей жизни, с государств, которыя свѣше столѣтія не вели между собой войн, и жизни которыхъ грозитъ смертельная опасность со стороны враждебной имъ силы; объединитесь нынѣ же, и вы представите такую мощь, что никакая комбинація держав не посмѣетъ на васъ напасть. Такъ говорилъ Стрейтъ еще до войны, предлагая объединиться 15-ти демократическимъ государствамъ. Когда большинство этихъ странъ попало подъ владычество Гитлера, Стрейтъ вынужденъ былъ повторить свои доводы в измѣненной формѣ: — Если хотите скорѣе закончить побѣдоносную борьбу с державами оси, немедленно соединитесь в одно государство, вы, страны, не пріемлющія идеаловъ нацизма. Такихъ демократическихъ странъ оставалось 7, фактически это были Соединенные Штаты Америки, Англія и ея доминіоны.

Осуществимъ ли этотъ план, или нѣтъ, мы увидимъ, когда разсмотримъ, какую форму единенія онъ предусматриваетъ; во всякомъ случаѣ, Стрейтъ предлагаетъ сдѣлать опредѣленный практической шагъ, и это именно выдѣляетъ его изъ ряда другихъ проектовъ. Настояшіе «праздные риторы» не признаютъ плана Стрейта, но какъ разъ за то, что онъ нарушаетъ принципъ универсальности, рветъ с нимъ, не допускаетъ сразу в свой Союзъ всѣхъ государствъ, а дѣйствуетъ с разборомъ и отборомъ.

Приведу двѣ цитаты изъ книги Стрейта, — онѣ очень коротки. «Маятникъ міровой политической мысли качается между равно непрактичными крайностями — попытками предоставить каждой странѣ дѣйствовать, какъ заблагоразсудится, и попытками соединить всѣ народы вмѣстѣ». И затѣмъ: «Изъ за того, что универсальность должна быть конечной цѣлью всякаго плана международнаго правительства, многіе думаютъ, что чѣмъ больше членовъ будетъ с самаго начала, тѣмъ лучше. Но нельзя продвинуться далеко впередъ, когда пытаешься сдѣлать послѣдній шагъ первымъ».

По справедливости, М. В. Вишнякъ долженъ былъ бы это отмѣтить. Между его идеями и идеями Стрейта и безъ того имѣются большія противорѣчія. Они оба по разному воспринимаютъ самую сущность того, что теперь происходитъ в мірѣ и предлагаютъ разные рецепты для излѣченія болѣзни. Начнемъ с послѣднихъ.

Всякія мыслимыя объединенія нѣсколькихъ независимыхъ

государств сводятся, в концѣ концов, к двум видам. Это может быть соединеніе государства с государством в Лигу, гдѣ основной единицей является государство, какія бы формы этот союз ни принимал; их может объединять и монарх, как, на примѣр, в случаѣ с Швеціей и Норвегіей до их отдѣленія друг от друга в 1905 году, либо общее собраніе и Совѣт, как было у Лиги Націй. Или же отдѣльныя государства могут слиться в одно так, что основой является каждый отдѣльный человѣкъ, который остается гражданином своей старой страны, но становится также непосредственно также гражданином новаго Союзнаго государства. Знакомый всѣм здѣсь примѣр такого объединенія — это Соединенные Штаты Америки. Выбор может быть сдѣлан только между этими двумя системами. М. В. Вишнякъ стоит за соединеніе государств, К. Стрейт за объединеніе по американскому образцу.

Из доводов Стрейта против Лиги мы приведем только один, имѣющій историческій характер. Он утверждает, что всѣ попытки объединенія на этом принципѣ никогда не имѣли успѣха; самая важная попытка была сдѣлана Вильсоном в его Лигѣ Націй. Стрейт вполне согласен с М. В. Вишняком, что идея Лиги Націй была чрезвычайно передовой; он высоко ее цѣнит, он признает, что в ея неуспѣхѣ отвѣтственны в первую голову Соединенные Штаты Америки, в нее не вошедшіе. Но близко слѣдя за работой Лиги в теченіе ряда лѣтъ, — Стрейт в продолженіе 10 лѣтъ, до самаго конца, был представителем нью-іоркскаго «Таймс» при Лигѣ Націй, — он пришел к убѣжденію, что Лигѣ Націй присущ основной дефектъ, лежащій в самой формѣ государственной связи ея членов.

Стрейт рассмотрѣлъ также историческіе примѣры федеральных государств, гдѣ каждый гражданин является основной единицей, и убѣдился, что всѣ они оказались жизненными, здоровыми, устойчивыми. На этом принципѣ составились Швейцарія, Канада, Южная Африка. Самым замѣчательным примѣром являются, конечно, Соединенные Штаты Америки. И на их созданіи останавливается подробно Стрейт, доказывая, что и тогда перед представителями 13 штатов стояли тѣ же трудности, что и сейчас. Однако, здравый смысл основателей, их мужество и правильный организационный принцип сдѣлали то, что трудности были преодолены и государство создано.

Эта, скажем, американская система отличается тѣм, что

в союзном государствѣ федеральной компетенціи отводятся ограниченныя сферы жизни; все, что не оговорено спеціально, относится к авторитету отдѣльных Штатов, имѣющих свои законодательныя органы, правительство и суд. В вѣденіи федеральной власти состоятъ внѣшнія сношенія и таможня (внутренних пошлин не существует), военныя организаціи, денежная система и почтовые знаки. Но в этих областях федеральный орган имѣет принудительную силу и обращается ко всѣм гражданам непосредственно, а не через власть отдѣльных государств, как то бывает в Лигах.

Отмѣтим также, как чрезвычайно важное различіе между идеей Лиги Націй и планом Стрейта, то, что Лига Націй ставила фактическую ставку на маленькое независимое государство. Казалось, весь свѣтъ будет застрахован от міровой войны, вызываемой обычно великими державами, благодаря существованію небольших самостоятельных стран, заинтересованных в мирѣ; т. к. каждое государство без различія имѣло по одному, равному голосу на собраніях Лиги, то предполагалось, что уж этим одним мир обезпечен навсегда. Опыт показал ошибочность такого построенія и его опасность; стремленіе к мощным государственным образованиям сейчас очевидно и неизбѣжно. Понятно, эти об'единенія должны быть осуществлены в демократических формах, и лучшим видом является связь федеративная, дающая малым странам полную охрану от внѣшняго врага, и в то же время предоставляющая им полную свободу во всѣх почти областях их національной жизни.

Этой современной идеѣ, лучше гарантирующей мирное развитіе, чѣм об'единеніе по способу Лиги Націй, отвѣчает план Стрейта, предвидящій образованіе, наряду с Юніоном демократических стран, и других крупных государственных союзов. В этом также проявляется практичность всего проекта.

В чем будет главное препятствіе для проведенія идеи Стрейта в жизнь? Конечно, в том, что для осуществленія ея надо преодолѣть ряд очень глубоко засѣвших предрасудков, которые человек привыкъ считать чуть ли не священными. Если мы выясним основу всѣх этих, иногда весьма почтенных, доводов, эмоцій, ощущеній, то увидим, что она сводится к принципу національнаго суверенитета. Каждое государство было построено на том, что высшим благом является его независимость, не терпящая будто бы никакого ограниченія его

воли. Всякое предложеніе эту волю урѣзать разсматривалось как покушеніе на высшее благо, и гражданам внушалось, что любовь к родинѣ требует, чтобы суверенитет ея был абсолютен.

Этот принцип больше господствовать не может. Всѣ народы должны понять, и большинство их этот урок уже усвоило, что существуют вопросы, которые касаются всѣх, или ряда, государств, и которые должны рѣшаться сообща; что должны быть установлены какія-то правила, обязательныя для всѣх, хотя бы это было нѣкоторым и не по душѣ. Одним словом, національный суверенитет должен быть подчинен интересам мірового порядка.

Это, конечно, признает М. В. Вишняк, предлагающій очень далеко идущее ограниченіе прав членов в реформированной Лигѣ Націй. Поэтому нам странно было прочесть в качествахъ одного из его доводовъ противъ плана «Юніон Нау», что «люди вовсе не желаютъ отказаться отъ своего этнографически-расоваго своеобразія и кильтурнаго облика», отъ своего «стиля жизни». Неужели М. В. Вишняк дѣйствительно думает, что если Соединенные Штаты, Англія и Франція установятъ между собой федеративную связь, то пропадутъ своеобразіе ихъ облика, ихъ культурныя особенности, исчезнетъ ихъ національное искусство? Этотъ доводъ приходилось порой слышать въ кругахъ, отстаивавшихъ во всѣ вѣка національную изолированность, предпочитающихъ всегда «родную старину». Это было къ лицу боярамъ Петра I, но въ устахъ М. В. Вишняка этотъ доводъ звучитъ странно. Вслѣдъ за этимъ онъ приводитъ еще одинъ доводъ, тоже не очень убѣдительный. «Обоснованы ли предположенія, что американскій пролетаріатъ настолько проникся интернациональною солидарностью и единствомъ интересовъ рабочаго класса, что согласится на уравниеніе своего жизненнаго уровня съ положеніемъ европейскаго пролетаріата въ обнищавшей послѣ войны Европѣ? Достаточно на одинъ этотъ вопросъ отвѣтить отрицательно, чтобы взлетѣло въ воздухъ все пышное зданіе, проектируемое Стрейтомъ и другими».

Еслибы такъ легко было взорвать проектъ, поддерживаемый, какъ указываетъ самъ М. В. Вишняк, 8-ью милліонами сторонниковъ, в том числѣ выдающимися учеными и политическими дѣятелями, то отъ него давно не осталось бы и воспоминанія. Почему, в самом дѣлѣ, в результатѣ федеративнаго объединенія Соединенныхъ Штатовъ Америки с нѣкоторыми европейскими государствами долженъ понизиться жизненный уровень

ея рабочаго класса? Не всѣ экономисты, — как социалистически настроенные, так и из капиталистическаго лагеря, — хотят и вѣрят в возможность осуществленія плана Стрейта, но всѣ сходятся на том, что оно послужило бы огромным толчком к хозяйственному росту и подѣму производства в Соединенных Штатах Америки, т. к. это открыло бы перед ними новые огромные рынки. Болѣе спорным является обратный вопрос, как это отразится экономически на менѣ развитой промышленности европейскіх стран. Само собой разумѣется, что при ростѣ промышленности и расцвѣтѣ ея, положеніе рабочаго класса в Америкѣ должно не ухудшиться, а значительно улучшиться. Не опасается ли М. В. Вишняк, что в Америку хлынут европейскіе рабочіе, которые станут работать за гроши, и тѣм вызовут пониженіе уровня жизни? Надо ли однако указывать, что переѣзд в Соединенные Штаты стоит дорого, что связь людей со страной и мѣстом, гдѣ они живут, рвать не так легко и просто, и что наплыв будет не очень велик. Независимо от этого, вѣдь, без всякаго федеративнаго объединенія, путь в Соединенные Штаты из Европы был открыт для всѣх желающих свыше столѣтія, и это не мѣшало, а способствовало расцвѣту Америки. Отстаивает ли М. В. Вишняк американскую политику послѣдних десятилѣтій, когда Соединенные Штаты прекратили свободный к себѣ доступ? Мы знаем, что в Америкѣ в тѣ времена, когда еще не было ни сильных профессиональных союзов, ни коллективных договоров, была в нѣкоторых отраслях хозяйства жестокая эксплуатация пріѣзжих иностранцев; но лучшіе представители американскаго рабочаго движенія никогда не боролись против свободы вѣзда эмигрантов из Европы; они успѣшно старались организовать их, обучить, повысить требованія, поднять их до уровня американскіх рабочих. Совершенно непонятно, почему М. В. Вишняку представляется столь убѣдительным это возраженіе против плана Стрейта?

Между тѣм, эти два довода он считает достаточными для утвержденія, что «эти построенія не реальныя, а утопическія», и что «такія построенія не только утопичны или благодушны, но еще и вредны... как ослабляющія шансы на проведеніе программы менѣ цѣлостной и идеальной, но болѣе реалистичной». Они могут де «вступить в противорѣчіе и повредить реорганизаціи и реформированію Лиги Націй».

В этом и заключается главная причина недовольства М. Вишняка планом Стрейта, и здѣсь-то обнаруживается разный

подход к творящимся сейчас в мірѣ событіям. М. В. Вишняку рисуется, что происходит обычное военное столкновение, пусть в грандіозном масштабѣ, — что оно закончится, и люди-практики сядут за стол и начнут с того, на чем они остановились в момент войны — «на реорганизациі и реформированіи Лиги Націй в соответствии с опытом и уроками прошлого». Одна только существует опасность, что может появиться и повредить этой работѣ болѣе цѣлостная и идеальная программа. М. В. Вишняк считает себя при этом реалистически подходящим к вопросу о послѣвоенном устройствѣ.

Нѣтъ ли именно здѣсь «благодушной фантастики»? В мірѣ идет уже сейчас не только война, а подлинная революція; послѣ войны міру таким не бывать, каким он был до нея. Компетентныя лица единогласно утверждают, что в Англии уже теперь, задолго до конца, претерпѣла полное измѣненіе психологія всѣх классов общества, что весь уклад жизни должен там стать послѣ войны другим. Но это не ограничивается одной Англией; происходят повсюду сдвиги, настолько глубокіе, что они должны найти себѣ выраженіе в совершенно новых формах жизни. «Хоть гирише, да инше», — говорят украинцы. Не надо, чтобы было гирише, но необходимо, чтобы стало инше. Еслибы даже Лигѣ Націй не были присущи дефекты в самой основѣ ея построенія, то один факт неудачной ея попытки мірового об'единенія совершенно исключает возможность ея возрожденія.

Это покажется, очевидно, странным и нелогичным М. В. Вишняку, но в такой революціонный період, какой будет переживать мір послѣ войны, единственно практичной и реальной будет программа, имѣющая «революціонный характер». В былое время был бы выдвинут план социалистическаго интернационала. Нынѣ, однако, послѣ коммунистическаго опыта в Россіи и націонал-соціализма в Германіи и в Италіи, социалистическим костром ничего не зажжешь. И тут народныя массы хотят иного, не испробованнаго.

План Стрейта, предлагающей совершенно новую идею добровольнаго слиянія в одно государство держав, исчисляющих столѣтіями самостоятельное существованіе, лежащих по обѣ стороны океана, таит в себѣ великія возможности развитія; он заключает в себѣ не разрушительную, а конструктивную мысль и выставляет лозунг, могущій об'единить массы, которыя инстинктом поймут, что только такое органическое

сліяніе сможет преодолѣть экономическую разруху, в которой очутится мiр послѣ войны.

«Неосуществимая мечта», — говорят обычно люди, услышав впервые про «Юнион Нау». — «Ну, а кошмар, переживаемый нами, был болѣе осуществим?», — отвѣчает Стрейт.

Трудности? Конечно. Но кто может мечтать о легких рѣшеніях? Народам придется карабкаться наверх почти со дна пропасти по отвѣсной стѣнѣ. План Стрейта является тѣм крѣпким канатом, который поможет им выбраться израненными, но живыми, на твердую почву.

А. Гальперин.

Вопрос о планѣ Стрейта, при всей его важности и злободневности, не может считаться «программным» для журнала; мнѣнія об этом планѣ могут быть, конечно, разныя. В отдѣлѣ библіографіи читатель найдет возраженія М. В. Вишняка А. В. Гальперину.

Р е д .

АНТИСЕМИТИЗМ НѢМЕЦКІЙ И РУССКІЙ

Напечатанная в первом № «Новаго Журнала» статья о проблемѣ еврейства в нашей эпохѣ, принадлежащая перу Г. П. Федотова и как всегда яркая и оригинальная, ставит перед нами ребром один из самых жгучих вопросов современности, но возбуждает немало возраженій.

Спорны и соображенія Г. П. Федотова об антисемитизмѣ в Германіи и Россіи, — хотя, развивая их, он исходит из истин безспорных.

«Не углубляясь особенно в исторію антисемитизма, нельзя же, — пишет он, — забывать о том, что антисемитизм есть явленіе всеобщее и что он принимает лишь разныя формы и получает разную остроту в зависимости от мѣстных условий». Это, конечно, вѣрно, в том смыслѣ, что существует міровой антисемитизм — как существует міровой либерализм, социализм, большевизм и еще множество других міровых «измов». Г. П. Федотов прав, далѣе, когда под накомными струпами нѣмецкаго антисемитизма открывает еще болѣе глубокую и опасную болѣзнь, которую он называет «болѣзнью остраго націонализма». Нетрудно схватить н е г а т и в н у ю ея сторону: настороженную к с е н о ф о б і ю, по отношенію к которой антисемитизм есть лишь частичное, самое напряженное и уродливое из ея проявленій. Ибо это факт: гдѣ есть налицо антисемитизм, там не нужно особенно пристально вглядываться, чтобы подмѣтить и вообще аномальную наклонность относиться с угрюмою хотя бы и затаенною подозрительностью ко всѣм «чужим» народам, усматривая в них непременно либо открытых, заносчивых, либа тайных и коварных врагов своего родного народа: *populus populo lupus est*. Что же касается п о з и т и в н о й стороны, то на днѣ ея — всегда одно и то же: утробный, стяжательный, почти зоологически-племенной эгоизм. Он, однако, любит рядиться в самыя разнообразныя «облагороженныя» одѣянія: великая историческая миссія собственнаго народа, его метафизическое «призваніе» (національный мессіанизм) и другія тому подобныя «сублимированныя», употребляя фрейдовскую

терминологию, формы. В дальнѣйшем національная «избранность» может быть обоснована либо «метафизикой по ту сторону опыта» — напр., служебную ролью в божественном «планѣ» мірового историческаго развитія, либо «метафизикой по сю сторону опыта», напр., степенью мифической «расовой чистоты» или положеніем в не менѣ мифической «естественной іерархіи человѣчески рас»...

«На самом дѣлѣ, — рассуждает далѣе Г. П. Федотов, — острая вспышка антисемитизма в Германіи — явленіе, сопутствующее ея общему послѣвоенному заболѣванію, и нисколько не вытекает из ея «вѣчной» традиціи». В этой мысли уже есть зародыш уклоненія с вѣрнаго пути. О какой «вѣчной традиціи» идет рѣчь? Вѣ ч н ы х традицій вообще не существует; всѣ историческія явленія ограничены временно и пространственно. Но есть традиціи эфемерныя, наносныя и как бы случайныя, на одну краткую эпоху; и есть традиціи длительныя и устойчивыя, связанныя, слѣдовательно с какими-то общими условіями развитія. Тут-то вот, в оцѣнкѣ цѣпкости нѣмецкой антисемитской традиціи, и начинается наше разногласіе с Г. П. Федотовым по существу. «Острый націонализм» нѣмцев, — утверждаем мы, — есть очень давняя болѣзнь, и неправ Г. П. Федотов, когда истоки его усматривает «не дальше прошлаго столѣтія», в качествѣ болѣзни, «сопутствующей ея (Германіи) об'единенію, ея имперскому росту — тоже не ея личной, а общеєвропейской болѣзни XIX вѣка». «Антисемитизм пришел совѣм недавно, как явленіе, связанное с экономической болѣзнью современной Германіи: инфляціей, широким приливом евреев из Восточной Европы и т. д. Основное здѣсь — болѣзненное развитіе національнаго чувства, оскорбленнаго и ущербленнаго проигранной войной...»

Я никогда специально не занимался исторіей развитія антисемитизма в германских землях; но этого и не нужно, чтобы видѣть, насколько умаляет Г. П. Федотов длительность и размѣры занимающаго нас явленія. Для этого достаточно тѣх знаній, которые каждый из нас имѣет по долгу русскаго интеллигента, привыкшаго быть «совопросником вѣка сего» и слѣдить в вѣках «вещей дѣйства и причины»...

И пусть Г. П. Федотов за нас не опасается. Мы неспособны стать «антисемитами навыворот», подобно тому анекдотическому бѣженцу, который говорил, что он «антисемит на нѣмца». Нѣмецкій народ, как таковой, для нас вовсе не тот «горбатый», котораго «только могила исправит». В издав-

нем, упорном антисемитизмѣ нѣмцевъ есть, видимо, симптомы болѣзни хронической, то загоняемой внутрь организма и мало дающей о себѣ знать, то вдругъ вырывающейся наружу рѣзкими внѣшними симптомами; время происхожденія болѣзни теряется в глубинах исторіи; однако, она — порожденіе реальныхъ условій, которыя а priori не неустранимы. Корни болѣзни глубоки; но это не исключаетъ ни возможности ихъ выкорчевыванія, ни болѣе легкаго дѣла — смягченія симптомовъ.

Установимъ прежде всего одно: первые массовые еврейскіе погромы в Германіи имѣютъ по крайней мѣрѣ болѣе, чѣмъ осьмивѣковую давность, восходя ко временамъ крестовыхъ походовъ. Таковъ былъ, напр., обошедшійся евреямъ в семьсотъ челоувѣкъ убитыхъ Вормскій погромъ. Другой погромъ в Майнцѣ — дѣло рукъ графа Эммериха Лейнинга и майнцскаго епископа Рутгарда. Благочестивый епископъ предложилъ евреямъ вѣрное убѣжище в стѣнахъ своего замка; в эту ловушку попало около 1300 евреевъ; тогда епископъ открылъ ворота графу. При этомъ, в заботахъ о вѣрившихся ему «невѣрныхъ», епископъ предоставилъ графу освободить ихъ от источника всѣхъ соблазновъ — презрѣннаго металла, (не забывъ своихъ «комиссіонныхъ»), сам же занялся ихъ душами, предложивъ имъ спасеніе от смерти цѣною принятія христіанства. Почти всѣ отказались.

За Майнцемъ наступила очередь Кельна. Тамошній епископъ Германъ, не в примѣръ Рутгарду, сдѣлалъ искреннюю попытку спасти евреевъ от ордъ, гордо принявшихъ имя «войска Господня». Онъ предоставилъ евреямъ убѣжище в своихъ владѣніяхъ; но нѣмецкіе крестоносцы сумѣли открыть ихъ и тамъ. Расправа и здѣсь была короткая.

Считаютъ, что от мая до іюля 1096 года от руки ихъ погибло около 12 тысячъ евреевъ.

Что же тутъ дѣйствовало? Инфляція? Притокъ евреевъ с Востока (гдѣ тогда ихъ было такъ мало)? Конвульсіи военнаго пораженія? Экономическій послѣвоенный кризисъ? И можно-ли это назвать антисемитизмомъ «пришедшимъ совсѣмъ недавно»?

Но это далеко не все.

Перешагнемъ черезъ семь столѣтій. Германія переживаетъ праздникъ національнаго освобожденія: свергнуто иго Наполеона. Еще не отзвучали освободительныя лозунги эпохи. И вдругъ — нѣмецкое національное сознаніе обрушивается на принесенную в Германію наполеоновской эпохой еврейскую эмансипацію, зачинателями которой были союзникъ Наполеона,

великій герцог Баденскій и Жером Бонапарт, правитель созданнаго Наполеоном королевства Вестфальскаго...

Еврейство волнуется. Вюрцбургскій раввин Розенфельд вносит в мѣстный сейм петицію о сохраненіи за евреями угрожаемых вольностей и прав. Ее поддерживает либеральный профессор Брендель. 2-го августа в университетѣ — бурная демонстрація, переходящая в прямое нападеніе на Бренделя под аккомпанимент криков: *Нер! нер!* Этот «академическій» клич вынесен на улицу, подхвачен лавочниками и ремесленниками; происходит нападеніе на еврейскія лавки, грабеж, свалки, убійства.

Вѣсть о Вюрцбургскихъ событіяхъ быстро разлетается по всей Франконіи. *Нер! нер!* становится боевымъ кличемъ, подымающимъ людей повсюду. 12-го броженіе перебрасывается в Дармштадт, Дашиг, Мангейм и Байреит. 18-го криками: «смерть жидам!» оглашаются улицы Карльсруэ. За ними слѣдуетъ Гамбург, а затѣмъ Гейдельберг и другіе баденскіе города. Баварскій сеймъ спѣшитъ снять с очереди всѣ проэекты в духѣ хотя бы частичной еврейской эмансипаціи...

Нѣтъ, вопросъ о связи германизма и антисемитизма сложнѣе, и связь эта, к сожалѣнію, болѣе глубокая и коренная, чѣмъ Г. П. Федотову думается. Конечно, антисемитизмъ — явленіе общемироваго, а не германскаго порядка. Конечно, в Германіи онъ не «имманентное и вѣчное» свойство расы, а плод исторической кон'юнктуры; но не кон'юнктуры скоропреходящихъ годовъ или десятковъ лѣтъ, а кон'юнктуры столѣтій...

«Наци» в Германіи не пионеры антисемитизма; передъ ними — цѣлая поколѣнняя предшественниковъ. Худшіе ли они изъ всѣхъ? Можетъ быть. Впрочемъ.. они хоть «неоязычествомъ» своимъ освобождены отъ всякой связи с религіей книги Бытія, Пророковъ и Царей. А благородные рыцари «воинства Господня», запечатлѣвъ собственною кровью на оружіи своемъ имя Богоматери, чье «не-арійство» не составляло-же для нихъ тайны, — истязали и убивали ея единоплеменниковъ. А позже в городахъ Германіи питомцы университетовъ сзывали погромщиковъ своими дикими «*нер!*».

Вѣка протекали — все къ счастью стремилось,

Все в мірѣ по нѣскольку разъ измѣнилось, —
но угрюмо-злоствующій нѣмецкій антисемитизмъ переживалъ все и всѣхъ, вѣрный и равный самому себѣ.

Однако же, прерываетъ насъ Г. П. Федотовъ, «до Великой Войны Германія занимала далеко не первое мѣсто по линіи

антисемитизма» — скорѣе уж Франція с ея дѣлом Дрейфуса... Какая иллюзія! В том то и бѣда, что блестящая эпопея борьбы за невиннаго еврея-офицера против почти всего генералитета, высшей бюрократіи и банкократаіи на германской почвѣ прямо невообразима! А Россія? — вопрошает Федотов. — «Россія была странною погромом». Вѣрно. Я сам видѣл иные из них. В Москвѣ избивала студентов, как бунтовщиков против царя, московская чернь под водительством мясников и охотнорядцев. Там же позднѣе пришлось видѣть разношерстную толпу, ознаменовавшую начало первой мировой войны погромом нѣмецких магазинов. В Поволжьи, в холерные годы, при мнѣ громили докторов.. Еврейских погромов, однако, мнѣ видѣть не приходилось: не живал ни в Западном Краѣ, ни на Украинѣ. Что из этого, говорит нам Г. П. Федотов, «великоруссы не знали антисемитизма, но они не видѣли и евреев». Да как же это было не видать? Г. П. Федотов забывает, что именно в коренной Россіи, от Новгородской губерніи до области Войска Донского, широким распространѣніем пользуется секта молокан-субботников, к еврейству очень близкая. Их порой звали просто «жидами»; в дореволюціонном уголовном уложеніи они числились «жидовствующими». Позднѣе мнѣ пришлось встрѣтиться с выходцами из них, т. н. «герами», акклиматизировавшимися в Палестинѣ, вжившимися в тамошнюю еврейскую жизнь и бойко говорившими — по древне-еврейски! Помнится еще мнѣ живо один мелкій сам по себѣ, но характерный факт совсѣм из другой области: полученное одним из эсэровских комитетов деревенское письмо. «Братчики» (члены крестьянскаго революціоннаго братства) сѣтовали, что их в их глуши держат в невѣденіи о происходящих событіях, и просили, чтобы к ним прислали «студента али-бо жидка», чтоб он все им рассказал и об'яснил. Мы не мало посмѣивались над тѣм, что слово «жидок» разумѣлось крестьянами, как что-то вродѣ ученой степени, наравнѣ со «студентом».. Нѣтъ, прав Достоевскій, сам питавшій к еврейству очень сложныя и не всегда добрыя чувства: ему приходилось в казармах и острогах спать на одних нарах с разношерстным простонародьем и он свидѣтельствует: «нѣтъ в нашем простонародьи превзятая, тупая, религіозная какой-нибудь ненависти к еврею»; «нигдѣ не обижают еврея, как еврея, как ж и д а . за вѣру, за обычай». И все же — вспоминаю — перед евреями мы чувствовали себя «без вины виноватыми».

Евреев коренных, не считая субботников или «жидовствующих», в собственной Россіи было сравнительно немного. Что же? Тѣм болѣе должны были они бросаться в глаза! А затѣм: ход первой міровой войны вынес их из черты осѣдлости в общем бѣженском потокѣ и разбросал повсюду: развѣ их принимали хуже, чѣм, скажем, поляков или литовцев. А Временное Правительство — развѣ в мартѣ 1917 г. оно не покончило раз навсегда с ограниченіями еврейских прав, не встрѣтив и намека на какую-либо оппозицію в странѣ? Во время гражданской войны — мы узнали о погромах «батьки» Булак-Балаховича в Западном краѣ, Григорьева и др. атаманов на Украинѣ, но в коренной Россіи ничего подобнаго не было. Однако, вѣдь именно там наплыв таких «чужаков», казалось бы, должен был особенно рѣзать глаза. И вѣдь именно там, в Петроградѣ, Москвѣ гнѣздились вдохновители антисемитизма, и таились маленькія лабораторіи погромной литературы: мы в 1917 году ее не раз обнаруживали и конфисковывали.

Болѣзнь антисемитизма захватывала порою и в интеллигенціи людей, как Гоголь и Достоевскій. Но не Льва Толстого, который послѣ Кишиневскаго погрома нашел сильныя слова, чтобы клеймить самодержавіе и слуг его, как прямых соучастников преступленія; и не Владиміра Соловьева, — он перед смертью «молился за евреев». К нему-то тѣсно примыкает и Г. П. Федотов, по недоразумѣнію заподозрѣнный одним из сотрудников еврейскаго «Vorwärts'a» в чем-то вродѣ антисемитизма*). Вѣрующій христіанин и даже церковник, Г. Федотов философію исторіи еврейства укладывает в гегелевскую «тріаду»: тезис — олицетворенный в Моисеѣ строгій, незыблемый, застывшій Закон; антитезис — бурная стихія обличенія, критики, новаго упованія и обѣтованія Пророков; синтез — в предсказанном им Мессіи. На взгляд Г. П. Федотова, перед іудейством лишь двѣ дороги: или назад от Про-

*) Статья Г. П. Федотова, напечатанная в первой книгѣ «Новаго Журнала», вызвала много откликов в печати, от чрезвычайно лестных и одобрительных (статья М. Е. Вейнбаума в «Н. Р. Словѣ») до отрицательных. Но, разумѣется, обвиненіе в антисемитизмѣ было этому выдающемуся мыслителю и блестящему публицисту пред'явлено по недоразумѣнію. В еврейском вопросѣ Г. П. Федотов является послѣдователем Вл. Соловьева, котораго русская и русско-еврейская интеллигенція всегда глубоко почитали.

роков к мертвенной обрядности Закона; или вперед — со вѣм христіанским челоуѣчеством, с пришедшим, но евреями неузнанным Спасителем. Встает вопрос, не суждено ли ему остаться никому не нужным гласом вопіющаго в пустынь. Думаю, что да. Альтернатива — или назад от Пророков к Закону, или вперед путем сведения еврейскаго мессіанизма к христіанскому не доказана и доказана быть не может. Фактически исторія ведет все большее и большее количество евреев т р е т ь и м путем. Это — путь «секуляризації мышленія». Он не требует отрѣшенія от духовнаго Sturm und Drang'a Пророков, от их обѣтованій и прозрѣній, — но только их переноса с рельсов теологических и мистических на жизненные, наукообразные и реалистическіе. Развѣ «Челоуѣчество, как свой собственный Мессія и Избавитель» — не может быть заповѣдью заповѣдей, неумирающим кличем и пафосом практически безпредѣльнаго процесса развитія, безконечнаго подѣма, безконечной смѣны жизненных цѣлеустановок, общечелоуѣческих «рабочих гипотез», или идеалов, — все болѣе высоких утонченных и благородных? И развѣ именно еврейство не показало себя способным, быть может болѣе многих иных народов — в этом найти свое призваніе? Если в эпоху заката феодализма и рожденія современнаго индустріальнаго міра именно оно выдвинулось, как показано еще Зомбартом, в качествѣ міроваго піонера и повсемѣстнаго насадителя принципов либерально-буржуазной экономики, то в наш вѣк, вѣк сумерек капитализма, не оно ли в лицѣ своего идейнаго авангарда оказалось столь же ревностным міровым піонером начал прямо-противоположных — социалистических? Вѣдь, откуда же, как не отсюда, и черпает свою неугасимую ненависть к евреиству современный расизм и нацизм, как черпало ее и русское самодержавіе.

Все, что принимало участіе в освободительном движеніи, вся русская интеллигенція сразу сдѣлала антисемитизм об'ектом своей ненависти и презрѣнія. Надо подняться до вѣка Екатерины II, чтобы у поэта-вельможи Державина найти — не как у поэта, а как у вельможи! — первое проявленіе антисемитизма в служебном «Мнѣніи об отвращеніи в Бѣлоруссіи недостатка хлѣбнаго обузданіем корыстных промыслов евреев». Быть может, еще характернѣе, что антисемитизм Державина, продиктованный карьерными видами и подтвержденным пріятелю помѣщику ген. Зоричу, чье дѣло с евреями

ему пришлось разбирать, был не вполне искренним; в частной перепискѣ своей (с Оболяниновым) Державин писал по поводу спора помѣщиков с евреями, что по своему и помѣщики не виноваты, ибо «они от продажи вина весь доход имѣют; а и жидов в полной мѣрѣ обвинять также не должно, что они для пропитанія своего извлекают послѣдній от крестьян корм». Таков был незavidный облик, так сказать, ранняго бюрократическаго антисемитизма; идейный и литературный придут впоследствии, в царствованіе Николая I; его провозвѣстником будет Фаддей Булгарин, двойной ренегат и профессиональный литературный доносчик, перешедшій в исторію с неотлѣпимою кличкой, которою надѣлил его Пушкин: «Видок (французскій сыщик того времени) Фиглярин». В 1858 г., наканунѣ «эпохи великих реформ», журнальчик «Иллюстрація» позволил себѣ отдающую антисемитизмом выходку против двух евреев-литераторов. И вот такое незначительное происшествіе — для русской интеллигенціи оказалось событіем, вызвавшим цѣлую бурю общественнаго негодованія; она нашла себѣ исход в нашумѣвшем тогда «литературном протестѣ» за 140 подписями научных и литературных дѣятелей, и заставила самую «Иллюстрацію» прибѣгнуть к смущенным полуизвиненіям - полуоправданіям.

Лишь когда первоначальное единство «просвѣтительной» эпохи 50—60 годов смѣнилось дифференціаціей, могло намѣтиться в вопросѣ о евреях теченіе, рѣзко отдѣлившееся от общей позиціи русской интеллигенціи. То было одно крыло русскаго славянофильства. Вождь его, Ив. Аксаков в своем «Днѣ» поставил перед евреями дилемму: или признаніе Христа, или отстраненіе от всѣх постов, связанных с административной властью над христіанами. Однако, если бы не крупные украинцы Костомаров и Кулиш («мы не любим евреев, однако, за их равноправіе»), то можно было бы сказать, что никакого даже полу-сочувственнаго отклика внѣ своей фракціи Аксаков не нашел.

Узенькая струйка русскаго антисемитизма не находила даже достаточно собственных апологетов и вынуждена была питаться духовно крохами с чужого стола. На рубежѣ 60—70 годов то были «разоблаченія» еврея-ренегата Брафмана («Книга Кагала»); к концу 70-х годов ритуальный навѣт литовскаго патера Лютостанскаго; еще позднѣе — пьеса другого еврея-ренегата Литвина (Эфрона) «Сыны Израиля». Постановка ея на сценѣ вызвала, на моей памяти, повсемѣстныя враждебныя

демонстрації. В то же время из широких проектов законодательного антисемитизма (гр. Игнатьева, комиссії Готовцева), встрѣченных дружной оппозиціей общественнаго мнѣнія, проходила только ничтожная часть. Во время под'ема волны освободительнаго движенія, антисемитизм уходит за кулисы, чтобы лишь с наступленіем контр-революціи попробовать взять реванш на прогремѣвшем процессѣ Бейлиса; а постыдный провал в нем всего обвиненія принадлежит к числу блестящих страниц борьбы русской общественности с язвой антисемитизма. И однако в русской интеллигенціи всегда было живо ощущеніе почти личной вины за эту ненавидимую ею язву.

Казалось бы, гораздо болѣе зрѣлая и старая, богатая традиціями духовная культура Германіи должна была представить нам и соотвѣтственно блестящую картину выкорчевыванія антисемитских предразсудков. В жизни может восторжествовать грубая и безчеловѣчная стихія зоологическаго антисемитизма: жизнь может стать царством жестокости и насилія; но рядом с ним есть еще царство мысли, царство духа, царство нравственнаго сознанія, носителем котораго является и н т е л л и г е н ц і я страны: есть *république des lettres*. Она может быть убѣжищем гонимой в жизни свободы и гуманности.

Что же в этом смыслѣ находим мы в Германіи?

В противоположность Россіи, в догитлеровскую эпоху не столько власть культивирует антисемитизм сверху, сколько на власть давит антисемитизм снизу. На Регенбургском с'ѣздѣ за петицію о дарованіи евреям прав пассивнаго гражданства тщетно выступает — австрійскій посланник. Берлинскій полицеипрезидент пріостанавливает антисемитскую бурю, поднятую «ритуальным навітом» Граттенауэра. Еврейское равноправіе в Баденѣ и Вестфалии держится на французском протекторатѣ. Меттерних по отношенію к евреям оказывается либеральнѣе ганзейских городов-республик. В Баваріи законодательство в пользу евреев срывается враждебными демонстраціями студентов и мелкой городской буржуазіи.

А что происходило на «горных вершинах» германскаго духа? Сам великій Гете порою (в «Вильгельмѣ Мейстерѣ») отрицал возможность пріобщенія еврейства к высшей культурѣ. Фихте в книгѣ, направленной против переоцѣнки значенія французской революціи, категорически заявил, что для расширенія политических прав на евреев необходимо пред-

варительное условіе — отрѣзать им головы и приставить новыя. Список антисемитов высшей марки послѣдовательно украсили своими именами философ Фрис, гегельянец Бруно Бауэр, создатель «философіи безсознательнаго» Эдуард Гартман, «соціократ» Евгений Дюринг, — послѣдній доходил даже до крайняго антисемитскаго бѣшенства, об'являя евреев «врожденно и безповоротно испорченной расой». И сколько еще! Знаменитый министр національной обороны Штейн, талантливый социал-консерватор Рудольф фон-Майер и либеральный государствовѣд Роберт фон-Моль; крупный экономист Адольф Вагнер, и знаменитый историк Трейчке; и, наконец, гений нѣмецкой музыки Рихард Вагнер. В Германіи же был создан первый интернаціональный антисемитскій конгресс в Дрезденѣ в 1882 г.

Иногда — Г. П. Федотов в том числѣ — пробуют умалить размѣры нѣмецкаго антисемитизма указаніем на плачевное фіаско попытки знаменитаго проповѣдника Штекера создать в Германіи самостоятельную антисемитскую партію. Факт вѣрен. Но в преніях Рейхстага по еврейскому вопросу виднѣйшіе консерваторы и клерикалы проявили себя такими антисемитами, что наличность особой антисемитской партіи была бы, поистинѣ, излишнею роскошью.

Август Бебель думал отдѣлаться от нѣмецкаго антисемитизма, сведя его на «соціализм дураков». Это, может быть, было неплохо, как полемическая фраза, понимаемая *cum grano salis*. Но, принявъ ее слишком буквально, пришлось бы заключить, что середина XX вѣка ознаменована была массовым сниженіем умственных способностей нѣмецкаго народа. Но это далеко не так. Скажите, почему же его дипломатіи так долго удавалось разыгрывать самых заслуженных государственных людей Запада? Почему III рейх оказался на первом мѣстѣ, даже впереди большевиков, в техникѣ пропаганды внутри страны, информации и дезинформации во внѣ? Почему каким-то чудом удавалось ему справляться с небывалыми проблемами искусственной автаркіи, с валютной эквилибристикой, со своеобразным плановым хозяйством, и в то же время с подготовкой длительной войны — не говоря уже о поистинѣ блестящем подборѣ техников, организаторов и полководцев? Нѣтъ, недостатком ума и талантов Германія не страдала никогда: бѣда в том, что вся изощренность, вся изобрѣтательность, вся систематическая дисциплинированность этого ума поставлена нынѣ на службу античеловѣческому идеалу

самовлюбленного расизма, и что подготовлялось это не со вчерашняго дня.

Почему же именно в Германіи расцвѣл антисемитскій расизм таким пышным цвѣтом? Вот в чем вопрос. И его надо разрѣшить. Ибо без вѣрнаго діагноза болѣзни не может быть ни правильной гигиѣны ея, ни правильной терапіи.

Виктор Чернов.

МОЖНО ЛИ СПАСТИ ЕВРОПУ?

Три часа подряд я как зачарованный сидѣл у радио, слушая знакомые, но далекіе, голоса, доносившіеся как будто из другого міра, а может быть даже и с того свѣта. Между тѣм это была просто на просто передача «Травіаты» в исполненіи здѣшной оперы. Ничего особеннаго в самой передачѣ не было. Исполненіе было хорошее, но я слышал и лучше. А в музыкѣ «Травіаты», — я лично ее люблю, — во всяком случаѣ ничего магическаго нѣтъ. Но как только потекли звуки этой музыки, я сразу остро — с острой болью — почувствовал, что это европейская музыка, написанная большим европейцем на европейскій сюжет, и что все это осколки находящагося в мучительной агоніи, а может быть и уже умершаго міра. Я поймал себя на том, что я в сущности не слушаю ни музыки, ни слов, а прощаюсь — прощаюсь с чѣм-то, что ушло и больше не вернется. Это настроеніе прощанія шло не от разума, а от чувства, выливаясь из множества воспоминаній и ассоціацій, и его так же нельзя точно и исчерпывающе об'яснить, как тоску по родинѣ. Но увы! Разум не осмѣливался поднять свой голос и приказать молчать безпокойному чувству.

Это было переживаніе для меня самого совершенно неожиданное. Я просто хотѣл послушать оперу, настроеніе мое вовсе не было особенно сентиментальным, и в данный момент я нисколько не собирался размышлять о судьбѣ Европы. Почему же именно «Травіата» оказала такое дѣйствіе? Был ли это чисто случайный и чисто суб'ективный психологическій толчок, разбудившій заснувшія на время думы? Въдь можно себѣ также представить, что самое названіе здѣшной оперы «Мэтрополитен» — может напомнить о парижском метро и вызвать на поверхность цѣлую вереницу воспоминаній. Такіе психологическіе толчки ничего необычнаго, ничего исключительнаго собой не представляют. Их дѣйствіе с большим мастерством описано Прустом. Это глава психологіи, сама по себѣ очень интересна, но здѣсь она меня не интересует. И я не стал бы занимать читателя моим личным переживаніем.

если бы не думал, что в данном случаѣ фактъ психологическій помогает вскрыть и осознать трудно уловимыя и едва ли поддающіяся точному опредѣленію данныя исторической дѣйствительности. Вѣдь теперь всѣ думают об Европѣ, и Европа, несомнѣнно, является не только символом (хотя она является и символом), но и очевидной реальностью огромнаго историческаго значенія. Между тѣм опредѣленія того, что такое Европа не как условное географическое понятіе, а в ея историческом существѣ, — такого точнаго опредѣленія нѣтъ и, вѣроятно, быть не может — потому что опредѣленіе устанавливает предѣлы, а предѣлов-то в данном случаѣ и нельзя точно установить. Вот почему может оказаться полезным исходить и от психологическаго толчка, если он дает опредѣленный подход к дѣйствительности.

У меня с дѣтства осталось воспоминаніе, что у нас «Травиату» уже тогда, 40 и болѣе лѣтъ тому назад, с добродушным, снисходительным пренебреженіем называли «старушкой», хотя ей не было еще и 50 лѣтъ. Вообще Верди был композитором для «отсталых» людей. Исключеніе до нѣкоторой степени дѣлалось для его послѣдних произведеній, в которых он будто бы многому научился у Вагнера. Верди вытѣснялся у нас с одной стороны русской національной школой, а с другой титанической фигурой Вагнера. Но «закат» Верди был явленіем не только русским, но и общеевропейским. О «ренессансѣ» Верди в Европѣ, в частности в Германіи, стали говорить лишь через нѣсколько лѣтъ послѣ окончанія первой міровой войны. Властителем европейскіх дум был в теченіе десятилѣтій Вагнер, по сравненію с которым Верди представлялся — или был объявлен — композитором старомодным, сентиментальным и неглубоким. Доходили до того, что считали Верди средним талантом. В этом отношеніи справедливость сейчас возстановлена, и вряд ли кто станет теперь отрицать музыкальный гений Верди. Но этим нисколько не устраняется глубочайшая, прямо-таки полярная противоположность, которая состояла в том, казалось бы, парадоксальном фактѣ, что из этих двух европейскіх музыкальных гениев один — Верди — был большим европейцем, а другой был по существу отрицателем Европы, хотя и принадлежал к числу ея могущественных и деспотических — духовных — властителей. Если Европѣ суждено погибнуть, надгробной музыкой для нея должен быть «Реквием» Верди, а не похоронный марш Зигфриду из «Сумерков богов».

Осознавая тот психологический толчок, который я получил, слушая «Травиату», я сделал очень простое открытие: опера Верди зачаровала меня своей «человечностью», которая всегда была так же привлекательна как теперь, но никогда не замечалась, как нечто особенное и необычное. Так как мы склонны искать в театре особенное, необычное, то эта естественная для того времени человечность, гуманность музыки и оперного действия Верди стала казаться банальностью. Но «в этот век жестокий и постыдный», когда «не жить, не чувствовать удѣл завидный», когда «отрадно спать, отраднѣй камнем быть», эта же «банальная» гуманность, от которой столь многие бѣжали в нечеловѣческий мир Вагнера, является рѣдким драгоценным сокровищем. Гуманность эта не была, конечно, всеобщим явлением, и все же она была явлением естественным и обыкновенным, поскольку она стала необходимым составным элементом европейской жизни, поскольку она неразрывно связалась с этим, так конкретно жизненным и в то же время таким неуловимым и неподдающимся точному определению, феноменом «Европы».

Я не думаю, что я грѣшу идеализацией Европы. Я отлично знаю, что европейскую историю можно написать так, что она представится ужасающей непрерывной цѣпью несправедливостей и жестокостей. Материал для такой истории имѣется в огромном, необозримом изобилии, и тѣм не менѣе она была бы грубым искажением исторической действительности. Столь же незаконно было бы изображать европейское развитие только как постоянный и непрерывный процесс проникновения европейского общества гуманностью во все ее проявления. Но существование этого процесса является объективным, легко доказуемым фактом. Все мы содрогались, узнавая о пытках, возродившихся в тоталитарных государствах. А вѣдь раньше пытки, и пытки жесточайшія, были общераспространенным, совершенно нормальным для сознания большинства, явлением. Нельзя сказать, что никто ими не возмущался, что никто против них не протестовал. Но это были отдельные голоса пророков гуманности, о которых действительно можно сказать, что они были «впереди своего времени». Их время на самом дѣлѣ пришло позже, но оно пришло. Правда, тайно и незаконно, пытки на самом дѣлѣ до послѣдняго времени практиковались (и практикуются) и в цивилизованных странах, но самый факт, что онѣ практикуются тай-

но и незаконно, что онѣ являются злоупотребленіем, только подчеркивает перемѣну, происшедшую в общественном моральном сознаниі. Да вѣдь и там, гдѣ пытки вновь введены в систему, их стараются скрыать, и официально онѣ отрицаются. Лицемѣріе является «данью, которую порок платит добродѣтели». Но двѣсти или триста лѣтъ тому назад пороку этой дани платить было не нужно; теперь он вынужден ее платить.

Может быть, наиболѣе показательна и поучительна исторія рабства и его отмѣны. Указаніе на то, что рабство «отмѣнено», потому что оно стало экономически невыгодным, отнюдь не является исчерпывающим объясненіем. Конечно, против рабства было гораздо легче бороться тогда, когда оно перестало быть основой экономического благополучія. Экономическіе интересы были важной дѣйствующей силой борьбы против рабства, но не единственной и, вѣроятно, даже не первичной. Я по крайней мѣрѣ не нахожу экономического объясненія для того, почему во второй половинѣ 16-го вѣка именно во Франціи (и, поскольку я знаю, только в ней) возникло представленіе о недопустимости рабства. Послѣ открытія Америки рабство и торговля рабами быстро получили широкое распространеніе. Но когда в 1571 г. капитан одного норманскаго парохода привез «черных» в Бордо, чтобы их продавать, Парламент Бордо запретил эту торговлю, заявив в мотивировкѣ своего постановленія, что Франція, «мать свободы», не допустит никакого рабства.

Связь между экономическим развитіем и развитіем моральных представленій несомнѣнна, но во-первых она вообще гораздо сложнѣе, чѣм это выходит, если примѣнять образную, но примитивную схему отношенія между «базой» и «надстройкой», а во-вторых особенно сложен и труден вопрос о причинном характерѣ этой связи, о правильном размѣшеніи «причин» и «слѣдствій», о предѣлах, в которых вообще допустимо примѣненіе в данной области таких категорій. Во всяком случаѣ мы имѣем дѣло с таким запутанным пересѣченіем причинных рядов, что никакая общая формула, хотя бы и очень полезная для извѣстной оріентировки, не может явиться достаточной ни для объясненія прошлаго, ни для предвидѣнъя будущаго. То исключительное мѣсто, которое Европа заняла на нашей планетѣ, совершенно очевидным образом связано с исключительным характером европейскаго экономическаго развитія. «Европу» не как географическое понятіе, а как ис-

торический феномен, можно было, начиная с известного времени, определять как совокупность экономических передовых, т. е. капиталистически развитых, стран. «Европа» в этом смысле включает Соединенные Штаты, но не включает Китая с его древней и по своему высоко развитой цивилизацией. Она включает на том азиатском полуострове, который условно признается особой частью света и называется Европой, Бельгию и не включает Болгарию.

Но такое, в известных пределах, вполне законное определение в то же время является слишком узким. Представление об Европе, как о каком-то исторически данном (а не просто условном географическом) единстве гораздо старше капитализма. Европейская, Западная, цивилизация существовала задолго до того, как Европа стала капиталистической. В частности — и это чрезвычайно важный пункт — *и н т е р н а ц и о н а л и з м*, который включает в себя понятие «Европы» в отличие от отдельных наций, временами был даже более интенсивен, чем в эпоху развитого капитализма. С другой стороны, и в позднейшее время степень европейского характера той или иной страны далеко не всегда совпадала со степенью ее капиталистического развития. Италия, напр., была гораздо более «европейской», чем это могло бы вытекать из степени зрелости ее капитализма. Социализм, антагонист и спутник капитализма, есть явление глубоко европейское, и все же европейскую цивилизацию и сейчас нельзя мерить только степенью развития социалистического движения. Примѣняя критерий развития экономических форм, свойственной капитализму техники и даже развития социалистического движения, Германию до Гитлера — следовало бы считать самой «европейской» страной во всем мире. А между тем отношение Германии к Европе до конца оставалось противоречивым. Принадлежит к кругу европейской цивилизации, Германия — в разные периоды ее истории в разной степени — не переставала быть антагонистом Европы, как Вагнер, будучи владельцем европейских дум, в то же время по существу был отрицателем Европы.

Относительно будущего можно с уверенностью сказать, что характер европейской жизни будет в значительной степени определяться и экономическими условиями. Экономическое восстановление Европы является чрезвычайно важной проблемой не только потому, что создание удовлетворительных условий материального существования само по себе чрезвычайно

важно, но и потому, что от того, в какой мѣрѣ и как экономическая жизнь Европы будет восстановлена, будет так или иначе зависѣть и тот облик, который примет послѣвоенная (еще раз!) Европа. Но как в прошлом мы не находим полного и однозначного параллелизма между экономическим развитием и ростом европейской цивилизации, в особенности если брать ее не только в ея матеріальном аспектѣ, так не можем мы надѣяться на такой параллелизм и в будущем. Экономическое благополучіе, если оно будет достигнуто, навѣрное в какой-то степени повлечет за собой «смягченіе нравов», хотя бы уже потому, что у людей будет меньше непосредственных поводов быть озлобленными. Но совсѣм не обязательно, что оно даст Европѣ болѣе свободную, болѣе справедливую, болѣе гуманную жизнь. Обратное совершенно неизбѣжно в том случаѣ, если Германія побѣдит, если Гитлер установит в Европѣ свой «новый порядок» с самой рациональной экономической организацией и с примѣненіем самой совершенной техники. Но и поражение Гитлера, устраняя наиболѣе грозную опасность, не гарантирует еще возрожденія Европы, т. е. специфически «Западной» цивилизации. А если этого возрожденія не будет, то Европа, как исключительное историческое явление, погибнет. Пользуясь выраженіем Поля Валери (послѣ первой міровой войны), она перестанет быть тѣм, чѣм она представляется, и станет тѣм, что она есть, — маленьким полуостровом гигантскаго азіатскаго материка.

Но раз мы вплотную подошли к вопросу о судьбѣ Европы, о ея гибели или спасеніи, в конкретной — хотя бы и предполагаемой — исторической обстановкѣ, то становится необходимым все-же ближе подойти к опредѣленію того, что находится сейчас в смертельной опасности и может или не может быть спасено. Историческая Европа не есть однако явление, строго ограниченное в пространствѣ и во времени: отсюда и трудности опредѣленія. Ясно, что Европа представляет собой совокупность стран, принадлежащих к кругу опредѣленной цивилизации; суть значит в том, что это за цивилизация. Но самый круг этой цивилизации опять таки не имѣет устойчивых очертаній. С одной стороны, его географическіе предѣлы в ходѣ исторіи перемѣщались, а с другой стороны, в каждую данную эпоху разныя страны в разной степени принадлежали (и принадлежат) к этой цивилизации. Мы имѣем дѣло с историческим процессом, в каждую данную эпоху с

какой-то его стадией, и надо установить хотя бы некоторые, наиболее существенные, черты этого процесса.

Основные периоды хорошо известны. Каковы бы ни были ее наиболее отдаленные корни, основы европейской цивилизации были заложены в древней Греции: это был первый синтез, предельный существенный характер цивилизации. Рим стал затем главным распространителем этой цивилизации, внеся в нее и свою долю — организацию, порядок, систему нормирования человеческих отношений. Но Рим же стал посредником для распространения и другого течения, вливавшегося в общую форму с греко-латинской культурой и постепенно превратившагося в могучий поток христианства. Не только римское завоевание «латинизировало» подчиненные ему народы, но и варвары-завоеватели попадали под влияние римской, т. е. греко-латинской цивилизации, а затем постепенно принимали христианство. Круг цивилизации не был только европейским в географическом смысле. Уже греческая цивилизация распространялась за пределы географической Европы и даже больше, чем в самой Европе. Создавалась цивилизация европейски-средиземноморская. Затем произошел в высшей степени важный сдвиг. Ислам и его завоевания, охватившие отчасти и самую Европу, отрезали основную европейскую массу от Средиземного моря, результатом чего явилась экономическая и социальная перестройка Европы, характеризующая период средневековья, и основным проявлением которой был европейский феодализм. Наряду с множеством моментов раз'единения и вопреки всем антагонизмам, европейская общность продолжала существовать, воплощаясь в единой европейской — римско-католической — церкви и в едином — латинском — языке этой церкви и всех образованных кругов Европы. Но если Рим опять был церковным и в значительной мере политическим центром Европы, то ее духовный научный — в смысле того времени — центр создался в Париже, в его университете, в Сорбонне (я пользуюсь здесь формулировкой бельгийского писателя Дюмон-Вильден в его «Эволюция европейского духа»). Сорбонна, куда стекались католические богословы из разных стран, была в самом точном смысле слова центром международным. Реформация, разорвавшая единство церкви, сопровождавшаяся множеством гражданских (религиозных) и международных, опустошительных войн, должна была, казалось бы, разрушить европейскую общность. Но силы центростремительные оказались непре-

одолимыми, и 18-ый вѣкъ оказался даже в известном смыслѣ высшим пунктом европейскаго интернаціонализма. Это был період «французской Европы, когда французская цивилизація была общепризнанным (оспариваемым только немногими отдѣльными личностями) образцом, когда французскій языкъ былъ международнымъ языкомъ образованныхъ классовъ, такъ что онъ сталъ «своимъ» языкомъ даже наиболѣе знаменитаго прусскаго короля.

Останавливаясь пока здѣсь, постараюсь теперь выдѣлить нѣкоторыя черты, характеризующія сущность такъ ограниченной цивилизаціи, ея характерныя свойства. Мы прежде всего съ самаго ея зарожденія в Греціи наталкиваемся на ея замѣчательную способность и з л у ч е н і я , т. е. распространенія независимо отъ матеріальнаго завоеванія. Маленькая Греція приобрѣла огромнѣйшее культурное значеніе. Римъ, правда, распространилъ свою цивилизацію завоеваніями, но позднѣе ея воспринимали и пришлые завоеватели. Выросшее изъ маленькой секты в универсальную — для европейскаго міра — религію, христіанство проникало глубже, чѣмъ римскій мечъ, на который оно опиралось. Не отрицая роли насилія, нельзя не придаватьъ величайшаго значенія этой способности излученія, в особенности подчеркиваемой примѣромъ Ислама, имѣвшаго гигантскую завоевательную энергію, но лишеннаго подобной силы излученія и обращенія (в «правую» вѣру), котораго онъ часто и не хотѣлъ. Центры этого европейскаго излученія не всегда были строго локализованы, но в общемъ они различаются достаточно отчетливо. Сначала это Греція и в особенности Афины. Затѣмъ Римъ, берущій на себя и роль распространителя какъ возникшихъ в Греціи началъ цивилизаціи, такъ и христіанства. Римъ становится центромъ сначала единой церкви, затѣмъ церкви по преимуществу европейской. Духовный центръ возникаетъ уже в средніе вѣка во Франціи, но я согласенъ, что степень его значенія можетъ быть предметомъ спора. Несмотря на то, что корни Ренэсанса нѣкоторыми изслѣдователями весьма убѣдительно устанавливаются за предѣлами Италіи, все же Италія безспорно явилась центромъ его излученія. Затѣмъ замѣчательную способность излученія проявляетъ Франція, которая отчасти играла по отношенію къ другимъ странамъ, в особенности по отношенію къ Англіи, роль не лишенную сходства съ той, которую Римъ игралъ по отношенію къ Греціи. В 18-омъ вѣкѣ, напр., во Франціи было очень сильно вліяніе англійскихъ политическихъ идей, но и эти идеи полу-

чили универсальное значение главным образом в амальгамѣ с французским идейным вкладом и как идеи французскія. Вряд ли надо упоминать о силѣ излученія Французской Революціи.

Я стараюсь здѣсь не об'яснять, а описывать, почти что только констатировать. Об'яснять, может быть, вообще еще слишком рано, так как очень многое еще не достаточно изслѣдовано. Но во всяком случаѣ можно, думается мнѣ, показать, что наиболѣе поддается излученію то, что не так (не в такой степени или не в такой формѣ) связано со средой своего возникновенія, чтобы не быть доступным воспріятію в другой средѣ. Это наиболѣе очевидно для христіанства. Это была религія, ставшая религіей «открытой», т. е. не связанной с какой-либо опредѣленной средой (страной, народом, кастой), религіей без локальных божеств, а с одним Богом для всѣх, т. е. не только для избраннаго народа, а для всего человѣчества, для всѣх общественных классов, для всѣх народностей, для всѣх рас. Римская система организаціи, в происхожденіи своем обусловленная римской средой, в существѣ своем отличалась гибкостью, приспособляемостью к различным условіям, сохраняя при этом все же важные элементы единства. И римское гражданство опять-таки не было в болѣе позднее время связано с господствующей общиной. Сам чрезвычайно воспримчивый к инородным влияніям, Рим и в экспансію свою вносил черты, пріемлемыя широкому кругу народностей и даже им привлекательныя. Страшнѣе всего подходить к Греціи: ея сіяніе через вѣка и тысячелѣтія, то почти исчезающее, то вновь ослѣпительно оживавшее, представляется почти-что чудом. Ограничусь немногими замѣчаниями. Греція дала міру идеи чистаго знанія и чистой красоты. Среди гениальных мыслей Поля Валери имѣется разсужденіе о греческой геометріи как об изумительно стройном логическом знаніи, построенном в е г о ц ѣ л о м внѣ всякой связи с какими-либо практическими цѣлями. Конечно, начатки геометріи возникали в связи с практическими задачами, возникли и внѣ Греціи и задолго до созданія греческой геометріи. Но не было никакой особой потребности, никакой внѣшней необходимости создавать это логическое знаніе, колоссальное практическое значеніе котораго цѣликом обнаружилось лишь через двѣ тысячи лѣт. Это чистое знаніе, отвлеченное от конкретных практических форм и от каких-либо особых, связанных с опредѣленной средой форм мышленія,

знание о б щ е ч е л о в ѣ ч е с к о е , легло в основу европейской науки и за нѣсколько послѣдних столѣтій обусловило ея изумительное развитіе. О «чистой красотѣ» еще труднѣе сказать в немногих словах. Укажу только на значеніе, которое получило в греческой скульптурѣ человѣческое тѣло, о б н а ж е н н о е ч е л о в ѣ ч е с к о е т ѣ л о . Независимо от значенія, которое получило представленіе о «канонѣ», о нормально развитом, образцовом, идеальном тѣлѣ, мы имѣем вѣдь тот простой фактъ, что обнаженное тѣло менѣе связано с конкретной средой, чѣм тѣло закрытое одеждой, свойственной определенной мѣстности и определенной эпохѣ. Не говоря уже о божествах, изображенных в нечеловѣческом или получеловѣческом видѣ, изображенія Будды с их одѣянiями, их атрибутами и их позами, понятны лишь представителям той же религіи, а греческое божество это прежде всего ч е л о в ѣ ч е с к о е т ѣ л о . (Этот примѣръ намѣчает уже и элементы противорѣчiя, присущія европейской цивилизаціи, так как в этом отношеніи христіанство было антагонистом эллинской традіи).

Мы уже имѣем достаточно элементов для цивилизаціи, в п р и н ц и п ѣ о б щ е ч е л о в ѣ ч е с к о й . И понятія ч е л о в ѣ ч е с т в а и ч е л о в ѣ ч н о с т и для этой цивилизаціи по существу тождественны. В латинском и в производных от него языках оба эти понятія обозначаются одним и тѣм же словом (причем во французском языкѣ то же слово во множественном числѣ обозначает классическое образованіе — словоупотребленіе перешедшее и в англійскій язык). Русскій и нѣмецкій языки имѣют разныя слова общаго корня для ч е л о в ѣ ч е с т в а и ч е л о в ѣ ч н о с т и , а кромѣ того имѣют слова, производныя от латинскаго, у нас — гуманность. Какковы бы ни были различныя конкретныя проявленія, часто даже прямо-таки безчеловѣчныя, христіанство вошло в формированіе европейской цивилизаціи, как религія гуманности, религія любви. Был ли Христос исторической личностью. — этот вопрос нам здѣсь совершенно безразличен. Слова его были сказаны, и говорят они не только: «Люби ближняго твоего, как самого себя», но и «Любите врагов ваших и молитесь за преслѣдующих вас»*). Апостол Павел утверждает абсолютное равенство всѣх людей: «Все равно, грекъ или еврей, обрѣзанный или необрѣзанный, варвар, скиф, раб или

*) Я пользуюсь одним из новѣйших англійских переводов.

рожденный свободным, но Христос есть все и он во всех нас». Из этих корней вытекала и пробивала себѣ путь идея самоцѣнности человеческой личности и на ней выросшіе идеалы равенства, свободы, демократіи и социализма. Вот то наследіе европейской цивилизациі, против котораго поднялись теперь враждебныя силы, казалось бы, уже преодоленныя или загнанныя в темные подвалы некультурности.

Возвратимся к прерванной нити, схематически намѣчавшей вѣхи развитія. Мы остановились на порогѣ 19-го столѣтія. Переступив через этот порог, мы наблюдаем два доминирующихъ факта: безпримѣрное экономическое развитіе в капиталистической формѣ и то развитіе, которое называется «пробужденіемъ національностей». Уже этихъ двухъ моментовъ достаточно, чтобы обогатить поле европейской исторіи большимъ количествомъ противорѣчій. Капитализмъ уплотняетъ экономическія связи, усиливаетъ хозяйственную взаимозависимость и обостряетъ какъ соперничество, конкуренцію (борьба по «горизонтальной» линіи) внутри классов, такъ и борьбу между классами, в особенности по «вертикальной линіи» — труда противъ капитала. Онъ подымаетъ общій уровень благосостоянія, создаетъ небывалыя до сихъ поръ условія для распространенія цивилизациі и в то же время вноситъ в жизнь новую струю холодной безчеловѣчности. В области международныхъ отношеній опять-таки наблюдается и растушая солидарность на основѣ международнаго раздѣленія труда и обостреніе соперничества. Образованіе національныхъ государствъ разрушаетъ коренящійся в глубокихъ традиціяхъ интернационализмъ предшествовавшаго вѣка, но в то же время всяческой междугосударственный обмѣнъ, в том числѣ и интеллектуальный, становится все болѣе интенсивнымъ. Многовѣковой процессъ продолжается, порядокъ, правовыя нормы начинаютъ какъ будто господствовать и в области международныхъ отношеній. Послѣ Наполеоновскихъ войнъ для главной массы «Европы», в которую все больше включается и Россія, наступаетъ столѣтній миръ, прерванный лишь конфликтами 1848-49 г.г. и относительно короткимъ періодомъ войнъ от Крымской до Франко-Германской. Но в этомъ періодѣ войнъ уже заключалось страшное предвѣстіе: за исключеніемъ Крымской, онѣ велись под знакомъ націонализма. Самоопредѣленіе національностей было программой, выведенной изъ демократическихъ принциповъ, но программа эта оказалась насыщенной взрывчатымъ матеріаломъ. Выражая приматъ національнаго, всякій націонализмъ, безъ сомнѣнія,

зключает в себѣ антагонизм по отношенію к признанію примата общечеловѣчности, которое заложено в самих корнях европейской цивилизаціи. Но противорѣчіе это не должно обязательно стать трагическим, неизбѣжно приводящим к борьбѣ не на жизнь, а на смерть между обоими началами. Оно, если не устраняется логически, то может быть очень смягчено фактически, если само представление о націи отличается извѣстной гибкостью и чуждо чрезмѣрной исключительности, если нація воспринимается как нѣчто исторически возникшее и воплощающее традицію, сложившуюся в рамках общаго развитія данной цивилизаціи (концепція в особенности французская). В період своей борьбы за національное самоопредѣленіе итальянскіе патриоты, как правило, не ошущали конфликта между своим націонализмом и общечеловѣческими идеалами. На памятникѣ Гарибальди в Сиракузах я читал надпись: «Гражданину человѣчества. Твое отечество — весь мір». И вновь я слышу звуки музыки Верди. Они говорят о том, что национализм не обязательно исключает человѣчность, что можно быть большим патриотом и в то же время большим европейцем. Ибо именно такимъ был Верди, итальянскій патриот, типичный представитель эпохи національнаго возрожденія (Рисорджименто) и создатель типичнѣйшей итальянской музыки, но в то же время исключительно восприимчивый ко всему европейскому, к искусству всѣх европейских стран. И музыка его, такая итальянская, в то же время так проникнута человѣчностью, что она является по крайней мѣрѣ общеевропейской, т. е. в принципѣ общечеловѣческой, доступной каждому, кто научится понимать европейскій музыкальный язык. И развѣ этот итальянскій патриот подбирал спеціально итальянскіе сюжеты для своих опер? Нѣтъ, он вдохновлялся всѣм европейским искусством. Он писал оперы на драмы Шекспира («Макбет», «Отелло», «Фальстаф»), Шиллера («Разбойники», «Луиза Миллер», т. е. «Коварство и Любовь», «Дон-Карлос»), Гюго («Риголетто», т. е. «Король забавляется», и «Эрнани»). Дюма сына («Травиата» т. е. «Дама с камеліями») и т. д. При этом он находился вполне в традиціи европейской музыки. Ограничусь лишь немногими примѣрами. Моцарт написал оперу на «Свадьбу Фигаро» француза Бомарше. Россини написал «Севильскій Цырюльник» на другую комедію того же Бомарше, и «Вильгельма Телля» на драму Шиллера. Шуман написал музыку к байроновскому «Манфреду». Мендельсон — музыку к Шекспировскому «Сну

в лѣтнюю ночь». Берліоз вдохновлялся Шекспиром («Ромео и Джульетта», «Беатриса и Бенедикт»), Гете («Осужденіе Фауста»), Байроном («Гарольд в Италіи»). Гуно пишет оперы на сюжеты Гете («Фауст») и Шекспира («Ромео и Джульетта»). Тома и Маснэ также вдохновляются Гете, первый в своей «Миньон», второй в «Вертеръ». Тома кромѣ того написал «Гамлета». Итальянцы Пуччини и Леонковало пишут оперы на парижскій сюжет «Жизни богемы» Мюрже. Я опускаю чрезвычайно многое. Но назову еще нашего Чайковскаго с его оперой на щиллеровскую драму («Орлеанская Дѣва»), с его музыкой к «Гамлету», его увертюрой «Ромео и Джульетты» и его симфоническими поэмами на темы Шекспира («Буря») и Данте («Франческа да Римини»). Какой интернаціонализм! И самым интернаціональным из всѣх был Верди, итальянскій патриот эпохи возбужденнаго, воинствующаго націонализма. Крик «да здравствует Верди!» был кличем итальянских патриотов под австрійским господством, потому что В.Е.Р.Д.И. это инициалы «Виктора Эммануила (re d'Italia)». А теперь тот же крик мог бы звучать, как «Да здравствует Европа!», потому что Верди, бывший не лично, а духовно и исторически, антагонистом Вагнера, представлял Европу против.. Против кого или чего? Дюмон-Вильден писал еще до войны по поводу конфликта между Лютером и гуманистом Эразмом: «Вѣчный діалог между Калибаном и Просперо, между Германіей и Европой». Антитеза «Вагнер и Верди» продолжает этот діалог.

Было бы смѣшно отрицать величіе Вагнеровскаго генія. Я многим в его музыкѣ способен наслаждаться. Но в общем прежнее увлеченіе им смѣнилось внутренним отталкиваніем — и это произошло еще задолго до того, как Вагнер был превозглашен музыкальным пророком Гитлеровской Германіи. Отталкивает н е г у м а н н ы й характер его творчества, совпадающій с погруженіем в г е р м а н и з м . Не в том дѣло, что гуманность вообще чужда нѣмцам. Как и всѣ другіе, и нѣмцы бывают всякіе. К тому же они вошли в круг европейской цивилизації. И все же они во многом представляют в этом кругу инородное тѣло, так как в Германіи сохранились и оказались чрезвычайно живучими традиціи, коренящіяся в совѣм другом, в извѣстном смыслѣ д о е в р о п е й с к о м кругѣ мыслей и чувств. Они гораздо меньше проникнуты приматом человѣчности и — несмотря на Канта — признаніем самоцѣнности человѣческой личности, как они и в гораздо

меньшей степени восприняли цивилизационный принцип «мѣры в вещах» — также очень существенный, греческаго происхожденія принцип европейской и в особенности французской цивилизации. Германскій націонализм встал в рѣзкое противорѣчїе к общечеловѣческому началу, его понятїе націи прїобрѣло характер чрезвычайной исключительности, и, стремясь обосновать себя биологически, отрывая германскую націю от націй другой «крови», превратился в расизм. Самый страшный враг Европы — ея внутреннїй враг. Германїя страшна для Европы даже тѣм, что и она внесла богатый вклад в европейскую цивилизацию и стала ея неустранимой составной частью, но больше всего, конечно, тѣм, что она представляет собой величайшую матеріальную силу. Как говорил Валери послѣ той войны, «Германїя страшна и своими добродѣтелями, потому что, чтобы совершить так много зла, как она совершила, недостаточно порока, а необходимы и большїя добродѣтели». Исходящая от Германїи дикая безчеловѣчность, к сожалѣнїю, заразительна, потому что она существует потенциально, в большей или меньшей степени, и не в одной Германїи. Есть люди, которые готовы спасти Европу — европейскую цивилизацию! — физическим истребленїем побѣжденных нѣмцев. Таким актом Европа окончателно завершила бы гибель своей цивилизациі, убив именно то, что надо спасти. Во время войны и во имя побѣды мы вынуждены радоваться истребленїю нѣмцев — и тѣм не менѣе это есть великое несчастье — болѣе того: великое множество несчастїй, множество отдаленных человѣческих драм, которыя так же страшны, когда онѣ происходят в Германїи, как если онѣ происходят в других странах. Чтобы дѣйствительно возстановить Европу, нужно будет избѣжать, не говоря уже о безумной идеѣ истребленїя миллионов нѣмцев, всѣх таких мѣр, которыя привели бы к еще большему одичанїю тѣх, кто их проводит. Европу надо возстановливать в духѣ европейской цивилизациі, а не методами, которыя противорѣчат основам этой цивилизациі и стало быть еще болѣе подрывают эти, уже глубоко потрясенныя основы.

Я, конечно, не отрицаю — совсѣм наоборот! — полезности подготовительной работы по вопросам будущей организациі Европы, ея политических форм, будущей европейской экономики. Но в том, написанном на эту тему, что я видѣл до сих пор, я не находил подлинной жизненности, не встрѣчал убѣдительнаго, конкретнаго предвидѣнїя того, что должна будет представлять собой Европа непосредственно послѣ

окончания войны. А вѣдь какое безмѣрное количество ненавистей в ней накапливается, какой огромный матеріал для послѣвоеннаго «сведенія счетов»! И не будем ослѣплять себя тѣм, что в центрѣ ненависти стоит Германія. Разнузданный — и во множествѣ случаев вполне законный — гнѣвъ будет направлен не только против Германіи и ея союзников. Ярость будет кипѣть и внутри отдѣльных стран и в отношеніи между различными странами и различными народностями. Сколько будет сводиться разных «сосѣдских» счетов — в особенности в восточной части Европы и в особенности послѣ того, как общій для большинства враг уже будет сокрушен. Я не вѣрю в то, что эту грозящую подняться стихію гнѣва, ненависти и самаго подлиннаго варварства можно будет обуздать и успокоить хотя бы самыми разумными организационными мѣрами политическаго или экономическаго характера. Часто приходится слышать: надо перевоспитать Германію. Это, конечно, вѣрно и чрезвычайно важно. Но надо будет перевоспитать и всѣх других. А для воспитанія нужны воспитывающія силы. Кто будет, кто сможет воспитывать? В ком сохранится достаточно европейскаго духа, и у кого может быть достаточная сила излученія, этого жизненнаго нерва европейской цивилизаціи? Америка все же слишком далека от Европы, и не только географически. Англія еще надолго будет занята устройством своих отношеній со своей имперіей, и по всей своей исторической традиціи она может вліять на Европу, как дѣйственная сила, лишь имѣя достаточно сильнаго, в данном случаѣ не только политическаго, но и духовнаго союзника.

Мой вывод уже заключается в основном содержаніи этой статьи и уже почти что высказан. Он совпадает с тѣм, что выдающийся англійскій публицист писал в январьской книжкѣ издаваемаго им еженедѣльника, «19-ый вѣкъ и послѣ»: «Сомнительно, можно ли без Франціи выиграть войну, но уже навѣрное нельзя выиграть без нея мира». Всѣ мои размышленія приводят меня к выводу, что без Франціи спасти Европу нельзя, но что Европу можно спасти, если можно будет возстановить Францію, как страну глубже всѣх проникнутую европейским гуманизмом и как могучій центр излученія европейской цивилизаціи. Только Франція была бы в состояніи заражать послѣвоенную Европу духом гуманности и свободолюбія. Никакой мистики в этом нѣтъ, это — вывод из историческаго опыта. Вопрос о судьбѣ Европы есть в значитель-

ной мѣрѣ вопрос о судьбѣ Франціи, которая побѣждена и унижена, выдана с головой внутренней реакціи, находится в состояніи глубокой деморализаціи. Если силы внутренняго сопротивленія Франціи не окажутся достаточно сильными, чтобы помѣшать потерять свой европейскій облик, тогда и Европа потеряет свою самую важную опору, и я очень боюсь, что будущее Европы станет тогда безнадежным. Но пока надежда еще существует. В глубокой темнотѣ, окутавшей Францію, еще не перестали вспыхивать яркіе проблески ея европейскаго духа. В пеплѣ еще таетя огонь. Это должна учитывать политика союзных стран, Англии и Америки, по отношенію к Франціи. Нельзя опредѣлять эту политику только на основаніи расчетов непосредственной военной выгоды, к тому же часто очень проблематической. К Франціи надо относиться не только как к бывшему и измѣнившему, но и как к будущему и вѣрному союзнику. Потому что союз больших демократических держав будет послѣ этой войны абсолютной необходимостью, а его европейской частью будут Англія и Франція, причем послѣдняя явится необходимым полем приложенія сил этого союза на европейском континентѣ. Без этого никакая международная организація не будет имѣть серьезнаго и, главное, прочнаго значенія. Если мнѣ напомнят Священный Союз, то я отвѣчу: да, необходим Священный Союз демократій. И этот Союз должен будет играть роль не только охраняющую и организующую, но и цивилизующую, для которой Франція совершенно незамѣнима. В мою задачу не входит обсуждать какую-либо конкретную программу новой международной организаціи, первая проблема которой будет состоять в том, что дѣлать с Германіей. Частности будут зависеть от того или иного рѣшенія этой проблемы. Для меня важно было указать, чего п р и н ц и п і а л ь н о нельзя дѣлать. Такой же вопрос, как, напр., можно ли и нужно ли будет Германію расчлениить, в плоскости моего разсмотрѣнія являются вопросом не принципа, а цѣлесообразности. Тут мы все же остаемся при задачах чрезвычайно важных, но по существу отрицательных. Великая положительная задача, это — возстановленіе Европы как цивилизаціи, лучи которой распространяются во всем мѣрѣ. Побѣда над Германіей и материальное обезвреженье Германіи являются необходимыми предпосылками спасенія Европы, но его залогом может быть лишь сохраненіе духа европейской цивилизаціи там, гдѣ он еще жив — как бы он ни был сейчас подавлен и унижен.

Ю. Денике.

МЫСЛИ ОБ ИСКУССТВѢ АКТЕРА

Нужно ли говорить о методѣ в театрѣ? На первый взгляд может казаться, что в театрѣ можно обойтись без таких трудностей, как «метод». Конечно, в театральном дѣлѣ можно обойтись без метода, и его отсутствіе долго остается незамѣченным. Но я убѣжден, что в концѣ концов потребность в нем явится. Вѣдь порой мы сами отдаем себѣ отчет в том, что профессія актера есть единственная профессія, в которой нѣтъ техники. Всѣ имѣют свою технику и стараются развить ее — художники, музыканты, танцоры. И лишь актеры играют так, как им хочется, как играется... Здѣсь кроется какое-то недоразумѣніе. Сознаніе того, что профессія актера не имѣет техники, сдѣлалось для меня настолько мучительным, что я попытался опредѣлить, какого рода техника могла бы быть у актера. И я убѣдился, что профессія актера труднѣе других профессій потому, что в нашем распоряженіи имѣется лишь один инструмент, одно орудіе, при помощи котораго мы можем передать слушателям наши чувства, идеи и переживанія — наше собственное тѣло. Положеніе это неоспоримо и вѣрно — до ужаса! Я пользуюсь этим же самым тѣлом в своей повседневной жизни, пользуюсь своим голосом для самых разнообразных цѣлей — для спора, для об'ясненія в любви, даже для того, чтобы проявить свое безразличіе. Необходимо признать — как бы ни показалось это странным, что зрителям и слушателям я ничего не могу дать, кромѣ себя самого. Мнѣ трудно оправдать использованіе того, чѣм я больше всего злоупотребляю в своей жизни, т. е. своего собственного тѣла. А между тѣм именно при его помощи я должен каждый вечер показывать что-то новое, интересное и привлекательное. Мое собственное тѣло, мои собственные эмоціи, мой собственный голос... В моем распоряженіи нѣтъ ничего, кромѣ меня самого.

Если у актера нѣтъ ни музыкальнаго инструмента, ни краски, ни кисти, он должен в себѣ самом найти технику особаго рода. И лишь в том случаѣ, если мы приблизимся к тому скрытому и тайному, что в нас есть — лишь в том случаѣ у нас может появиться надежда на овладѣніе этой техникой.

Послѣ долгихъ лѣтъ поисковъ я пришелъ къ убѣжденію, что все необходимое для этой техники въ насъ уже имѣется — если мы рождены актерами. Другими словами — мы должны лишь выяснить, какія именно стороны нашей природы мы должны выдѣлать, подчеркнуть, развить: когда мы это сдѣлаемъ, вся техника актера окажется на лицо. Когда мы находимся на сценѣ, когда мы плохо или хорошо играемъ, мы используемъ нашу собственную природу, но используемъ хаотически, какъ попало, причемъ однѣ стороны нашей природы мѣшаются другимъ, перемѣшиваются другъ съ другомъ и пр. Но всѣ элементы нашей природы здѣсь — на лицо: намъ необходимо заняться ея анатоміей, раздѣлить всѣ элементы на отдѣльныя категоріи, заняться развитіемъ каждой изъ нихъ, создать нѣчто стройное изъ хаоса.

Три вещи слѣдуетъ прежде всего выдѣлать и отличать одну отъ другой: 1 — наше тѣло, 2 — нашъ голосъ, 3 — наши эмоціи. Сначала мнѣ казалось, что каждое изъ нихъ необходимо разсматривать отдѣльно и пытаться развить самостоятельно. Но на опытѣ я здѣсь пришелъ къ неожиданнымъ выводамъ. Попробуемъ начать съ нашего тѣла. Когда мы приступаемъ къ чисто физическимъ упражненіямъ, мы постепенно переходимъ въ область, гдѣ обрѣтаются наши эмоціи. Постепенно окажется, что наше тѣло является ничѣмъ инымъ, какъ воплощеніемъ нашей психики — тѣмъ, какъ эта психика выражена во всемъ нашемъ тѣлѣ, въ нашихъ рукахъ, нашихъ пальцахъ, нашихъ глазахъ... Наше тѣло, такимъ образомъ, становится частью нашей психики — переживаніе интересное и весьма неожиданное. Мы вдругъ начинаемъ понимать, что то самое тѣло, которымъ мы въ теченіе всего дня пользуемся для разныхъ цѣлей, становится другимъ, когда мы на сценѣ, потому что на сценѣ оно превращается въ конденсированную, кристаллизованную психику. Если во мнѣ что-то есть, это «что-то» превращается въ мои руки, щеки, глаза и пр.

Переходимъ къ другому, къ той области, гдѣ, какъ будто, нѣтъ тѣла, а одна лишь психика — къ нашимъ идеямъ, чувствамъ, волеизъявленіямъ. Попробуемъ развить ихъ, не уходя изъ области психики. Внезапно мы открываетъ, что и здѣсь мы имѣемъ дѣло съ нашимъ тѣломъ. Если я несчастливъ, несчастнымъ чувствуетъ себя мое тѣло, мое лицо, мои руки, каждая частица моего физическаго существа. Наше тѣло и наша психика встрѣчаются гдѣ-то въ подсознательной области нашей творческой души — и тогда мы приходимъ къ заключенію, что на сценѣ, при

встрѣчѣ этихъ двухъ моментовъ в ихъ высочайшемъ проявленіи, мы должны устранить нѣчто, что профессіи актера мѣшаетъ: я имѣю в виду нашъ разумокъ, пытающійся вмѣшаться в наши эмоціи, в функціи нашего тѣла, в наше искусство. Я имѣю при этомъ в виду разумокъ, какъ сухое логическое мышленіе. Подъ разумкомъ я разумѣю холодный, сухой, аналитическій подходъ къ вещамъ, которыя этимъ путемъ не могутъ быть постигнуты. Но это та единственная трудность, которую мы должны устранить. Исключивъ на нѣкоторое время разумокъ, мы должны до- вѣриться функціямъ нашего тѣла, с одной стороны, и функціямъ нашей психики — с другой. Но отдаться эмоціямъ и тѣлу и отказаться при этомъ отъ яснаго, холоднаго разсудочнаго мышленія, этого «убійцы», который затаился в нашей головѣ — вовсе не значитъ поглупѣть. Этотъ «убійца» впоследствии станетъ полезнымъ, если онъ будетъ не в силахъ убивать наше тѣло или наши эмоціи — если онъ окажется самъ во власти актера. Я смогу быть веселымъ и буду смѣяться, смогу быть грустнымъ и задумчивымъ — по своему желанію, потому что я достигну этого при помощи упражненія. И тогда разумокъ будетъ мнѣ полезенъ — с его помощью мнѣ все дѣлается яснымъ в моей профессіи актера — начиная с написанной пьесы и кончая ея постановкой на сценѣ. Каждая деталь полна значенія и смысла, потому что разумокъ знаетъ, что находится у меня на службѣ. Но если мы начнемъ с соглашенія с разумкомъ, если мы будемъ передъ нимъ заискивать, ему подчиняться — мы пропали. Если вся власть дана разумку — онъ превращается в свою противоположность, в глупость, злую и безжалостную. Если разумокъ знаетъ, что вся власть дана ему — онъ все ясное дѣлаетъ непонятнымъ, и тогда мы погибли.

Итакъ, первое, что мы должны сдѣлать — это подвергнуть анатоміи наше тѣло, наши эмоціи, нашъ голосъ — и при этомъ не имѣть никакого дѣла с разумкомъ. Тѣло становится душой, душа — тѣломъ, разумку же предоставлена служебная роль. Голосъ требуетъ особаго вниманія, но это не моя область и я не буду останавливаться на этомъ. Укажу лишь на методъ доктора Рудольфа Штейнера — онъ интересенъ, глубокъ и не даетъ непосредственныхъ результатовъ, что также является его преимуществомъ. При пользованіи этимъ методомъ голосъ дѣлается инструментомъ, при помощи котораго можно выразить и передать тончайшіе психологическіе оттѣнки. Мы можемъ при этомъ пользоваться имъ какъ на высокихъ, такъ и на низкихъ реги-

страх, и на таком разстояніи, которое иной раз может казаться невозможным.

Говоря вообще, профессиональные актеры забывают часто одну вещь. Мы забываем, что все начатое должно быть закончено. Так бывает в жизни растенія: сѣмя брошено в почву — за этим слѣдует длительный процесс роста, результатом является новсе сѣмя и т. д. То же относится к театру. В жизни человѣчества был момент, когда человѣку пришлось испытать и выразить переживанія, которыя он назвал «театром». Всѣм извѣстны глубокіе корни театра в исторіи человѣчества. Тысячи лѣтъ тому назад театр имѣл преимущественно религіозный характер, — в процессѣ вырожденія он постепенно ставил перед собой все болѣе и болѣе низменныя цѣли. Но если его рожденіе было очень высоким, то его будущее должно поставить его еще на большую высоту. Перед театром стоят огромныя задачи. Многое забытое и утерянное необходимо вернуть, чтобы будущее театра стало похоже на его далекое прошлое. Вот почему нужно приложить всѣ усилія, чтобы облагородить театр; он должен послужить человѣческой культурѣ больше, чѣм что-либо другое. Никакія моральныя проповѣди не могут быть поставлены на один уровень с театром, если имѣть в виду такое его будущее. И мы должны найти в себѣ мужество сказать, что сейчас театр находится в состояніи вырожденія. Чѣм был театр при своем рожденіи, чѣм он будет и чѣм он стал теперь? При своем рожденіи театр был средством для полученія душевных импульсов, которые обогащали человѣческой опыт. В будущем театр должен вернуть человѣку весь опыт, который он мог накопить за всю исторію и обогатить жизнь новыми цѣнными идеями, эмоціями и волеизъявленіями. В процессѣ вырожденія все мелко, сухо, эгоистично. Я — ничтожество и это ничтожество показывает на сценѣ, как Я люблю, как Я ненавижу — всюду Я, Я, Я. Это конденсированное и замкнутое в себѣ «Я» есть признак вырожденія театра. вмѣсто того, чтобы что-нибудь давать и получать, человѣкъ наслаждается на сценѣ самим собой самым эгоистическим и эгоцентрическим образом.

Если мы пойдем вперед новым путем, вся наша жизнь может быть снова использована для накопленія и сохраненія в наших душах того, что нам надо. Взять для примѣра хотя бы войну. Конечно, мы не можем представить себѣ реально, что происходит на войнѣ — иначе мы сошли бы с ума. Только недостаток воображенія позволяет нам жить — но до из-

вѣстной степени мы д о л ж н ы представлять себѣ в воображеніи войну. Мы видим сны. Утром мы просыпаемся и знаем, что видѣли сон, и больше о нем не думаем. Но иногда мы должны сдѣлать усиліе, чтобы на яву вспомнить сон: — почему мы смѣялись или плакали, были счастливы или несчастны? Так я должен себѣ представить и психологію Гитлера, хотя это непріятно. Напряженіем воли я могу проникнуть в психологію этого человѣка — человѣка, в максимальной степени лишеннаго воображенія: он не знает, что он дѣлает. Но мы должны понять, кто он — иначе нам нечего дѣлать на сценѣ. Совершенно так же мы должны понять и Франциска Ассизскаго, насколько это для нас возможно. Если мы будем это дѣлать сознательно, по нашей доброй волѣ, мы останемся психически людьми здоровыми. Но если мы с а м и не осознаем необходимости проникнуть в их психику, о н и владѣют нашей психологіей и мы сойдем с ума. Мы должны сами в себѣ воспроизвести этот психическій процесс и тѣм мы обогатим нашу душу актера. И только в том случаѣ, если мы поймем и Франциска Ассизскаго, и Гитлера, и поймем то разстояніе, которое лежит между ними, только тогда и Франциск Ассизскій и Гитлер предстанут в нас перед зрителями. Они будут показаны и мы сумѣем их использовать.

Таковы средства, при помощи которых современный актер может вырваться из того процесса вырожденія, в котором сейчас находится театр. Он должен сознательно вникать во все, должен всему дать возможность жить в нас и нас мучить. Если нам есть что сказать, нам необходимы страданія; если мы т о л ь к о счастливы, нам сказать нечего. И лишь в том случаѣ, если в нас есть мѣсто и — для Франциска Ассизскаго и для Гитлера, только тогда мы будем в состояніи представить себѣ, чѣм театр может быть и чѣм он когда-нибудь будет. Мы должны понять многое. И прежде всего мы должны позаботиться о том, чтобы наш метод был тѣм ключом, который для нас самих открывает нашу природу. Мы должны открыть им всѣ тѣ запертыя двери, за которыми находится и Гитлер — мы должны освоить и преодолѣть его внутри себя — и Франциск Ассизскій, который должен нас вдохновлять. Мы должны овладѣть всѣм темным, что в нас есть, и всѣм свѣтлым, что мы можем получить — то и другое мы должны смѣшать внутри нас самих. И только тогда мы испытаем радость от нашей профессіи, потому что перед на-

ми встанет видѣніе будущаго театра. В нашей актерской творческой натурѣ, в нашей актерской и артистической волѣ, заложено больше, чѣм в нас, просто как в людях. Как «частныя лица», мы «знаем» многое, но для нашего искусства все это бесполезно — как артисты, мы «знаем» мало, но это малое так велико, что наполняет всю нашу жизнь.



Не будет большой ошибкой, если мы сравним театраль- ный спектакль с человѣческим индивидом. Человѣческія мысли и идеи отличны от человѣческих чувств и эмоцій, отличны также и от волеизъявленій. Мы различаем: 1 — идеи, 2 — чув- ства, 3 — волеизъявленія. То же самое можно сказать и о те- атральном спектаклѣ. Я имѣю в виду не написанную пьесу, которая является лишь партитурой, лишь символом и указа- ніем на то, что мы сами должны добавить. Это еще не спек- такль. Я говорю о спектаклѣ на сценѣ, когда в нем уже есть и жизнь, и движеніе. Такой спектакль имѣет идею — в нем имѣется то, ч т о должно быть показано. Это «что» на сценѣ — мір идей. Затѣм в спектаклѣ есть область чувства, жизнь души — то, что мы называем «атмосферой» спектакля. Это вовсе не чувства того или другого актера — эти чувства принадлежат спектаклю и только ему. «Атмосфера», о кото- рой идет рѣчь, не является достояніем отдѣльных актеров, она существует сама по себѣ. Для иллюстраціи вообразим себѣ какой-нибудь несчастный случай на улицѣ. Особая атмосфера создается вокруг того мѣста, гдѣ произошел несчастный слу- чай. Когда вы вступаете туда и видите бѣгущих людей или людей, замерших на мѣстѣ, вы чувствуете атмосферу, прежде чѣм поймете, что именно здѣсь произошло. Кто создает ее? Никто в отдѣльности. У полицейскаго свои переживанія, но он не создает атмосферу. Жертва несчастнаго случая переживает все по своему, но и она тоже не создает этой атмосферы про- изошедшей катастрофы. Мы беспомощно смотрим на проис- шествіе, но и наши переживанія — сами по себѣ. Кто же эту атмосферу создает? Никто. Вы не найдете никого, кто ее создает — и все же она существует. Явленіе это кажется странным к психологи не в состояніи об'яснить его. Они пы- таются сдѣлать это при помощи разсудка, но это невозможно. Возьмем другой примѣр: перед нами старый замокъ и мы вхо- дим в него. В каком бы вы ни были настроеніи, вы сейчас же

почувствуете атмосферу замка. Кто ее создал? Там никого нѣтъ. Быть может, на вас дѣйствуют стѣны, двери, окна? Вы чувствуете эту атмосферу, как чувствовали атмосферу уличнаго происшествія, когда между вашим настроеніем и вашими чувствами происходила какая-то легкая борьба. Вы либо отстраняете эту атмосферу от себя, либо подчиняетесь ей; или она сильнѣе вас или вы сильнѣе ея. Вы входите в замок в веселом настроеніи духа и вдруг что-то овладѣвает вами. Охватывающая вас атмосфера замка может быть и пріятна вам и вы охотно в нее окунаетесь, но при этом всегда есть момент, когда встает вопрос: кто побѣдит — атмосфера или ваша воля?

Каждый спектакль должен имѣть свою атмосферу — ее создают не артисты, а сам спектакль. Каждая сцена в спектаклѣ должна имѣть свою атмосферу — я говорю должна, потому что она не всегда имѣется. Почему? Винават разсудок, как мы уже говорили. Сухой, холодный разсудок не только враг наших личных чувств, он враждебен также и всей атмосферѣ спектакля. Он знает, что как только мы отдадимся нашим чувствам, движеніям нашей души, он должен будет перестроиться. Все его знаніе, всѣ его понятія смываются, когда начинается жизнь души. Это вѣрно по отношенію ко всей современной культурѣ, во всем мірѣ, и не только теперь, но было вѣрно и до войны. Быть может, впрочем, в настоящее время дѣло обстоит нѣсколько иначе. Нельзя назвать иначе, как болѣзнью, ту особую черту, которая свойственна нашему времени. Мы замыкаем наглухо наши души и сердца, мы не только не способны создать на сценѣ нужной атмосферы, но стыдимся обнаружить друг перед другом наши чувства. Мы инстинктивно знаем, что в головѣ cadaго сидит дьявол, который будет смѣяться над каждым нашим чувством, если мы посмѣем его обнаружить. Раз это так, мы, конечно, не можем создать атмосферы на сценѣ и вынуждены поэтому лишь к показу имитации переживаній нашего личнаго «Я», тогда как это «Я», показанное на сценѣ не представляет интереса. Существует нѣчто большее, чѣм «Я» — и создаваемая на сценѣ атмосфера является средством показать больше, чѣм связанное с маленьким индивидуальным «Я». Атмосфера создает вокруг нас воздух и пространство. Она питает и вызывает наши глубочайшія чувства и эмоции, наши мечты и сны, она дѣлает убѣдительными в нас для других и Франциска Ассиз-

скаго и Гитлера. Без атмосферы мы на сценѣ только плѣнники.

Для созданія на сценѣ атмосферы имѣются опредѣленные средства. «Душа» спектакля — вот что в наше время нужнѣ всего. Мы лишены внутренней свободы, потому что боимся движений нашей собственной души и душ других актеров, которые играют вмѣстѣ с нами. Прежде всего мы должны научиться чувствовать атмосферу в нашей повседневной жизни, вокруг нас самих. Это доступно каждому. Вы входите в другую комнату, вы переходите с одной улицы на другую, идете из одного дома в другой — и всюду спрашиваете себя, какова атмосфера того мѣста, в котором вы в каждый данный момент находитесь. И скоро вы убѣдитесь, что каждому мѣсту соответствует своя атмосфера — ярко выраженная, особая. Но понять и впитать в себя атмосферу каждаго отдѣльнаго мѣста — это лишь первый шаг к развитію способности создавать атмосферу на сценѣ. За этим должен слѣдовать второй. Читая пьесу, мы можем попытаться представить себѣ ту атмосферу, которая будет особо выразительна для этой сцены, для этого момента, для той или другой части пьесы. Взять хотя бы, для примѣра, «Отелло». Если вы уже достаточно опытны в такого рода упражненіях и хорошо воспринимаете атмосферу, то вы легко убѣдитесь в том, что атмосферу «Отелло» нельзя смѣшать с атмосферой какой-либо другой трагедіи Шекспира. «Двѣнадцатая Ночь» имѣет свою особую атмосферу. Это примѣнимо также и ко всѣм современным пьесам. Своя особая атмосфера присуща всему и только наш сухой, холодный разумок не хочет знать никакой атмосферы и убивает ее.

Третьим шагом в достиженіи нужной атмосферы является наше воображеніе. Мы должны создать в воображеніи ту атмосферу, которая нам нужна на сценѣ, вообразить ее вполне объективно, как окружающій нас воздух. Но только не в нас самих. Мы можем вообразить, что эта комната полна дыма, голубого или сѣраго или аромата. Это очень легко. Или же мы можем вообразить, что в воздухѣ разлита печаль. Это тоже не трудно. Но было бы ошибкой пытаться чувствовать самому печаль. Нѣтъ, она разлита всюду вокруг вас, но сами вы свободны от нея. Если мы вообразим в воздухѣ печаль, мы сами можем вести себя в этой комнатѣ, как хотим. Мы можем передвигаться в ней, говорить, спокойно сидѣть, но мы должны постараться быть в гармоніи с этой воображаемой

атмосферой. Это тоже легко. Трудность начинается, когда мы пытаемся принудить самих себя переживать печаль, что неправильно. Теперь попробуйте вообразить, как вы должны вести себя в гармоніи с этой воображаемой атмосферой печали. Если вы воспитали свое тѣло упражненіями, то вы сумѣете это сдѣлать. И когда вы станете дѣлать необходимыя движенія, внутри вас начнется как бы новая жизнь — и вы скажете: «мнѣ грустно». Причин для этого не будет. В нашем дѣлѣ не надо отыскивать причины. Как только она появляется — искусства больше нѣтъ. Актер должен умѣть плакать без причин, если он актер. Тому кто не может заплакать когда нужно, лучше оставить театр. Если для того, чтобы заплакать, он должен вспомнить о смерти своего отца, он не актер. Если я могу разсердиться без всяких причин — я актер, но если я, чтобы разсердиться, должен вспомнить о Гимлерѣ, котораго ненавижу, то я не актер. Все должно быть в моем распоряженіи, потому что я должен быть готов ко всему.

Создав вокруг себя воображаемую атмосферу и находясь с ней в гармоніи, мы почувствуем, что можем дѣйствовать в согласіи с ней. Дальнѣйшим шагом должна быть наша способность отражать эту атмосферу, самим излучать ее. Мы должны ее усилить — если чѣм-нибудь вдохновлены, мы должны это отразить, как в зеркалѣ. Атмосфера всегда может быть усилена, подчеркнута, поскольку это зависит от нас. И здѣсь опять имѣется одно существенное условіе. Мы можем эгоистически использовать созданную нашим воображеніем атмосферу, сохранять ее для себя — но в таком случаѣ она немедленно умирает. Но если мы отражаем, отдаем ее, то чѣм больше мы отдаем, тѣм больше она увеличивается, усиливается. Актеры всюду и всегда до извѣстной степени эгоистичны и боятся аудиторіи. Эта эгоистическая боязнь перед зрителями настолько сильна, что мы становимся не в состояніи что-либо отразить в себѣ — всѣ наши усилія оказываются пустыми: словами, гримасами, истертыми клишэ. Потому что мы боимся наших зрителей. И мы не даем возможности зрителям помочь нам в созданіи атмосферы. Но если атмосфера осуществлена, — то зрителям ничего больше не надо. Они ее приняли и оцѣнили и если мы сами уже живем в этой атмосферѣ, нам не надо ни в чем больше убѣждать зрителей — они наши сотрудники, это наш общій спектакль.

По моему убѣжденію, театр будет важнѣйшим культурным достиженіем современнаго человѣчества. Созданная

нашим воображеніем атмосфера открывает наши сердца и души, открывает сердца и души зрителей. А если наша профессія актера способна открыть сердца наших ближних, то тѣм самым мы совершаем подлинное чудо. Потому что всего больше в нашей жизни не хватает чувства. Если мы хотим служить современности, мы не должны непременно ставить лишь современные пьесы, только что написанныя — мы можем брать пьесы, которыя были написаны сотни лѣтъ тому назад. Мы должны быть способны возсоздать людей другого времени. Мы не можем понять ни войны, ни нашего будущаго, ни каков будет конец Гитлера, не можем понять ничего, если мы не умѣем чувствовать. Но мы должны понять. Когда сердце рвется на части, когда оно открыто міру, тогда разумок становится нашим слугою, — тогда мы поймем и Гитлера и то, что он сдѣлал, и то, что неизбежно, и то, чего мы можем избѣжать. Все это может разрѣшить наше прекрасное, таинственное и великое искусство театра.

При помощи атмосферы мы можем говорить с нашими зрителями без слов. Много лѣтъ тому назад я произвел, играя «Гамлета», такой опыт. Каждый вечер я старался играть не так, как хотѣл я сам, а как этого хотѣла публика. Это было чрезвычайно интересно, потому что каждый вечер я получал от аудиторіи новыя воздѣйствія и внушенія. Если то были обычные посѣтители с улицы, я имѣл одно; если среди них была группа учителей, передо мной вставали другія задачи и на них я должен был дать другой отвѣтъ.

В современном театрѣ мы придаем большое значеніе слову. В произносимых нами со сцены словах мы передаем содержаніе и смысл пьесы, не заботясь об ея атмосферѣ. Но когда атмосфера создана, — предположим атмосфера любви, — то мы забываем о словах, они наполняются новым, болѣе значительным содержаніем. Когда же слова любви произносятся в атмосферѣ ненависти — это может казаться очень интересным сочетаніем противорѣчій. Но это может быть чѣм то сверхчеловѣческим или ниже чѣм человѣческим, но никогда не будет тѣм настоящим, что необходимо. Таким образом атмосфера является самым лучшим режисером. Ни один режисер не может дать нам тѣх указаній, которыя даются ею. И если атмосфера есть, и актеры приняли и умѣют создать ее, то сегодня вы будете играть не так, как играли вчера, ибо атмосфера и есть — жизнь, а жизнь никогда не повторяется.

Мих. Чехов.

«ПОЛЬСКАЯ ПОЭМА» БЛОКА

I.

Кульминаціонной точкой развитія широко задуманной — в ея окончательном видѣ — исторической, или даже исторіософской, этико-исторической темы *Возмездіа* — этой самой зрѣлой, самой законченной, хотя и не оконченной, поэмы Блока является «*возмездіе*» в трагически сплетенной судьбѣ Россіи и Польши.

Странное в сущности явленіе — для меня лично оно не странно, так как я хорошо знаю то, о чем сейчас скажу, — но до сих пор никто из русских комментаторов этого произведенія не обратил никакого вниманія на факт, что *Возмездіе* это, как бы его ни толковать, «польская поэма» великаго русскаго поэта.

Упоминалось конечно, что поэма «біографически» связана с пребываніем Блока в Варшавѣ на похоронах отца, что она косвенно связана через *Ямбы* с единокровной сестрой поэта Ангелиной Александровной Блок, с которой поэт впервые встрѣтился в Варшавѣ послѣ смерти отца... Но никто и никогда не остановил вниманія на столь значительном фактѣ, что Польша и ея судьба в идейном планѣ поэмы занимает главное мѣсто — что этот факт бьет в глаза в замѣчательном *Предисловіи* к поэмѣ и что «польская тема» патетически развертывается в III ея главѣ. Тут дѣйствовали двѣ причины. Одна частнаго, другая общаго порядка. Никто никогда не подозревал в Блокѣ такой возможности. Каким образом этот поэт русскаго символизма, в душѣ націоналист, вмѣстѣ с тѣм пѣвец русской революціи, автор *Стихов о Прекрасной Дамѣ*, *Скифов и Двѣнадцати*, вдруг будет заниматься такой узкой и чуждой темой, как Польша и ея трагическая судьба? Казалось бы, что слѣдовало бы найти ключ к загадкѣ, и во всяком случаѣ

«описать» это необыкновенное явление? Однако этого не случилось. Этого не случилось именно потому, что современное русское общество совершенно отстранилось от изучения и знания Польши. И это равнодушное невѣденіе не было поколеблено даже многозначительным фактом блоковской поэмы. На этом слѣдует хотя бы ненадолго остановиться.

Тема: Россія — Польша одна из самых патетических тем русской и польской исторіи. Но это тема не только историко-политическая. Это тема этическая, литературная и культурная. Даже взяв ее только в этом послѣднем ея планѣ — ей не трудно было бы посвятить значительную часть научной дѣятельности не одного, а многих изслѣдователей — русских и польских.

Начиная с XVIII вѣка русская литература не переставала ею заниматься. Я начинаю с XVIII вѣка, и оставляю в сторонѣ вопрос о польском культурном вліяніи в Москвѣ XVI-XVII вѣка. Будет-ли это Ломоносов, Фон-Визин, Державин, Карамзин, Дмитріев, Глинка, кн. Вяземскій, Ник. Тургенев, И. Кирѣевскій, Грибоѣдов, кн. А. И. Оловескій, Денис Давыдов, Бестужев, Рылѣев, Козлов, Жуковскій, Пушкин, Чаадаев, А. Н. Вульф, А. Тургенев, Тютчев, Л. Павлишев, гр. Ростопчина, Гоголь, кн. З. Волконская, Бѣлинскій, К. Павлова, Шевырев, Погодин, Полевые, Аксаков, Хомяков, Герцен, Бакунин, Катков, Полонскій, Самарин, Некрасов, Салтыков-Щедрин, А. Толстой, Леонтьев, Лѣсков, Писемскій, Фет, Тургенев, Достоевскій, Страхов, Владимір Соловьев, Чичерин, Пыпин, Евгенія Тур, Короленко, Бунин, Куприн, Бальмонт, Брюсов, кн. Е. Н. Трубецкой, Хлѣбников, не говоря уже о Лажечниковых, Загоскиных, Иловайских, Крестовских, Маркевичах, Салиасах и Ключниковых, специализировавшихся на т. н. «польской интригѣ», — всѣ эти писатели, поэты, мыслители, многіе из них представлявшіе цвѣт русской литературы, так или иначе, отрицательно или положительно, эпизодически или намѣренно, коснулись Польши, выводили польскіе типы, о Польшѣ говорили, и часто высказывали опредѣленный, «программный» взгляд на русско-польскій вопрос. Не раз можно найти у них слѣды хорошаго знания Польши. Я уже не говорю о замѣчательном эпизодѣ, связанном с пребываніем Мишкевича в Россіи. Тема Пушкин — Мишкевич сама по себѣ, особенно послѣ тысяч страниц и работ многих десятков ученых и изслѣдователей, писавших о ней — тема для цѣлой монографіи. Все новые и новые литературные факты открываются в послѣднее время, говоряшіе о том, что это очень важная (одна, может быть, из

самых важных) глава Пушкиновѣдѣнія¹⁾). А Толстой? — Мнѣ самому пришлось написать цѣлую книгу об отношеніи Толстого к Польшѣ и в этой книгѣ львиная доля удѣлена фактам²⁾). Пыпин в свое время напечатал большую работу Польскій вопрос в русской литературѣ, не коснувшись в ней вовсе Толстого, Достоевскаго и огромнаго большинства тѣх, которых я здѣсь упомянул. А переводы? Вѣдь почти все значительное было переведено на русскій язык во второй половинѣ XIX вѣка и в началѣ XX: Крашевскій, Оржешко, Прус, Сенкевич, Сѣрошевскій, Пшибышевскій, Жеромскій, Реймонт, Жулавскій, Тетмаер, Выспанскій, Берент, не говоря о польских великих романтиках — Мицкевичѣ, Словацком и Красинском. Появлялись статьи, посвященныя польской литературѣ. Слѣдует упомянуть также прекрасную Исторію польской литературѣ, написанную Спасовичем для Исторіи Славянских Литератур Пыпина и Спасовича, блестящій очерк Исторіи Польской Литературы (лекцію) В. Н. Шепкина и наконец двухтомную Исторію Новой Польской Литературы Яцимирскаго, а также двухтомную монографію о Мицкевичѣ проф. А. Л. Погодина, безчисленныя статьи о польской литературѣ в Вѣстникѣ Европы, в Русской Мысли, Русском Богатствѣ, в Аполлонѣ и даже в таких журналах, как Русская Старина, Историческій Вѣстник, не говоря о трудах таких русских историков и историков русской литературы, как Костомаров, как Милюков, Любавскій, Корнилов, Перец, Жданов, Соболевскій, Францев, Сиротинин, Маслов, Сперанскій, Тихоміров и мн. др.

¹⁾ См. об этом (библіографическія указанія):

W. Lednicki: *Przyjaciele Moskale* — Travaux publiés par la Société Polonaise d'Etudes concernant l'Europe Orientale et le Proche Orient, sous la direction de Venceslas Lednicki, professeur à l'Université de Cracovie. Nr. XII. Cracovie 1935, спеціально стр. 156-7. А также: V. Lednicki: *Pouchkine et Mickiewicz*, *Revue de Littérature Comparée*, Janvier-Mars 1937 (numéro spécial consacré à Pouchkine), Paris 1937, pp. 129-144.

²⁾ Venceslas Lednicki: *Quelques aspects du Nationalisme et du Christianisme chez Tolstoï* (Les variations Tolstoïennes à l'égard de la Pologne). Travaux publiés par la Société Polonaise... etc. Cracovie 1935.

Таково было положеніе вещей в XIX в. и в началѣ нынѣшняго столѣтія. В наше время картина измѣнилась. В Советской Россіи интерес к Польшѣ принялъ опредѣленную окраску, но все-же он как-то существовал, польскія книги переводились, работы о Мицкевичѣ и Пушкинѣ стали появляться, специальным изученіем польской литературы стал заниматься проф. Чернобаев, бывавшій в Польшѣ и поддерживавшій научныя отношенія с польскими учеными. То же самое слѣдовало бы сказать о рядѣ русских лингвистов стараго и новаго времени.

Зато эмиграція, гдѣ бы она ни была, от интереса к Польшѣ отказалась, проявляя к ней в лучшем случаѣ равнодушіе, увѣнчанное обычно незнаніем польской исторіи, литературы, культуры, языка¹⁾.

Я не буду — не могу — касаться Возмездія в его цѣлом, так как это заняло бы слишком много мѣста. Я остановлюсь только на его польских мотивах. Сразу скажу, что придется имѣть дѣло с большим и важным матеріалом. Этот матеріал распадается во первых на два разряда, на то, что напечатано поэтом, что мы можем поэтому принять — с нѣкоторыми оговорками — за каноническій текст поэмы, и на то, что собою представляют и заключают в себѣ богатые варианты, черновики и планы. В свою очередь каноническій текст опять таки распадается по внѣшнему признаку на то, что сказано в прозаическом предисловіи, и на то, что заключает поэтический текст третьей — и послѣдней — главы поэмы. Наконец — мы имѣем два разных вида, два разных мотива польской темы — мотив идеологической: судьба Польши и тема возмездія с этим связанная с одной стороны; с другой — конкретные образы Варшавы. И один и другой, естественно, переплетаются друг с другом,

¹⁾ Исключенія были и есть: Португалов, Арцыбашев, Философов, Н. С. Арсеньев, С. Ю. Кулаковскій, Вл. Фишер (нѣсколько молодых поэтов и писателей), жившіе в Польшѣ послѣ ея возстановленія и силою вещей принявшіе живое участіе в ея культурной и политической жизни; за предѣлами Польши — Мережковский, в связи с его увлеченіем Пилсудским, Ходасевич, благодаря своему польскому происхожденію, конечно Милюков, Керенскій, Алданов, Николаевскій, М. М. Карпович, проф. Тарановскій, проф. Францев, друзья моего отца, писавшіе о нем — послѣ его смерти, — В. А. Маклаков, кн. П. Д. Долгоруков, П. Н. Милюков, Н. В. Тесленко, А. В. Амфитеатров, I. В. Гессен, и мн. др.

образуя, в концѣ концов, чрезвычайно краснорѣчивое, как я сказал уже — патетическое развитие темы польскаго, или если кто хочет — русскаго возмездія. Если к этому прибавить то, что Возмездіе связано очень глубоко и интимно с личными переживаніями поэта, то значительность этого русскаго поэтическаго за явленія не может не стать особенно яркой и явной. Наконец нельзя забывать, что Возмездіе — это, в художественном смыслѣ самое законченное, самое блестящее и зрѣлое произведение Блока, и вмѣстѣ с тѣм и самое Пушкинское его произведение. Не только с точки зрѣнія языка, стиха и образов, не только с точки зрѣнія Пушкинскаго реализма, к которому поэт тут приближается. Эта поэма корнями своими вѣдрилась в Евгенія Онѣгина и в... Мѣднаго Всадника. Иногда, когда читаешь эту поэму, кажется, что читаешь лучшее и самое важное из написаннаго Пушкиным. Это особенно знаменательно, так как это обстоятельство сбрасывает всякую возможность допустить присутствіе в этом глубоко зрѣлом произведеніи чего-либо случайнаго, до самаго конца поэтической мысли не продуманнаго. И развѣ не странно, что люди такіе, как Петроник или Иванов-Разумник (а также и Десницкій), которые подробнѣйшим образом разбирали Скифова Блока и сопоставляли их с чѣм же? с Клевѣтникам Россіи, (о чем вспоминает сам Блок, не без нѣкоторой ироніи в своем дневникѣ) не додумались разобратсь в Возмездіи! Поистинѣ — это все паразитильно.

Начнем с начала: с Предисловія, иными словами с мотива и дейнаго. В этом предисловіи поэт высказывает нѣсколько чрезвычайно важных мыслей. Прежде всего он говорит о своей поэмѣ, как о произведеніи, «полном революціонныхъ предчувствій», затѣм — он подчеркивает его

¹⁾ Ср. Дневник А. А. Блока, изд. Писателей в Ленинградѣ, 1928. р. П. Н. Медвѣдева, стр. 234-236. С другой стороны очень характерно, что в планѣ изданія «маленькаго» Пушкина, в котором было бы «все, что нужно», — Блок помѣщает оду Клевѣтникам Россіи, там же стр. 210-212. Впрочем есть одно маленькое исключеніе: лѣтъ двадцать тому назад о Возмездіи и о польских мотивах поэмы напечатал у нас в Варшавѣ небольшую статью, кажется, в еженедѣльникѣ "Wiadomości Literackie" С. Ю. Кулаковскій, но я этой статьи, конечно, не помню.

связь со своей личной жизнью, устанавливая даты: «Поэма *Возмездіе* была задумана в 1910 году и в главных чертах написана в 1911 году». (Работал над ней Блок однако вплоть до 1921 года). Затѣм идет исключительная по размаху и красочности характеристика этих лѣт. Тут же замѣчательнѣйшая блоковская формула, столь много раз многими повторяемая: «Я помню ночные разговоры, из которых впервые выростало сознание *нераздѣльности и несліянности искусства, жизни и политики*». Как это многозначительно и как важно то, что эта глубокая мысль высказана именно здѣсь, в *Возмездіи*! «Трагическое сознание, говорит он дальше, несліянности и нераздѣльности всего — противорѣчій непримиримых и требовавших примирения».

Сразу хочется прибавить, что одним из них и является русско-польское противорѣчіе, «непримиримое и требующее примирения»! И думается, что эта формула возникла в головѣ поэта в связи с его глубокой думой о Польшѣ и об ея русской судьбѣ.

Дальше поэт развивает свою характеристику 1910 года и своих предчувствій грядущей катастрофы и наконец подходит к описанію замысла своей поэмы, которая родилась в его головѣ именно в это пред-катастрофическое время. Ямб должен был стать «простѣйшим выраженіем ритма того времени, когда мір, готовившійся к неслыханным событіям, так усиленно и планомерно развивал свои физическіе, политическіе и военные мускулы...»

«Основная идея и тема» поэмы, говорит он далѣе, слѣдующая: «Тема заключается в том, как развиваются звенья единой цѣпи рода. Отдѣльные отпрыски всякаго рода развиваются до положеннаго им предѣла и затѣм вновь поглощаются окружающей міровой средой; но в каждом отпрыскѣ зрѣет и отлагается нѣчто новое и нѣчто болѣе слитое, цѣною безконечных потерь, личных трагедій, жизненных неудач, паденій и т. д., цѣною, наконец, потери тѣх безконечно высоких свойств, которыя и в свое время сіяли, как лучшіе алмазы в человѣческой коронѣ (как, напримѣр, свойство гуманности, добродѣтели, безупречная честность, высокая нравственность, и проч.). Словом, міровой водоворот засасывает в свою воронку почти всего человѣка; от личности почти вовсе не остается слѣда...»

Был человек — и не стало человека, осталась дрянная вялая плоть и тлѣющая душонка. Но сѣмя брошено, и в слѣду-

ющем первенецъ растет новое, болѣ упорное; и в послѣднемъ первенецъ это новое и упорное начинает, наконец, ошутительно дѣйствовать на окружающую среду; таким образом род, испытавшій на себѣ возмездіе исторіи, среды, эпохи, — начинает в свою очередь творить возмездіе; послѣдній первенец уже способен огрызаться и издавать львиное рычаніе; он готов ухватиться своей человѣчьей рученкой за колесо, которым движется исторія человѣчества. И, может быть, ухватится таки за него...»

Уже в этой части экспозиціи темы заключен элемент польскій: «послѣдній первенец, готовый ухватиться своей человѣчьей рученкой за колесо, которым движется исторія человѣчества...» это уже польскій первенец, как ни странно это может показаться читателю.

Что же дальше? «Такую идею я хотѣл воплотить в моих Ругон-Макарах в малом масштабѣ, в коротком обрывкѣ рода русскаго, живушаго в условіях русской жизни: «Два-три звена, и уж видны завѣты темной старины»... печально заявляет поэт, воспитанный на длительном западно-европейском традиціонализмѣ.. «Путем катастроф, читаем мы далѣе, и паденій, мои Ругон-Макары постепенно освобождаются от русско-дворянскаго *éducation sentimentale* (это чисто біографическая запискa, связанная с особой привязанностью отца поэта, проф. Блока, к Флоберу. Прим. мое. В. Л.), «уголь превращается в алмаз» (очень знаменательная фраза, которая постоянно возвращается в революціонных Я м б а х Блока, а также и в В о з м е з д і и) . Россія — в новую Америку; в новую, а не старую Америку».

«Поэма — цитирую далѣе — должна состоять из пролога, трех больших глав и эпилога. Каждая глава обрамлена описаніем событій мірового значенія; они составляли ея фон...» Далѣе поэт дает содержаніе первой главы, в которой на фонѣ русско-турецкой войны рассказана жизнь «демона» — отца поэта, похожаго, по словам Достоевскаго — это сохранилось в семейных преданіях, — на Байрона, появляющагося в русской просвѣщенной либеральной семьѣ. Это «первая ласточка» «индивидуализма» и вмѣстѣ с тѣм начинавшагося *fin de siècle*.

Вторая глава обнимает, говорит поэт, конец XIX вѣка и начало XX и она «должна была быть посвящена сыну этого демона», — «наслѣднику его мятежных порывов и болѣзненных паденій. — безчувственному сыну нашего вѣка»... И вот тут начинается уже собственно польская часть поэмы, свя-

занная с интимными фактами личной жизни Блока. «Это тоже лишь одно из звеньев длинного ряда; от него тоже не останется повидимому ничего кромѣ искры огня, заброшенной в мір, кромѣ сѣмени, кинутаго им в страстную и грѣшную ночь в лоно какой-то тихой и женственной дочери чужого народа...» Тут Блок дает схему личного любовнаго приключенія на улицах Варшавы. Но это не только схема — это внезапное сублимированное, возвышенное субъективное, случайнаго факта до событий высшаго порядка, до событий, рѣшеніе которых находится в руках исторической Немезиды и Музы.

«В третьей главѣ описано, как кончил жизнь отец, что сталося с бывшим блестящим демоном... Дѣйствіе поэмы переносится из русской столицы, гдѣ оно до сих пор развивалось, в Варшаву — кажущуюся сначала «задворками Россіи», а потом, призванную повидимому играть нѣкую мессіаническую роль, связанную с судьбами забытой Богом и истерзанной Польшы... Развѣ это не знаменательно? Не краснорѣчиво и внѣ всякой двусмысленности? «Тут, над свѣжей могилой отца, заканчивается развитіе и жизненный путь сына, который уступает мѣсто собственному отпрыску, третьему звену все того же высоко взлетающаго и низко падающаго рода». «В эпилогѣ должен быть изображен младенец, котораго держит и баюкает на колѣнях простая мать, затерянная гдѣ-то в широких польских клеверных полях, никому невѣдомая и сама ни о чем не вѣдающая. Но она баюкает и кормит грудью сына, а сын растет; он начинает уже играть, он начинает повторять по складам вслѣд за матерью: «И я пойду навстрѣчу солдатам... И я брошусь на их штыки... И за тебя, моя свобода, взойду на черный эшафот...»

Эта часть вступленія не оставляет уже никакого, думается мнѣ, сомнѣнія: будущій мститель за Польшу, борец за ея свободу, рыцарь возмездія — это послѣдній первенец русскаго рода! И этот послѣдній отпрыск должен родиться на «широких польских клеверных полях» и его «баюкать на колѣнях» и «кормить своей грудью» будет его польская мать. Я думаю, что читатель согласится со мной, что идея здѣсь развитая — не банальна и уж никак не случайна, как бы случайной и ни казалась любовная «авантюра» Блока на улицах Варшавы, о чем впрочем скажу нѣсколько подробнѣе ниже. Это идея особенная и глубоко этическая: идея с этическим пафосом. Пафос ея заключается, конечно, именно в фактѣ, что олице-

твореніем идеи возмездія, польскаго возмездія, должен быть сын русскаго, представляющаго длительную русскую культурную традицію, и «никому невѣдомой и самой ничего не вѣдающей» польки! Именно в этом и заложена собственно идея возмездія — это то и есть в о з м е з д і е .

А не краснорѣчивы-ли заявленія о Варшавѣ, «кажущейся сначала» «задворками Россіи», «а потом призванной играть нѣкую мессіаническую роль»? А вѣдь правда — неожиданно все это под пером кого? — Блока! А что сказать о словах: «забытая Богом и истерзанная Польша!» Я думаю, я увѣрен, что никто, рѣшительно никто из русских и никогда т а к не писал о Польшѣ — развѣ только очаровательная графиня Евдокія Ростопчина! И — Лев Толстой.

Но это еще не все.

«Вот повидимому, круг человѣческой жизни, с'ежившійся до предѣла, послѣднее звено длинной цѣпи; тот круг, который сам наконец начнет топорщиться, давить на окружающую среду, на периферію; вот отпрыск рода, который, может быть, наконец ухватится рученкой за колесо, движущее человѣческую исторію»... Иными словами только этот послѣдній отпрыск русскаго рода — польскій его отпрыск — «начнет давить на окружающую среду» и наконец «ухватится рученкой за колесо, движущее человѣческую исторію».

Там — среда «засасывала» и «от личности почти вовсе не оставалось слѣда.. сама она становилась неузнаваемой, обезображенной, искалѣченной». «Был человек и не стало человека»... Гдѣ же и как «наконец» проявился ч е л о в ѣ к , «остановил» «колесо исторіи»? В Польшѣ!

В этом скрывается глубоко трогательная, очищающая идея этического оправданія прав «забытой Богом и истерзанной Польши». «Истерзанной» кѣм? Р о с с і е й . И это не все.

«Вся поэма должна сопровождаться опредѣленным лейт-мотивом «возмездія», этот лейт-мотив есть м а з у р к а , танец, который носил на своих крыльях Марину, мечтавшую о русском престолѣ, и Костюшку с протянутой к небесам десницей, и Мицкевича на русских и парижских балах. В первой главѣ этот танец легко доносится из окна какой-то петербургской квартиры — глухіе 70-ые годы; во второй главѣ танец гремит на балу, смѣшиваясь со звоном офицерских шпор, подобный пѣнѣ шампанскаго fin de siècle знаменитой *venue Cluquot*; еще болѣе глухіе — цыганскіе, апухтинскіе годы; наконец в третьей главѣ, мазурка разгулялась: она зве-

нит в снѣжной выюгѣ, проносящейся над ночной Варшавой, над занесенными снѣгом польскими клеверными полями. В ней явственно слышится уже голос Возмездія»... Июль 1919»¹⁾). Какая замѣчательная русская отвѣдь на оды «На взятіе Варшавы» Державина, Пушкина, Жуковского и других! Вот — кто, сто лѣт спустя «пил здоровье Лелевеля», «при кликѣ Польша не сгинѣла» и «когда ж Варшавы бунт упал — поникнул ты и возрыдал как жид о Іерусалимѣ!...»²⁾) Марина — Пушкинская Марина — с ея головокружительной гордостью, «Костюшко с протянутой к небесам десницей», и Мицкевич... «Костюшко» — лях, Мицкевич — лях»... Да — все это очень замѣчательно и головокружительно неожиданно... Кто мог подумать! Это пишет Блок и пишет в 1919 году! Задумав все в 1910-1911 годах! Откуда и как все это к нему пришло? Но обратимся сначала к поэтическому тексту — к III главѣ поэмы — он не менѣ знаменателен.

Начну теперь с образов Варшавы. Она ему не понравилась. Немудрено. Это не была Варшава 1930-1939 годов, чистая, начавшая строить новые кварталы-сады, реставрировавшая всѣ свои монументальные правительственные дворцы XVIII вѣка, с которых спало насильно на них накинутое тюремное облаченіе — всѣ рѣзьбы, старинныя штукатурки, колонны, арки — выступили вперед, вознеслись польскія крыши, площадь «Старе място» очистилась и стала одной из самых красивых старинных площадей в восточной Европѣ... Раскинулась Варшава садами и парками над Вислой, повернувшись лицом к рѣкѣ, от которой ее насильно отвернули... Мостовыя покрылись асфальтом, на улицах появились цвѣты, газоны, гирлянды дикаго винограда... Дома окрасились, а ночью тысячи огней освѣщали город не хуже самых больших европейских городов... Новые мосты перекинулись через Вислу... Движеніе стало ритмичным, животрепещущим... Загляните в прекрасную книгу гр. Пржездецкаго *Warsowie* и увидите, что в Варшавѣ были красоты, но их нужно было искать,

¹⁾ Цит. по изд. Госуд. Изд. Художеств. Лит. Ленинград 1936 — Александр Блок: Стихотворенія, Поэмы, Театр. ред. Вл. Орлова, стр. 348-350.

²⁾ набросок Пушкина, см. об этом подробнѣе:

W. Lednicki: *Mój Puszkiniowski "Table Talk"* в *Puszkini 1837-1937*. I-II. Travaux publiés par la Société Polonaise etc. Cracovie 1939. т. I. стр. 386-447.

³⁾ Из известной эпиграммы Пушкина на Ф. Булгарина.

и в этом скрывалось ее очарование, ее таинственная жизнь, которую так проникновенно описала авторша глубоко волнующей книги *M y n a m e i s m i l l i o n*.

Когда Блок, в декабрь 1909 года, — самый мрачный мѣсяц в Варшавѣ — был там, наш город не мог ему понравиться. И он этого не скрывает. И это его отрицательное впечатлѣніе в виду идейнаго содержанія поэмы, тѣм болѣе важно: Блок не увлекся внѣшним обликом Варшавы.

Каково-же это первое впечатлѣніе?...

«Отец лежит в «Аллеѣ Роз»,
Уже с усталостью не споря,
А сына поѣзд мчит в мороз
От берегов родного моря...
Жандармы, рельсы фонари,
Жаргон и пейсы вѣковые, —
И вот в лучах больной зари
Задворки польскіе Россіи...
Здѣсь все, что было, все, что есть,
Надуто мстительной химерой;
Коперник¹⁾ сам летѣет мечь,
Склоняясь над пустою сферой...
«Мечь! Мечь!» — в холодном чугуѣ
Звенит, как эхо над Варшавой:
То Пан Мороз на злом конѣ
Бряцает шпорою кровавой...
Вот оттепель: блеснет живѣй
Край неба желтизной лѣтливой,
И очи панн чертят смѣлѣй
Свой круг ласкательный и льстивый...
Но все, что в небѣ, на землѣ,
По прежнему полно печалью...
Лишь рельс в Европу в мокрой мглѣ
Поблескивает честной сталью...

¹⁾ Извѣстный памятник Коперника, стоявшій перед «Дворцом Сташица», нынѣ нѣмцами разрушенный. В независимой Польшѣ во «Дворцѣ Сташица» помѣщалось Варшавское общество Друзей Науки и касса им. Мяновскаго — тоже научное учрежденіе. Во времена Блока в этом домѣ, передѣланном тогда на русскій казенный лад и стиль была русская I-ая гимназія.

Вокзал заплеванной; дома,
Коварно преданные вьюгам;
Мост через Вислу, как тюрьма»...

Поэт называет Варшаву «чужой» для своего отца, все время возвращаясь к картинам вьюги, тумана, снѣга, говорит о «незнакомых площадях», о «безконечной оградѣ — Саксонскаго, должно быть, сада...»

В набросках и вариантах его отзывы еще рѣзче: «среди тоски твоей, Варшава!» «как скучно, холодно, и больно», «над черной Вислой полный бред», «потом в награду лишь новой язвою легла на сердце грязная Варшава», «проклятье, фабричный горн и бѣшеннѣй Варшавской скукѣ», «Вокзала грязнаго перрон Освистанный безснѣжной вьюгой, Широкой Вислы сѣрый сон, Все дышет... скукой...»¹⁾

То же самое находим мы и в письмах поэта к матери, написанных из Варшавы и в записной книжкѣ 1909 года: «1 декабря вечером. Подѣзжаю к Варшавѣ... Мерцает свѣчка. ●тобрали билет. — За четверть часа уже видно зарево над Варшавой — проклятый спутник больших городов...» В письмѣ к матери: «...Варшава мнѣ не очень нравится...»²⁾

Поэт был в тяжелом, пасмурном, тоскливом настроеніи. И не веселѣе он в этих же набросках писал о Россіи:

«... Гдѣ небо кроют мглою бѣсы,
Гдѣ слышен хохот желтой прессы,
Жаргон газет и визг реклам,
Гдѣ под личиной провокацій
Скрывается больной цинизм,
Гдѣ торжествует нигилизм —
Безполый спутник «стилизаций»,
Гдѣ «Новым Временем» смердит,
Гдѣ хамство с каждым годом пуше...
Гдѣ память вѣчную Толстого
Стремится омрачить жена...»

Не веселѣе, естественно, выглядит и личное любовное приключеніе поэта. О нем говорит также мрачная запись в

¹⁾ См. А. Блок: С о б р а н і е с о ч и н е н і й , т. V, Поэмы, 1911-1921, Издательство Писателей в Ленинградѣ, стр. 161-218.

²⁾ Там же, стр. 164.

записной книжкѣ: «1-го. Приѣзд. Смерть. Вечер у Бѣляевых... 2. Панихиды... 3. Панихиды... 4. Похороны. Обѣд у Бѣляевых». 5 декабря поэт видѣлся с сестрой Ангелиной, обѣдал опять у Бѣляевых. Затѣм: «6. Воскр. — На квартиру. Спект.(орскій) и педель. «Напился». 7 пнд. — На квартиру. 8. вт. Ден(еж-ная) дѣла. Пьянство. 9 среда. — Не пошел к обѣднѣ на кладбище из-за пьянства. Бродил один. 10 чтв. Ден(ежная) дѣла, в 1½ ч к т-ше Мединг, в гимназію. Квартира. Вечер и завтрак у Бѣляевых. У п о л ь к и . 11 птн. Квар(тира), Бѣляевы. Смерт(ельная) тоска. 12 суб. Бѣл(яевы), квар(тира). Пил Акв(ариум)» (это извѣстный в то время в Варшавѣ «кафэ-шантан» — прим. мое **В. Л.**)... и т. д.¹⁾

В Аквариумѣ Блок был еще раз и пил шампанское. 15 декабря — запись: «Deiſium»¹⁾. 18 декабря он уѣхал в Петербург.

Эпизод с Полькой в поэмѣ рассказан бѣгло, нѣсколько точнѣе в набросках и вариантах.

«... Еще свѣтлы кафэ и бары,
Торгует тѣлом «Новый Свѣт»
Кишат безстыдные тротуары,
Но в переулках жизни нѣт,
Там тьма и вьюги завыванье...

Герой мой милый и невинный,

Едва похоронив отца,
Ты бродишь, бродишь без конца
В толпѣ больной и похотливой...
Уже ни чувств, ни мыслей нѣт,
В пустых зеницах нѣт сіянья
Как будто сердце от скитанья
Состарилось на десять лѣт...
Вот робкій свѣт фонарь роняет...
Вот кто-то льстиво подползает...
Зот подольстилась, подползла,
И сердце торопливо сжала
Невыразимая тоска,
Как бы тяжелая рука
К землѣ пригнула и прижала...
И он уж не один идет.

¹⁾ Там же. стр. 163.

А точно с кѣм-то новым вмѣстѣ...
 Вот быстро под гору ведет
 Его — «Краковское Предмѣстье»...

И вот среди этого всего и на фонѣ пасмурных впечатлѣній варшавских, описанія «встрѣчи» с мертвым отцом, его похорон, среди этого мрака личной тоски, высказанной с предѣльной поэтической силой начинает внезапно звучать «патетическая» идейная польская тема.. Ея новая, именно патетическая варіація... Слова, в которых она звучит, невыразимо прекрасны и полны настоящаго вдохновенія:

«Страна под бременем обид,
 Под игом наглаго насилья —
 Как ангел опускает крылья —
 Как женщина теряет стыд.
 Безмолвствует народный гений,
 И голоса не подает,
 Не в силах сбросить ига лѣни
 В полях затерянный народ.
 И лишь о сынѣ, ренегатѣ,
 Всю ночь безумно плачет мать,
 Да шлет отец врагу проклятье
 (Вѣдь старым нечего терять!...)
 А сын — он измѣнил отчизнѣ!
 Он жадно пьет с врагом вино,
 И вѣтер ломится в окно,
 Взывая к совѣсти и к жизни»...

Голос поэта становится все болѣе гнѣвным и возбужденным, падают слова, бичующія, ѣдкія, высокоумѣрныя, полныя презрѣнія:

... Не так же ль и тебя Варшава,
 Столица гордых поляков,
 Дремать принудила орава
 Военных русских пошляков?
 Жизнь глухо кроется в подпольѣ,
 Молчат магнатскіе дворцы,
 Лишь Пан-Мороз во всѣ концы
 Свирѣпо рышет на раздольѣ!
 Неустово взлетит над вами
 Его сѣдая голова,

Иль откидные рукава
 Взметнутся бурей над домами,
 Иль конь заржет — и звоном струн
 Отвѣтит телеграфный провод,
 Иль вздернет Пан взбѣшенный повод,
 И четко повторит чугун
 Удары мерзлаго копыта
 По опустѣлой мостовой...
 И вновь, поникнув головой,
 Безмолвен Пан, тоской убитый...
 И, странствуя на злом конѣ,
 Бряцает шпорою кровавой...
 Мечь! Мечь! — Так эхо над Варшавой
 Звенит в холодном чугунѣ»...

В набросках и вариантах есть нѣсколько важных отрывков, которые стоит привести:

«Тогда мы встрѣтились с тобой,
 Я был больной, с душою ржавой...
 Сестра, сужденная судьбой,
 Весь мир казался мнѣ Варшавой!...»

... Мы шли за гробом по пятам
 Из города в пустое поле
 По незнакомым площадям.
 Кладбище называлось: «Воля».
 Да, пѣснь о волѣ слышим мы,
 Когда могильщик бьет лопатой
 По глыбам глины желтоватой...»¹⁾
 «Не тѣм ли пасмурна Варшава,
 Что в сей столицѣ поляков —
 Царит нахальная орава
 Военных русских пошляков?
 Что строит русскіе соборы
 Какойнибудь державный вор
 Там, гдѣ плѣнял бы граждан взоры
 Лишь католическій собор?
 Что все, что губернатор скажет,
 Есть сѣрый непроглядный мрак.

¹⁾ Там же, стр. 172 — в каноническом текстѣ почти без изменений. ср. ib., стр. 93.

И кукиш из кармана кажет
Ему озлобленный поляк?»...

«А сын глядѣл, прозрѣть пытаюсь
В ночи хоть узкое окно,
Но все мелькало, расплываясь
В большое сѣрое пятно.
(В тѣ дни над Польшей тосковало,
И гибло, вѣрно, что-нибудь)».

Нельзя не признать, что во всѣх этих строках звучит лирическое чувство проникновения в страдание чужого, покоренного народа совершенно безпримѣрной силы и красоты. Это поэтическое русское раскаяніе, думается мнѣ, единственное в своем родѣ. И факт, что это пишет именно русский и пишет когда — сначала в 1910 а потом в 1921 годах, т. е. уже послѣ русско-польской войны 1920 года, придает этой невыразимо прекрасной лирикѣ эпическое значеніе. Послѣ Возмездія — так мнѣ кажется — трудно вторить сердцем и душой Клеветникам Россіи и Бородинской Годовщинѣ, несмотря на тѣ или иные quasi-примирительныя нотки, которыя, по мнѣнію защитников этих од, звучащих лязгом оружія и крикливым имперіализмом, онѣ в себѣ заключают. Как уже было сказано, Возмездія Блок не кончил, но сохранился «План дальнѣйшаго», относящійся к 1911 году: «Безконечно прав тот, кто опускает руки, кто (добивается самого ужаснаго) отказывается от поверхностных радостей жизни.

Сын опускался по Краковскому Предмѣстью, в том самом мѣстѣ 9-ая глава: человек опускающій руки и опускающійся прав. Нечего спорить против этого. Все так ужасно, что (каждая) личная гибель, (каждое) зарываніе (отдѣльной) своей души в землю — есть право каждаго. Это — возмездіе той кучкѣ олигархіи, которая угнетает весь мір. Также и «страна под бременем обид...»

Вот как должен был кончатся этот своеобразный, чудный, новый «Мѣдный Всадник».

(Окончаніе слѣдует)

Валл. Ледницкій.

ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ В СОВѢТСКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ

До сих пор имѣется немало людей, убѣжденных в том, что, поскольку в октябрѣ 1917 года крайне-лѣвое теченіе в революціи пришло к власти с провозглашеніем диктатуры, с уничтоженіем свободы совѣсти и слова, постольку и художественная литература, выросшая на каменистой почвѣ этих принципов, не может быть ни источником для познанія русской дѣйствительности, ни играть ту роль, которая в жизни стараго общества выпала на долю дореволюціонной литературы.

Нѣтъ нужды ни отрицать суровость режима, в котором живет и работает современный писатель, ни утверждать, что совѣтская литература является таким же крупным фактором, каким в жизни стараго общества была ея старшая сестра. Но для пониманія подлиннаго характера развернувшихся в Россіи событій очень важно с самого начала осознать нѣсколько фактов. Побѣда революціи на фронтах гражданской войны в художественной литературѣ ознаменовалась двумя явленіями. Старшіе писатели, выдвинувшіеся до революціи, за малыми исключеніями (А. Б л о к, В. Б р ю с о в, М. Г о р ь к і й) либо ушли в себя, либо эмигрировали. Наступило знаменитое «молчанье большой литературы», длившееся около 3-х лѣт. Но около 1920 года на литературной авансценѣ стали появляться новые, дотолѣ неизвѣстные писатели. На первых порах даже показалось, что произведенія этой литературной молодежи и по своим темам, и по авторам — явленіе совершенно новое, родившееся только вмѣстѣ с революціонной бурей. Впечатленіе это усиливалось оттого, что новые писатели не только не искали своих «предтеч» и «родственников» в дореволюціонной литературѣ, но, наоборот, как бы щеголяли своим интернаціонализмом и литературной «безродностью», соглашаясь признать близкими себѣ только самых революціонных по формѣ художников Западной Европы. В этом много было от собственной молодости и от молодости самой революціи. Вѣдь и революція устами своих первых публицистов в качествѣ ближайших «родственников» показывала

только Великую Французскую Революцію и Парижскую Коммуну.

При болѣе близком знакомствѣ с творчеством и біографіями первых совѣтских писателей выясняется, что, хотя они и шеголяли своей «безродностью», на самом дѣлѣ — и в социальном, и в литературном отношеніи — они имѣли многочисленную родню в нѣдрах старой провинціальной Россіи. Больше половины из перваго писательскаго призыва революціи — либо сами были выходцами из деревни (С. Есенин, Н. Клюев, П. Орешин, А. Неверов, А. Ширяевец), либо были дѣтьми и внуками крестьян (А. Яковлев, Л. Леонов и др.). Из деревни пришло и большинство так называемых «пролетарских» поэтов (как А. Жаров). Остальная часть новой смѣны была представлена выходцами из городской интеллигенціи, стараго чиновничества, мѣщанства (Вл. Маяковский, Б. Пильняк, Е. Замятин, Б. Пастернак, И. Бабель, О. Форш, В. Катаев, А. Караваева), из купечества (И. Эренбург, К. Федин). Старшіе среди них в ранней молодости принимали участіе в революціонном движеніи (Замятин, А. Тарасов-Родионов, Ф. Гладков); среди молодежи, которой к концу гражданской войны было всего 20-25 лѣтъ, было немало таких, которые получили политическое крещеніе в партіи социалистов-революціонеров (Вс. Иванов, Л. Сейфуллина, Дм. Фурманов и др.) и на фронтах міровой, а потом гражданской войны.

Слабѣ всего в новой смѣнѣ представлены были рабочіе и дворяне. Из видных писателей М. Зощенко, П. Романов и Ал. Толстой — дворянскаго происхожденія. Среди писателей из рабочих нужно назвать Г. Никифорова, С. Семенова, Дм. Лаврухина, М. Чумандрина. Обиліе пролетарских писателей, которыми в первое десятилѣтіе козыряла официальная публицистика, объясняется тѣм, что званіе это давалось не по социальному, а по политическому признаку; титулы «пролетарских» щедро раздавались писателям, либо вступившим в коммунистическую партію, либо солидаризовавшимся с официальной концепціей «диктатуры пролетаріата».

Таким образом первый писательскій призыв по своему социальному составу явился своеобразным парламен-

т о м л и т е р а т у р ы , в котором были представлены всѣ общественныя группировки Россіи. В его социальном спектрѣ преобладал з е м с к і й элемент с сильной крестьянской окраской и довольно ярко выраженными народническими симпатіями. В то время, как на верхах политической жизни забивались послѣдніе гвозди в здание новой власти, построенной на принципах партійной монополіи и «диктатуры пролетаріата», литература вплоть до начала 30-х годов продолжала жить возбужденной жизнью самочинно собравшагося «предпарламента», в котором каждый торопился не столько творчески выразить себя, сколько подѣлиться собранным матеріалом о настроеніях огромной, сошедшей со старых рельс, страны.

Но социально-политическая характеристика первых писательских кадров будет неполна, если мы не внесем в нее то, что в значительной мѣрѣ опредѣлило характер первых произведеній и дальнѣйшую судьбу литературы. Дѣло идет о том особом воздухѣ, в котором выросла писательская молодежь и которым дышала жизнь любого русскаго города. Стоит вспомнить «Голый год» Б. П и л ь н я к а , «Голод» С. Семенов а , «Дни Турбиных» М. Бу л г а к о в а , «Народ на войнѣ» С. Ф е д о р ч е н к о и др., чтобы понять, что рѣчь при этом идет не столько о физическом распадѣ старой жизни. Параллельно со стремительным развалом, шел распад многих, до тѣх пор считавшихся неизблемыми, понятій, на-ходу происходила, неслыханными страданіями и лишеніями оплачиваемая, переоцѣнка старых моральных и общественных цѣнностей. Этот пересмотр прежде всего потряс в его основѣ старое понятие свободы.

С в о б о д а д л я к о г о ? С в о б о д а д л я ч е - г о ? — вот тот вопрос, который носился в воздухѣ 17-го года и первых лѣт гражданской войны. В качествѣ главной задачи обездоленным массам смутно представлялась необходимость не столько борьбы за свободу, сколько з а щ и т а с в о б о д ы - о с в о б о ж д е н і я от посягательств сил стараго общества. Именно этим и вдохновлены вѣдь «Двѣнадцать» Блока: «Революціонный держите шаг, неугомонный не дремлет враг!» Реальность русской жизни с развязавшейся гражданской войной только подтвердила это смутное представление. Вся писательская молодежь жадно впитывала в себя эту упрощенную политграмоту, разсѣянную в воздухѣ страны, бившейся в огнѣ революціонной лихорадки. Она пе-

режила разрушеніе, голод, смерть. В калейдоскопѣ событій многіе среди молодых писателей явственно видѣли, как впереди хаоса «бѣжал нѣкій корявый м у ж и ч е н к о в г н ѣ в . Он бѣжал по мятели и холоду, в дырявых лаптишках, с сѣном в непокрытой, свалывшейся головѣ и выл» (М. Б у л г а к о в «Дни Турбинах»). Именно тогда эта молодежь и пережила величайшее духовное потрясеніе, которое привело ее к катарсису, к моральному очищенію, ко второму рожденію. Этим катарсисом, пережитым в тифозных ночах, в набитых людьми скотских вагонах, в степных заносах кочевья, когда «человѣк там бывал ниже крысы и прекраснѣе античных богов» (Н. З а р у д и н «Тридцать ночей на виноградникѣ»), эти писатели и почувствовали себя навѣки спаянными друг с другом в нѣкоем «с о д р у ж е с т в ѣ п о к о л ѣ н ѣ я » (из деклараціи писательской группы «Перевал»).

Во время этих странствованій по большакам и тропам революціи возникли в душѣ многих писателей ростки новаго п л е б е й с к а г о г у м а н и з м а . Этим плебейским гуманизмом пронизаны первая произведенія о революціи. Именно эти произведенія, а не коммунистическая пропаганда, возбудили интерес во всем мірѣ к русской революціи, особенно к ея народу. В иных общественных условіях из новых сѣмян плебейскаго гуманизма могло бы возникнуть искусство, которое обогатило бы и Россію, и человѣчество новыми чувствами и мыслями. Но именно тут то и поднялся, выражаясь словами позже объявленнаго «врагом народа» Б. Пильняка, «з а н а в ѣ с р у с с к и х т р а г е д і й » .

Тупая, социальна реакціонная, несмотря на весь свой революціонный радикализм, официальная критика встрѣтила в штыки творчество первых писателей. Маяковский был объявлен «декассированным бунтарем-одиночкой», Есенин — «хулиганом», Пильняк — защитником подозрительных «мужицких мятелей», Замятин — представителем «новой буржуазіи», крестьянскіе писатели — «мужиковствующими»; рабочим поэтам старшаго поколѣнія вмѣнялась в вину их «робость» и «грустныя ноты», старших рабочих писателей попрекали за «слюнявый гуманизм» (по поводу первых рассказов Н. Л я ш к о «Голубиное дыханье»)... А всѣ писатели вкупѣ были занесены в списки подозрительных «попутчиков», которыми, конечно, нельзя дать «мандата» на изображеніе происшедшей в странѣ «соціалистической революціи». Прав был

Зошенко (котораго критики тотчас отнесли в стан «мелкобуржуазных» писателей), что, хотя, есть в революціи и «стремительность» и «величественная фантазія» — «А попробуй ее описать: скажут, невѣрно. Неправильно, скажут, научнаго, скажут, подхода нѣтъ к вопросу. Идеологія, скажут, не ахти какая... Эх, уважаемый читатель! Б ѣ д а к а к п л о х о б ы т ь р у с с к и м п и с а т е л е м ! »

На этих невѣжественных и общественно-вредных оцѣнках не стоило бы останавливаться, если бы онѣ были мнѣніями частных досужих борзописцев. Но, увы, за этими критиками стояла монополія издательств, могущественныя партійныя и государственныя учрежденія, от которых зависѣла — часто в буквальном смыслѣ слова — судьба писателя. Жадной саранчей налетѣли борзописцы на молодые сады революціонной словесности, опустошая их, вселяя в сердца писателей робость, раздраженіе, ожесточеніе, губя самыя цѣнныя побѣги новаго міросозерцанія. Плебейскій гуманизм пришелся не ко двору. «Побѣдившій класс» — должен быть бодрым, увѣренным в себѣ. Раздумье — ширма, за которой прячется «непріятіе Октября» и т. д., все в таком родѣ.

Яркое представленіе о самочувствіи демократически настроеннаго, но не получившаго «мандата от жизни» писателя, дает повѣсть П. Р о м а н о в а «Право на жизнь или проблема безпартійности». Безпартійный писатель Останкин всѣм сердцем сочувствует новой жизни. Но его безпартійность является источником недоувѣрія редактора и всѣх, от кого зависит судьба его творчества. Останкину мучительно хочется преодолѣть это недоувѣріе к себѣ, он начинает говорить не то, что думает, писать не то, что чувствует. От этого страдают его рассказы; прежде они были неблагонадежны по идеологіи, теперь они лишены, по выраженію его редактора, «творческаго лица». Останкин начинает метаться и подличать. Подличает он уже не только в творествѣ, но и в личной жизни. Поймав себя на подлости в отношеніи к женщинѣ, которую он любит по-настоящему, Останкин кончает с собой, оставляя посмертную записку к братьям-писателям. В ней, умудренный своим горьким опытом, он упрекает товарищей по перу в том, что «из близорукой трусости перед эпохой» они «отреклись от своего подлиннаго лица». Останкин закликает их: «Знайте, что великія эпохи берут человѣка наощупь, провѣряют его и больше всего беспощадны к тѣм, которые лгут. Хотя бы они лгали от доброжелательства, от

хороших чувств, хотя бы они лгали от восторга. Великія эпохи требуют великой правды». Счастливый засыпает Останкин вѣчным сном, добровольным уходом из жизни купив свободу быть самим собой.

Выход, найденный Романовым для своего героя и встречающийся довольно часто в других произведениях конца нэпа (В л . М а я қ о в с к і й «Клоп», С е й ф у л л и н а «Расплата»), только знаменовал собой остроту кризиса сознания, переживавшагося тогда внутри молодого общества. Официально он именовался кризисом «мелкобуржуазной одиночки». Имѣлся, конечно, и точный рецепт его излѣченія — в слияніи с трудящимся классом. Маяковский, в стихотвореніи посвященном памяти добровольно ушедшаго из жизни С. Есенина, зло высмѣял этот «рецепт»:

«Дескать, замѣнить бы вам
Богему классом,
Класс влял на вас,
И было б не до драк»...

В дѣйствительности причины кризиса, проявлявшіяся в разных формах (вспомнить хотя бы роман Л. Л е о н о в а «Вор», в котором бывший участник гражданской войны и коммунист Митька Векшин из протеста против новаго общества становится вором; или послѣднюю поэму Есенина «Номах», гдѣ герой прославляет бандитизм; или, наконец, рассказ А. Т о л с т о г о «Голубые города»), коренились в одном большом конфликтѣ внутри побѣдившей революціи.

Ограниченіе свободы в період гражданской войны было принято писателями и широкими кругами демократически-настроеннаго общества легко, может быть, даже слишком легко. Но то же ограниченіе свободы в обстановкѣ побѣдившей революціи и экономических уступок крестьянству воспринималось как насилие и вызывало своеобразное сопротивление, не выходившее, правда, в обстановкѣ безправія, за рамки литературных споров.

Постановленіем ЦК коммунистической партіи (в маѣ 1925 года) «попутчики» получили официальное признаніе. Постановленіе даже рекомендовало критикѣ «бережное отношеніе» к писателям-попутчикам. Произведенія этих послѣдних, несмотря на пристрастные отзывы официальной критики, пользовались большой популярностью. С этим не хотѣли помириться коммунистическіе критики из лѣваго крыла РАПП

(Росс. ассоціація пролетарских писателей), группировавшихся вокруг журнала «На Посту». Разгорѣлась борьба. Во внѣ борьба эта больше извѣстна как дискуссія вокруг «показа живого человѣка». Всѣ писатели-попутчики и наиболѣ замѣтные пролетарскіе писатели высказывались за психологическій реализм, критики из «На посту» были яркими противниками реализма.

Особенно активную роль в этой борьбѣ сыграла писательская группа «Перевал», созданная А. К. Воронским в 1924 году. Группа эта, хотя и состояла в большинствѣ из коммунистов, отчетливо отразила стремленіе к демократическому завершенію революціи. Сам Воронскій, позже исключенный из компартіи, как троцкист, а во время Московских процессов 1936-38 г.г. объявленный «врагом народа» и тогда безвѣстно исчезнувшій, — один из наиболѣ интересных и талантливых коммунистических публицистов. Бывшій семинарист (см. его автобіографію «За живой и мертвой водой»), в ранней юности ушедшій в революціонное движеніе и примкнувшій к большевикам, он с самаго начала Октябрьской революціи получил от компартіи пост литературнаго дядьки. Став во главѣ «Красной Нови», перваго толстаго журнала в Совѣтской Россіи, он с'умѣл сплотить вокруг журнала талантливую литературную молодежь. Между официальными поученіями, он украдкой, с любовным вниманіем всматривался в лица первых совѣтских писателей. Когда началась травля «попутчиков», он в своих «Литературных портретах» выступил защитником многих из них. В двух томах «Портретов» разбросано много мѣтких характеристик, соединяющих художественный вкус с традиціями старой общественной критики. Само собой понятно, что Воронскому и пришлось вынести на своих плечах борьбу с ура-революціонными опричниками из «На Посту». Вот один образчик этой горячей и открытой полемики, которую мы заимствуем из сборника «Перевал» за 1926 г. В статьѣ «Пролазы и подхалимы» Воронскій разоблачает «прохвоста», который «не знает различія между литературным спором и доносом». «Впрочем, — прибавляет Воронскій — этого не знает литературный проstack, а пролаза и проныра знает, ох, как знает! Ходят такіе выжиги в званіи критиков, рецензентов, ходят они в званіи художника. Такой «художник» клянется и в стихах, и в прозѣ священным именем коммунизма, хотя всѣм извѣстно, что от коммунизма его только тошнит. Тиснув статейку, рассказик,

стишок, он в минуту откровенности, промежду своих, сознается: «приняли и пропечатали, отпустил и м полфунта Кремля — прошло». Многие наивные люди принимают «полфунта Кремля» за идеологическую выдержанность»...»

Под декларацией «Перевала», в которой группа формулировала свои взгляды на задачи искусства, имѣлись подписи видных писателей-коммунистов, как имя нынѣ покойнаго Малышкина, Ивана Катаева (позже объявленнаго «врагом народа» за то, что он собирает между товарищами деньги для сосланных писателей!). Под декларацией значились и подписи «попутчиков» М. Пришвина, Родіона Акульшина — виднаго представителя новой крестьянской интеллигенціи и т. д. Большой общественной интерес пріобрѣтает платформа, на которой добровольно объединились эти писатели. В программной статьѣ к Антологіи «Перевальцы» Группа заявляет, что она объединяет людей, выросших «среди битв», за которыми «навсегда разрушенное прошедшее», перед которыми «заря безграничнаго небосклона». Группа обѣщает всегда «рѣзко противоставлять себя тѣм теченіям в современной литературѣ, которые склонны процесс творчества замѣнять ремесленничеством, совѣсть и правду художника — торгашеством и злободневностью, органическое развитие литературы — административным командованием». Основой творчества для нее является «гуманизм», «искренность». «умѣнье видѣть міръ».

Среди поэтов «Перевала» наиболѣе выдѣлялся Семеновскій. Беспомощные по формѣ стихи его сразу запоминались одной особенностью: шелковой ниточкой в бумажной ткани, не сливаясь с ней, жила здѣсь тоска по свободѣ. Так, в стихотвореніи «не мак цвѣтет, не розаны» изображен цыганскій табор на горѣ; на табор с любопытством поглядывают «мѣшане да мѣшаночки». На них гирями нависли «домишко, ларь, комод», тогда как цыган «за далями да ширями свобода в путь зовет». Стихотвореніе кончается, словно написанное в глухую минуту реакціи, таким четверостишіем:

«Эх, счастье ты комодное!
Глухое забытье!
Нѣт, лучше хоть голодное,
Да смѣлое житье!»

Из прозаиков наиболѣе значительны послѣ М. Пришвина (в 1930-м году, во время первой травли «Перевала» он

опубликовал письмо о своем выходе из Группы). Н. З а р у д и н и упоминаясь уже И в а н К а т а е в. Особенно любопытна повесть Зарудина, написанная в 1932 году «Тридцать ночей на виноградникѣ». К этим «Ночам» хочется взять слова из предисловія В л . О д о е в с к а г о к его «Русским Ночам», написанным почти сто лѣт назад: «Во всѣ эпохи душа человѣка стремлением необоримой силы, невольно, как магнит к сѣверу, обращается к задачам, коих разрѣшеніе скрывается во глубинѣ таинственных стихій, образующих и связующих жизнь духовную и жизнь вещественную... Как там, так и тут нѣсколько молодых литераторов, художников, спаянных общностью идей своего времени, смысливают пережитое и свое мѣсто в эпохѣ. Наши современники спаяны гражданской войной, когда в хаосѣ «второго сотворенія» они увидали «голаго человѣка на голой землѣ». Они искренно были и остаются на сторонѣ революціи, но тайно гложут их сомнѣнія: цѣлесообразно-ли ограниченіе свободы? Вполголоса — и все-же читатель хорошо слышит каждаго — обсуждаются три точки зрѣнія. Одна представлена Лириком и веселым Мастером-бондарем. И Лирик, и бондарь считают, что «абстрактные люди — преступленіе. Они успѣли согнать с жизни ея самую простыя улыбки». «Для меня Пушкинская няня — говорит Лирик — дороже несуществующих узоров. Я л ю б л ю л ю д е й , а н е и д е и о н и х ». Партиец, замѣшанный на дрожжах «военнаго коммунизма», полагает, что самая постановка вопроса о свободѣ «как в отношеніи творчества, так и в отношеніи личнаго поведения, является пережитком анархическаго протестанства ущемленной мелкобуржуазной интеллигенціи». Этот «Заратустра воинствующаго рационализма», далекій потомок Писаревских «мыслящих реалистов», готов послать к чорту даже грозу, если ее нельзя «принять в провода и не подтянуть ей горло желѣзной гайкой». Промежуточное мѣсто занимает сам автор: «Развѣ случайно то, что все украшающее лик земли идет суровыми шагами и бренчит садовыми ножницами?» — «Обрѣзанный весенній сад бѣден, нищ, вопіет нѣжностью и жалостью, апрѣль смотрит сквозь бѣдность рѣдких стволов пустотой разгрома. Но садовник доволен, садовник не знает гуманности, он усмѣхается боязливой рукѣ, опускающей ножницы... В стальных ножницах, обгаренных свѣтлой душистой кровью, говорит жестокой закон совершенствованія»...

Как ни расплывчаты были лозунги «гуманизма» и «искренности» — идеологи официального курса вѣрно почувствовали, что самая постановка вопроса о гуманизмѣ объективно является протестом против режима насилия и угнетенія личности, что платформа искренности — в зачаточной формѣ — требованіе свободы творчества. Первой пятилѣткѣ с ея новой волной террора всѣ эти идеи, даже высказанныя шопотом, казались настоящим потрясеніем основ. «Перевал» был распушен.

Но даже в самую тяжкую для писательскаго творчества пору — в 1930-32 г.г., все-таки, то тут, то там, раздавались отдѣльные смѣлые голоса, продолжалась придушенная дискуссія о больших проблемах эпохи. К таким произведеніям относится повѣсть В. К а в е р и н а «Художник неизвѣстен». Особенно интересна она своим н а п р я ж е н н ы м д і а л о г о м , который ведут двое главных дѣйствующих лица — художник Архимедов и инженер Шпекторов. Архимедов не отрицает экономических успѣхов пятилѣтки. Но «за тусклыми бутылками» увидел он в кабаках «невеселых пьяниц эпохи реконструкціи», столкнулся с такими явленіями жизни, которыя заставляют его высказать нѣсколько глубоких мыслей о природѣ подлиннаго социализма, о творествѣ и функции единственно-нужнаго своей эпохѣ с в о б о д н а г о т в о р ч е с т в а : «Есть художники, которым сейчас легко работать. Это счастливыя, увѣренные в том, что время работает на них. Легкой рукой они берут все, что им придется, потому что в их хозяйствѣ все кажется своевременным и нужным. Среди них есть почтенные люди, в которых необыкновенно сильно развит инстинкт историческаго самохраненія. А есть и мальчики, которые пришли, когда обѣд был уже сѣден... Но живопись настоящая, единственная, которая нужна своему времени, она обходится без тѣх и без других. Это дѣло страшное, безжалостное, с удачами и неудачами, с возстаніями против учителей, с настоящими сраженіями, в которых гибнут не только холсты, но и люди. Это борьба за глаз, за честность глаза, который не подчиняется ни законам, ни запрещеніям. Это дѣло такое, что нужно идти на голод, на холод и на издѣвательство. Нужно спрятать самолюбіе в карман или зажать в зубах и, если нѣтъ полотна, рисовать на собственной простынѣ».

Еще рѣзче прозвучал голос недавно погибшаго от нѣ-

мешкой бомбы в Москвѣ, драматурга А. Афиногенова (в пьесѣ «Страх», 1931 г.).

Интересно отмѣтить, что в произведеніях первой пятилѣтки, обслуживающих в основном интересы строительства, в качествѣ защитников личности выступают иногда представители технической интеллигенціи (Ф. Гладков в «Энергия»). Зато старая техническая аристократія, активно участвующая в осуществленіи программы строительства, помирившись с властью, все болѣе рьяно начинает требовать «равноправія» в системѣ коммунистическаго деспотизма. Очень интересный образец такой «борьбы» представляют мысли отвѣтственнаго стараго специалиста в романѣ бывшаго «Перевальца» П. Слетова «Равноденствіе» (1934 г.). Старый инженер Ро, приобрѣтшій большую известность в нефтяной промышленности еще до революціи, подымает во время частнаго совѣщанія на дому у руководителя нефтяной промышленности вопрос о неравенствѣ технической интеллигенціи и класса «преобразователя». Он готов признать за «преобразователем», что ему «все позволено», даже если это сопровождается большой жестокостью. Но он требует таких же прав и для техника. Ибо техник — такой же творец, как и «преобразователь». Он иллюстрирует свою мысль ссылкой на Петра Великаго. Петру гораздо легче было бы сидѣть в царском теремѣ, чѣм пуститься на путь больших реформ, неминуемо связанных с большими жестокостями. Для всѣх этих жестокостей ему нужна была «огромная этическая зарядка, убѣжденіе, что он заботится об общем благѣ». «Нужна она ему была и тогда, когда он гноил мужиков на болотах Санкт-Петербурга и тогда, когда душил сына». Но такая зарядка не приходит из среды современников, страдающих объектов преобразования. Ее нужно искать «в послѣдующих поколениях». Значит, преобразователь вынужден апеллировать «к безликому разуму» этих будущих поколѣній, ибо только они оправдают и «благословят» его». Но тогда преобразователь не имѣет права игнорировать мораль остальных. И Ро спрашивает: «В чем разница между преобразователем и техником, который работает рука об руку с преобразователем? — В силѣ моральной убѣжденности? Но Аввакумы шли, как известно, на костер, а я, техник, быть может, предпочту завтра разорвать всѣ договоры и пойти конюхом на колхозный конный двор, но только не дѣлать того, с чѣм я не согласен». Если техник все же не рвет «договора», а сотрудничает с

«преобразователем», тогда и его работа — «творческое дѣло». «И в чем же тогда для меня разница между мною, техником, и вами — преобразователь?»

Отвѣта на свой вопрос Ро не получает, но обдуманность и страстность формулировок показывает, как болѣзненно высшая техническая интеллигенція воспринимала в системѣ диктатуры привилегіи коммунистических хозяйственников. В извѣстной рѣчи Сталина в Кремль (1935 г.), поднявшаго тост «за непартийнаго большевика», эта высшая техническая интеллигенція получила долгожданное признаніе.

1934 год во многих отношеніях казался счастливым годом. Первая «железная» пятилѣтка закончилась благополучно, ея экономическіе успѣхи были налицо, с другой стороны, в основном сломлено было сопротивление крестьянства насильственной коллективизации. В воздухѣ запахло раздышкой, в воздухе либеральными настроеніями. В художественной литературѣ это время совпало с появленіем интересных проблемных произведеній (А. л. К а р ц е в «Магистраль», К. Ш у б и н «Третій фронт» и др.), оживилась и борьба за свободу творчества, проявившаяся на рядѣ писательских конференцій (С е й ф у л л и н а «За здоровье преосвященнаго», М. П р и ш в и н «Отцы и дѣти»). Но особенно знаменательным для начавшейся либеральной эры было возрожденіе «Перевала», распушеннаго в 1930 году.

«Перевал» был тогда распушен как группа, но ея писатели продолжали существовать на окраинах литературы, отодвинутые своими болѣе счастливыми, вѣрнѣе, болѣе крикливыми и безцеремонными, соперниками. Порой голос их звучал совѣм тихо, казалось, вот-вот оборвется совѣм... Продолжал всѣ годы писать И в а н К а т а е в. В 1932 году он написал повѣсть «Ленинградское шоссе», посвященную «выкормышам предмѣстья, овладѣвшим городом и государством», в которой ярко сквозит самая характерная черта его творчества, характерная, впрочем, и для всего «Перевала»: нѣжность к плебейской Россіи, вѣра в возможность послѣ пережитых нечеловѣческих трудностей счастливой трудовой жизни для этой огромной, никѣм еще неизученной страны. Весь богатый запас своего лиризма отдает Катаев прославленію неутомимаго «народа холока и странника» («Хамовники»).

В большой рѣчи, произнесенной на одном из писательских совѣщаній в Москвѣ, Катаев формулировал новыя за-

дачи искусства: «Предстоит серьезнѣйшее смѣшеніе критеріев в искусствѣ, огромное измѣненіе масштабов, провѣрка репутаций дѣлом, авторитетов — жизнью... Мы должны внутренне готовиться к этим перемѣнам. Наше искусство, наша литература должны быть демократическими: по духу, тону, идеалам, симпатіям, связям — в идеѣ, в мысли, в синтаксисѣ, в лексикѣ, в каждом движеніи мысли и чувства... Но для этого ему надлежит стать искусством великой социалистической демократіи». Этой рѣчи, написанной еще в 1934 году, но произнесенной в началѣ 1936 года, суждено было стать лебединой пѣсней писателя... Вскорѣ послѣ I-го Московскаго процесса и разстрѣла 16-ти, «Перевал» был ликвидирован, а его наиболѣе активные писатели — Катаев, Зарудин, Губер — сосланы. Во время этой «кампаніи» выяснилось, что как раз незадолго до процесса, Группа стала хлопотать об изданіи самостоятельнаго журнала или хотя бы Альманаха. «Правда» это квалифицировала, как доказательство того, что «Перевал» стал перерастать... из группировки творческой в политическую».

Опыт общественнаго развитія учит, что исторически назрѣвшія задачи эпохи, не осуществленные одним классом или группой людей, подхватываются и осуществляются — обычно в ухудшенном вариантѣ — другими социальными силами. Страшная волна «чисток», прокатившаяся по странѣ в 1936-38 г.г. и не пощадившая и художественной литературы, могла ликвидировать тайных и явных оппозиціонеров диктатуры. Но меч, огонь и кровь безсильны перед большими идеями свободы и демократіи. В 1938 году в высказываніях и в творствѣ совѣтских писателей стали вновь оживать столь, казалось, сурово осужденныя крамольныя мысли и чувства.

В обращеніи «К молодым писателям» Ал. Толстой, один из тѣх писателей, в ком, по выраженію Каверина, всегда так силен был «инстинкт историческаго самосохраненія», рекомендует литературной молодежи «дерзать»: «Если вам кажется из ваших наблюденій и ощущеній, что вы создаете тип эпохи. И если в этом сознаніи вы не лжете и не кривите, если вы окрылены — в 99 случаях из 100 вас ждет художественная удача... А вот тащиться по проторенным дорожкам, с ужимками и улыбками, примѣряться, отдергивать руку, когда горячо, слушать направо и налево, и так далѣе, — это не искусство, это ремесло, вредное и безсовѣстное ремесло. Дерзаніе всѣм нам нужно в себѣ носить и утврждать».

Под этой программой можно было бы подписаться, если бы наряду с пафосом творческого дерзания Толстой не солидаризировался с теми, кто вчера не на словах, а на деле расправился как с «врагами народа» со столькими писателями, имевшими смелость отстаивать идею творческой свободы тогда, когда Толстой молчал...

В. Александрова.

ВОСПОМИНАНІЯ О ТОЛСТОМ

(Из воспоминаній врача)

Литература о Толстом необ'ятна. Имѣются многотомныя біографіи, составленныя его секретарями и сотрудниками, безчисленныя воспоминанія о нем. Записывались не только каждый его шаг и дѣйствіе, но и каждое слово, день за днем, чуть ли не по часам. И как записывались! Д-р Д. П. Мاکовицкій не без нѣкотораго хвастовства рассказывал мнѣ, как он наловчился записывать слова Толстого, незамѣтно для него, карандашом на блокнотѣ, не вынимая послѣдняго из кармана пиджака. Опубликованы воспоминанія его дѣтей, Ильи, Льва, Сергѣя, Татьяны; нѣсколько лѣтъ тому назад напечатаны исключительно талантливо и интересно, а, главное, с предѣльной искренностью написанныя воспоминанія Александры Львовны. Опубликованы дневники и «ежедневники» Софьи Андреевны, писанныя несомнѣнно не для себя только, и наконецъ обнародованы дневники самого Льва Николаевича, безпримѣрные по своей самообнаженности, и в том числѣ его маленькій «дневник для самого себя», который он вел послѣдніе полгода своей жизни, не показывая его никому.

И если я, без малѣйшей претензіи, конечно, сказать чтонибудь новое о Толстом, рѣшаюсь все-таки подѣлиться своими о нем воспоминаніями, то по слѣдующимъ соображеніямъ.

«Загадка Толстого», несмотря на всю существующую литературу, остается и, думаю, навсегда останется неразгаданной. М. А. Алданов писал свою «Загадку Толстого» вскорѣ послѣ его смерти, но я увѣрен, что и теперь, в обладаніи всѣми матеріалами, напечатанными за послѣдніе 25 лѣтъ, можетъ быть, кое что и написалъ бы по иному, но пришелъ бы, вѣроятно, к тому же заключенію; в недоумѣніи мы останавливаемся перед неразрѣшимой проблемой Толстого, стоит он перед нами вѣчной загадкой, и кто можетъ сказать, что понялъ Толстого?

И. А. Бунин в своей книгѣ «Освобожденіе Толстого» пишет, что «еще неизвѣстно, не прав ли одинъ московскій профессор, говоря о какой то формѣ эпилепсіи, будто бы таив-

шейся в нем»*)· И дальше он уже от себя прибавляет, что «главнѣй всего того то, что у него были зачатки туберкулеза, дающаго, как извѣстно, тѣм, кто им поражен, и духовный склад совѣм особый». Эти соображенія вряд ли убѣдят врачей.

А если это так, если загадка Толстого остается неразрѣшимой, то вѣдь естественно, что всякая мелочь, касающаяся его, привлекает наше вниманіе.

И затѣм еще слѣдующее. Нам, врачам, приходится иногда наблюдать, как великіе люди при серьезных заболѣваніях являются слабыми духом людьми, со всѣми нерѣдкими у больного человѣка слабостями, эгоизмом, угнетеніем, страхом за исход болѣзни. Относится ли это и к Толстому?

Нижеслѣдующія воспоминанія относятся к очень далекому прошлому; 40 лѣтъ прошло с тѣх пор, но все, связанное с Толстым, так врѣзалось в память, точно случилось вчера. У меня кромѣ того сохранился дневник — исторія его болѣзни, куда иногда записывал и отдѣльныя его замѣчанія, мнѣнія, разговоры.

В началѣ 1901 г., в связи с обнародованіем постановленія Синода об отлученіи его от церкви, обострился интерес русскаго общества к личности Толстого. Так как газетам запрещено было писать, то ползли всякіе слухи о манифестаціях, демонстраціях, в частности на передвижной выставкѣ в Москвѣ перед выставленным там Рѣпинским его портретом. Много говорилось на эту тему и в Ялтѣ. Лѣтом стало извѣстно, что он чѣм-то заболѣл. Скоро я от близких мнѣ людей, связанных многолѣтней дружбой с семьей Толстых, услышал, что предполагается его переѣзд в Крым на продолжительное время и что гр. С. В. Панина предложила ему с семьей поселиться в ея имѣніи Гаспрѣ, находящемся верстах в 9 от Ялты. В сентябрѣ, в самый разгар сезона, стало извѣстно, что Толстые уже пріѣхали. В нѣкоторых, так наз. высших кругах, по этому поводу высказывалось удивленіе и даже возмущеніе:

*) Бунин имѣет в виду вышедшую в 1930 г. в Москвѣ работу проф.-психіатра Евлахова: «Конституціональныя особенности психики Л. Н. Толстого», в которой автор приходит к парадоксальному заключенію, что Т. был, подобно Достоевскому, эпилептиком, и этим объясняет многое в его художественном творчествѣ и даже в его ученіи.

как могли это позволить, особенно теперь, послѣ его отлученія от церкви, да еще в район, гдѣ проживали нѣсколько великокняжеских семей, и куда ожидали скорого прїѣзда Двора?

В октябрѣ Чехов поздно вечером позвонил мнѣ и попросил непременно сейчас же прїѣхать. На мой вопрос, что случилось, весело отвѣтил, что расскажет мнѣ нѣчто очень интересное. Встрѣтил он меня словами: «а я, батенька, сегодня был у Толстого!» Затѣм, шагая по кабинету, как всегда, когда он был возбужден, он рассказал про свой визит, как его ласково принял Толстой, как долго не отпускал, и какой это замѣчательный человек, и как он хвалил его, Чехова, вещи, — но только уговаривал его не писать ничего для театра, так как драмы его никуда не годятся. При этом рассказѣ глаза у Чехова радостно блестѣли и он то и дѣло смѣялся своим особенным Чеховским смѣхом. К концу он слѣлал серьезное лицо и прибавил: «А здоровье старика неважное, и дышет он как то и сердце у него того. Надо его серьезно полечить».

В началѣ ноября у меня появилась Татьяна Львовна Сухотина, старшая дочь Льва Николаевича. У нея были серьезные жалобы, состояніе ея здоровья очень ее беспокоило; но и во время врачебной части визита и потом, когда она заговорила о наших общих знакомых и о посторонних предметах, внимательно всматриваясь в меня своими близорукими глазами, я испытывал странное чувство, точно меня «щупают», экзаменуют. На мой вопрос, как себя чувствует Л. Н., послѣдовал отвѣт, что очень неважно, но нѣтъ возможности заставить его лѣчиться. — Через дня два, 6-го ноября, раздался звонок из Гаспры, и Софья Андреевна просила прїѣхать посмотреть Льва Николаевича. Окончив прїем, я выѣхал. Я очень волновался; я был молодым врачом, всего 3 года в Ялтѣ, гдѣ было очень много врачей и среди них нѣсколько пожилых, пользовавшихся извѣстностью. И вот на мою долю неожиданно выпадает честь, но и громадная отвѣтственность лѣчить «самого» Толстого. Наше поколѣніе относилось нѣсколько снисходительно к толстовству, к проповѣди непротивленія злу. Но помимо того, что Л. Н. был великим писателем земли Русской, он был для нас еще и олицетвореніем смѣлаго протеста против всякаго зла, насилія, злоупотребленія властью. Мнѣ раньше пришлось видѣть его два раза. Как-то на Плющихѣ, по дорогѣ в клинику, мы остановились, о чем-то разговаривая, с товарищем, когда вдруг замѣтили направляю-

шуюся к нам со стороны Дѣвичьяго Поля, столь знакомую по фотографіямъ фигуру. Был сильный мороз. Толстой шел быстрыми шагами в полушубкѣ с глубоко нахлобученной шапкой, с руками в карманах. Мы сняли фуражки, низко ему поклонились, он небрежно кивнул в нашу сторону головой, но мы долго еще смотрѣли ему вслѣд, и я весь день, помню, находился под впечатлѣніемъ того, что впервые видѣлъ «живого» Толстого. И во второй разъ вскорѣ послѣ того, в январѣ 1894 года, на с'ѣздѣ естествоиспытателей и врачей, когда на эстрадѣ Моск. Дворянскаго Собранія, гдѣ происходило общее Собраніе С'ѣзда, неожиданно появилась его фигура в блузѣ, с заложенной за пояс правой рукой и с шапкой в другой рукѣ, и всѣ, а особенно мы, студенты, перестали слушать докладчика и не сводили глаз с этого необычнаго посѣтителя научнаго с'ѣзда; потом мы густой толпой стояли по обѣ стороны зала, когда он направлялся к выходу.

Меня встрѣтила Софья Андреевна, и послѣ нѣсколькихъ любезныхъ фраз повела наверхъ к больному. Я нашел его не такимъ, как сохранил в своей памяти. В постели лежал дряхлый старичек; беззубый рот; широкій приплюснутый нос, очень большія, высоко посаженныя уши, рѣдкая, взлохмаченная сѣдая борода, рѣдкіе волосы на головѣ. На этом усталом, очень обыкновенномъ лицѣ больного поразили только пристально установившіеся на меня глаза: небольшіе, глубоко под густыми нависшими бровями сидящіе, они, казалось, пронизывали вас, видѣли насквозь. Под этимъ взглядомъ, я убѣжден, говорить неправду, лгать было безцѣльно. Мнѣ пришлось присутствовать разъ при сценѣ, какъ видный общественный дѣятель рассказывалъ Толстому про имѣвшіеся незадолго передъ тѣмъ мѣсто в Полтавской губерніи земельные безпорядки и про послѣдовавшія за ними экзекуціи, разстрѣлы, и для вящаго эффекта приводилъ громадныя цифры. Толстой слушал, не сводилъ глазъ, только изрѣдка ахал, и рассказчикъ совсѣмъ, какъ в Крыловской баснѣ, постепенно спускалъ числа.

Л. Н. сталъ рассказывать про свою болѣзнь, Софья Андреевна все время перебивала и вносила поправки, онъ предоставилъ продолжать ей, изрѣдка вставляя замѣчанія. Я узналъ, что в іюнѣ онъ заболѣлъ рецидивомъ давно сидѣвшей в немъ маляріи, появились симптомы сердечной слабости, и вскорѣ случился первый приступ грудной жабы; былъ выписанъ изъ Москвы д-р Щуровскій, который очень настаивалъ на поѣздкѣ

в Крым. Здѣсь он вначалѣ чувствовал себя лучше, много гулял, но в послѣднее время состояніе его значительно ухудшилось, и он снова стал лихорадить. При изслѣдованіи я нашел увеличенную селезенку, признаки цирроза печени, расширенное сердце, общій рѣзко выраженный артеріосклероз; температура давала ежедневныя повышенія. Я предложил между прочим правильные приемы хирина и подкожныя инъекціи мышьяка. «А больше Вы ничего придумать не можете?» Я отвѣтил, что нахожу именно это показанным. — «Нѣтъ, нѣтъ, отравлять себя мышьяком я не позволю». Затѣм он задал нѣсколько общих вопросов, и я откланялся. Провожая меня, Софья Андреевна с горечью замѣтила: «Вот так он всегда и ничего с ним не подѣлаешь». При прощаніи сунула мнѣ в руку конвертик, я, несмотря на ея настаиванья, отказался и она, спрятавъ его в карман, улыбаясь, замѣтила: «Никто с него не хочет брать за лѣченіе, даже Захарын отказался от гонорара». Должен прибавить, что С. А. впоследствии через меня и С. Я. Елпатьевскаго внесла значительную сумму на санаторію «Яузлар» для недостаточных туберкулезных больных, в устройствѣ которой мы принимали дѣятельное участіе.

Я возвращался из Гаспры с пріятным сознанием, что побывал у Толстого, но и с чувством, что роль моя, как врача, тут кончена.

Через нѣсколько дней я был срочно вызван туда к Татьянѣ Львовнѣ. Я справился о здоровьи Л. Н.-а и узналъ, что он лежит, все в том же состояніи и мрачном настроеніи. Я был уже в передней, когда сбѣжавшая сверху Александра Львовна заявила, что Л. Н. просит меня наверх. Подробно разспросив про здоровье дочери, которое его очень беспокоило, он огорошил меня неожиданным вопросом: «А шприцовку вы захватили?» Сообразив, что он подразумѣвает шприц для вспрыскиваній, я отвѣтил отрицательно, сославшись на его рѣшительный отказ. «А вы должны были бы настаивать, раз вы находите необходимым», и потом прибавил: «лучше уж отравлять тѣло, чѣм чтобы мой дух отравляли». Мы начали инъекціи.

Чтобы не возвращаться, я здѣсь вкратцѣ расскажу исторію его болѣзни или, точнѣе, болѣзней за ту исключительно тяжелую для него зиму. К началу декабря ему стало значительно лучше, температура установилась нормальная; изрѣдка бывали легкіе приступы сердечной слабости, большею частью послѣ переутомленія от ходьбы или верховой ѣзды. 6-го де-

кабря он сѣлал верхом около 20 верст, заѣзжал с визитом к художнику, а на слѣдующій день отправился в Ялту навѣстить временно проживавшую там дочь, Марію Львовну Оболенскую, и здѣсь у него разыгрался тяжелый припадок грудной жабы. Когда я потом упрекнул его за нарушение режима и злоупотребленіе верховой ѣздой, он с наивно-удивленным видом возразил: «Но я вѣдь, не слѣзая с лошади, приѣзжал из Севастополя в эти мѣста и, почти не отдыхая, обратно». — «Когда?» — «Да в Севастопольскую кампанію»... Спустя нѣсколько дней, его можно было уже отвезти домой, и во второй половинѣ декабря ему опять стало хорошо; он гулял часа по 2-3 в день; много работал, между прочим, неожиданно для окружающих, потребовал давно нетронутую, незаконченную рукопись «Хаджи Мурата» и занялся ею. 23-го января 1902 г. состоялась консультація с приѣхавшими В. А. Щуровским (из Москвы) и Л. Б. Бертенсоном (из Петербурга); состояніе его было признано очень хорошим. Между прочим консультанты высказались за то, чтобы, не говоря ему, примѣшивать к супам мясной бульон. Мнѣ это казалось не настолько важным, чтобы прибѣгать к такому способу. Вопрос разрѣшила вошедшая Софья Андреевна, заявившая, что она давно уже это дѣлает. Через нѣкоторое время мнѣ передавали, что, заподозрив почему-то неладное, Л. Н. призвал повара и строго спросил у него, не подливает ли он бульон. Повар перекрестился и обиженно отвѣтил: «как бы я посмѣл, Ваше Сіятельство!» Вопрос больше не возбуждался. Самыя консультаціи Л. Н. как будто на словах находил излишними, никчемными, иронизировал, но не очень против них протестовал и легко уступал, затѣм уже без всякаго выраженія недовольства подвергался всѣм продолжительным и утомительным изслѣдованіям. Когда Бертенсон, посовѣтовавшій к одеколону для обтиранія прибавлять немного борной кислоты, вышел из комнаты, он, улыбаясь, спросил меня: «как же это вы, И. Н., не знали про борную кислоту, а?» Через нѣсколько мѣсяцев в Ялту приѣхал с женой старый московскій профессор М. П. Черинов. Я лѣчил его заболѣвшую жену, и он как то выразил желаніе посмотрѣть Толстого. Софья Андреевна охотно согласилась, уговорила и Л. Н.-а... Приѣхали мы с ним. Он по захарьински очень подробно разспрашивал обо всем, о том, как, что, когда ѣст больной. Просил принести тарелку, из которой он ѣл кашу, и сказать, до каких ли краев она наполнялась и т. д. И Л. Н. на слѣдующій день

ВОСПОМИНАНІЯ О ТОЛСТОМ

мнѣ замѣтил: «а вот вы не спрашивали, до краев или не до краев я тарелку с'ѣдаю». Когда я, смѣясь, отвѣтил, что я вѣдь очень часто вижу, сколько он с'ѣдает, он отвѣтил: «Ну, это все таки не то».

Бертенсон уѣхал на слѣдующій день послѣ консультаціи, а Щуровскій на день задержался в Ялтѣ. 24-го Л. Н. заболѣлъ сильнѣйшим приступом грудной жабы и через два дня плевритом и двусторонним воспаленіем легких. Болѣзнь протекала очень тяжело, наш больной не раз был на волосок от смерти. Д-р Щуровскій задержался на полторы недѣли. Во врачебном уходѣ и в ночных дежурствах принимал участіе еще мѣстный земскій врач К. В. Волков и иногда С. Я. Елпатьевскій. К концу марта приглашен был для постояннаго пребыванія в Гаспрѣ московскій земскій врач Д. В. Никитин, потом остававшійся долго при Толстом, бывшій при нем и во время его послѣдней болѣзни в Астаповѣ.

Л. Н. отдавал себѣ отчет в своем положеніи. Как то он у жены Ильи Львовича спросил, гдѣ похоронили незадолго перед тѣм умершую мать ея; она отвѣтила, что ея гроб отвезли туда, гдѣ находились могилы ея родителей. — «Как безтолково! Зачѣм возить мертвое тѣло? Меня уж закопайте здѣсь».

Вскорѣ меня посѣтили гостившіе на южном берегу Ив. И. Петрункевич с женой, матерью графини Паниной, чтобы сказать, что со стороны послѣдней, конечно, никаких возраженій против погребенія Л. Н.-а в Гаспрѣ не будет. Были слухи о состоявшемся тайном распоряженіи высшаго духовнаго начальства мѣстному священнику проникнуть в дом, гдѣ лежал умирающій Толстой, чтобы потом можно было об'явить о примиреніи его с церковью. Насколько эти слухи имѣли основаніе, не знаю. Но вот поздно вечером я под'ѣзжал к усадьбѣ в проливной дождь, верх и фартук экипажа были подняты. Пока кучер слѣзал с козел, чтобы позвонить привратнику, из темноты вынырнула фигура в непромокаемом плащѣ с капюшоном на головѣ. Оказался мѣстный урядник. — «Что вы тут дѣлаете?» — «Как, г. доктор, здоровье графа?» — «Гораздо лучше. А почему вы спрашиваете?» — «Так что приказаніе есть, в случаѣ его смерти немедленно опечатать всѣ бумаги и письма». Когда я часа через два возвращался домой, то увозил с собой в экипажѣ мимо посторонившагося урядника два чемодана с письмами и бумагами.

Постепенно, очень медленно, с колебаніями, состояніе

больного улучшалось. 3-го апрѣля, по полученіи извѣстія об убійствѣ Сипягина Балмашевым, случился сердечный припадок. Но вскорѣ Л. Н. стал понемногу ходить, с конца апрѣля уже без палки; стали выводить его на воздух. 2-го мая новый рѣзкій под'ем температуры явился началом бурно протекавшаго инфекціоннаго катарра тонких и толстых кишек. Совсѣм наладился Л. Н. только к концу мая, и в Ясную Поляну возвратился в **концѣ іюня**.

Настроенія Толстого и в зависимости от них и его внѣшній вид, и манера держать себя бывали очень измѣнчивы. В бодром настроеніи он или шел навстрѣчу посѣтителю быстрой походкой, или встрѣчал сидя, заложив ногу на ногу; был особенно привѣтлив, шутил. «Вы ищите хорошаго мѣста для укола, как для пикника». Я как то взял его мокроту для изслѣдованія. — «Не найдете там никаких животных, я вѣдь вегетаріанец». — Я рассказал ему, что разбирая архив Тверской Губернской больницы, нашел исторію болѣзни, составленную в 70-х годах ординатором-нѣмцем, плохо владѣвшим русским языком, гдѣ коротко латинскими терминами описывались симптомы крупознаго воспаленія легких у больного. Затѣм слѣдовала три дня подряд одна помѣтка: «лютше» и на четвертый день: «помер». И когда Л. Н. встрѣчал меня словом: «лютше», то я знал, что ему дѣйствительно лучше и что он в хорошем настроеніи. — Он мог по нѣсколько раз, заливаясь веселым смѣхом, рассказывать слышанные от Шаляпина анекдоты; всѣм интересовался, с увлеченіем играл в винт или шахматы. Это был один Толстой. Другой, когда он, как старая баба, сидѣл в креслѣ, закутанный в большой шерстяной платок, молчаливый, с мрачным изподлобья взглядом и вы чувствовали, что ваше присутствіе его стѣсняет.

Нас, врачей, поражала сила сопротивленія этого старческаго, дряхлаго организма (вѣдь ему было 73 года). На нем было так замѣтно вліяніе на теченіе болѣзни психическаго фактора. Душевыми силами об'ясняли мы и совершенно исключительную способность его только крайне рѣдко впадать в бредовое состояніе и быстро возвращаться в полное сознаніе послѣ забытья, вызваннаго особенно высокой температурой или сердечным припадком, когда, как он говорил, «вся дребедень, которую я писал и думал, лѣзет в голову».

В одну из самых тревожных ночей мы рѣшили с Щуровским поочередно дежурить при нем, и среди ночи я смѣнил Щуровскаго. В комнатѣ был полумрак. Л. Н. лежал на спинѣ

с закрытыми глазами, тяжело дыша, температура была около 40, пульс слабый, неправильный. Я сидѣл около него в креслѣ. Вдруг слышу, слабым голосом, почти шопотом он спрашивает: «Вы читали Данте? «Божественную комедію?» — «Ну, — подумал я, — бредит старик», и отвѣтил: «да, отрывки». — «По русски?» — «Да». «А вот Щуровскій по итальянски». В сосѣдней комнатѣ лежал старшій сын Л. Н.-а, Сергѣй, и я, уходя, рассказал ему. Он размѣялся. «Вот вѣдь он какой, замѣтил таки: это Щуровскій принес с собой Данте в оригиналѣ». Щуровскій владѣл нѣсколькими языками, в том числѣ и итальянским, и любил этим щегольнуть.

Толстого нѣсколько раз навѣстил жившій поблизости великій князь Николай Михайлович. Послѣ одного из таких визитов Л. Н. показывал мнѣ орѣх, принесенный послѣдним с совѣтом носить его постоянно в карманѣ, как надежный амулет против болѣзней. Он поднес Л. Н.-у свое историческое изслѣдованіе о кн. Долгоруких с надписью: «в знак глубокаго уваженія и любви к Л. Н. Толстому». Он же передал царю написанное в это время, в серединѣ января, письмо о необходимости радикальных реформ, в том числѣ и земельной. Л. Н. очень волновался в ожиданіи извѣщенія Великаго Князя об исполненіи порученія. Николай Михайлович сообщил ему, что от себя просил Государя не показывать письма министрам, и что царь поручил ему передать Толстому, что он никому не покажет. В связи с этим Л. Н. вспомнил, как в 1881 г. он писал Александру III с просьбой не казнить и отправил письмо через Побѣдоносцева, который отказался исполнить порученіе, прибавив: «Ваш Христос не мой Христос: Ваш Христос любви и смиренія, мой силы и власти». Послѣ убійства Сипягина он опять писал уже вел. кн. Николаю Михайловичу, что зло родит зло и что необходима перемѣна управленія. Писаніе, отправка писем его очень волновали.

Извѣстно отрицательное отношеніе Л. Н.-а к «научной наукѣ», и в частности и особенно к медицинѣ и врачам. «Глуп, как профессор», «чѣм ученѣе, тѣм глупѣе», были яснополянскіе mots. Он с особенным презрѣніем рассказывал о посѣщеніи его в Москвѣ чикагскими профессорами, о том, какими они оказались невѣждами, — не знали даже своих американских мыслителей. Просидѣли у него около часа, а затѣм на поджидавшей их у под'ѣзда тройкѣ («голубцах») покатали в Стрѣльню. «Осматривали, значит, достопримѣчательности, Толстого, цыган и пр.» Прочитал работу Мечникова и нашел

глупой. Да и понятно: нельзя себя представить большей анти-тезы, чѣм Толстой и Мечников. Поиздѣваться над медициной он особенно любил. Замѣчанія в этом смыслѣ приходилось, конечно, выслушивать и мнѣ, и моим товарищам — врачам. Иногда в отвлеченной формѣ: «лѣкарства вредны, потому что организм сам должен инстинктивно находить средства от болѣзней»; иногда в болѣе конкретной формѣ. Смотрит как-то в упор на меня и Елпатьевского и говорит: «как могут врачи лечить: вино пьют, табак курят, мясо ѣдят. Встанет утром, закурит толстую папиросу, а потом и лѣчит».

Нужно было видѣть его лицо, глаза, когда он рассказывал, как осенью кievскій профессор-клиницист Чирьев по собственной инициативѣ пріѣхал осмотрѣть его; назначил сѣрныя ванны, іод. Потом, по возвращеніи, из Кіева написал письмо, что то, что Л. Н. говорил ему о загробной жизни, — «так ея вѣдь не может быть, так как тѣло послѣ смерти разлагается на свои химическія части».

За ходом болѣзни Толстого в ту зиму слѣдил весь мір. Весной, когда опасность миновала, ему из Германіи была прислана статья из нѣмецкаго журнала, автор которой утверждал, что Толстой, столько писавшій против врачей, теперь, послѣ того, как они ему спасли жизнь, должен печатно признать свою ошибку. Прочитав мнѣ эту статью, он смотрѣлъ на меня, в ожиданіи, очевидно, реакціи. Я молчал, хотя очень хотѣлось спросить его, как же он сам к этому предложенію относится. Отвѣтъ на незаданный вопрос я получил через много лѣтъ. В опубликованном письмѣ от 9 апр. 1902 г. он пишет дочери. «Здоровье все слабо; особенно тяжелы мнѣ производимыя надо мной глупыя мудрствованія и манипуляціи врачей, которым я, по слабости и нежеланію огорчать окружающих, покоряюсь»... Замѣчательно, что в его произведеніях, гдѣ столько изумительных страниц посвящено описанію больных и болѣзней, очень мало говорится о врачах, а гдѣ они выводятся, то в мало привлекательном видѣ (врач Наташи).

При таких его общих взглядах неожиданным для меня оказалось, что конкретно, как с пациентом, с ним было много легче не только, чѣм я ожидал именно от него, но и чѣм со многими обыкновенными больными. Кромѣ описанной попытки отвергнуть ин'екцію мышьяка, он, тоже в самом началѣ леченія, только послѣ очень долгих разговоров, согласился принимать капли строфанта, который почему-то считал за «стрѣльный яд». Весной он пытался еще отдѣлаться от повтор-

наго курса мышьяка («я и сам справлюсь»), но опять легко уступил. Всѣ же остальные лекарства, в том числѣ и впрыскиванія и вливанія, и морфій, и другіе наркотики, и камфору, и много других, он принимал большей частью без всяких возраженій. Очень вѣрил и охотно примѣнял «домашнія средства»: горчичники, компрессы, втиранія мазей, и т. п. Лично у меня за все время пользованія его были только два инцидента. Один в самом началѣ леченія в декабрѣ; узнав, что он в тот день с утра отказывается принимать лекарство, я стал его убѣждать, он отказывался. Тогда я налил и поднес ему. Он закрыл глаза рукой (у него всегда скверный признак) и, выпив, сухо, нѣтъ, вѣрнѣе, зло сказал: «А это вы для того только, чтобы ознаменовать свой приход». Второй случай иного характера, и я до сих пор не могу вспомнить о нем без волненія. В один из самых страшных дней я утром нашел его в очень ненадежном состояніи. При нем остался дежурить д-р Волков; я уѣхал с тѣм, чтобы вернуться часа через три. Но не успѣл в городѣ войти к себѣ, как мнѣ передали, что звонил д-р Волков, — что у Л. Н.-а начался сильнѣйшій сердечный припадок, положеніе отчаянное, он просит немедленно приѣхать.. Я сѣл в экипаж и поспѣшил туда. Застал его в синюхѣ, с еле прощупываемым пульсом, поверхностным дыханіем, не реагирующим на окружающее. Похоже было на то, что наступает конец. Однако через нѣкоторое время, нам показавшееся вѣчностью, ему стало лучше и он пришел в себя. Открыл глаза, обвел нас, и вдруг я услышал почти шопот: «и навѣрно вы думаете, что это ваша камфора», — трудно передать дѣйствіе этих слов послѣ только что пережитых волненій. Я просил д-ра Волкова прослѣдить за пульсом и сказал, что выйду в сад покурить. Был чудный весенній день, яркое южное солнце, впереди гладкое, как зеркало, синее море, цвѣты, пѣніе птиц; я ходил перед домом, курил и понемногу успокаивался. Вдруг раздался голос Александры Львовны: «И. Н., папа вас зовет». Я поспѣшил к нему; он лежал с блѣдным, утомленным лицом, но с ясными глазами. Я сѣл рядом с ним, провѣрил пульс, он не сводил с меня глаз, на этот раз необычно ласковых, взял мою руку, долго гладил ее и затѣм мягким голосом сказал: «простите, я вас обидѣл и был неправ». Я что-то пробормотал, а он продолжал: «нѣтъ, нѣтъ, очень был неправ! В камфору я вѣрю». Затѣм, не выпуская моей руки, неожиданно прибавил: «в камфору и... касторку. Сколько раз видишь лѣтом в полѣ: баба совѣм про-

падает, бросает работу; дашь касторку и на другой день она здорова». Не знаю почему, должно быть, как разряд нервный, но мнѣ тогда не смѣяться хотѣлось, а поцѣловать его руку и заплакать от радости.

И наконец еще об одном недоразумѣніи между нами. Как то поздно вечером, когда я уѣзжал, он дал мнѣ полученные от Черткова из Англїи корректурные листы статьи «Что такое религія и в чем сущность ея» со словами: «вот прочитайте, если покажется интересным; только завтра утром верните, потому что ее нужно отправить». Я вернулся домой очень поздно, было еще много всякаго дѣла, пока вспомнил про статью. Начал было читать, но скоро оставил и лег спать. Утром на слѣдующій день, когда я возвратил ее, Л. Н. спросил: «понравилось?» И так как Толстому лгать было нельзя, то я сказал правду. Он насупился, ничего не отвѣтил, но дня через два, когда мы были одни, долго со мной бесѣдовал на тему статьи.

Больше между нами никаких недоразумѣній никогда за все время не было. А был он часто очень ласков, иногда нѣжен и всегда очень внимателен. Иногда говорил и прїятныя, уже как врачу, вещи. «Что для нас болѣзнь, то для вас хлѣб, в смыслѣ хлѣба насущнаго, цѣли жизни, особенно, когда труд ваш безкорыстный». И в другой раз опять: «В молитвѣ «Отче Наш» различно понимают слова «хлѣб наш насущный». Это просьба у Бога на каждый день духовную пищу. И вот вы, доктор, ежедневно служите больным и это хорошо».

Почему он вообще лечился, обращался к врачам? Я думаю, что это было не только уступкой окружающим. Здѣсь было много общаго с тѣми больными, которые критикуют врачей и медицину, пока им хорошо или лучше, и лѣчатся и слушаются, когда приходится плохо. Это тѣсно связано и с отношеніем Толстого к смерти. Вообще вѣдь страх смерти, сознание безсмысленности жизни, раз она неизбѣжно оканчивается смертью, послужил исходным пунктом его религіозно-философских исканій. Он мнѣ как-то сказал: «Вы рады, что мнѣ лучше. Я рад за вас, но мнѣ жаль, что приходится возвращаться к жизни; это и тяжело, и бессмысленно». Но спустя нѣкоторое время замѣтил д-ру Волкову: «Видно, опять жить надо!» и на вопрос Софьи Андреевны: «А это скучно?», он отвѣтил: «Как скучно? Совсѣм нѣтъ, очень хорошо.» В другой раз я от него услышал: «Бывает двоякаго рода смерть 1) пуля в лоб или ругается и 2) как женитьба. Трудно дойти до этого

состоянія, но раз дошедши и выздоровѣть, значит, спуститься с страшной высоты в пропасть». В ту описанную мною ночь, когда я дежурил при нем с д-ром Щуровским, я услышал и поразившія меня, молитвенно произнесенныя слова: «От тебя пришел, к Тебѣ вернусь, прими меня, Господи». Несмотря на такія настроенія, тогда мнѣ казалось, что этот внутренній процесс готовности к смерти в Толстом еще не был закончен и боролся с инстинктом жизни. Надо было видѣть с каким вниманіем он сам иногда провѣрял, считал свой пульс, как часто и внимательно просматривал температурный листок, (так что иногда мы даже вносили туда уменьшенную температуру), как озабоченно нѣсколько раз спрашивал, увѣрены ли мы, что это не рак; как в самые скверные дни иногда сам напоминал о лекарствах.

Но вѣдь Толстой вообще противорѣчил себѣ нерѣдко. Всегда предѣльно искренній, он был разный в разное время. Он сам опредѣлял жизнь, как преодоленіе тѣла; и за послѣдніе 30 лѣт ему часто приходилось бороться с самим собой, со всѣм тѣм, от чего он отрекся, и от чего освободиться было так трудно и не всегда возможно. Я как то, кончив осмотр, сказал: «сердце сегодня у вас доброе». — «Это я стараюсь, чтобы оно было доброе», — отвѣчал он. Борьба со своим темпераментом оказывалась даже в мелочах. Он рассказывал, как нѣкій Иванов переписывал его рукописи и испещрял их своими замѣчаніями («развѣ можно такія вещи писать, как граф!»). Он часто все пропивал и попадал в ночлежки и Л. Н. ходил туда лично его выручать. «Знаете, интересно», и затѣм спѣшил прибавить: «да и выручать самому лучше».

Раз, под'ѣзжая к дому, я увидѣл у крыльца необычную группу: Софью Андреевну, Татьяну Львовну, управляющаго Гаспроя Карла Христіановича Классена, милого старичка, обожавшаго Л. Н.-а и благоговѣйно закатывавшаго глаза, когда произносил: «O der Herr Graf!», затѣм двух греков рыбаков, державших на широкой доскѣ очень крупную рыбу, только что, повидимому, вынутую из кадки с водой. Оказалось, рыбаки принесли свою рѣдкую добычу в дар Толстому и хотѣли поднести самому. Софья Андреевна выражала опасеніе, как бы это не разстроило Л. Н.-а. Татьяна Львовна, очень хорошо знавшая и понимавшая отца, была за исполненіе их просьбы и я ее поддержал. Процессія направилась на балкон, выходявшій на море, на котором в откидном передвижном креслѣ полулежал Л. Н. Софья Андреевна поспѣшила вперед преду-

предить его и мы всё за ней. Увидѣвъ рыбу, он живо приподнялся и впился в нее глазами: «Ах, ах!..» Но сейчас же откинулся и, отвернувшись, махнул рукой и сказал: «унесите».

Горькому он как-то замѣтил, что ни за что не послѣдовал бы добровольно за жандармом, а сказал бы: «не признаю за тобой права, хочешь, бери силой». С другой стороны, рассказывал, что священникам, которые пишут ему, что они тяготеяся своим положеніем, он отвѣчал, что «единственный выход — выйти из звона и просить прошенія... но это не вѣсь доступно, и потому есть много компромиссов». Однажды он меня встрѣтил просьбой, чтобы я раньше осмотрѣлъ только что из Казани прѣхавшаго его послѣдователя. Это оказался магистрант, худой, тошій молодой человек. Я нашел у него туберкулез легких. Когда я заговорил о необходимости усиленнаго питанія, он перебил заявленіем, что он строгій вегетаріанец и ни на какіе компромиссы не может пойти. Тогда Л. Н. обратился к нему со слѣдующими словами: «Есть двоякаго рода компромисс: 1) умственный, когда идеал недоступен и я умственно устанавливаю для себя равнодѣйствующую, и 2) духовно-нравственный, когда окружающія условія наталкивают меня на эту равнодѣйствующую» и... посоветовал ему во всем слѣдовать моим совѣтам. Можно привести много примѣров. Помню общую радость, когда он, больной, неожиданно потребовал рукопись «Хаджи Мурата» и стал работать над ней. Да и вся жизнь его в семьѣ, то, что сам он называл юродством! В то время, к которому относятся эти воспоминанія, широкой публикѣ это сторона его жизни была мало извѣстна. Но при близком наблюденіи многое уже бросалось в глаза из того, что потом приняло трагическія формы. В Гаспрѣ жили все время многіе члены семьи Толстых, остальные часто наѣзжали. Уже тогда бросалось в глаза особое положеніе Софьи Андреевны. Она иногда с горечью замѣчала, что ее считают Ксантиппой. Это ее очень волновало. Мнѣ иногда приходило в голову, что м. б. и та, Сократовская Ксантиппа, была уж не так виновата, как мы привыкли считать ее, с гимназической скамьи. Вспоминался неожиданный тост, предложенный Д. И. Маминым-Сибиряком на одном ялтинском многолюдном торжественном банкетѣ, гдѣ присутствовало много знаменитых писателей, художников, артистов, ученых и членов их семей, — тост «за здоровье жен, сестер знаменитостей. Несчастливы онѣ женщины, и чѣм онѣ виноваты!» — Софья Андреевна, думаю, в главном осталась

такой, какой была, когда писалось «Семейное Счастье». Она часто повторяла, что по прежнему любит порядок, веселье, красоту. Л. Н. пережил глубокий религиозный перелом, а она осталась при прежней его и своей вѣрѣ. Я как-то утром в воскресенье застал его одного в комнатѣ у раскрытаго окна. Никого не было. Я справился, гдѣ Софья Андреевна. «Она молится за мое здоровье в церкви». Выраженіе его лица при этом было краснорѣчивѣе слов. Когда ему ночью раз во время болѣзни было особенно плохо, она незамѣтно торопливо повѣсила у его изголовья образок, и позже так же незамѣтно его убрала. Она старалась сохранить стиль дома. Как-то, жалуясь на то, как ей приходится иногда трудно, она между прочим привела и такой случай. Приѣхал в Ясную какой-то святой дѣрвиш, котораго Л. Н. очень цѣнил; прожил недѣли двѣ; обѣдал за столом, сидя рядом с ней. «А он, должно быть, очень рѣдко умывался и бѣлья не мѣнял и такой от него запах шел, что меня тошнило и я ѣсть не могла. А Левушка сердился».

Приѣхал раз со мной Чехов. Мы сидѣли у Л. Н. наверху, он между прочим сказал, что муж горничной «пишет очень хорошіе стихи». Так как Чехов в это время принимал участіе в редакціи «Русской Мысли», то он просил его прослушать нѣсколько стихотвореній, и если понравятся, помѣстить их в журналѣ. Стали искать поэта, но он оказался посланным за покупками в город. Мы простились, спустились вниз, гдѣ пообѣдали, затѣм перешли в гостиную пить кофе. Я торопил Чехова, так как очень засидѣлись. И вот, когда мы уже собирались уѣзжать, пришли сверху сказать, что муж горничной вернулся. Но я просил все таки отложить до другого раза. Софья Андреевна отвела меня в сторону и благодарила: «Спасибо вам, а то, знаете, это было бы ужасно неудобно; его пришлось бы посадить, а жена тут же, стоя, прислуживает». Упрасывая меня как-то остаться ночевать, она успокоительно завѣряла, что устроит удобно и «сорочку ночную дам Левушкину. Вы не думайте, она настоящаго голландскаго полотна». Она многих из тогдашних завсегдатаев толстовцев находила неинтересными, неприятными. К Толстому приходили рабочіе, поднадзорные, сектанты. У одного из них при обыскѣ нашли брошюры Толстого, арестовали, и С. А. очень разнервничалась: «еще когда-нибудь и самого арестуют, сошлют». Очень волновалась из-за письма Царю («злое, задорное с нелѣпыми совѣтами»). Она любила указывать, что вѣдь на ней лежит

вся тяжесть матеріальных забот о Л. Н. и о дѣтях. Было тяжело жить в стеклянном домѣ, гдѣ люди посторонніе, друзья-последователи Л. Н.-а, как Буланже, Дунаев, Сергѣенко и другіе вмѣшивались во всѣ семейныя дѣла, всегда почти как бы отстаивая, защищая интересы Л. Н.-а. Было тяжело вмѣшательство дѣтей в отношенія родителей, причем и тогда уже часть была на сторонѣ отца, часть на сторонѣ матери. И в Гаспрѣ уже нерѣдко выходило, что ее как бы отстраняли. И отношеніе самого Л. Н.-а к ней в это время было очень неровное. Мнѣ приходилось видѣть с его стороны и выраженіе нѣжной благодарности за ея любовный самоотверженный уход, безсонныя ночи, но иногда и трудно скрываемое недовольство и как бы с трудом сдерживаемый протест. Неудивительно, что уже и тогда нервность ея была очень велика; она не всегда сдерживала себя.

Поражала острая наблюдательность Л. Н.-а, постоянная напряженность мысли, живой, жадный интерес ко всему, и иногда вытекавшіе отсюда неожиданные вопросы. В числѣ моихъ пациентовъ были два двоюродныхъ брата изъ близкой Толстымъ семьи, которыхъ онъ зналъ с дѣтства и очень хорошо к нимъ относился. Оба средних лѣтъ, холостые. И вот однажды, разговаривая • нихъ, онъ вдругъ задалъ мнѣ вопросъ, касавшійся очень интимной стороны ихъ жизни; я смущенно молчал; онъ спохватился и сказалъ: «Простите, конечно, вамъ, какъ врачу, не слѣдуетъ отвѣчать». Но не сдержался и уже черезъ нѣсколько минутъ опять повторилъ тотъ же вопросъ. — В періоды сноснаго самочувствія онъ много читалъ, нерѣдко сам вслухъ читалъ то, что ему особенно понравилось. Нерѣдко даже при самомъ скверномъ самочувствіи диктовалъ. — Какъ то рассказалъ, что три года назадъ прочиталъ «Капиталъ» Маркса; «очень трудно, но тогда зналъ хорошо, могъ бы выдержать экзаменъ у Булгакова. А теперь, кажется, все забылъ». Когда чувствовалъ себя лучше, охотно говорилъ о литературѣ, писателяхъ, часто при этомъ воодушевлялся, какъ впрочемъ и при разговорѣ о музыкѣ. Онъ говорилъ, что у китайцевъ есть прекрасное слово, обозначающее «уваженіе», уваженіе к чужому мнѣнію, вѣрѣ и т. д. «Если во мнѣ», говорилъ онъ, «есть что нибудь путное, то именно благодаря сильно развитому чувству уваженія». Но критикъ онъ былъ очень строгій и очень оригинальный. По поводу выборовъ во вновь тогда открытое отдѣленіе изящной словесности при академіи наукъ онъ утверждалъ, что «очень трудно сказать, что вотъ этотъ писатель лучше того; можно сказать, что

один человек толще или выше другого, но талант измѣрить трудно». По его мнѣнію слѣдовало выбрать Дорошевича. «Горькому это ненужно, это важно для городских людей». Свои собственные выборы он, как извѣстно, просто игнорировал, и в протестъ Чехова и Короленки против отмѣны выборов Горькаго участвовать отказался. Много рассказывал про Тургенева, Достоевскаго, Фета. Отзывы его о писателях часто поражали неожиданностью. Гл. Успенскаго он очень не любил: «фальшивый писатель». Был очень строг к языку: «Когда я читаю, такой-то вышел со своим шурином и девером погулять, то этот писатель для меня пропал». «Печерскаго, напримѣр», говорил он, «считают знатоком быта старообрядцев, а пишет он однако: русскій не жалѣет дерева, он рубит д у б для того, чтобы из него сдѣлать ось и оглоблю! Это уже характеризует». Перечитывает «Господ Головлевых» и восхищается Шедриным. «Кряду его однако читать нельзя». Он, Толстой, особенно любит, когда люди, знающіе хорошо Шедрина, приводят из него кстати цитаты. — В «Литературном Дѣлѣ» появилась статья Булгакова: Васнецов, Достоевскій, Соловьев, Толстой. — «Вряд ли стоит читать; развѣ можно говорить про Васнецова, Соловьева!» Перечитал Диккеса и восторгается «Записками Пиквиккскаго клуба». «Вот замѣчательный гений, друг угнетенных, враг роскоши, разврата. Если бы я раньше перечитал его и вспомнил бы суд в «Пиккв. клубѣ», то сам бы не стал описывать суд, потому что это совершенство». — К Мамину-Сибиряку чувствует большую антипатію: «он врет». То же и Немирович-Данченко. Читал Андреева, — не нравится, выдуманно, «он хочет, чтобы мнѣ было страшно, а мнѣ вовсе не страшно». Спустя нѣсколько дней внес впрочем поправку в этот свой отзыв, так ка прочитал рассказ «Жили-были», — понравилось. «Воспоминанія о прошлом» Елпатьевского раскритиковал: «все это выдуманно; нужно было доказать, что послѣ крѣпостного права стало лучше, учиться пошли». От драм гр. Ал. Толстого «впечатлѣніе ужасной искусственности». Вообще А. Толстой не поэт, а только очень любит литературу. Так же и Некрасов. — Читал статью Михайловскаго о религіи; сначала очень понравилось и уже хотѣл писать ему об этом. Но потом разочаровался. Приѣхал в Ялту Короленко. Я как-то рассказал Толстому о проведенном с ним наканунѣ вечерѣ. «Я не люблю Короленку», сказал он, «он стилист, а я их не люблю», и прибавил, что Короленко м. б. в обидѣ на него. «Как то при нем я

И. А Л Ь Т Ш У Л Л Е Р

говорил, что мы, литераторы, часто не говорим того, что должны и что нам хочется сказать, потому, что это не цензурно, а говорим то, что цензурно, хотя это вовсе и не важно, — так можно умереть, не сказав самага главнаго. При этом разговорѣ сидѣл один очень безтактный и немножко ненормальный человѣкъ, который сказал нѣсколько фраз, которыя Короленко мог принять на свой счет». Вскорѣ послѣ этого я привез Короленко в Гаспру; они очень долго бесѣдовали, частью с глазу на глаз, и оба остались очень довольны друг другом.

Не выносил Толстой декадентов. В концѣ ноября 1901 г. его посѣтил Бальмонт. По дорогѣ в Гаспру я раз'ѣхался с ним на шоссе. Л. Н. встрѣтил меня словами: «только что уѣхал Бальмонт; боюсь, не обидѣлся ли он на меня. Читал он мнѣ свое стихотвореніе «аромат солнца», а я за животик схватился, не мог удержаться, расхохотался, сказал, что это нелѣпость и чепуха. — Вѣдь вот и рифмы у вас есть хорошія, и слова, что бы вам и смысла прибавить?..» И дальше сердито прибавил: «декадентов нужно вон из литературы. Слишком много есть такого, что необходимо прочитать, чтобы тратить на них время. Настоящее произведеніе это то, котораго автор не может не написать, а это все вымучено... Удивительное дѣло, сколько я ни наблюдал декадентов, всѣ они краснощекіе, здоровые, желудок варит отлично, оттого и занимаются глупостями». Замѣчу, что Бальмонт не обидѣлся и вскорѣ прислал свои сочиненія с надписью на одной книгѣ: «Великому учителю от ищущаго Б.» и на другой: «Величайшему генію из живущих теперь от безыменнаго Б.». — По этому поводу Толстой выразил свою большую радость, что мог внести исправленіе в какое-то предисловіе, гдѣ он между прочим выразился: «безвѣстные Бальмонт и Брюсов».

Читал «Трое» Горькаго — не одобряет. Как-то сказал: «В настоящее время на разных поприщах дѣйствуют три замѣчательных человѣка, вышедших из народа: Горькій, Шалапин и священник Петров; впрочем послѣдній стал портиться». И все таки я думаю, что Горькій был не совсѣм неправ, когда замѣтил, что интерес к нему Толстого — этнографическій интерес, и что он в его глазах особь племени мало ему знакомаго — и только. Особенно это чувствовалось, когда Толстой передавал о посѣщеніи его Скитальцем.

Как он любил Чехова, извѣстно. Он часто о нем говорил, заботливо справлялся о его здоровьи, и всегда очень радовался

его посѣщеніям, которыя бывали не часты, так как и Чехов в ту зиму чувствовал себя неважно и рѣдко мог выѣзжать за город. Л. Н. говорил о нем с особенной теплотой. «Я живу и наслаждаюсь Чеховым; как он все замѣтит и запомнит, удивительно! И как нѣкоторыя вещи глубоки по содержанію! Замѣчательно, что он никому не подражает, идет своей дорогой. Замѣчательны лаконичность его языка и выдающійся юмористическій талант. Но пьесы его ниже всякой критики». «Трех сестер» не мог дочитать». В 1900 г. был на «Дядѣ Ванѣ» в Худож. театрѣ и возмутился. «Когда автор хочет меня силой заставить поддаться впечатлѣнію (настроенію) от сверчка, печки, гитары и т. д. у меня невольно является протест и я замѣчаю, что это вовсе не сверчок, что печка декорація и т. д. и что даже Станиславскій не Станиславскій, а купец Алексѣев. Вообще это все характерно для періода упадка искусства когда каждый вид искусства перестает быть тѣм, чѣм он должен быть. Музыка должна давать настроеніе, а вовсе не быть изобразительной, описательной и т. д. Драма должна быть драмой, столкновеніем характеров, кризис и т. д. То, что должно быть драмой, только она и может дать. У Чехова ничего этого нѣтъ. Между тѣм рассказы его превосходны». Одним из лучших он считал «Душечку», много раз перечитывал и вслух нам читал и умилялся. Прибавлю, что и Чехов платил ему совершенно исключительной любовью.

Говоря о Чеховских драмах, Л. Н. рассказывал, как много лѣтъ назад написал драматическое произведеніе «Зараженное семейство» (тогда нигдѣ еще не напечатанное). Он тогда, по его словам, не имѣл понятія о требованіях сцены и было, по его мнѣнію, оно отвратительно написано. Побывал он у своего друга Островскаго с просьбой посодѣйствовать с к о р ѣ й ш е й постановкѣ. «Да почему ты так спѣшишь?» — «Она очень современна». — «Что же, ты боишься, публика поумнѣет?» Л. Н. прибавил: «Может выйти смиреніем паче гордости, а только это вѣрно. Дѣти занимались любительскими спектаклями, ну вот я им и написал «Плоды просвѣщенія», то же и для крестьян — «Власть тьмы», — и меня произвели в драматурги». Он не может понять, как можно увлекаться театром. И тут же, весь загорѣвшись, долго рассказывал про удивительную игру лучшаго из видѣнных им актеров, Мартынова.

Когда я ему сказал, что Чехов выражает иногда опасеніе отстать в Ялтѣ от жизни, Толстой отвѣтил, что он этого

не понимает. Писатель должен писать только о явлениях законченных. Вот почему он, напримѣр, думает, что никогда не слѣдует выводить писателей, как это дѣлает Чехов, так как «мы, писатели, о писателях всегда будем судить неправильно». Чехов на эти замѣчанія возразил по Чеховски: «Хорошо старику тут не тосковать: водки не пьет, севриги не ѣст и колбасы не нюхает, и ничего этого ему не надо; а тем-то у меня и тут хватит на 10 писателей и на цѣлую жизнь».

Сообщил, что Чертков вошел в соглашеніе с одним квакром-издателем толковых словарей об изданіи «Воскресенія» на англійском языкѣ; тот согласился, но теперь прислал тысячу долларов — прибыль от этого дѣла, так как он находит нѣкоторыя мѣста в «Воскресеніи» безнравственными и вызывающими чувственность. Л. Н. сказал, что отвѣтил ему в том смыслѣ, что Бог и совѣсть судят нас только за намѣренія, а не за послѣдствія наших дѣйствій.

Говоря о «Душечкѣ», он повторно касался и так назыв. женскаго вопроса. Помню, как меня удивило, когда он за обѣдом одобрительно привел мнѣніе Канта о женщинах, что онѣ должны культивировать свое женскій ум, а не браться за мужскія дѣла. Когда я ему рассказывал про успѣх и посѣщаемость открытой тогда в Парижѣ Русской высшей школы, он с усмѣшкой замѣтил: «Навѣрно 70 цыпочек и 20 студентов». — Он вообще часто касался общих тем за обѣденным столом. Получая информацію не только из газет и журналов, но и из колоссальной личной корреспонденціи, Толстой был хорошо освѣдомлен обо всем и часто дѣлился впечатлѣніями и мнѣніями по поводу общественных и политических событий. По поводу 8-часового рабочаго дня он никак не мог понять, почему это идеал. Дѣло не в том, сколько часов должен человѣкъ работать, а в том, что он должен работать п о н е - в о л ѣ и притом такой труд, который ему вовсе не нужен, а назначен для каких-то развратных женщин и т. д. «А какой может быть 8-часовой день у сельских рабочих!»

По поводу студенческих беспорядков Толстой думал, что студенты, раз они недовольны, должны уходить. В прошлом году он интересовался беспорядками потому что ему это представлялось серьезным протестом, раз остальное общество молчит. Но оказалось, что через отдушину не может быть достаточно воздуха.

Отдѣльныя мысли его: Каждому человѣку присуще религиозное чувство, и если люди не вѣрят в Бога, то у них яв-

ляется религиозное чувство к государству, отсюда и взрыв имперіализма.

Можно запретить культ, а не вѣроисповѣданіе; это все равно, что запретить кровообращеніе.

По поводу правительственнаго сообщенія о полтавских земельных безпорядках: «Удивительно; они торжественно заявляют, что отняли награбленное крестьянами; отчего же они не отнимают у тѣх, которые владѣют награбленным в теченіи нѣскольких столѣтій! Для меня никак не понятно умиротворяющее дѣйствіе сѣченія мужицких спин, так же, как и... дѣйствіе строфанта».

По поводу убійства Сипягина очень волновался и, узнав, про назначеніе Плеве, сказал: «Замѣчательно, что всѣм управляют Витте, Ламздорф, Плеве — нѣмцы, которым навѣрно никакого дѣла нѣтъ до Россіи. Я готов допустить, что уж Сипягину она была ближе».

Как-то раз, когда я уже собирался уѣзжать и стоял одѣтый в передней, меня позвали в находившуюся рядом столовую, куда явился Л. Н. с только что законченным обращеніем его к офицерам. Он прочитал его, со слезами на глазах, прерывающимся от волненія голосом, и этого чтенія и выраженія его лица и произведеннаго впечатлѣнія я тоже никогда не забуду. Тут был другой, преображенный Толстой.

В іюль того же 1902 г. я заѣхал в Ясную Поляну и провел там день. Было очень пріятно увидѣть столь знакомыя по описаніям мѣста, гдѣ протекла жизнь Льва Николаевича. Он встрѣтил меня радушно и очень привѣтливо. Чувствовал себя хорошо и много работал. Когда восемь с небольшим лѣтъ спустя вниманіе всего міра приковано было к безвѣстной до того маленькой желѣзнодорожной станціи, гдѣ Толстой вновь лежал с воспаленіем легких, на этот раз роковым, я мысленно все время был там, в Астаповѣ, живо представляя себѣ и большого и все его столь хорошо мнѣ знакомое окруженіе и всю разыгрывавшуюся там сложную человѣческую трагедію. Но когда пришла вѣсть о его кончинѣ, все это личное, человѣческое ушло. Было только сознаніе, что мір лишился гениальнѣйшаго писателя, великаго сердцевида и мудреца. И я вспомнил слова Чехова, что нельзя себѣ представить, как мы, как этот мір, будем дальше без него.

И. Альтшуллер.

ПОСЛѢ РАЗГРОМА

(ИЗ ВОСПОМИНАНІЙ О ФРАНЦИИ)

«Cette drôle de guerre!»... «Эта странная война!»... Мы, русскіе парижане, как и всѣ другіе, повторяли эти слова до самого вторженія нѣмцев в Бельгію. Никто, конечно, не сомнѣвался, что это не может продолжаться безконечно... И все же прорыв застал нас врасплох. Апрѣль-май прошли в каком-то чаду. Люди автоматически продолжали дѣлать свое дѣло. Даже послѣ бомбардировки Парижа 3-го іюня населеніе еще сохраняло спокойствіе. Но вот пронесся слух, что министерства готовятся к отъѣзду, что архивы уже вывезены... Вечером 9-го іюня стало извѣстно, что Рейно, Даладье и их сотрудники ночью двинутся в путь. И вдруг все оборвалось, какая-то тайная, молчаливая паника охватила столицу. Утром 10-го іюня по улицам потекли нескончаемыя вереницы автомобилей с сундуками и матрацами; метро наполнилось людьми с чемоданами и узлами; фургоны, грузовики и телѣжки выгружали багаж на вокзалах. Парижане пытались вывезти свое имущество. Но эти груды багажа застряли в пути; часть была расхищена, часть мѣсяцами валялась в депо и была продана с аукціона.

Сама я уѣзжала налегкѣ, и не без труда пробралась к Аустерлицкому вокзалу. У меня осталось воспоминаніе о человѣческом морѣ осаждавшем желѣзныя ворота и рѣшетку вокзала, о жандармах пытавшихся оцѣпить нас, о женщинах с грудными дѣтьми на руках, умоляющих спасти их от давки, о стариках и больных на носилках... Казалось, весь огромный Париж вдруг тронулся. Трудно понять, каким чудом в хаосѣ исхода всѣм этим толпам удалось размѣститься в поѣздах. Сотни тысяч людей уѣхали вмѣстѣ со мной, разлились широким потоком по юго-западу Франціи, от Бордо до Тулузы, от По до испанской границы. Но их постигли разныя судьбы в зависимости от того, по какую сторону демаркаціонной линіи, проведенной нѣсколько дней спустя, они очутились. Рѣшив обосноваться в Пиренеях, в По, я попала в свободную зону. Помню как ночью, когда Швейцарія первая стала передавать

по радіо условія перемирія, я слѣдила с друзьями по картѣ, гдѣ именно нѣмцы должны остановиться. Многим казалось, что гитлеровскія войска уже вошли к нам или войдут через нѣсколько часов. Префект и мэр готовились к встрѣчѣ. Но нѣмцы не пришли; они остановились в тридцати километрах от По.

В свободной зонѣ Франціи мнѣ пришлось провести еше одиннадцать мѣсяцев до моего от'ѣзда в Америку. Многое из того, что я там видѣла, уже описано другими; извѣстны сцены голодной, нишей жизни постигшей Францію; извѣстны новыя невзгоды, свалившіяся на наших соотечественников. Однако, психологическая картина этого періода остается недорисованной, и мнѣ хотѣлось бы дополнить ее нѣсколькими штрихами.

**

О первых днях этого трагического времени я сохранила слѣдующее воспоминаніе. Мнѣ предложили работать в центрѣ помощи бѣженцам; отдѣл, в который я попала, должен был заняться разбором корреспонденціи с запросами о «пропавших» близких. Всѣ эти письма были направлены в Париж до оккупации и затѣм вывезены в По. Писали солдаты, штатскіе, раненые в госпиталях, родители растерявшіе дѣтей. Сотни тысяч этих запросов были разложены на длинных столах. Руководительница отдѣла об'яснила мнѣ мою работу: «Откладывайте письма с запросами о малолѣтних... Их мы еше как-то надѣемся найти. Всѣ же остальные письма подлежат уничтоженію... У нас нѣтъ возможности прослѣдить, куда дѣлись всѣ эти люди...»

Этот «Центр Помощи» был официально признанным государственным учрежденіем. Правительство выказало полную бездарность в бѣженском дѣлѣ. К счастью, пришли на помощь частныя организаціи и общественныя объединенія, которыя работали отлично. В нашем городѣ, тысячи бѣженцев, в частности и русских, наши кров и пишу, были одѣты и обуты.

Жители По, особенно молодежь, горячо взялись за дѣло, как бы находя в нем возможность забыть о страшной моральной катастрофѣ. Неотложная задача позаботиться о несчастных людях, лишившихся родного угла и средств существованія помогла многим пережить первые мѣсяцы разгрома не предаваясь отчаянію. Надо признать, что французы выказали

в эти дни исключительную моральную выдержку. Многие принимали их молчаніе и безропотное терпѣніе за пассивность и равнодушіе. Но мнѣ кажется, что это не так.

К сожалѣнію, у меня нѣтъ возможности дать картину французского сопротивления перед лицом германского насилія. Могу лишь сказать, что это сопротивление н е с о м н ѣ н н о с у щ е с т в у е т . Оно не легко уловимо, ибо не всегда принимает форму какой-либо опредѣленной «акціи». Оно как бы разлито повсюду, пропитывает всю атмосферу. Еще при мнѣ было ясно, что огромное большинство французов п р о т и в сотрудничества и з а Англию. Мнѣ называли цифру 95 проц., и мои личные наблюденія ее подтверждают. В оккупированной зонѣ она, пожалуй, еще выше, как сообщали нам перебѣжавшіе оттуда.

Тайную, молчаливую, но упрямую оппозицію не удается сломить никакими административными мѣрами. Даже опытная нѣмецкая пропаганда чувствует себя перед ней безсильно. Безпомощной является и подцензурная французская печать. Она не оказывает никакого воздѣйствія на общественное мнѣніе.

Существуют во Франціи группы, примкнувшія к «коллораціонистскому» теченію. Это владѣльцы крупных заводов и предпріятій, которые находят прямую выгоду в сговорѣ с побѣдителем; это мелкая провинціальная аристократія, вѣрная послѣдовательница «Action Française» и ея крайне-правой программы. Эти круги ненавидят демократію, Англию и евреев. Они тайно или явно симпатизируют Гитлеру. Такая кучка существовала и у нас в По. Двѣ дѣвушки, принадлежавшія к лучшему мѣстному обществу, встрѣчались в барѣ с нѣмецкими офицерами. Да это было и неудивительно: обѣ онѣ были родственницами пресловутаго де Бринона. Но такіе случаи были рѣдким исключеніем.

Общественная работа, о которой говорилось выше, притянула самые здоровые элементы свободной зоны. Они рѣшительно отмежевались от всего, что могло привести к компромиссу с націонал-соціалистическими силами, которые начали проникать в неоккупированную Францію. Среди них было немало представителей христіанских соціальных теченій, католических и протестантских. Это объясняется тѣм фактом, что эти теченія были созданы и организованы задолго до войны. Они были воспитаны в духѣ а н т и - т о т а л и т а р н о й идеологіи, в духѣ г у м а н и з м а , и поэтому лучше чѣм

другіе разбирались в сложных вопросах дня. Они избѣжали того р а з л о ж е н і я духовного сознания, которое было, быть может, одной из основных причин разгрома Франціи.

До войны и во время нея, французское общественное мнѣніе было, как извѣстно, глубоко раздѣлено. Лѣвыя и правыя партіи превратились в два непримиримых вражеских стана. Этим воспользовались двѣ мощныя силы: коммунистическая и нацистская пропаганды, обѣ располагавшія огромными средствами и отлично налаженным аппаратом. Онѣ дѣйствовали «тихой сапой», разрушая не только національную традицію и патріотизм, но даже элементарное чувство самосохраненія.

Солдаты, пріѣзжавшіе в отпуск с фронта или из тыловых лагерей, гдѣ они проходили учебу, рассказывали нам, как коммунистическіе агенты твердили им, что это — война капиталистов, «la guerre des riches». А нацистскіе пропагандисты в то же время убѣждали буржуазію, что Гитлер является вождем антикоммунизма, и, несмотря на временный и вынужденный союз со Сталиным, спасет мір от красной опасности

Благодаря этой тихой сапѣ, моральная сила сопротивления была подорвана во Франціи. Когда произошел прорыв, страна психологически рухнула. «Французы не хотѣли умирать», говорил мнѣ молодой, идейный офицер послѣ разгрома, в недоумѣннн разводя руками. Может быть, они не хотѣли умирать потому что, одурманенные противорѣчивыми навѣтами, уже не понимали з а ч т о нужно умирать.

Знало и понимало это лишь идейное меньшинство, оставшееся вѣрным великим историческим традиціям. Это были юнкера высших военных школ, Сэн-Сир, Сомюр, Политекник, впитавшіе в себя эти традиціи. Это были представители интеллигенціи, духовно и социальнo зрѣлые. Первые доказали свое мужество на полях сраженія. Вторые составили основные кадры французского сопротивления послѣ перемирія.

**

Интересно прослѣдить эволюцію так называемых «Mouvements de Jeunesse» — «юношеских движеній», созданных во Франціи послѣ поражения. Именно здѣсь приходится присутствовать при интенсивной идеологической борьбѣ. С одной стороны намѣчается, и в мое время уже намѣчалась, офи-

ціальная тенденція, інспірована Берліном: створити єдину тоталітарну організацію. С другої сторони в н у т р и юношеского руху збереглося прагнення зберегти демократичне, автономне початок.

До сих пор, незважаючи на спроби зверху, юношеске рух розпадається на цілий ряд окремих організацій: *Camps de Jeunesse*, «*Chantiers de Jeunesse*», «*Compagnons de France*», до яких треба зарахувати християнські об'єднання студентської, робочої та селянської молоді. Це м н о г о б р а з і е не є тільки вираженням вищої структури, але і відображенням духа п л ю р а л и з м а, властивого французьким соціальним рухам. Плюралізм протиставляє ідеї тоталітарного держави та єдиної партії, вільне і гнучке поєднання різних організацій, що розширюють все різноманітність автономних громад та професій. Ця ідея тісно пов'язана з п е р с о н а л и з м о м, що утверджує автономію та абсолютну духовну цінність та неприкосновенність людської особистості. Обидва ці принципи, що виступають на захист людини проти державного класового або расового панування, були, як відомо, розвинуті в Франції завдяки працям католицького філософа Жака Марітєна та нашого релігійного мислителя Н. А. Бердяєва. Мені особисто вдалося переконатися в Франції після розгрому, як глибоко запали ідеї християнського персоналізму в душі молоді, та як плідно вони проявилися.

Зимой 1941 г., в містечку Уріаж, на півдні Франції, була створена спеціальна школа для підготовки керівників юношескими рухами. Звичайно, влади зробили все, що могли, щоб перетворити цю школу в розсадник тоталітарної ідеології. Але вони зустріли опір як учнів, так і вчителів. В Уріаж працюють досвідчені громадські діячі, молоді професори, економісти, соціологи, а також представники католицької соціальної преси: «*Esprit*», «*Revue des Jeunes*», «*Temps Nouveau*». Всі ці молоді люди глибоко впитали в себе принципи плюралізму та персоналізму. Розуміється їм не легко проводити свої ідеї: постійно приходиться зіткнутися з тоталітарними впливами, які особливо намагаються заволодіти душами молоді. Не легка була участь і соціально-релігійної преси. «*Esprit*» та «*Temps Nouveau*» були закриті в серпні 1941 г.

Мені довелося близько підійти до діяльності соціально-

религіозныхъ движеніи в свободной зонѣ. Представители христіанскихъ профсоюзовъ, католическія и протестантскія студенческія об'единенія, и особенно союз христіанской рабочей молодежи «ЮС», проявили исключительную динамику и глубокой дух моральнаго сопротивления. Христіанскій гуманизмъ опредѣлил ихъ отношеніе не только к своей братіи, французамъ, но и к иностранцамъ, и к евреямъ. И тѣ, и другіе встрѣчали со стороны честныхъ и преданныхъ дѣлу общественныхъ дѣятелей активное сочувствіе.

В одномъ изъ создавшихся в По социальнo-религіозныхъ кружкахъ, я прочла два доклада о психологіи русскаго народа и о русскомъ гуманизмѣ. Оба доклада были выслушаны с горячей симпатіей. Это особенно меня тронуло в дни, когда русскимъ такъ тяжело жилось в нѣкогда гостепріимной Франціи. Мнѣ было предложено работать в качествѣ секретаря этого французскаго кружка, и я охотно выполняла эти функціи до самого моего от'ѣзда.

**

В По в то время собралось немало русскихъ, бѣжавшихъ изъ Парижа. Мы составляли тѣсную, дружескую семью. В небольшой усадьбѣ, на окраинѣ города помѣщалась русская дѣтская колонія. Благодаря гостепріимству руководительницы и ея сотрудниковъ, «Дѣтскій Домъ» сдѣлался центромъ русской жизни в По. На старомъ разбитомъ роялѣ, русскій піанистъ, пришедшій пѣшкомъ изъ Парижа, далъ рядъ замѣчательныхъ концертовъ. Онъ игралъ и подъ его пальцами старый рояль превращался в мощный инструментъ. Мы толпились в саду, наслаждаясь тихой пиренейской ночью и слушая Шумана или Шопэна.

Разъ в недѣлю мы собирались на лужайкѣ Дѣтскаго Дома, чтобы вести «философическія бесѣды» подъ старой яблоней. Мы такъ ихъ и называли: «Бесѣды подъ деревомъ». Онѣ продолжались все лѣто и осень, а когда дѣтская колонія перебралась в Парижъ, мы стали собираться у себя дома. Религіозный мыслитель, находившійся среди насъ, прочелъ намъ рядъ блестящихъ докладовъ. Извѣстная писательница читала вслухъ свой неизданный трудъ о Пушкинѣ, піанистъ говорилъ намъ о музыкѣ. Мы инстинктивно чувствовали, какъ нужно намъ сплотиться, чтобы пережить все то, что грозно на насъ надвигалось: голодъ, холодъ, матеріальныя трудности, а главное, быть можетъ, — муку вынужденнаго бездѣйствія. Ибо мы всѣ давно лишились на-

ших профессій и обычных занятій. На наши бесѣды каждый приходил озабоченный и усталый: кто простоял цѣлое утро в хвостѣ, кто рыскал весь день под дождем за вязанкою дров, кто промучился в полиціи в ожиданіи разрѣшенія на право жительства. Но тут мы забывали о всѣх невзгодах. Мы дышали свободнѣе. Помнится только раз мы разстроились: писательница прочла нам о дуэли и смерти Пушкина. Мы слушали ее с глубоким волненіем, да и у самого автора были на глазах слезы. Думаю, мы никогда так остро не ощутили нашу связанность, духовное родство, основанное на общей любви к русской культурѣ. Когда все другое было потеряно, она одна продолжала существовать.

**

*

В По нам пришлось оплакивать В. В. Руднева. Вадим Викторович пріѣхал в По еще лѣтом вмѣстѣ с женой, покинув Париж в исключительно трудных условиях. Хотя здоровье его было уже подорвано, он казался еще бодрым и энергичным. Он бывал на «концертах» и на «бесѣдах под деревом». Иногда он заходил ко мнѣ, так как с исключительной заботливостью относился к моему желанію выѣхать в Соединенные Штаты. Он сообщал мнѣ всѣ американскія новости, и я в свою очередь дѣлилась с ним всѣм, что получала от нью-йоркских друзей. Трудно передать, какую цѣнность представляли для нас эти узкіе конверты с пестрым ободком Air Mail. Я до сих пор не могу смотрѣть на них с безразличіем. Эти письма приносили нам увѣренность, что когда-нибудь начнется для нас новая жизнь.

Руднев уже знал, что он обречен, но мы этого не подозревали. Он жил высокой, сосредоточенной духовной жизнью. Всѣм тѣм, котрые его видѣли в эти дни, он вспоминается, как человекъ замѣчательнаго мужества, на котором лежала печать религіознаго просвѣтлѣнія. Он был поглощен мыслью о судьбах Европы и Франціи. Он вѣрил в ея грядущее возрожденіе и страстно его желал. Помнится, как послѣ одной из наших бесѣд, посвященной религіозной темѣ, он в течение многих часов гулял с одним из присутствовавших на докладѣ, обсуждая его тезисы. Его волновала проблема христіанства в современном мѣрѣ, он искал путей, которые могли бы превратить его в мощное духовное орудіе борьбы против тоталитарнаго варварства. Это не были отвлеченныя разсужденія. У

него былъ живой религиозный опыт, ощущение, что это и есть в наши дни **самое главное**.

Каждый из нас сознавал это, провожая на кладбище гроб Руднева, покрытый русским флагом. Мы всѣ знали его по Парижу и по «Современным Запискам», знали его самоотверженное служеніе культурѣ. Но тут, в По, мы как то особенно к нему привязались. Он стал для нас символом русской гуманистической культуры, цѣннѣйшаго русскаго духовнаго наслѣдія. Мы шли за гробом, под мелким осенним дождем. Темныя тучи заволкли Пиренеи, которые он так любил, перед нами тянулась хмурая аллея чужого кладбища. И меня охватила мысль, что нужно найти тѣ пути, на которые В.В. Руднев указывал в предсмертных бесѣдах. Точно он нам завѣщал что-то, от чего нельзя отказаться.

Так духовное лицо Франціи и духовное лицо русских во Франціи сливаются для меня в одно цѣлое. Этот «голый год», послѣдовавшій за разгромом, был для меня насыщен особым воздухом. Матерьяльная разруха, человѣческая слабость, закат большой европейской націи... Да, все это было, и порою казалось нестерпимым. Но было и другое: выявленіе глубоких сил морального сопротивленія, сплоченность и непобѣдимая воля людей, преданных до конца своему дѣлу и своим идеалам.

Елена Извольская.

Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

О каждом человѣкѣ нетрудно написать некрологъ обычнаго типа, — с надлежащими прилагательными в надлежащих степенях. Обычай подобных некрологов очень стар и очень хорош. Но именно о Д. С. Мережковском так писать не хочется. В громадном большинствѣ случаев краткія строки некролога навсегда завершают то, что о человѣкѣ пишется: больше о нем никто писать не будет, — кончено. Тогда дѣйствительно *de mortuis*... Однако Дмитрій Сергѣевич был явленіем исключительным: писать о нем будут долго, он имѣет на это достаточно прав.

Это был человѣкъ выдающагося ума, блестящаго литературнаго и ораторскаго таланта, громадной разносторонней культуры, — один из ученѣйших людей нашей эпохи. Судьба послала ему долгую жизнь. Он проработал в литературѣ почти шестьдесят лѣтъ, написал нѣсколько десятков толстых книг, встрѣчался со всѣми своими извѣстными современниками: вѣдь он разговаривал с Достоевским! (из писателей видѣвших Достоевскаго теперь остается в живых один А. А. Плещеев). Д. С. Мережковскій был знаменит: его книги, особенно «Леонардо да Винчи», в разных переводах можно было найти в любом книжном магазинѣ любой страны Европы. Добавлю, что свою извѣстность он носил в высшей степени просто: генеральство было совершенно чуждо его натурѣ. Это была одна из многих привлекательных его черт.

Служил он всю жизнь одной — очень большой — идеѣ. Но и ея сторонники, и люди ей чуждые относились к этому служенію сдержанно, — чтобы не сказать холодно. Д. С. Мережковскій всю жизнь мечтал о «послѣдователях». Их у него не было. Факт сам по себѣ обычный и, по общему правилу, не столь важный: у кого же из русских писателей были послѣдователи? Едва ли не у одного Толстого, да и то лишь как у автора «Так что же нам дѣлать». Но другіе русскіе писатели к этому и не стремились, тогда как Д. С. Мережковскій об отсутствіи у него послѣдователей говорил иногда как о крестѣ своей жизни. Ему часто казалось, что его просто не

принимают в серьез. И в этом дѣйствительно была доля правды.

— «Я был молод», — вспоминал Мережковскій в своей прекрасной статьѣ о посмертном изданіи писем Чехова, — «мнѣ все хотѣлось поскорѣе разрѣшить вопросы о смыслѣ бытія, о Богѣ, о вѣчности. И я предлагал их Чехову, как учителю жизни. А он сводил на анекдоты да на шутки. Говорю ему, бывало, о «слезинкѣ замученнаго ребенка», которой нельзя простить, а он вдруг обернется ко мнѣ, посмотрит на меня своими ясными, не насмѣшливыми, но немного холодными, «докторскими» глазами и промолвит: «А кстати, голубчик, что я вам хотѣл сказать: как будете в Москвѣ, ступайте-ка к Тѣстову, закажите селянку, — превосходно готовят — да не забудьте, что к ней большая водка нужна». Мнѣ было досадно, почти обидно: я ему о вѣчности, а он мнѣ о селянкѣ».

Самое интересное в этом воспоминаніи одного знаменитаго писателя о другом то, что сам Мережковскій признавал Чехова совершенно правым: «Надо было наговорить столько лишняго, сколько мы наговорили, надо было столько нагрѣшить, сколько мы нагрѣшили, святыми словами, чтобы понять, как он (Чехов) был прав, когда молчал о святынѣ. Зато его слова донынѣ — как чистая вода лѣсных озер, а наши, увы, слишком похожи на трактирныя зеркала, засиженныя мухами, исцарапанныя надписями».

Это была его очень привлекательная черта: он признавал свои ошибки и сознавался в них откровенно, — калялся. Казалось бы, по всей его природѣ Чехов должен был быть вполне ему чужд, должен был даже возбуждать у него враждебность. Им и спорить было не о чем. Как почти всѣ русскіе критики и историки, Д. С. Мережковскій считал религіозность основной, главной и драгоцѣннѣйшей чертой русской литературы. Но Чехов, один из величайших и самых «русских» писателей Россіи, никак не укладывался в его основное положеніе. — «Интеллигенція пока только играет в религію и главным образом от нечего дѣлать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религіи и уходит от нея все дальше и дальше, что бы там ни говорили и какія бы религіозно-философскія общества ни собирались. Хорошо ли это или дурно, рѣшить не берусь, скажу только, что религіозное движеніе, о котором вы пишете, — само по себѣ, а современная культура — сама по себѣ, и ставить вторую в причинную зависимость от перваго нельзя».

— писал Чехов Дягилеву 30 декабря 1902 года. В другом, позднѣйшем письмѣ, написанном за год до его смерти, он на предложеніе войти в редакцію «Міра Искусства» дал слѣдующій отвѣтъ: «Как бы это я ужился под одной крышей с Д. С. Мережковским, который вѣрует опредѣленно, вѣрует учительски, в то время, как я давно растерял свою вѣру и только с недоумѣніем оглядываюсь на всякаго интеллигентнаго вѣрующаго. Я уважаю Дмитрія Сергѣевича и цѣню его и как человека, и как литературнаго дѣятеля, но вѣдь воз то мы, еслиб и повезли, то в разныя стороны».

Однако так же трудно было Д. С. Мережковскому говорить с людьми религіознаго душевнаго уклада. И уж совѣм невозможно было понять и оцѣнить его людям, занимавшимся практической политикой. Не могу возлагать за это отвѣтственность ни на тѣх, ни на других. Имѣли тут значеніе нѣкоторыя особенности таланта Д. С. Мережковскаго (и даже, если угодно, его стиля), а главное, тѣ весьма неожиданныя практическіе выводы, которые он нерѣдко дѣлал из своих идей. Так, достаточно сказать, что одну из своих главных философско-политических работ он закончил когда-то словами: Мы надѣемся не на государственное благополучіе и долголетствіе, а на величайшія бѣдствія, может быть гибель Россіи, как самостоятельнаго политическаго тѣла и на ея воскресеніе, как члена вселенской Церкви, теократіи». В любой странѣ «политическая карьера» человека, который печатно высказал бы такую надежду, могла бы считаться конченною. В Россіи «политическая карьера» Мережковскаго послѣ этих слов не кончилась — только потому, что она фактически никогда и не начиналась. Помимо безотвѣтственности была в этих словах и непоследовательность: если бы их автор был последователен, то он в октябрьских событіях 1917 года и в том, что за ними послѣдовало, должен был бы собственно усмотрѣть великую радость. Как всѣ мы, он радости не усмотрѣл.

Не буду говорить о политической дѣятельности Мережковскаго в эмиграціи, особенно в самое послѣднее время. Не буду говорить отчасти и потому, что мнѣ всегда была и остается непонятной связь философских идей Д. С-ча с его идеями практическими. Порознь и тѣ, и другія были вполнѣ понятны, но этот «приводный ремень» от меня неизмѣнно

ускользал. Быть может, сам он его чувствовал вполне ясно. Однако и в этом мы уверены быть не можем, так как его религиозно-философские мысли оставались неизменными в течение всей его жизни, а практические выводы менялись безпрестанно.

Литературные его заслуги очень велики. Книга «Толстой и Достоевский» положила начало новейшей русской критикѣ. Так называемые «формалисты» ему обязаны очень многим, хотя они об этом не говорят и хотя он по всему своему умственному укладу был чрезвычайно от них далек. Если Н. Н. Страхов первый поставил на должную высоту Толстого, то Мережковский первый, с чрезвычайной проникательностью и остротой, понял и объяснил его художественные приемы (точнее, часть его художественных приемов). В ту пору, когда большая часть русской критики была земные поклоны перед художественным гением Максима Горького, Мережковский писал: «Тѣм простодушным критикам, которые сравнивают Горького, как художника, с Пушкиным, Гоголем, Л. Толстым, Достоевским, все равно ничего не докажешь. Вообще босяк с поэзией напоминает Смердякова с гитарой, а русская критика хозяйскую дочку Машеньку в свѣтло-голубом платьѣ с двухаршинным хвостом, которая слушала и восхищалась. «Ужасно я всякій стих люблю, если складно». — «Стихи вздор-с», — возразил Смердяков. — «Ах, нѣтъ, я очень стишок люблю», — ласкалась Машенька». — Но и как критик Д. С. был неровен. «Конь блѣдный» показался ему великим произведением искусства: «Если бы меня спросили сейчас в Европѣ, какая книга самая русская и по какой можно судить о будущем Россіи, послѣ великих произведений Л. Толстого и Достоевского, я указал бы на «Конь блѣдный». — Он нашел в произведении Ропшина «классическую простоту», «горную ясность»! Все-же, думаю, его в этом случаѣ подкупил тенденція романа, совпавшая, по крайней мѣрѣ отчасти, с тѣми практическими выводами, которыя в тот момент сам он дѣлал из своего философскаго учения. У Д. С. Мережковскаго вдобавок всю жизнь была слабость к тому, что можно называть «литературной политикой». Вѣроятно, тогда какой-либо сложный замысел этой политики был связан с возвеличеніем «Коня блѣднаго».

Эта любовь к литературной политикѣ, кажется, была почти чужда большей части русских классических писателей (ее, напримѣр, просто трудно было бы себѣ представить у

Лермонтова или у Толстого). Из писателей современных ей не было и нѣтъ у Бунина, Зайцева, Куприна. Очень сильна она была у Горькаго, у Ходасевича. Как бы то ни было, гдѣ бы Д. С. ни жил, в Петербургѣ ли, в Парижѣ или в Италіи, при нем немедленно создавался литературный кружок. И почему-то неизмѣнно выходило так, что большинство в кружкѣ составляли люди совершенно чуждые и д е я м Д. С. Мережковскаго, даже не интересовавшіеся этими идеями. Состав его кружков всегда был «текучій» и в общем вполнѣ случайный. Литературная политика создавала ему врагов, особенно в былыя петербургскія времена. К этому он относился равнодушно: я не видал писателя, менѣе чувствительнаго, чѣм он, к брани противников, меньше заботившагося о критикѣ вообще. Несмотря на всю его извѣстность, Мережковскаго в Россіи во всѣ времена ругали гораздо больше, чѣм хвалили. Ругали больше всего за театральныя пьесы, ругали за статьи, ругали и за историческіе романы.

Полагалось поругивать даже «Леонардо, — одну из не столь уж многочисленных русских книг, ставших общеизвѣстными на западѣ. А. И. Герцен писал в 1869 году своей дочери: «Вчера мы всѣ обѣдали у Гюго... Старик очень мил. Саша (А. А. Герцен, **М. А.**) судит по студенчески, в Гюго есть сумасшедшія стороны, — но неужели он может думать, что можно владѣть умами во Франціи с 1820-х годов до 69 — даром!». Эта, в общей формѣ вѣрная, мысль может быть отчасти отнесена и к знаменитой книгѣ Д. С. Мережковскаго: ее читают больше сорока лѣтъ на очень многих языках, — «даром» такого не бывает. Как историческій романист, Д. С. вольно обращался с исторіей, но (в отличіе от нѣкоторых других исторических романистов) никак не потому, что не знал ея, а потому, что его религіозная идея была ему дороже и исторической правды, и художественной цѣнности романа. Она вообще была ему дороже всего.

Мнѣніе о религіозном характерѣ в с е й русской литературы условно (хотя в общем вѣрно): вѣдь слова «религіозный характер» не очень опредѣленны: когда нужно, под ними понимают «общественное служеніе», и в общую схему укладываются Тургенев, Салтыков, даже Горькій. Если нѣтъ и этого, (или в тѣх случаях, когда этого не так уж много), говорят о «свѣтлом пріятіи жизни» (Пушкин), о «любви и жалости к людям» (тот же Чехов). Но Д. С. Мережковскій дѣйствительно принадлежал к очень большому, широкому и

мошному религіозному теченію, которое в русской литературѣ идет от заволжских старцев и от еще не оцѣненного изумительнаго Вассіана Косого (в міру князя Патрикѣва) к Толстому и Достоевскому. Выдѣлялся он в этом теченіи тѣм, что в свои мысли вносил слишком много литературщины. Грѣшил этим и Достоевскій, хотя неизмѣримо меньше. Чисто стилистическіе, словесные приемы Мережковскаго достаточно извѣстны, — их нерѣдко пародировали. Между тѣм именно ему они никак не были нужны: он был природный стилист, стилист «Божьей милостью». Чтобы не быть голословным приведу лишь нѣсколько его строк: «К старому, презрѣнному сосуду, в котором заключается драгоценная влага, прикоснулся он (Достоевскій. М. А.) с любовью, и на огонь его любви отвѣтным огнем закипѣла казавшаяся мертвою влага; стекляныя стѣнки сосуда задрожали, зазвенѣли; тысячелѣтняя плѣсень вдруг отпала от них как чешуя — и снова сдѣлались онѣ прозрачными: мертвые, мертвящіе догматы снова сдѣлались живыми, живящими символами». Так до него писали немногіе.

Работник он был необыкновенный. Трудился всю жизнь, не отдыхая: только кончал одну книгу, как начинал другую. Лишь очень рѣдко позволял себѣ двѣ-три недѣли отдыха, гдѣ-нибудь в теплых краях. Его считали чисто-книжным человеком, — А. И. Куприн с юмором говорил, что природа вызывает в Мережковском ужас. Это было невѣрно. Д. С. по настоящему обожал юг, солнце, море и в пору своих «каникул» наслаждался ими необыкновенно. В этой обстановкѣ он становился особенно мил и привлекателен.

Личное обаяніе, то, что французы называют *charme-om*, у него вообще было очень велико, по крайней мѣрѣ в лучшія его минуты. Это было связано с огромной его культурой и с его рѣдким ораторским талантом. Порою казалось, что он говорит еще лучше, чѣм пишет. Из года в год, весь день Д. С. Мережковскій проводил за напряженной умственной работой, при чем думал всю жизнь о «самом главном» (вѣдь все таки с самым главным у него, хотя и непонятным для нас образом, должна была связываться и литературная политика, и даже политика вообще). Таких людей мало. Его вѣчная напряженная умственная работа чувствовалась каждым и придавала рѣдкій духовный аристократизм его облику. С сильными и слабыми своими сторонами, со своими большими заслугами и ошибками, Мережковскій принадлежит исторіи русской мысли.

М. А.

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА А. М. КУЛИШЕРА

Безвременная кончина в концентрационном лагерьѣ во Франціи профессора А. М. Кулишера глубоко потрясла всѣх кому дороги судьбы русской науки и русской публицистики. А. М. Кулишер представлял собой рѣдкое сочетание перво-класснаго ученаго и блестящаго журналиста.

С самых юных лѣтъ, слѣдуя традиціям своей семьи (отец покойнаго и два его брата были извѣстными учеными), А. М. Кулишер, со всей страстностью своей одаренной натуры, отдался научным изысканіям.

Послѣ окончанія С.-Петербургскаго университета, он два года работал в Оксфордѣ под руководством профессора Виноградова и вернулся в Россію с заслуженной репутаціей лучшаго знатока англійскаго конституціоннаго права и страстнаго почитателя Англійи. Приват-доцент Петербургскаго университета А. М. Кулишер посвятил свое преподаваніе англійской конституціи. Этой своей юношеской любви он остался вѣрен всю свою жизнь. Я вспоминаю два моих разговора с А. М. об Англійи и англійскихъ учрежденіяхъ; первый происходил в обледенѣлом кабинетѣ государственныхъ наукъ Петроградскаго университета в страшную зиму 1919 года; второй — в Клермон-Ферранѣ, в августѣ 1940 года, послѣ французскаго пораженія. На протяженіи всѣхъ этихъ лѣтъ А. М. неустанно изучал Англійю и Британскую Имперію, возлагая на них великія надежды. Немудрено, что всѣ его работы, посвященныя этому предмету, будь то об ирландскомъ Гомрулѣ, о Биконсфильдѣ или, наконец, о четырехъ конституціяхъ Англійи (1935 г., этюд совершенно исключительный по блеску и произведшій громадное впечатлѣніе на спеціалистов), были настоящими шедеврами.

Ученый широкаго умственнаго кругозора, проф. Кулишер не ограничил своихъ изслѣдованій конституціоннымъ правомъ и его исторіей. С годами он все болѣе увлекался соціологіей. Проблемы демографіи и миграціи народовъ спеціально увлекали его. В результатѣ он опубликовал капитальный труд на

эту тему, насыщенный громадной исторической эрудицией. Первый том этой работы вышел на нѣмецком языкѣ и был издан в сотрудничествѣ с его братом, проф. Е. М. Кулишером. Второй том, на французском языкѣ, предсказавшій войну, был приготовлен к печати. Занятіе Парижа помѣшало его появленію.

Напряженная научная работа А. М. не препятствовала развитію его блестящаго публицистическаго таланта. В теченіи почти 20-ти лѣтъ А. М. Кулишер писал передовицы для «Послѣднихъ Новостей» в Парижѣ и, под псевдонимом «Юніусъ», печатал в той же газетѣ остроумные по формѣ и глубокіе по содержанію научные фельетоны. Он был цѣннѣйшимъ подспорьемъ этой прекрасной газеты и незамѣнимымъ сотрудникомъ П. Н. Милюкова.

Профессор А. Кулишер за мѣсяцъ до смерти былъ выбранъ в New School for Social Research в Нью-Йоркѣ и его несомнѣнно ждала в Америкѣ блестящая научная карьера, для которой онъ былъ созданъ.

Несмотря на свою внѣшнюю разсѣянность и нервность, А. М. Кулишеръ былъ человѣкомъ исключительной доброты, рѣдкой душевной чистоты и сердечности, глубокой самоотверженной привязанности къ близкимъ и друзьямъ. Его несокрушимая моральная и идейная энергія во всѣхъ общественныхъ, политическихъ, литературныхъ и научныхъ дѣлахъ можетъ служить примѣромъ того, каковъ долженъ быть настоящій ученый.

Профессоръ Г. Д. Гурвичъ.

БИБЛИОГРАФІЯ И ЗАМѢТКИ

The Real Life of Sebastian Knight. By Vladimir Nabakov. New Directions, Norfolk, Conn.

Особенности В. В. Набокова-Сиринна, как писателя, русской публикѣ извѣстны очень хорошо. Как у всякаго крупнаго и остро-оригинальнаго таланта, у него есть много почитателей и столько же противников — людей, которые «по тысячѣ причин» его творчество «принять не могут», раздраженно недоумѣвая над каждым его новым произведеніем. Критики уже давно высказались о нем, поставив ему в упрек все, что только в упрек ему поставить было можно (главное, — что он пишет не совсѣм так, как это полагается «настоящему російскому писателю», как-то слишком по европейски, т. е. то, в чем упрекать нельзя никого) и отмѣтив его исключительное дарованіе с нѣкоторым подчеркиваніем его необычнаго (порою просто ошеломляющаго) словеснаго мастерства. Эпитет «блестящій» сопутствует ему уже много лѣтъ; и, правн, трудно найти в современной русской литературѣ кого-либо другаго, кому бы этот эпитет так был к лицу, как Сирину. Правда, у иных критиков вслѣд за ним часто чудится (а иногда и произносится): «но холодный» или даже «но поверхностный», что — если и не явный вздор, то во всяком случаѣ — очевидное недоразумѣніе.

Американскому читателю Сирин до своего приѣзда в США был почти неизвѣстен; говорю «почти» потому, что одна его книга «Камера Обскура» была здѣсь издана в 1938 г. под названіем «Laughter in the Dark». Но как раз этот роман не принадлежит ни к самым сильным, ни к наиболѣе типичным вещам писателя, и, судя по нему, американцы получили бы и не совсѣм полное, и не совсѣм вѣрное представление о характерѣ сиринскаго творчества.

Было уже сказано кѣм-то (если не ошибаюсь, В. Вейдле), что основная тема Сиринна, так сказать «самое главное» в его творествѣ — само творчество. Его главные герои, кѣм бы внѣшне они ни были (от шахматнаго маэстро Лужина до приговореннаго к смерти героя лучшаго, на мой взгляд, сиринскаго романа «Приглашеніе на казню»), они являются в каком-то планѣ символами творца, художника и, в концѣ концов, героями, несомнѣнно, лирическими. Его главный кон-

фликт — взаимоотношенія, сложныя и мучительныя, между творцом и его твореніями, людьми и предметами, населяющими сотворенный им міръ; власть творца над своим міром и его обреченность жить в нем вмѣстѣ с призранными его обитателями, в жизнь которых он повѣрить не может, ибо они созданы чудесной прихотью его, творца, и от которых ему некуда уйти, ибо они — частицы его собственнаго творческаго я.

И, жалкій чародѣй, перед волшебным міром,
Мной созданным самим, без вѣры я стою...

В этом, быть может, основная трагедія художника, которую Сирин с огромной силой выразил в своем творествѣ.

Этими же ощущеніями, осложненными и обостренными другими, приводящими, но для пониманія Сиринна отнюдь немаловажными (как напр., трагедія отщепенца, человѣка, вырваннаго из родной стихіи), проникнут и послѣдній роман писателя, написанный им по англійски.

Очень трудно, да в сущности и не имѣет никакого смысла, передавать «своими словами» содержаніе сиринских романов. В них, почти как в стихах, сюжет (или то, что можно было бы назвать сюжетом) чаще всего играет, если и не второстепенную, то во всяком случаѣ служебную роль. Главное — в самой ткани повѣствованія, в том, что и как и почему говорит автор о тѣх или иных вещах, а не в них самих и не в персонажах, о правдоподобіи которых, об их примитивной жизненности, автор и не очень заботится.

В «Истинной жизни Себастіана Найта» сводный брат знаменитаго англійскаго писателя Найта (наполовину русскаго по происхожденію), персонажа, конечно, вполне вымышленнаго, пытается написать его біографію. Сам он знал Найта только в дѣтствѣ и лишь изрѣдка встрѣчался с ним позднѣе; послѣ смерти Найта выяснилось, что в силу замкнутости своего характера, у него не было близких друзей, которые могли бы хоть как-нибудь освѣтить его жизнь, и его брату приходится возстановливать ее, собирая отрывочныя свѣдѣнія и крохи фактов среди лиц, так или иначе соприкасавшихся с Найтом, используя произведенія покойнаго, которыя, по его мнѣнію, автобіографичны. Процесс созданія этой біографіи и составляет буквальное содержаніе романа. Но внутренній, «сокровенный» смысл его, разумѣется, не только в этом. «Истинная жизнь Себастіана Найта», как и большинство русских вещей Сиринна, посвящена по существу по-прежнему «выясненію отношеній» между творцом и его созданіем. Движимый в началѣ простой братской при-

вязанностью к Найту, усиленной преклонением перед ним, как перед замѣчательным писателем, брат Найта в процессѣ своей творческой работы над его жизнью, в концѣ концов, настолько оказывается во власти его личности, что уже отождествляется с ним, дѣлается его двойником, его тѣнью, его живым призраком.

Англійскій язык Сирина превосходен. Его основной литературный приѣм — чередование различных стилей — удался блестяще, как и все построение романа, основанное на двойном, сначала рѣзко отличном, а потом все болѣе и болѣе сливающимся видѣніи міра.

Жаль, что у этой книги нѣтъ русскаго оригинала.

Марія Толстая.

Metapolitics. From Romantics to Hitler. Peter Viereck, Knopf, New York.

В книгѣ молодого американскаго историка Вирека сдѣлана еще одна попытка выяснить духовную генеалогію націонал-соціализма. Как это видно из ея подзаголовка, Вирек хочет установить линію преемственности между романтиками и Гитлером. Всякій, кто знаком с литературой о романтизмѣ, знает как различно толковалось и продолжает толковаться это понятіе и насколько оно «многосмысленно». Во второй главѣ своей книги Вирек пытается формулировать тѣ элементы романтизма, которые ему кажутся наиболѣе существенными. Это, во-первых, «органическая теорія», покоящаяся на математически-ошибочном утвержденіи, что цѣлое больше суммы составляющих его частей. Это, во вторых, аморализм, провозглашающій, что цѣль жизни в самой жизни, которая поэтому не нуждается в оправданіи с точки зрѣнія каких-либо «высших цѣнностей». И в третьих это — динамизм, то есть преклоненіе перед движеніем как таковым, независимо от направленія и без мысли о конечной цѣли, существованіе которой вообще отрицается.

Легко понять, как такая формулировка основных начал романтизма позволяет Виреку связать романтиков с Гитлером, но возможны сомнѣнія насчет того, насколько она исчерпывает существо романтизма даже если ограничиться нѣмецким романтизмом конца 18-го и начала 19-го вѣка. Сомнѣнія читателя увеличиваются, когда автор затѣм противопоставляет романтизм духу «западной культуры», опредѣляемой им то как сочетаніе «римскаго легализма» и «христіанскаго универсализма», то просто как «классицизм». С этой точки зрѣніе Вирек находит возможным говорить о вѣковом протестѣ «нѣмецкой души» (или вѣрнѣе одной из «нѣмецких душ», так как он упоминает о существованіи и другой) против западной куль-

туры. В исторіи Германіи автор видит пять больших возстаній против запада: 1) поражение римских легионов германцами под водительством Арминія в 9 году по Р. Х., 2) сопротивление саксонских племен военно-миссіонерской экспансіи Карла Великаго, 3) реформація, 4) освободительная война против Наполеона, 5) націонал-соціализм.

Для историка не воспитаннаго на традиціях нѣмецкой «Ideengeschichte» (или точнѣе особаго ея толка), такое сопоставленіе ряда исторических фактов, разнородных по существу и отдѣленных друг от друга огромным промежутком времени, не может показаться особенно убѣдительным. Сомнительно, чтобы сопротивление германцев вооруженным силам Римской имперіи или попытка саксонских племен отстоять свои земли от натиска Каролингской имперіи имѣли какую-либо идеологическую подкладку или поддавались истолкованію в смыслѣ борьбы духовных начал. Недоказанным остается и утвержденіе автора, что в бунтѣ Лютера против Рима и в нѣмецком реформаціонном движеніи самым существенным был момент отталкиванія от западной средиземноморской культуры. И конечно столь же спорно и другое его утвержденіе, согласно которому и в эпоху освободительной войны и во время революціи 1848 г. либеральныя и демократическія теченія в Германіи были лишь поверхностным налетом на стихіи нѣмецкаго націонализма. Для доказательства своих смѣлых положеній Виреку приходится широко пользоваться приѣмом исторической «стилизации», образцом которой является, напримѣр, глава посвященная знаменитому Яну. Автор дает очень яркій образ этого ранняго борца за національное объединеніе Германіи, но думается, что только путем выдѣленія исторических фактов из их контекста можно сдѣлать из Яна предшественника Гитлера, а из его гимнастических обществ прообраз націонал-соціалистических «ударных» организацій.

Центральное мѣсто в концепціи Вирека, связывающей романтиков с Гитлером, занимает Вагнер, и надо признать, что здѣсь, гдѣ он переходит от широких исторіософских концепцій к анализу конкретной исторической проблемы, ему удалось собрать ряд интереснѣйших фактов и показать филиацію идей с достаточной убѣдительностью. Соотвѣтственная часть его книги и кажется мнѣ наиболѣе удачной и цѣнной. О Вагнерѣ существует огромная литература, и общій характер его квази-философской системы достаточно хорошо извѣстен. Но, насколько я знаю, сравнительно мало вниманія было удѣлено его прикладной политической философіи. Между тѣм он много писал по вопросам политикки и даже имѣл свой орган («Bayreuther Blaetter») для этих публицистических упражненій. Вни-

мательное изученіе публицистики Вагнера привело Вирека к выводу, что знаменитый композитор должен быть признан главнѣйшим из непосредственных вдохновителей націонал-соціализма. В его писаніях можно найти основные элементы націонал-соціалистической доктрины: и анти-демократизм, и идею вождя, и расистскую теорію, и анти-семитизм, и своеобразный коллективизм. Особенно интересно развитіе у Вагнера Führer-Prinzip'a то в формѣ культа героя — національнаго мессіи и освободителя, то в формѣ идеи о «народном королѣ», образ котораго в представленіи Вагнера был принципиально отличен от монархов традиціоннаго типа. Сюда же относятся мысли о Барбароссѣ как о перевоплощеніи Зигфрида и ожиданіе новаго его перевоплощенія в будущем. В связи с этим Вирек напоминает, что согласно нѣкоторым вариантам народной нѣмецкой легенды Барбаросса покоится глубоким сном в горной пещерѣ гдѣ-то около Берхтесгадена.

По утверженію Вирека Байрейтскій кружок играл значительную идейно-политическую роль, до сих пор еще недостаточно изученную, как при жизни Вагнера, так и послѣ его смерти (в 1883 г.), когда его традиціи продолжали поддерживаться его вдовой Козимой, сыном Зигфридом и зятем Чемберленом, ставшим одним из главных проповѣдников теоріи расоваго превосходства германцев. В этом же кружкѣ вращались в началѣ 1920-х годов будущіе идеологи націонал-соціализма Розенберг, Геббельс и Дитрих Эккарт, а в 1923 году Эккарт ввел туда и самого Гитлера. Вирек цитирует письмо, написанное Чемберленом Гитлеру в том же 1923 году, гдѣ Чемберлен называл себя Іоанном Крестителем, а Гитлера новоявленным Мессіей. «В час своей горьчайшей нужды Германія произвела на свѣт Гитлера... Теперь я могу спокойно заснуть с тѣм, чтобы никогда больше не просыпаться». Таким образом апостольскую преемственность, от Вагнера через Чемберлена к Гитлеру, можно считать определенно установленной.

В связи с Вагнером Вирек напоминает о замѣчательном письмѣ, которое Ничше послал Папѣ в январѣ 1889 г. наканунѣ своего окончательнаго душевнаго заболѣванія. Ничше умолял Папу немедленно же образовать нѣчто вродѣ Лиги Націй для спасенія Германіи от торжества внутренняго варварства и западной цивилизаціи от угрозы со стороны Германіи. Ничше прямо указывал на вліяніе Вагнера и Бисмарка, на антисемитизм и пан-германизм как на силы, ведшія Германію к варварству, и предсказывал, что если развитіе этих сил не будет остановлено во время, то их «возстаніе против разума» может разрушить и Германію и европейскую культуру.

Наряду с Яном и Вагнером особое вниманіе в книгѣ Вирека

удѣлено Розенбергу, которому он посвятил двѣ главы. В одной из них говорится о «восточно-европейских вліяніях» в Германіи, и здѣсь русскій читатель не без удивленія узнает о том, что «в то время, как антисемитская традиція нѣмецкаго романтизма оставалась в области культурной борьбы, Розенберг принес с собой в Германію погромную традицію физическаго насилія (над евреями)». В связ с этим автор говорит о «Протоколах Сіонских Мудрецов», но к сожалѣнію он повидимому незнаком с обширной литературой по этому вопросу и ограничивается цитатами из сенсационной статьи, появившейся в американском журналѣ *Liberty* и изобилующей фактическими неточностями и преувеличеніями.

В самом началѣ своей книги автор подчеркивает, что он не отрицает ни значенія Версальскаго договора, ни роли экономическаго кризиса в процессѣ образованія и развитія націонал-соціалистическаго движенія. Но по его убѣжденію без помощи «идей» націонал-соціалисты все же не могли бы захватить власть в Германіи. А идеи их нашли себѣ отклик только потому, что нѣмецкій народ был подготовлен к их воспріятію «столѣтіем романтической пропаганды». Должен сказать, что даже в такой смягченной формулировкѣ основной тезис Вирека вызывает во мнѣ нѣкоторыя сомнѣнія. Я вполне допускаю, что «романтическія идеи» (как их понимает Вирек) оказали большое и может быть даже рѣшающее вліяніе на идейное развитіе самого Гитлера. Я допускаю также, что тот же цикл идей сыграл значительную роль в обращеніи в націонал-соціалистическую вѣру извѣстных кругов нѣмецкой интеллигенціи. Но мнѣ кажется мало правдоподобным, чтобы милліоны нѣмцев, которые оказывали Гитлеру активную или пассивную поддержку в его борьбѣ за власть или примкнули к движенію уже послѣ его торжества, пошли за ним потому, что были напоены «романтической идеологіей» или воспитаны на Вагнерѣ. Для этого, думается, были другія причины не столь идеологическаго характера.

М. Карпович.

Berlin Diary. William L. Schirer, Alfred Knopf, New York.

На долю этой книги выпал совершенно исключительный успѣх. Ея автора, бывшаго берлинским «спинкером» Колумбійской радіостѣтти, прежде знали в Америкѣ мало. В теченіе нѣскольких мѣсяцев его дневник, выпущенный им по возвращеніи в Нью-Йорк, разошелся в сотнях тысяч экземпляров. Шайрер стал классиком американскаго репортажа.

Успѣхъ вполне имъ заслуженъ. Пишетъ онъ очень просто, безъ малѣйшихъ претензій на «глубину анализа», на «художественныя картины». Это не мѣшаетъ нѣкоторымъ главамъ его книги быть замѣчательными и въ художественномъ отношеніи (такова, напримѣр, сцена появленія Гитлера въ Компьенѣ, или сцена его рѣчи съ «предложеніемъ мира Англіи»). Сочетаніе простоты съ правдивостью — вещь не столь ужъ обычная, а «глубину анализа» вполне замѣняетъ то, что Шайреръ — весьма неглупый, культурный и, главное, вполне независимый наблюдатель.

Казалось бы, независимости мы вѣдь требовать отъ всякаго журналиста, — ею, говоря теоретически, никого удивить нельзя. Однако самъ Шайреръ сообщаетъ, что е д и н с т в е н н а я нью-іоркская газета, имѣвшая въ Берлинѣ вполне независимаго (очевидно, отъ германскихъ вліяній) корреспондента, это «Хералд-Трибюн»! Онъ сообщаетъ также, что берлинскій корреспондентъ лондонскаго «ТАЙМС» Эббутъ въ іюнѣ 1935 года ему жаловался на свою газету: она захвачена англійскими сторонниками Гитлера и половины его, Эббута, телеграммъ не печатаетъ, «не желая слышать слишкомъ много о дурныхъ сторонахъ націонал-соціалистической Германіи»! Невольно напрашивается маленькая экстраполяція на м о с к о в с к и хъ корреспондентовъ извѣстнѣйшихъ газетъ міра. Когда-нибудь мы, безъ сомнѣнія, прочтемъ разоблаченія и о нихъ.

Шайреръ былъ независимъ и отъ своихъ работодателей и отъ властей той страны, въ которой онъ своихъ работодателей представлялъ. Націонал-соціалисты кое-какъ его терпѣли, — изрѣдка впрочемъ ему пришлось покидать Германію специально для передачи нѣкоторыхъ радіосообщеній. Ѣздилъ онъ по Европѣ очень много и присутствовалъ почти при всѣхъ историческихъ событіяхъ семилѣтія (1934—1941), болѣе богатаго историческими событіями, чѣмъ иные вѣка. Онъ видѣлъ своими глазами захватъ Рейнской области, вторженіе нѣмцевъ въ Австрію, былъ при Годесбергской встрѣчѣ Чемберлена съ Гитлеромъ, былъ въ Бельгіи, въ Голландіи, во Франціи въ дни ихъ роковыхъ катастрофъ, стоялъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Гитлера въ минуту подписанія Компьенскаго перемирія. Поэтому протокольные, точныя записи его книги до нѣкоторой степени замѣняютъ краткій курсъ новѣйшей исторіи: очень многое восстанавливаютъ въ памяти, а кое-что добавляетъ и новаго. — неизвѣстнаго людямъ, находящимся внѣ международной политической кухни.

Такъ, не безъ интереса узнаетъ, напримѣр, читатель, что захватъ нѣмцами Рейнской области вызвалъ восторгъ въ редакціяхъ вліятельныхъ лондонскихъ газетъ, какъ «Обсерверъ» Гарвина или печать лорда Роттермира; что британскій посолъ въ Берлинѣ сэръ Нэвилль Гендерсонъ за-

явил своему личному другу Герингу: «поскольку дѣло идет обо мнѣ, Гитлер может захватить Австрію»; что тот же Гендерсон и ближайшій совѣтник Чемберлена сэръ Хорас Вильсон, по общему впечатлѣнію журналистов, «отдали бы Чехословакію за пять сентов» («would sell out Czecho for five cents»). Это, так сказать, часть неофициальная. Но небезполезно освѣжить в памяти и нѣкоторые официальные документы, которые Шайрер аккуратно записывал в свой дневник. Да вот хотя бы обмѣн любезными привѣтствіями к Новому (1940) году между Гитлером и Сталиным. Гитлер телеграфирует: «Примите мои лучшія пожеланія личнаго благополучія вам и счастливаго будущаго народам дружественнаго Союза совѣтских республик». Сталин телеграфирует: «Спаянная кровью дружба народов Германіи и совѣтскаго союза имѣет всѣ основанія быть продолжительной и прочной». Или же официальная декларация Риббентропа и Молотова от 28 сентября 1939 года: «Послѣ того, как германское и совѣтское правительства, в подписанном сегодня договорѣ, окончательно разрѣшили вопросы, возникшіе в результатѣ разложенія польскаго государства, и таким образом заложили твердыя основы постояннаго мира в восточной Европѣ, они совместно выражают мнѣніе, что в интересах всѣх народов было бы положить конец войнѣ, идущей в настоящее время между Германіей и Англійей и Франціей. Оба правительство поэтому сосредоточат усилія, если нужно в сотрудничествѣ с другими дружественными державами, для достиженія этой цѣли. Если однако усилія обоих правительств останутся безуспѣшными, то тѣм самым будет установлен факт, что Англія и Франція отвѣтственны за продолженіе войны. В этом случаѣ германское и совѣтское правительства обсудят друг с другом надлежащія мѣры». Разумѣется, если мы по Шайреру возстанавливаем в памяти читателей эти официальные документы рядом с сообщеніями о настроеніях нѣкоторых англійских сановников, то никак не потому, что считали бы все это равноцѣнным матеріалом для сужденія о политической слѣпотѣ и бездарности (к тому же, основной кол уже давно вбит в политическія могилы сэра Невилля Гендерсона, сэра Гораса Вильсона и разных других сэров, в большинствѣ второстепенных).

Шайрер пишет однако не только о больших политических событіях. В своем родѣ не менѣе интересен его чисто бытовой матеріал о Германіи. Автор «Берлинскаго Дневника» никак не может быть назван германофобом. Ненавидя расистов (даже не столько расистов, сколько расизм), он к нѣмецкому народу относится с благожелательным интересом. Думаем поэтому, что мы можем въ-

ритель и его сообщеніямъ объ эпизодахъ поистинѣ невѣроятныхъ. Приведемъ лишь одинъ примѣръ:

«Въ Германіи слушанье иностранныхъ радіопередачъ является тяжкимъ преступленіемъ. На дняхъ мать одного изъ нѣмецкихъ летчиковъ получила сообщеніе отъ *Луфтваффе* о томъ, что ея сынъ пропалъ безъ вѣсти и долженъ считаться погибшимъ. Черезъ два-три дня британская радіостанція, которая каждую недѣлю сообщаетъ списокъ нѣмецкихъ плѣнныхъ, назвала ея сына въ ихъ числѣ. На слѣдующій день она получила в о с е м ь писемъ отъ друзей и знакомыхъ, сообщавшихъ ей, что ея сынъ находится въ плѣну у англичанъ. Здѣсь эта исторія приобретаетъ гнусный характеръ: дама донесла на нихъ (друзей и знакомыхъ) полиціи, сообщивъ, что они слушаютъ англійскую радіостанцію. Они были арестованы». — «Когда я сдѣлалъ попытку», — добавляетъ въ книгѣ Шайреръ къ этой записи изъ своего дневника, — «разсказать эту исторію по радіо, цензоръ ее вырѣзалъ, сославшись на то, что американцы не поняли бы героизма этой женщины». Дѣйствительно, бесполезно сохранить для потомства эту исторію (а равно и имя дамы).

Все интересно въ дневникѣ Шайрера, — свое, чужое, то, что онъ видѣлъ, то, что онъ слышалъ отъ другихъ, мелочи политическія (изъ предшествовавшаго катастрофѣ интервью маршала Петэна: «я молюсь Богу, чтобы нѣмцы попытались прорвать линію Мажино!»), мелочи бытовыя (нѣмецкая печать, очевидно, по приказу, обозначаетъ Черчилля не иначе какъ его инициалами, — буквы *W. C.* красуются на всѣхъ уборныхъ въ Германіи). Въ книгѣ больше шестисотъ страницъ — и отъ нея трудно оторваться.

N.

Black Record: Germans Past and Present Sir Robert Vansittart, Hanish Hamilton, London, 1941.

Сэръ Робертъ Ванситтартъ до недавняго времени въ теченіе долгихъ лѣтъ состоялъ техническимъ руководителемъ англійскаго министерства иностранныхъ дѣлъ. Министры приходили и уходили. Лордъ Редингъ, Саймонъ, Семюэль Хоръ, Галифаксъ, Иденъ — каждый изъ нихъ имѣлъ свою линію. Но осуществлялась эта линія сэромъ Робертомъ Ванситтартомъ. «Техническое» руководство, естественно, выходило при этомъ далеко за предѣлы техники.

Сейчасъ Ванситтартъ оффиціально числится «главнымъ дипломатическимъ совѣтникомъ» англійскаго правительства. Но если раньше его имя было извѣстно главнымъ образомъ политическимъ профессионаламъ, то нынѣ оно объектъ ожесточенныхъ споровъ не только въ печати и въ

салонах, но и в подземных убожищах — этих народных клубах воюющей Англии. Дипломат «сбросил с себя сюртук», как он сам пишет о себѣ, и превратился в пропагандиста. Недавно дошедшая сюда его небольшая книжка «Черный Итог» — собрание рѣчей, произнесенных им по радио и посвященных «нѣмцам в прошлом и настоящем», вызвала в Англии, по свидетельству лондонских корреспондентов американских газет, бурю восторгов и протестов.

Ванситарта и его единомышленников в Англии, среди которых есть и нѣкоторые видные члены рабочей партии, обвиняют в германофобствѣ. Это едва ли справедливо. Правда, говоря о «нѣмцах в прошлом и настоящем», он изображает и это прошлое, и настоящее, не жалѣя черной краски. Правда и то, что его основной тезис — о связи гитлеровскаго режима со всей исторіей Германіи — больно задѣвает нѣкоторых весьма почтенных нѣмецких противников Гитлера, видящих в этом как бы признаніе смягчающих вину обстоятельств для Гитлера. Но это с их стороны большое заблужденіе. Совершенно безспорное констатированіе того, что одним принужденіем никак нельзя объяснить дѣйствительно неслыханную в исторіи жестокость, проявляемую германскими войсками в оккупированных странах, что идея мірового господства Германіи не выдумана Гитлером, а пропагандировалась задолго до него, что Германія в течение послѣдних 75 лѣтъ была виновницей 5 войн (в 1864, 1866, 1870, 1914 и 1939 годах — плюс четыре случая, когда война была избѣгнута только благодаря уступчивости, проявленной другими странами), конечно, неприятно для нѣмецкаго патріотическаго сознанія. Но то, что у Гитлера оказались сотни тысяч сторонников и миллионы исполнителей в Германіи и что он сам в нѣкоторых отношеніях оказался исполнителем завѣщанія Фридриха Великаго, Бисмарка и Вильгельма II, ни на одну іоту не уменьшает его страшной вины перед человечеством. Констатированіе этих фактов противорѣчит, правда, успокоительному традиціонному представленію о германских народных массах, готовых в любой момент, по мнѣнію одних, сдѣлать Германію образцом демократіи для всего міра, а по мнѣнію других, превратить царство гестапо в царство социализма. Но это не германофобство, а лишь признаніе слабости той части германскаго народа, которая не заражена идеей мірового господства и поращенія прочих народов.

Надо сказать, что у Ванситарта есть свидѣтель, отвести котораго нелегко, особенно перед судом демократическаго общественнаго мнѣнія. «Христіанство — писал Гейне — в «Исторіи религіи и философіи в Германіи» — смягчило до нѣкоторой степени грубый

военный пылъ германцев — и в этом одна из его самых больших заслуг — но не могло совершенно подавить его. И когда крест, этот сдерживающій талисман, будет сломан, бѣшенная ярость берсеркеров, которую воспѣвали норвежскіе поэты, прорвется с новой силой... Старые каменные боги поднимутся тогда из забытых развалин, сотрут с своихъ глазъ пылъ столѣтій и Тор начнет сокрушать своимъ гигантскимъ молотомъ готическіе соборы... Когда вы услышите неслыханный еще в міровой исторіи грохот, вы будете знать, что, наконец, грянулъ германскій гром... В Германіи разыграется драма, в сравненіи с которой французская революція будет казаться наивной идилліей... Послѣ того как вы приложили столько усилій, чтобы понравиться по крайней мѣрѣ лучшей половинѣ германскаго народа, становится почти непонятнымъ, почему вас не любят в Германіи. Но даже если бы эта половина и любила вас, ея дружба не могла бы оказать вамъ существенную помощь, ибо это как раз та половина, которая не имѣетъ оружія». — «Нужно признать — пишет по этому поводу Ванситтартъ, что Гейне былъ не только великимъ лирическимъ поэтомъ, но и поразительнымъ провидцемъ. Я — в хорошей компаніи. Онъ былъ изгнанъ из Германіи не только какъ еврей, но и какъ человѣкъ, слишкомъ ясно видѣвшій то, что онъ называлъ «горькой правдой».

Сэр Робертъ Ванситтартъ чрезвычайно убѣдительно доказываетъ, что эта слабость «лучшей половины германскаго народа» дѣлала всегда германскую опасность чрезвычайно реальной. Во всѣхъ европейскихъ странахъ были «маніаки», не перестававшіе о ней твердить. Увы, «маніаки» оказались пророками. Едва ли сейчасъ кто либо станетъ отрицать, что недооцѣнка этой опасности сыграла роковую роль в нынѣшней міровой катастрофѣ. Во время первой міровой войны одинъ видный нейтральный государственный дѣятель спросилъ виднаго нѣмецкаго государственнаго дѣятеля, что сдѣлаетъ Германія, если проиграетъ войну. — «Мы организуемъ симпатію», — послѣдовалъ отвѣтъ. «Организація симпатіи» была осуществлена дѣйствительно превосходно. Вспомнимъ хотя бы, сколько усилій было потрачено и во Франціи, и в Англіи, и здѣсь, в Соединенныхъ Штатахъ, весьма почтенными политическими дѣятелями, историками и писателями, чтобы снять с Германіи вину за первую міровую войну! Сколько было написано о «несправедливости» Версаля, «кровожадности» Клемансо и «ростовщическомъ характерѣ» Пуанкаре! Какъ негодовало демократическое общественное мнѣніе всего міра по поводу «распространенія басенъ о нѣмецкихъ звѣрствахъ»! Увы, «басни» оказались дѣтскими сказками в сравненіи с тѣмъ, что сейчасъ ежедневно продѣлывается германскими войсками. И едва ли сейчасъ

кто либо станет протестовать против приводимых Ванситтартом слов маршала Фоша об «арміи знающих свое дѣло и сознательных преступников, брошенной на мирное населеніе Европы опрусаченной Германіей».

Обвиненіе Ванситтарта в «вульгарном германофобствѣ» тѣм болѣе несправедливо, что он неоднократно подчеркивает наличіе в Германіи и вполнѣ здоровых элементов. Бѣда только в том, что они до сих пор никогда не были достаточно сильны, чтобы быть опредѣляющим фактором германской политики. Для того, чтобы это произошло, необходим длительный процесс оздоровленія извращенной психологін той части нѣмцев, которая заражена сознанием своего превосходства над другими народами и абсолютным аморализмом. Это относится главным образом к нѣмецкой молодежи. В одной из пѣсен «Лиги германских дѣвушек» об'ясняется, почему гитлеровскія Гретхен отвергают христіанство. Первый мотив сводится к кабацкой ругани по адресу Христа. Второй мотив, в переводѣ на англійскій язык, сдѣланном сэром Робертом Ванситтартом «слово в слово», гласит:

As for his Mother — what a shame —
Cohn was the lady's real name!

«Когда я слышу слово «культура» — цитирует Ванситтарт предсдателя «культур-камеры» Райха — «я тотчас хватаюсь за револьвер».

Болѣзнь тяжела, но не неизлѣчима. Отвѣчая критикам, обвиняющим его в том, что он не допускает возможности измѣненія этой страшной психологін, Ванситтарт доказывает, что он, наоборот, такую возможность вполнѣ допускает. Но только «не вѣрьте лже-пророкам, говорящим вам, что эта перемѣна уже произошла, не вѣрьте нѣмцам, которые будут вас в этом увѣрять, и прежде всего не давайте обмануть себя той категорін нѣмцев, которая будет говорить, что она порицает совершенныя злодѣянія, но была вынуждена их совершать из лойяльности к отечеству. Если у челоуѣка отец профессиональный убійца, то долг сына помогать полиціи, а не становиться его сообщником. Не давайте Мѣдной Орды вводить себя в заблужденіе. Послѣ пораженія она будет увѣрять вас, что она не сдѣлала ничего дурного, и ссылаться на достиженія в литературѣ, медицинѣ, музыкѣ и философіи». Все это — доказывает Ванситтарт не имѣет никакого отношенія к тому основному вопросу, который встанет перед всѣм міром послѣ пораженія Германіи и который он формулирует слѣдующим образом:

«Нельзя никаким образом допустить, чтобы мир был втянут Германией в новую войну только потому, что у людей не будет яснаго представления о том, каково было поведение Германии в прошлом и как она будет вести себя в будущем, если нѣмецкій народ не подвергнется глубокому духовному возрожденію. Новая Германия возможна. Но это должна быть совершенно новая Германия, та, которая до сих пор существовала только в воображеніи, а не в дѣйствительности. Подлинная германская реформація еще впереди».

Это не проповѣдь ненависти к нѣмецкому народу, а предостереженіе, обращенное ко всему міру, в том числѣ и к нѣмцам. И то, что предостереженіе это дѣлает, хотя и «сбросив с себя сюртук», один из виднѣйшихъ европейскихъ дипломатовъ нашего времени, показывает, что вопросъ дѣйствительно серьезный и грозный. Будет ли германская демократія достаточно сильна, чтобы самостоятельно разрѣшить его? Не знаю — и пока во всякомъ случаѣ, впредь до появленія какихъ либо обнадеживающихъ симптомовъ, сильно в этомъ сомнѣваюсь. Кажется, сомнѣваются в этомъ и нѣкоторые отличные германскіе демократы и патриоты. Пораженіе Германии, конечно, произведетъ отрезвляющее дѣйствіе — по крайней мѣрѣ на тѣхъ, которые «совершали злодѣянія изъ лояльности к отечеству». Но нужно, чтобы и до этого нѣмцы поняли, какую страшную, смертельную ненависть возбудила не «антигерманская пропаганда» сэра Роберта Ванситтарта, а «брошенная на мирное населеніе Европы армія знающихъ свое дѣло и сознательныхъ преступниковъ». Можно сколько угодно доказывать, сидя за кабинетнымъ столомъ, особенно в Нью-Йоркѣ, что ненависть эта направлена не по адресу и что она должна ограничиваться непосредственными организаторами и участниками позорящихъ человѣческое имя преступленій. Бѣда в томъ, что всѣ совершенно законныя и разумныя усилія европейской и американской демократіи в этомъ направленіи столкнутся с невозможностью убѣдить в этомъ милліоны русскихъ, французовъ, бельгийцевъ, голландцевъ, сербовъ, грековъ, евреевъ, потерявшихъ в жизни все — и уж во всякомъ случаѣ способность спокойно размышлять. Только тогда, когда сознание этого отчетливо проникнетъ в самую гущу населенія Германии, расчеты на революцію в Германии, которые сейчасъ являются однимъ изъ самыхъ вредныхъ проявленій wishful thinking, приобрѣтутъ нѣкоторую реальность.

С. Соловейчикъ.

Outlines of Russian Culture (Parts I - III), Paul Miliukov, Edited by Michael Karpovich, Translated by Valentine Ughet and Eleanor Davis, University of Pennsylvania Press.

Эта книга давно стала классической в русской исторической литературѣ. Со времен курса Ключевского, создававшагося полвѣка тому назад, пожалуй, никакой другой труд по русской исторіи не пользовался такой извѣстностью, как «Очерки» П. Н. Милюкова, и так ея не заслуживал. Написано об «Очерках по исторіи русской культуры» очень много, и не в краткой рецензіи об американском изданіи говорить о них по существу.

Несмотря на перегруженность политической и публицистической работой в эмиграціи, знаменитый ученый нашел время для того, чтобы переработать и дополнить свою книгу. Достаточно извѣстна его колоссальная эрудиція. Ему пришлось заниматься и областями не являющимися его прямой, ближайшей специальностью. Так, в томѣ, посвященном новѣйшей русской музыкѣ, он анализирует труды Александра, Николая Рославца («музыкальнаго Маяковского»), Болеслава Яворскаго, А. и Г. Крейнов, Лобачева, Корчмарева и других совѣтских композиторов послѣдних поколѣній. В главах о литературѣ подробно разбирает романы, повѣсти, пьесы, рассказы, порою даже статьи Фадѣева, Леонова, Артема Веселаго, Малашкина, Гумилевскаго, П. Романова, Карпова, Чумандрина, Огнева, Кушнера, Либединскаго, Гладкова! Не со всѣми утверждениями и оцѣнками П. Н. Милюкова можно соглашаться. Можно даже думать, что иногда он напрасно тратил время на разбор нных трудов, не очень того заслуживающих. Но ученость, аналитическій дар, напряженное вниманіе изслѣдователя вызывают истинное изумленіе.

Редактор американскаго изданія проф. М. М. Карпович, с согласія автора, произвел в «Очерках» сокращенія, добавил пояснительныя примѣчанія, сдѣлал дополненія, относящіяся к матеріалам самых послѣдних лѣтъ (П. Н. Милюков, повидимому, закончил свою работу над книгой в 1940 году). Редакторская работа сдѣлана очень удачно, и мы не сомнѣваемся, что в своем нынѣшнем видѣ книга, скромно и неправильно названная когда-то «Очерками» будет имѣть большой успѣх в Соединенных Штатах и, быть может, станет «настойной» для изучающих русскую культуру студентов. Перевод вполне хорош.

П. Н. Милюков написал к американскому изданію предисловіе. Приведем из него слѣдующія слова: «Нынѣшняя «молодая» Россія колеблется на равном разстояніи от современнаго строя и от средне-

вѣковаго насилія, неограниченнаго законом. Но, к счастью, эта «молодая» Россія — не в с я Россія. Как цѣлое, Россія в реабилитациі не нуждается. Эта книга покажет читателям, что сдѣлала («has achieved») Россія в длинной цѣпи ея поколѣній. Нѣсколько десятилѣтій не могут цѣлком разрушить дѣла столѣтій. Книга моя не была написана для того, чтобы это доказать. Однако, если доказательство нужно, то оно в ней есть». **А.**

Экономическія причины войны.

В Нью-Йоркѣ получен послѣдній (9-10) номер «Экономическаго Бюллетеня», издаваемого в Женевѣ на англійском языкѣ профессором С. Н. Прокоповичем. Он вышел в ноябрѣ 1941 года. Первая статья этого номера «Экономическія причины русско-германской войны», повлекла за собой запрещеніе журнала швейцарскими властями. Есть основанія надѣяться, что С. Н. Прокопович и Е. Д. Кускова скоро пріѣдут в Соединенные Штаты.

В этой первой статьѣ своего «Бюллетеня» редактор указал (послѣ столь многих других публицистов и в полном согласіи с ними), что война, объявленная Гитлером Россіи, никак не может быть признана антибольшевистским «крестовым походом». Германія объявила Россіи войну и в 1914 году, когда в обѣих странах был монархическій образ правленія. В августѣ 1939 года «идеологическая вражда» не помѣшала Гитлеру установить со Сталиным дружественное соглашеніе, благополучно поддерживавшееся обѣими сторонами в теченіе почти двух лѣт. И в то же время крестоносец Гитлер начал войну со странами, в которых большевики у власти отроду не были.

Повидимому С. Н. Прокопович приписывает войну главным образом экономическим причинам: Россія с 1890 года стала энергично развивать собственную промышленность. Росло ея городское населеніе, поднимался общій культурный уровень страны. Таким образом интересы Россіи столкнулись с интересами старых промышленных стран, нуждавшихся в русском сырѣ и в русском рынкѣ для своих промышленных продуктов. Ближайшая сосѣдка Россіи Германія, рискующая потерять и русское сырье, и русскій рынок, была заинтересована в разрушеніи русской промышленности и в расширеніи своей территоріи за счет чешских, польских и украинских земель. «Эти прямо противоположные экономическія интересы неизбежно должны были повести к политическому столкновенію и к войнѣ».

Это объясненіе войны, конечно, оставляет неразрѣшенным не-

мало вопросов. Напримѣр: почему в пору Веймарской республики Германія отнюдь не помышляла нападать на Россію, несмотря на нужду в сырѣ и в землях? Почему та же Германія достигла необычайнаго промышленнаго расцвѣта и благосостоянія и мирно завоевывала все рынки міра в пору, предшествовавшую первой мировой войнѣ, хотя Россія дѣлала огромные успѣхи на поприщѣ промышленности еще с 1890 года? Почему огромное множество германских промышленников и генералов, даже в Гитлеровское время, слышать не хотѣли о войнѣ с Россіей, а, напротив, стояли за дружескія и тѣсныя отношенія с ней? Почему не помышляли напасть на Россію, отторгать ея земли и подчинять ее себѣ другія, демократическія, страны с высоко развитой промышленностью, как Соединенные Штаты и Англія, которыя также пользовались ея сырьем и поставляли ей промышленные продукты (хотя и в нѣскольکو меньшей мѣрѣ, чѣм Германія)? Из за какого «сырья» эти страны теперь воюют на жизнь или смерть с Германіей?

Есть основанія думать, что войны, особенно нынѣшнія, не всегда происходят из за сырья и рынков, которые поистинѣ «не окупают расходов». Затѣять мировую войну современнаго типа ради сырья и рынков это для великой державы приблизительно то же самое, что для частнаго капиталиста истратить милліон в надеждѣ нажить пятьдесят копѣек.

Потери русскаго народнаго хозяйства

В другоѣ статьѣ того же «Бюллетеня» проф. Прокопович дает результаты своего, очень добросовѣстнаго, основаннаго на множествѣ фактов, анализа тѣх потерь, которые понесло русское народное хозяйство за первые мѣсяцы войны. Цыфры этого цѣннаго изслѣдованья производят поистинѣ жуткое впечатлѣніе. Приводим лишь очень немногія из них:

Во власти нѣмцев к концу октября 1941 года находилось 27,6% территоріи Европейской Россіи и 40% ея населенія. Нѣмцами занята 20 городов с населеніем, превышающим 100.000 каждый: Кіев (846 тысяч), Харьков (833), Одесса (604), Днѣпропетровск (500), Сталино (462), Запорожье (289), Макеевка (240), Мариуполь (222), Кривой Рог (197), Таганрог (188), Николаев (167), Днѣпродзержинск (147), Полтава (130), Кировоград (100), Минск (238), Витебск (167), Смоленск (156), Гомель (144), Курск (120), Орел (110). Посѣвная площадь занятых нѣмцами территорій составляет 39,3% всей посѣвной площади Европейской Россіи. На этих территоріях находилось 48,8% лошадей, 44,7% рогатаго скота, 26,9% овец и коз, 61,9% свиней, бывших у всего населенія Европейской Россіи.

К нѣмцам отошло 88% сзекловичных посѣвов, т. е. русской сахарной промышленности. В Днѣпропетровском округѣ добывалось 60,6% желѣзной руды СССР. В Донецком бассейнѣ добывалось 60,8% русского угля.

X.

The Russian Review. An American Journal Devoted to Russia Past and Present. Vol. 1. No. 1. November 1941 (215 West 23rd Street, New York).

Задачи этого новаго журнала изложил во вступительной статьѣ его главный редактор, Вильям Генри Чемберлен, извѣстный публицист, бывший в течение одиннадцати лѣтъ (1922-1933) московским корреспондентом «Кристиан Сайенс Мѳнитор», автор весьма интересной книги о Россіи, хорошо владѣющей русским языком. Цѣль заключается в том, чтобы знакомить американских читателей с Россіей. — «какова она была, какова она теперь и каковой она может быть в будущем». Не подлежит сомнѣнію, что потребность в подобном журналѣ велика. В настоящее время она еще больше, чѣм была прежде, так как прекратили существованіе сходные журналы, издававшіеся во Франціи и Англии (только с х о д н ы е: изданій тождественных и там не было).

Соредакторами Чемберлена состоятъ два наших соотечественника: Д. С. фон-Мореншильд (бывшій инициатором дѣла) и проф. М. М. Карпович. Немало русских есть и в редакціонном комитетѣ: проф. М. М. Ростовцев, А. Вирек, А. Тарсандзе, В. де Слейт. Среди иностранных членов редакціоннаго комитета находятся знаменитый американскій критик Эдмунд Вильсон, проф. Маннинг, Нойес, Ледницкій. Не может быть никаких сомнѣній в компетентности той группы, которая взяла на себя руководство журналом.

Первую книгу можно признать весьма удачной. Из основных статей четыре посвящены литературным вопросам, три — политическим и экономическим (в широком смыслѣ того и другого слова), двѣ — историческим. Библиографическій отдѣл очень богат для сравнительно небольшой (125 страниц) книги: он состоит из чотырнадцати рецензій. Мы думаем, что приблизительно такой же пропорціи в распредѣленіи матеріала журнал должен был бы придерживаться и дальше. Редакція указывает, что, будучи чуждой какой бы то ни было партійности, она «предлагает свое гостепріимство авторам разных взглядов, при условіи их надлежащаго знакомства с вопросами, о которых они желали бы писать».

Русскіе сотрудники первой книги хорошо извѣстны нашим читателям. Всѣ они являются и сотрудниками «Новаго Журнала». Мы

поэтому об их статьях говорить не будем. Из американцев Роджер Дау дал весьма содержательную геополитическую работу о России; в ней он отмѣтил сходство между Россіей и Америкой, подчеркнутое заглавіем статьи: «Простор». На это сходство в свое время обратил вниманіе еще Марк Твэн. Очень интересна статья Эрнеста Симмонса о бракѣ Л. Н. Толстого, представляющая собой главу из готовящейся Симмонсом біографіи автора «Войны и Мира». В статьѣ использован весь существующій на русском языкѣ матеріал. Генри Лонгфеллоу Дана дал статью о патриотических пьесах совѣтскаго театра, от фильма «Александр Невскій» Эйзенштейна до неизвѣстной нам пьесы о Суворовѣ Бахтерева и Разумовскаго и фильма на ту же тему Пудовкина, до оперы Кашурова и драмы в стихах Соловьева о Кутузовѣ.

В объявленіи издательства указано, что журнал будет выходить два раза в год. Это досадно: было бы желательно, чтобы он выходил значительно чаще. Заданіе намѣчено превосходно. Выполняется оно, поскольку можно судить по первой книгѣ, вполне удачно.

Х.

Л. А. Коварская, **Родные писатели**, Нью-Йорк 1942 г.

Книга Л. А. Коварской предназначена для русскаго юношества. Она содержит 16 біографій русских писателей. От первых классиков Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Аксакова через Тургенева и Гончарова автор переходит к великим романистам Л. Толстому и Достоевскому, к поэтам Ал. Толстому, Тютчеву, Никитину, Некрасову, к драматургу Островскому, к сатирику Щедрину и заканчивает почти нашими современниками Чеховым и Короленко. Таким образом в книгу включены почти всѣ крупные русскіе писатели. Можно было бы возражать против включенія Никитина и среди поэтов из народа предпочитать Кольцова; можно считать не вполне оправданным и включеніе Короленко, несмотря на очаровательный талант послѣдняго. Можно пожалѣть о пропускѣ Жуковскаго, или Баратынскаго. Но книга по своим размѣрам не могла быть исчерпывающей, а там гдѣ есть выбор, там неизбѣжны личныя пристрастія и нѣкоторая субъективность.

Каждая біографія составлена с большой любовью и тщательностью и дает краткую характеристику творчества писателя и хорошо подобранныя цитаты из его произведеній. Всѣ біографіи сопровождаются портретами, что очень украшает книгу. Ее хочется поставить на полку и сохранить.

Не только русскому юношѣ, но и взрослому читателю, любящему родную литературу, будет, мы думаем, приятно прочесть эти очерки. Книга также может быть полезна иностранцу, изучающему русский язык. Она издана тщательно и цѣна ея (1 дол. 25, в переплетѣ 1 дол. 75) не дорога. Тѣ, кто знают, как трудно в нынѣшних условіях книжнаго русскаго рынка осуществить изданіе книги, не могут не оцѣнить тѣх усилій, которыя были неизбѣжны для выполненія этого культурнаго дѣла.

М. Ц.

ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦІИ МІРА

(Отвѣт А. В. Гальперину)

Оказывается, даже сейчас отвлеченное обсужденіе вопроса об организациі будущаго міра вызывает страсти. Что же будет, когда от теоріи перейдут к практикѣ, от слов к дѣлу?..

В прошлом номерѣ «Новый Журнал» помѣстил мою статью «Россія, Европа и мір послѣ войны». Часть статьи была посвящена критикѣ извѣстнаго плана Кл. Стрейта «Юнион Нау». Она вызвала отповѣдь мнѣ А. В. Гальперина, напечатанную выше. Мой оппонент горячій энтузіаст и безоговорочный защитник плана Стрейта. Не стану останавливаться на эмоціональной сторонѣ нападок. Скажу лишь, предваряя послѣдующее, что не думаю, чтобы доводы А. В. Гальперина способствовали укрѣпленію позицій и плана Стрейта.

Одни из доводов моего оппонента ставят на мѣсто сухаго и возможнаго чаемое и желаемое, составляют, по американской терминологіи, — «уишфул дсинкинг». Сюда относятся такія заповѣди, как — «Н е н а д о , чтобы было гирше, но н е о б х о д и м о , чтобы стало инше»; «Н а д о преодолѣть ряд очень глубоко за-сѣвших предразсудков» и т. п.

Другіе по существу невѣрны — исторически, фактически или логически. Почему, напримѣр, «один факт неудачной ея (Лиги Націй) попытки мірового об'единенія совершенно исключает возможность ея возрожденія»? Не такіе уж примитивные умы, как Екклезіаст, Вико или Гете, в разныя историческія эпохи одинаково воспринимали ход исторіи, как в ѣ ч н о е в о з в р а щ е н і е ч е л о в ѣ ч е с т в а все к тѣм же заданіям. Чѣм иным была исторія Франціи за послѣднія хотя бы полтораста лѣтъ, как не многократным возвращеніем впясть — для новаго и болѣе удачнаго прыжка впе-

ред и ввысь? То же можно утверждать и об исторіи Соединенных Штатов, Европы, всего міра в цѣлом. «Род проходит и род приходит, а земля пребывает во вѣки».

Вряд ли основательна и справка моего оппонента о том, что «соціалистическим костром ничего не зажжешь» — «народныя массы хотят иного, не испробованнаго». Я позволю себѣ усомниться в том, что желанія «народных масс» так уж совпадают с личным пожеланіем А. В. Гальперина. Сомнѣваюсь я и в том, чтобы план Стрейта открыл новое небо и новую землю. В прошлой статьѣ мною приводились имена нѣскольких идейных предков Стрейта. Интересующіеся могут их найти там. Один из них уже очень-очень давно замѣтил: «бывает, говорят: смотри, вот это новое; но это было уже в вѣках, бывших прежде нас». — И «Юніон Нау» лишь варьирует уже бывшіе — «неиспробованные» и неудавшіеся — планы.

Не в том вовсе отличіе плана Стрейта от плана реорганизациі Лиги Націй, защищаемого, в частности, и мною, что Лига «ставила на маленькія, независимыя государства», как утверждает А. В. Гальперин, тогда как «Юніон Нау» ставит на «мощныя государственныя образованія». Это фактически невѣрно! Различіе в том, что Лига исходила из признанія самоцѣнности государств и націй, и на национальных государствах строила международное объединеніе, тогда как Стрейт исходит от отдѣльных индивидов и строит свою міровую федерацію, проходя мимо государств и націй. «Націи и государства — простыя слова, — утверждает бывший корреспондент нью-йоркскаго «Таймс» в Женевѣ, — тогда как милліоны мужчин и женщин, которых они представляют, живые индивиды». Это центральная идея Стрейта и всего его плана. Мір погубили государства и націи. Спасти его могут люди, если станут подходить ко всему «не с точки зрѣнія равенства націй, а равенства людей, индивидуальных людей».

Правильно оцѣнив зло, причиняемое началом неограниченнаго верховенства государства, Стрейт не довольствуется, однако, как другіе, требованіем ограниченія суверенитета. Он нашел болѣе радикальное средство: вмѣсто націй и государств, он «посадил на трон» индивида и его наградил суверенитетом. Это объясняет, почему нѣкоторые критики Стрейта говорят об его «космополитическом анархизмѣ».

Но даже если не итти так далеко, нельзя не признать, что «Юніон Нау» недостаточно считается с положительной ролью національных государств в процессѣ замѣщенія бестіального болѣе человѣчным. Государство еще далеко не исчерпало своей положительной функціи — или миссіи в исторіи. Это так же неоспоримо,

как и то, что государству, как всякому творенію рук человѣческих — индивидуальному и социальному — присуще и начало зла. Устраняться без государства или умаляя, а не реорганизуя, государство еще не пришло время. Именно отсюда и мой упрек «Юнион Нау» в утопизмъ и максимализмъ, — безотносительно к тому, предлагает ли Стрейт или не предлагает сдѣлать немедленно «практический шаг».

Сводя почти на нѣтъ всѣ политическія функціи націй и государств, Стрейт всю политическую энергію сосредотачивает в центрѣ своей міровой федераціи. Тѣм самым, при всем различіи политических устремленій и организационной своей структуры, «Юнион Нау» гораздо ближе напоминает нацистскіе планы у н и ф и к а ц і и Европы путем федерированія, нежели планы с о г л а с о в а н і я воли независимых націй и государств, которое лежало в основѣ Ковенанта Лиги Націй и из котораго исходит Атлантическая Хартія Рузвельта-Черчилля.

И полугода тому назад с написанія мною прошлой статьи, а успѣло уже измѣниться «лицо міра», и накопились новые показатели того, куда, повидному, идет мір. Сошлюсь на три таких показателя — и самым кратким образом: стѣсненный временем и мѣстом, я лишен возможности подробнѣе развить свою мысль.

И полгода тому назад, в разгар длительнаго отхода красной арміи по всей линіи фронта, было очевидно, что роль Россіи в устроеніи будущаго міра превосходит, не взирая на пораженія, роль маленькой Ирландіи, безучастной в міровой борьбѣ, но занимающей в «Юнион Нау» опредѣленное мѣсто, тогда как Россія в планѣ Стрейта не фигурирует. А как быть сейчас, когда на Россію, даже под тиранической диктатурой, стали возлагать чуть ли не главныя свои надежды очень многіе, американцы, европейцы и азіаты? И что получится от міровой федераціи, если террористическая диктатура в Россіи переживет войну? План Стрейта составлялся тогда, когда Соединенны Штаты были внѣ войны и в ореолѣ непобѣдимости их военных потенціалов на водѣ, на сушѣ, в воздухѣ и в тылу.

И полгода тому назад видно было, что мір еще очень далек до завершения политической и національной эмансипаціи. Послѣднія событія в Индіи только лишній раз подтвердили, что національныя государства отнюдь не отошли еще в безвозвратное прошлое, а продолжают «волновать и раздѣлять людей», опредѣлять судьбы войны и мира.

Наконец, третій факт — мѣстнаго значенія, но тоже показательный. В январѣ текущаго года были опубликованы греко-югослав-

ское соглашение о планѣ Балканскаго объединенія и польско-чехословацкая декларация. Если сравнить эти документы с им предшествовавшими — польско-чехословацкой декларацией 11 ноября 40 г. и четверным соглашеніем 5 ноября 41 г., всякій должен будет признать, что эволюція — или тенденція — идет не в сторону «Юнион Нау», а в обратном направленіи. И в изгнаніи пребывающія правительства уже отходят на болѣе реалистическія позиціи объединенія національных государств в конфедерации.

План «Юнион Нау» — американскій план: не только потому, что он исходит по преимуществу от американцев и обращен к ним, но и потому, что он аргументирует прежде всего от американских интересов и старается преодолѣть сопротивление и отталкиваніе, главным образом, американцев. Я стал бы послѣдним отрицать огромную и, по всей вѣроятности, рѣшающую роль Америки в войнѣ и в устроеніи будущаго міра. (Между тѣм нѣкоторые читатели моих статей даже печатно намекают: один, — что я «угрожаю» русскому народу и Россіи «побѣдой англо-саксов»; а другой, — что я сам боюсь, как бы «не понравится англо-саксонскому міру»). Но все же американская точка зрѣнія — и интересы — не есть еще мировая точка зрѣнія и общіе интересы.

Как ни жалка и несчастна сейчас Европа, она еще не сказала своего послѣдняго слова. Говорит свое слово и проявляет свою волю и Азія. В рамках Ковенанта Лиги, как и Атлантической Хартии (при всѣх их дефектах) и Декларации 26 Объединенных Націй, — эти слова и воли послѣ общей побѣды могут быть согласованы. План Стрейта не дает этой возможности. Он подсказан похвальным стремленіем осчастливить человѣчество своим собственным удачным опытом. Но можно ли быть увѣренным, что то, что, благодаря особым обстоятельствам, сравнительно в примитивных условіях быта 18-го вѣка удалось и что 80 лѣт спустя потребовало все же кровопролитной гражданской войны для своего утвержденія, что это может быть осуществлено и в условіях XX-го вѣка, послѣ всеобщей войны всѣх против всѣх, в отношеніи к многомилліонной человѣческой массѣ, несвязанной даже общим языком?!

Нѣт, план Стрейта не «крѣпкій канат», на который можно положить, чтобы «выбраться израненными, но живыми, на твердую почву», — как полагает А. В. Гальперин. Нѣт, план Стрейта скорѣе прыжок в неизвѣстность, соблазнительный тѣм, что он «неиспробован». От Пушкина мы знаем, что «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертнаго таит неиз'яснимы наслажденья». Не в этом ли секрет успеха и «Юнион Нау»?

М. В. Вишняк.

ВЫСТАВКИ

В живописи молодых американских художников замѣтно усилилось влеченіе к социальным темам. Это направление художественной мысли было отмѣчено и, тѣм самым, как бы признано Институтом Carnegie. Годичная выставка, устроенная этим Институтом в текущем сезонѣ в Питсбургѣ, была посвящена «Направленіям в американской живописи»; первый приз на ней был присужден Тому Джонсону за картину «American Pieta». Эта картина как нельзя болѣе характерна для упомянутаго теченія. Из петли освобождают убитаго толпой молодого негра; в позѣ Богоматери черная страдалица-мать держит на своих колѣнях мертваго сына; рыдает жена; испуганно жмутся к взрослым черные ребятишки, еще колышется разрѣзанная ножом петля. Картина написана в темных тонах и заинтересовывает зрителя сюжетом и нѣсколько неожиданной группировкой персонажей. Но она недостаточно волнует — вѣроятно потому, что надумана, что нарисована не сердцем, а умом. «Несмываемое пятно на нашей демократіи, это негритянская проблема» — сказал в своих интервью сам художник; и несомнѣнно, его гораздо больше волнует это пятно, чѣм запятнанныя души людей, прибѣгающих к суду Линча.

Большая серія выставок была этой зимой посвящена «ультра-современному» сюрреалистическому, абстрактному и фантастическому искусству. Двѣ крупныя выставки этого рода были одновременно устроены музеем «Modern Art», особенно зорко слѣдящим за всѣми явленіями в области современнаго искусства. Одна из них — выставка молодого «сюрреалиста--параноика», Сальвадора Дали. Уже во Франціи этот художник, отрицающій всякую рациональность и принятыя нормы, скандализировал Париж своими выставками «сюрреалистических предметов» (там можно было увидать, напримѣр, «афродизіакальную куртку» — пиджак увѣшанный уючками, в которыя была налита зеленая мятная настойка). Этот умный и образованный художник, мастерски владѣющій кистью, ненавидящій современную цивилизацію, несомнѣнно нарочито шокирует зрителя выбором и трактовкой своих сюжетов. Образы, навѣянные несознательными и подсознательными ощущениями («обломки автомобиля, из которых рождается слѣпой конь, пожирающій телефон», или — «Paranoiac astral image»); странныя существа, не то люди, не то демоны; человѣческія фигуры, составленныя из ящиков, и в то же время изумительно написанный фон из пейзажей, — все это не может не показаться порожденіем больного мозга. Легко представить себѣ, какое ошеломляющее впечатлѣніе, а порою и отвращеніе, вызывали картины Дали у зрителя. И неудивительно, что нѣкоторые американскіе

художественные критики готовы усомниться в умственных способностях самого художника. Но необходимо добавить, что с Дали никогда не скучно; картины его интересуют и захватывают.

В том же музеѣ были показаны ошеломленной публикѣ произведенія другого сюрреалиста — испанца Хуана Миро. У этого художника своя особая палитра, свои сюжеты. Яркія формы, напоминающія инфузорій, заполняют его полотна, пожалуй, слишком смахивающія на препараты под микроскопом. Его картина «Люди и веревка», с куском огромнаго реального каната, прикрѣпленнаго к ярко раскрашенному полотну, гдѣ суетятся безформенные силуэты, привела в великій восторг его почитателей и ужаснула людей, менѣе приспособленных к воспріятію современных изысканій. Можно вмѣстѣ с одними критиками отрицать в Миро какое либо наличие оригинальности и таланта и упрекать его в развращеніи современнаго искусства. Но вот, в посвященной ему книгѣ, серьезный американскій критик Суини пишет: «Веселіе, блеск, солнце, здоровье, смѣх, ритм — главные качества этого художника.

К упомянутым выставкам необходимо для полноты обзора прибавить еще одну, представленную галлереей Бухгольца и посвященную творчеству французскаго художника Андрэ Массона. Массон тоже сюрреалист, тоже прошел через чистилище кубизма и тоже, в концѣ концов, изобрѣл нѣчто свое. Это художник жутких безформенных контуров, истекающих кровью. На всѣх его картинах происходит кровавая трагическая борьба. Линіи, призраки пѣтухов, розы, лошади, какія-то чудовищныя животныя дерутся между собой не на жизнь, а на смерть. Скрюченныя тѣла лежащих фигур смотрят на мір глазами циклопов. Все это до крайней степени напряжено, нервно, нездорово; и не по себѣ становится зрителю, знающему, что искусство отражает не только внѣшній, но и внутренній мір определенной эпохи.

Перейдем теперь к той группѣ художников, творчество которых, может быть, и нашумѣло меньше, но несомнѣнно является противоядіем к вышеупомянутому теченію. Здѣсь прежде всего привлекают вниманіе современные произведенія «примитивов». Художники-«примитивы» (их называют еще «художниками из народа», «инстинктивистами» или «воскресными художниками») — люди различных профессій, часто рабочіе, никогда живописи не учившіеся, пишущіе потому, что им «Бог велѣл». В этом они всѣ родственны друг другу, всѣ вышли как бы из одной школы. «Музей Современнаго Искусства» приобрѣл десять новых полотен «примитивов» и показал их публикѣ.

Аналогичную выставку, но, пожалуй, еще болѣе интересную организовала в Нью-Йоркѣ галлерей Маріи Гарриман, под названіем

«Они сами себя научили». На выставкѣ были собраны работы двадцати пяти американским «примитивов». Нѣкоторые из этих художников уже стяжали себѣ большую извѣстность; из них слѣдует отмѣтить Жорж Кейна, рабочаго, искусство котораго, правда, немного тяжело-вѣсно и угрюмо, но живописно, и жизнерадостнаго Пикетт. Свѣжестью, непосредственностью и, главное, честностью вѣет от всѣх этих картин. Тут никого не обманывают, не шеголяют знаніем, умѣніем и виртуозностью. И, благодаря этому, прощаешь дефекты техники или перспективы, охотно останавливаешься перед этими картиннами и с любопытством изучаешь их особенности, их настроенія, их стиль.

Отцом современных «примитивов» считается, как извѣстно, Douanier Руссо. Его показывает тот же «Музей Современнаго Искусства». Руссо, маленькій чиновник парижской таможни, начавшій рисовать по воскресеньям и когда ему было уже больше сорока лѣтъ, перенесшій на полотно экзотическій мір своих мечтаній, наивно меланхолических, сентиментально-дѣтских, и всю безхитрость и несложность своего ума. Творец удивительных красочных сочетаній (красный диван в картинѣ «Сон»), только ему присущих деревьев и какой-то совѣм особенной листвы, напоминающей ковры готической эпохи, — художник Руссо увлекает и плѣняет зрителя.

Рѣдкій праздник искусства — выставка Рембрандта в музеѣ «Метрополитэн». Тысячи нью-йоркцев перебивали на ней. Здѣсь были собраны шестнадцать полотен, восемьдесят гравюр и около десятка рисунков великаго мастера. Особенно хороши и трогательны портреты самаго художника и его подруги жизни Хэндрике. Портреты относятся к 1660 г., как раз к тому году, когда все имущество Рембрандта пошло с молотка за долги. Художник не сдался, попрежнему гордо смотрит со своих картин и, словно, учит не сдаваться, не падать духом, жить и бороться во имя красоты жизни, любви и искусства.

Как бы внимая призыву гениальнаго художника, искусство этой зимой пришло на помощь борьбѣ за свободу. Выставок было много, мы упомянем из них лишь три, устроенныя в пользу различных благотворительных военных фондов; во-первых выставку Ренуара (в пользу французскаго Уор-релифа), приуроченную к столѣтію со дня рожденія художника. Еще никогда Нью-Йорк не видал такого громаднаго собранія картин Ренуара; их было девяносто, присланных 9-ю музеями и 36-ю частными коллекціями. Это мір красок, свѣта, солнца, радости жизни.

Вторая выставка, устроенная галлереей Розенберг (в пользу Америк. Краснаго Креста), была посвящена картинам вѣчнаго стра-

дальца, духовно и физически голодного мечтателя Ван-Гога. Картин было немного, но среди них была одна, написанная им за 13 дней до смерти «La mairie d'Anvers», и впервые было показано в Нью-Йоркѣ полотно «Le pont de Trinquetaille».

В мартѣ мѣсяцѣ «Чехословацкій Комитет Помощи» устроил в нью-йоркской галлерей Димота прекрасную выставку мало знакомаго Америкѣ современнаго чехословацкаго искусства, обнимающую период послѣдних тридцати пяти лѣтъ.

Выдѣлялись прекрасныя работы Оскара Кокошки, особенно его картины Праги и портрет Масарика. Хороши написанные в нѣжных тонах пейзажи Кубина, одного из основателей группы «Восьми» («Osma»), образовавшейся в началѣ этого столѣтія, и лирическіе виды старых кварталов Праги художника Яна Минарика, написанные в 1909-10 годах. Нельзя не отмѣтить «Дара Богов» Яна Штурса, временно погибшаго в 1925 году — скульптора большой силы.

Огорчительно, что почти не было в этом сезонѣ выставки русских художников. Только ярким пятном выдѣлились небольшія собранія картин Маневича и замѣчательнаго портретиста Сорина: но об этих выставках уже много писалось в здѣшней русской прессѣ и поэтому, за ограниченностью мѣста, мы о них не говорим.

Вѣра Коварская.

«РУССКІЙ РАДІОЧАС»

В Чикаго наш соотечественник И. Я. Воронко образовал независимый «русскій час» при радиостанціи WEDC (1240 К., 243.8 М.).

RUSSIAN AMERICAN BROADCASTING CO.

1430 North Damen Ave., Chicago Ill. Phone HUMBoldt 8523
Передача по воскресеньям 9—10 утра и. вр. И. Я. Воронко любезно согласился оповѣщать слушателей о «Новом Журналѣ». Редакція считает своим долгом выразить ему за это самую искреннюю признательность.

Поправка

В рецензіи о романѣ «Гишпанская Затѣя» в № 1 были неточности в имени автора и названіи издательства. Повторяем их в исправленном видѣ:

«Гишпанская затѣя». Историческій роман Н. Н. Сергіевскаго. Издательство «Русская книга в Америкѣ»

“Russ Book”, Box 42, Whitestone, Long Island
380 стр. Цѣна 1.85 дол. с пересылкой.

К сожалѣнію, по недостатку мѣста мы вынуждены отложить до слѣдующаго номера рецензіи В. М. Зензинова о романѣ Н. Ф. Федоровой «Лѣти», проф. М. М. Карповича о «Славянском Ежегодникѣ», проф. М. Лазерсона о книгѣ проф. Г. Д. Гурвича «Соціологія Права», Н. П. Вакара о книгѣ проф. П. П. Сорокина «Кризис нашего времени», С. М. Соловейчика о «Красной Декадѣ» Е. Лайонса, и Д. Н. Шуба о книгѣ Мани Гордон «Рабочій класс до и послѣ Ленина».

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Литературно-политическое издание, выходящее раз в три мѣсяца.

•

Цѣна книги по предварительной подпискѣ — 1 долл. 50 центов; цѣна трех книг — 4 доллара. В розничной продажѣ книга стоит 2 доллара.

•

Адрес редакціи:

Mr. M. Zetlin, 112 W. 72nd Street, N. Y. C.
Telephone ENdicott 2-9893

Там же принимаются подписка и об'явленія.
